

НОВОБИТЪ  
МИТРО

9

ДІАТІ МІТРО  
ТІАТІ  
ОІІ

9



1954

1954

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXX

№ 9

Сентябрь, 1954 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОБ ОШИБКАХ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР». Резолюция президиума правления Союза советских писателей	3
С. ЖУРАХОВИЧ — Дела весенние, рассказ. Перевод с украинского А. Островского	8
Г. ТРОПОЛЬСКИЙ — У Крутого Яра, рассказ	22
АЛЕКСАНДР ПИСЬМЕННЫЙ — В селе Унгоряны, рассказ	42
М. ЛУКОНИН — Два стихотворения	59
АРКАДИЙ РЫВЛИН — Туча, стихотворение	62
А. БЕК, Н. ЛОЙКО — Молодые люди, роман. Окончание	63
ИЛЬЯ АВРАМЕНКО — До встречи на Енисее, стихотворение	122
Итальянские рассказы	124
АННА-МАРИЯ ОРТЕЗЕ — Очки	
ЛУИДЖИ ИНКОРОНАТО — В день выборов	
ДЖОВАННИ ДЖЕРМАНЕТТО — Серебряная туфелька. Перевод с итальянского З. Потаповой	
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
С. МОРОЗОВ — Близкая Арктика. Из дневников	143
<b>ДНЕВНИК ИСКУССТВ</b>	
ГАЛИНА УЛАНОВА — Париж—Берлин	163
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ</b>	
Н. ФЕДОРЕНКО — Встречи с китайскими писателями	177
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
А. ДЕМЕНТЬЕВ, С. СУТОЦКИЙ — Партия — руководитель советской печати и литературы	209
Вопросы перевода	227
МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ — Из размышлений переводчика	
П. КАРП, Б. ТОМАШЕВСКИЙ — Высокое мастерство	
ЗОЯ КРАХМАЛЬНИКОВА — Перевод и подлинник	

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	252
<b>Л. Михайлова.</b> Сочинения А. И. Куприна. — <b>В. Аникин.</b> Новое исследование о Бажове. — <b>В. Пивторадни.</b> Книга о Ярославе Галане. — <b>Г. Ленобль.</b> Удачный рассказ. — <b>Я. Эльсберг.</b> Язык писателя.	
<i>Политика и наука</i>	272
<b>А. Стадниченко.</b> География великого Китая. — Кандидат экономических наук <b>Б. Кузнецов.</b> Крестьянский вопрос во Франции. — Кандидат исторических наук <b>В. Лейкина-Свирская.</b> Публицистика петрашевцев. — <b>О. Писаржевский.</b> Новые элементы в периодической системе.	
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	286

---

---

---

## ОБ ОШИБКАХ ЖУРНАЛА „НОВЫЙ МИР“

*Резолюция президиума правления Союза советских писателей*

На страницах печати («Правда», журнал «Коммунист», «Литературная газета», журнал «Знамя» и др.), на писательских собраниях в Москве и в Ленинграде, на ряде съездов писателей братских литератур СССР были подвергнуты серьёзной критике грубые идейные ошибки, допущенные на страницах журнала «Новый мир». Литературная общественность резко осудила выступления журнала по вопросам современной литературы (статьи В. Померанцева, М. Лифшица, Ф. Абрамова, М. Щеглова), содержащие неправильные и вредные тенденции, статьи, в которых делались попытки ревизовать основные принципы советской литературы, ставилась под сомнение идейность, жизненная правдивость советской литературы.

В. Померанцев в статье «Об искренности в литературе», спекулируя на законном недовольстве читателей и писателей некоторыми творческими недостатками нашей литературы, огульно и недобросовестно обвинил советских писателей в неискренности. Под видом борьбы с приспособленчеством и лакировкой он поставил под сомнение современную широкую общественную тематику и проблематику советской литературы, призывал к одностороннему показу и раздуванию отрицательных явлений нашей действительности. Естественное и обязательное для каждого подлинно художественного произведения условие искренности его автора В. Померанцев в своей статье возвёл в первый, главный критерий оценки литературного произведения, подменив, таким образом, общепризнанные в нашей литературе идейные, социально-классовые оценки вневременным и внесоциальным моральным критерием. В развитие этой своей позиции, враждебной природе метода социалистического реализма, В. Померанцев противопоставил проповедь, то есть отстаивание писателем определённых идей и убеждений, так называемой «исповеди», то есть низвёл литературу с её высокой позиции воспитателя чувств и характера строителей коммунизма до роли «исповеднической» регистрации «непосредственных впечатлений» пишущего индивидуума, оторванного от борьбы и созидательной деятельности общества. Печатая статью Померанцева, прямо ревизирующую основы метода социалистического реализма в литературе и литературной критике, редакция «Нового мира» встала на позицию воспроизведения давно разоблачённых в нашей литературе идеалистических тенденций.

Развивая наметившуюся в статье В. Померанцева линию нигилистического отношения к опыту и достижениям советской литературы, редакция журнала напечатала в № 4 за 1954 год статью Ф. Абрамова «Люди

колхозной деревни в послевоенной прозе». Вместо того, чтобы оценить в целом перед предстоящим съездом писателей произведения о колхозной деревне, написанные в послевоенные годы, взглянуть на них с точки зрения новых задач, поставленных в последних решениях партии и правительства по вопросам сельского хозяйства, и автор статьи и редакция учинили «разнос» всех наиболее заметных произведений советской прозы, посвящённых жизни колхозного крестьянства в военные и послевоенные годы. Вместо того, чтобы объективно вскрыть реальные достоинства и недостатки разбираемых произведений, вместо того, чтобы на основе глубокого анализа созданных писателями образов людей колхозной деревни, их поведения и поступков, показать, как в ряде случаев разработка живых и правдивых образов страдала от облегчённого авторского подхода к разрешению жизненных конфликтов и столкновений, Ф. Абрамов зачёркивает произведения, сыгравшие серьёзную роль в духовной жизни советских людей, давая тем самым неверную, искажённую картину состояния одного из важнейших разделов советской литературы. Тенденциозно обходя новое, передовое в жизни и литературе, Ф. Абрамов прямо выступает в своей статье в защиту косного и отсталого, отдаёт дань дешёвому скептицизму, издеваясь над писателями, запечатлевшими новые черты людей колхозной деревни, прогрессивные явления в жизни советского крестьянства.

Статья Ф. Абрамова показала, что и автор и редакция, напечатавшая его статью, неправильно поняли решения сентябрьского и февральско-мартовского Пленумов ЦК КПСС, в которых суровая, беспощадная критика недостатков в развитии сельского хозяйства основана на прочном фундаменте признания огромных успехов и незыблемой прочности колхозного строя и направлена к быстрейшему подъёму материального благосостояния трудящихся.

М. Лифшиц в статье «Дневник Мариэтты Шагинян», с барски-эстетских позиций разбирая недостатки книги М. Шагинян, обрушивается против писателей, стремящихся активно вторгаться в жизнь, ставит под сомнение важность обращения писателей к темам труда, производственной деятельности и другим актуальным темам нашей действительности. Заслуживает резкого осуждения недостойный советской критики издевательски-глумливый тон автора, с радостью вытаскивающего напоказ действительные и мнимые недостатки оцениваемого произведения и не желающего замечать положительные стороны книги.

Критик М. Щеглов в статье о романе О. Чёрного «Опера Снегина» издевается над тем, что автор романа показал влияние решений партии по вопросам музыки на сознание и творческую деятельность художественной интеллигенции. В другой своей статье, о романе Л. Леонова «Русский лес», Щеглов проводит ложную мысль о том, что советский строй жизни является питательной средой для растленных типов вроде персонажа романа Грацианского и критикует Л. Леонова за то, что он поступки и склад характера Грацианского раскрывает как проявление пережитков прошлого.

Все эти факты показывают, что в журнале «Новый мир» наметилась линия, противоречащая указаниям партии в области художественной литературы.

Руководители журнала «Новый мир», печатая перечисленные статьи, забыли, что журнал, как орган Союза советских писателей, обязан систематически и своевременно бороться с отклонениями от принципов социалистического реализма, с попытками увести советскую литературу в сторону от жизни и борьбы советского народа, от актуальных вопросов политики партии и Советского государства, обязан бороться с попытками культивировать упадочные настроения, обязан давать отпор тенденциям огульного нигилистического охаивания всего положительного, что сделано советской литературой.

Руководители журнала «Новый мир», печатая неправильные и вредные статьи, забыли о том, что всякое ослабление влияния социалистической идеологии означает усиление влияния идеологии буржуазной.

Руководители журнала «Новый мир» и авторы неправильных и вредных статей выступили на страницах журнала с позиций, противоречащих указаниям партии, содержащимся в её решениях от 1946—48 гг. по вопросам литературы, драматургии, театра, кино, музыки, и не сделали выводов из критики, которой подверглась в решении ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» деятельность редакционных коллегий этих журналов.

Ошибки, допущенные редакцией журнала «Новый мир», с особой остротой напоминают указания партии о долге работников искусства социалистического реализма — руководствоваться во всей творческой деятельности политикой партии и Советского государства, давать беспощадный отпор всем проявлениям аполитичности, формализма, безидейности.

Президиум правления ССП СССР отмечает, что положение, создавшееся в редакции журнала «Новый мир», органа Союза советских писателей, во многом объясняется тем, что ни сам президиум, ни секретариат правления ССП до последнего времени недостаточно занимались вопросами идейного направления журнала «Новый мир» и других печатных органов Союза, тогда как руководящие органы Союза советских писателей главное внимание в своей деятельности должны уделять вопросам идейной направленности советской литературы, вопросам идеологического воспитания и роста художественного мастерства советских писателей.

В работе редакционных коллегий журналов нет должной коллегиальности, редакционные коллегии работают нерегулярно, ряд членов редакционных коллегий систематически не принимает участия в работе коллегий, со стороны некоторых главных редакторов не было достаточного внимания к замечаниям и предложениям членов редакционных коллегий по тем или иным материалам, а сами члены редколлегий не оказывали коллективного влияния на идейное направление печатных органов.

Все эти недостатки особенно нетерпимы в данное время, когда значительно возрастает роль Союза советских писателей, как общественной писательской организации, помогающей активному участию писателей в

коммунистическом строительстве, в морально-политическом воспитании строителей коммунизма, в преодолении пережитков капитализма в сознании людей.

Опираясь на помощь редакций печатных органов и активность всех творческих кадров, правления Союза советских писателей СССР, братских республик, краёв и областей могут и должны осуществлять широкое систематическое обсуждение основных вопросов развития и совершенствования советской литературы, плодотворно обсуждать отдельные произведения, помогать политическому и художественному росту писателей путём товарищеской критики и товарищеских разъяснений.

Президиум правления Союза советских писателей **постановляет:**

1. Осудить неправильную линию журнала «Новый мир» в вопросах литературы.

2. Освободить тов. **Твардовского А. Т.** от обязанностей главного редактора журнала.

3. Назначить главным редактором журнала «Новый мир» тов. **Симонова К. М.**

4. Поручить секретариату правления в двухнедельный срок разработать и разослать для обсуждения членам президиума предложения по коренному улучшению руководства печатными органами со стороны президиума и секретариата ССП СССР.

5. Поручить секретариату правления принять все меры к более активному участию печатных органов в подготовке ко Второму всесоюзному съезду советских писателей и развёртыванию широкой предсъездовской творческой дискуссии на основе товарищеской критики работы писателей и товарищеских разъяснений.

6. Обязать редакционные коллегии всех печатных органов ССП так перестроить свою деятельность, чтобы она была основана на творческой помощи и поддержке писательского актива, объединяемого журналами. Регулярно собирая писательский актив журналов, можно превратить эти собрания в живую трибуну обсуждения новых литературных произведений и наиболее животрепещущих общих творческих вопросов развития советской литературы.

---

### От редакционной коллегии журнала «Новый мир»

Редакционная коллегия журнала «Новый мир» считает резолюцию президиума правления Союза советских писателей СССР «Об ошибках журнала «Новый мир» правильной. Редколлегия журнала допустила серьёзные идейно-политические ошибки, напечатав статьи В. Померанцева «Об искренности в литературе», М. Лифшица «Дневник Мариэтты Шагинян», Ф. Абрамова «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе», М. Щеглова о романе О. Чёрного «Опера Снегина» и романе Л. Леонова «Русский лес». Опубликование этих статей придало критике в журнале «Новый мир» порочный характер. В журнале наметилась линия, противоречащая принципам социалистического реализма и

политике партии в области литературы. Это стало возможным потому, что редколлегия журнала «Новый мир» не сделала необходимых выводов из постановлений Центрального Комитета партии по идеологическим вопросам и решений XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза. В результате ошибочные выступления журнала «Новый мир» нанесли ущерб советской литературе и оказали вредное влияние на некоторую часть читателей, в особенности молодёжи. Редколлегия журнала «Новый мир» обязуется принять меры к устранению допущенных ошибок, выправить линию журнала и обеспечить высокий идейно-политический и художественный уровень публикуемых в нём произведений.





---

---

С. ЖУРАХОВИЧ

★

## ДЕЛА ВЕСЕННИЕ

Рассказ

1

**Н**а широкой дороге взвихрился серый столбик пыли и, кружась, побежал впереди лошади, как бы ведя её за собой.

«Вот так закружилась, завихрилась моя жизнь», — подумал Остапчук, следя за этим крошечным смерчем.

Ветер подул сбоку, согнал с дороги пыльный столбик, и он погас, рассыпался на ози́ми

Остапчук дёрнул вожжи. Лошадь мотнула головой.

Данилевский, сидевший рядом, засмеялся.

— Подходящий мотор! — Он покачал головой и сокрушённо вздохнул. — Чтоб у главного агронома не было машины! Вот и работай... А знаешь, припекает.

Остапчук взглянул на весёлое, улыбающееся лицо Данилевского, но ничего не ответил.

— Хорошо тут, — снова вздохнул Данилевский. — Красивые края.. Впрочем, я больше степь люблю. Простор!

— Что степь, — откликнулся наконец Остапчук, — ровно, гладко. Не на чем глазу задержаться.

— Это правда, — охотно согласился Данилевский. Видно было, что ему всё нравится — и степь с её ширью, и этот дремлющий пруд в глубокой балке, и лес, поднявшийся на горизонте стеной словно для того, чтобы остановить неудержимый разбег полей. — Хоть неделю подышал свежим воздухом, — раскинул руки, сказал он. — Эх, не повезло мне!..

Остапчук взглянул на него и усмехнулся: с лёгкой душой человек дышит! С таким румянцем и вздохнуть можно весело. Он знал, что имеет в виду Данилевский, жалуясь на невезение, но об этом не раз уже говорилось, и Остапчук промолчал. Тем более, что ему-то самому повезло — он дышит свежим воздухом, он видит поле, лес, двойной синей каймой оттеняющий небосвод. В его распоряжении плохонькая лошадка серой масти и двуколка, именуемая здесь бедаркой. Главный агроном Привольненской машинно-тракторной станции может быть доволен своей судьбой.

— Я тебе удивляюсь, — словоохотливо продолжал Данилевский. — Какой-то ты... Погляди вокруг! Ну скажи, положи руку на сердце, ты рад, что сюда попал? Ведь это я подсказал тебе Привольное.

Остапчук повернул своё продолговатое обветренное лицо, посмотрел в глаза Данилевскому глубоким и немного усталым взглядом и сказал:

— Рад.

— Эх ты, — засмеялся Данилевский, и видно было, что ему жаль Остапчука за то, что у того не хватает души постичь окружающую его красоту.

Остапчук не был из тех, кто в сентябрьские дни первыми вызвались ехать на работу в МТС и колхозы. Он колебался, раздумывал и считал, что имеет на это все основания. Всего лишь полтора года назад его вызвали из района в областное управление сельского хозяйства. Секретарь обкома партии говорил ему тогда: надо освежить аппарат, надо укрепить его агрономами, показавшими себя на деле и знающими, как выглядит в натуре предплужник, как пахнет степь весной...

И вот опять его вызвали в обком на совещание агрономов. Теперь речь шла о машинно-тракторных станциях — там главный участок, там всё решается.

Не раз Остапчук всё взвесил, прежде чем сказать себе: еду. Первый, кому он сообщил о своём решении, был Данилевский. Тот улыбнулся и чуть высоко, даже с некоторым оттенком жалости, вот как сейчас, сказал громко, так, что не один Остапчук его услышал:

— Я не ждал, пока меня для этого вызовут в обком. — Дружески похлопав Остапчука по плечу, он уже другим тоном продолжал: — Ну что ж, рад за тебя. Знаешь что? Давай выберем соседние МТС. А? Чудесно! Посоревнуемся, чёрт побери, и через каких-нибудь три года приедем в столицу героями. А что ты думаешь? Если уж ехать, так ехать...

Остапчук уклонился от этой темы. Он сказал, что ему хотелось бы на Полтавщину: он родом оттуда. Они долго спорили у географической карты. Данилевского тянуло в степь — простор!.. Согласились на районе, раскинувшемся в лесостепи, и по сему поводу, возвращаясь домой, даже выпили по стакану вина в тесном подвальчике.

— Как всё это напоминает молодые годы, юношескую романтику, — сказал тогда Данилевский и, разглядывая вино на свет, вздохнул: — А нам уже под сорок... Тебе тридцать пять? И это немало. В пионеры уже не примут. Что ж, закатаем штаны и побежим за комсомолом... — Он снова вздохнул и покачал головой. — Одно только обидно: каждый областной писарь будет считать, что он умнее тебя. Он, видишь ли, вверху. Ну, это уж такое дело — и мы были вверху, и мы были умнее.

Накануне того дня, когда Остапчук уезжал в Привольное, Данилевский ходил злой и каждого в отделе спрашивал:

— Когда же меня выпустят из канцелярского плена? Опять обследуй, опять составляй докладные записки. Срочная командировка... И никому дела нет, что из-за этой командировки приходится на целый месяц откладывать отъезд в МТС.

Попрощались они тепло.

— Скоро увидимся, — говорил Остапчуку Данилевский. — Скоро!

Через месяц Остапчук узнал, что в соседнюю, Васильевскую МТС назначили другого главного агронома. В тот же день позвонил Данилевский.

— Что ты на это скажешь? — услышал Остапчук приглушённый расстоянием крик. — Пётр Миронович решил меня утопить... Ещё на месяц задерживает. Чёрт знает что! Не знаю, к кому и обратиться...

Точно вчера всё это было. Вихрем пронеслись дни. И вот — уже под майским солнцем — вместе возвращаются они с поля: Остапчук — главный агроном МТС и Данилевский — командированный сюда начальником областного управления со специальным заданием — собрать материалы для отчётного доклада об итогах сева.

Лошадь, мотая головой, трусит не спеша; катится, покачиваясь, высокая бедарка.

Между тем сизая туча, медленно проплывавшая над лесом, вдруг простёрла крылья, заняла полнеба. Лихо свистнул ветер, вырвал из-под ног лошади длинную завесу пыли и потащил её вдоль дороги, сколько

видит глаз. Гром ударил отрывисто, резко и сразу же, словно только этого и ждал, хлестнул в лицо крупными каплями грозовой весёлый дождь. Дождь на солнце, при синем небе, короткий и тем более рьяный в своём мальчишеском озорстве.

— Держись! — крикнул Остапчук, погоняя лошадь.

Данилевский натянул шляпу на уши и зябко поёживался под дождём, барабанившим по плечам.

— Чёрт бы побрал твоего директора! — крикнул он на ухо Остапчуку. — Неисправна, мол, машина... Наверно, пожалел.

Остапчук расхохотался.

Туча растаяла так же быстро, как и появилась. Гром прокатился над головой и ворчал уже где-то за прудом.

— Ну и душ! — поморщился Данилевский, стряхивая воду со шляпы.

Гроза как будто смыла многодневную усталость, — настроение Остапчука резко изменилось. Пригладил мокрые волосы, засмеялся и широко развёл руками.

— Зато дышится как. Озон!

Дорога круто свернула налево. Стало хорошо видно Привольное, с его садами, речкой, с ветряком на пригорке.

Словно почувствовав на себе чей-то взгляд, Остапчук оглянулся. Из лесной полосы на дорогу вышла девушка.

— Наталья Климовна! — окликнул он, останавливая лошадь. Затем покачал головой и шутливо прибавил: — Чтоб вас дождь намочил!

— Уже, — сказала девушка, на ходу расправляя мокрое платье. Она улыбалась и в то же время хмурилась, оглядывая себя. — Мокрая курица...

— Нет, орлица в весеннюю грозу, — продекламировал Данилевский и протянул руку. — Разрешите познакомиться...

— Бойченко, — сухо проговорила девушка.

Остапчук прибавил:

— Агроном колхоза «Луч».

— Слышал, слышал, — поспешно подхватил Данилевский, с любопытством вглядываясь в лицо Натальи. — Так вот почему вас боятся бракоделы. От таких глаз не скроешься.

— Вы к нам, Наталья Климовна? — перебил Остапчук.

— Да. Звонила — не дозвонилась...

— Садитесь. — Данилевский вскочил. — Пожалуйста. Как-нибудь уместимся.

Наталья ответила не ему, а Остапчуку:

— Тут близко... Зайду к Марии, потом к вам, Степан Иванович.

Данилевский вздохнул:

— Теперь я понимаю, что означают слова: лучшие из лучших поехали на село.

— А худшие остались там, у вас? — спросила девушка, метнув не слишком приветливый взгляд на улыбающуюся физиономию Данилевского. — И руководят лучшими?..

Мужчины рассмеялись. Мимолётная усмешка тронула губы Натальи.

— Язвительная особа, — покачал головой Данилевский, когда они немного отъехали. — Но глаза, глаза! Целый мир... Завидно!

Он многозначительно кашлянул и умолк. Остапчука передёрнуло. В показной деликатности спутника он своим тонким чутьём безошибочно распознал фальшь. Ни о чём, мол, не спрашиваю, но кое-что понимаю... Невысказанная пошлость тем больше ранит, что на неё не ответишь.

Немного помолчав, Данилевский с мягкой заботливостью спросил у Остапчука, почему до сих пор не приехала его жена. Остапчук побагровел от злости.

— Я ведь говорил: квартира не была готова, — сдерживаясь, пробормотал он; хотелось сказать что-нибудь резкое, злое.

— Ах, квартира!.. Я забыл, — поспешно подхватил Данилевский и заговорил о невнимательном отношении к специалистам, о чуткости и о бездушных людях, думающих только о себе.

Остапчук не слушал. Меньше всего хотелось ему откровенно говорить о своих личных делах ещё и потому, что жена не раз, упрекая его, поминала Данилевского. «Если бы ты думал о семье, как он, то не стал бы кочевать». Напрасно Остапчук доказывал ей, что Данилевского не отпустили, что человека поставили в неудобное положение — вызвался ехать, а сидит в областном аппарате. Она ничего и слышать не хотела: ей надоело всю жизнь с ним воевать. Если бы он думал о жене и сыне, как... Для каждой женщины, вероятно, кто-нибудь из знакомых служит образцом хорошего мужа, и это страшное оружие применяется во всех случаях жизни.

Жена Остапчука не хотела переезжать в МТС. По этому поводу немало было уже сказано слов и даже пролито слёз. Пускай едут те, кто ещё не работал на селе. Он своё отбыл. В самые тяжёлые послевоенные годы. А теперь несравненно легче — пускай едут другие. Только получили квартиру, только устроились и — здравствуйте! — всё бросай... Нет, она не поедет. Пускай, как хочет, так и живёт. Володька привык к школе. Наконец, он должен знать, что у неё тоже есть своё дело. Детский сад, которым она заведует, теперь лучший в городе. Но разве он когда-нибудь считался с нею?..

В одном из писем Тоня писала, что Остапчук хочет быть похожим на героя из тех книг, в которых всё ясно, просто и легко. Автор дёргает своих героев за ниточку, и всё происходит так, как это положено по прописям. Хотя раз в жизни она хочет его переупрямить. Впрочем, пусть не думает, что она когда-нибудь от него откажется. Тут в скобках шли горькие слова: может быть, надоела, но как хочешь, а я своего Стёпу никому не отдам. Так и знай! Ты должен вернуться домой. Разве в управлении не нужны толковые люди? Она встретила Бондаренко, и тот сказал: «Остапчука все вспоминают и очень жалеют, что его нет». А мнение Бондаренко что-нибудь значит не только лишь потому, что он заместитель начальника. Остапчук и сам говорил, что это способный, вдумчивый работник.

Смеясь и кусая губы, читал Остапчук взволнованные и сумбурные письма жены, с десятками вставок между строчками («Купила Вовке новые башмаки, на нём всё горит»), с неожиданными приписками на полях («А как же будет с холодильником? И почём там мясо?»), и отвечал, как ему казалось, глубоко логичными и убедительными, а на деле такими же сумбурными, только, может быть, более ласковыми письмами. Какой он герой! Ничего похожего. Положительный герой уже произнёс бы длиннейшую речь и заявил бы, что такая жена ему, безусловно, не подходит. Она тянет его назад. Она не понимает его высоких стремлений. И даже не хочет считаться с тем, что электрохолодильником можно пользоваться и здесь, а мясо тут стоит почти вдвое дешевле. (Тут сбоку, в скобках, было приписано: «Тоня, родная! Всё это не твои слова. Знаю тебя, горжусь тобой. А слова эти — мякина. Отвять их — какое зерно!») Так вот, если бы он был положительным героем, дело обернулось бы совсем плохо. Но он человек с тяжёлым характером (кому, как не ей, об этом знать!) и потому мирится с отсталой женой. Больше того — без

своей Тони он жить не может, хотя, по правде сказать, с нею ему тоже не легко...

— Чёрт поberi! — громко произнёс Данилевский, сопровождая свои слова протяжным вздохом. — Вот так незаметно и весна прошла. А мы её и не видели.

Остапчук оглянулся. Они ехали длинной и прямой улицей Привольного. Сады уже отцвели. Пышно распустилась сирень под окнами. Конец весне.

До сих пор весна для него была огромным клубком, в котором сплелись тысячи дел — боронование зяби и подкормка, нормы высева и акты о нарушении агротехники, сумасшедшие ветры, выдувающие из почвы влагу, и седые морозные утра, расплавленный подшипник на тракторе и мерная проволока, без которой невозможен правильный квадрат, чуткий сон в короткие ночи и дни, мчащиеся, как ошалевшие кони с крутого пригорка. Весна агронома.

Сирень цветёт? Пускай себе цветёт — девичья утеха. А вот ячмень скоро пойдёт в трубку — это уже вернейшая примета, что лето и впрямь на пороге.

— Доехали наконец, — проворчал Данилевский, соскакивая с бедарки.

Остапчук сошёл вслед за ним, привязал вожжи и махнул рукой. В конюшню лошадь шла сама.

— Вот единственное удобство этого ультрасовременного транспорта, — усмехнувшись, сказал Данилевский. — Машину надо ещё в гараж заводить...

— Ну что машина, — в тон ему отвечал Остапчук. — Трясёт, воняет бензином. Ты ж хотел подышать весенним ветром!

## 2

Данилевский начинал нервничать.

Он собирался ехать ночным поездом. Нужно было уточнить ряд цифр, сведений, а Остапчук уже больше часу спорил с ним, и ни до чего они не могли договориться.

— Помнишь заведующего сельхозотделом в Щербаковке? — сказал Остапчук. — Мы всегда смеялись: весной он первым рапортовал об окончании сева, а потом умолкал на весь год. Кстати, как там сейчас?

— Там другой секретарь райкома, — нехотя ответил Данилевский.

— Ты хочешь сказать — более умный?

— При чём тут Щербаковка? — кривя тонкие губы, спросил Данилевский.

— А при том, что кое-кого больше интересует красивая сводка, чем суть дела.

— Это демагогия, — холодно бросил Данилевский.

Вошёл секретарь райкома по машинно-тракторной станции Гульчак, и Данилевский круто переменял тон.

— Удивительное дело, — улыбаясь, обратился он к секретарю, — мы спорим так, как если бы я сидел в МТС, а Остапчук в областном управлении... Я хочу разобраться и доказать, что вы в этом году сеяли лучше. А он со мной спорит. — Данилевский развёл руками и засмеялся. — Начнём сначала, и товарищ Гульчак нас рассудит. Главный агроном уверяет, что ранние колосовые сеяли не три, а пять дней. Кукурузу не пять-шесть, а девять дней. Простите, это чёрт знает что! В прошлом году сеяли столько же времени. Выходит — ни шагу вперёд? И это после всего, что мы говорим, что делаем. После решений...

— Я тебе объяснил,— стараясь сохранять спокойствие, но уже с заметным раздражением заговорил Остапчук.— Прошлогодние данные мною проверены. И не в конторах, а с людьми. Сроки были занижены. Это очковтирательство. Ясно? Завёлся такой гнилой обычай: первые два-три дня о начале сева вообще не сообщать.

— Почему? — Данилевский сделал вид, что удивился.

— Сам знаешь! Говорят, что это выборочный, пробный и ещё чёрт его знает какой сев. Засеют половину — тогда сообщают: начали... Таким вот манером сжимают сроки. Кому это нужно? Или на уборке. Три дня жнут всюю. А позвони — скажут: да это выборочно. На пригорках, на песках... Какая-то дурацкая погоня за благополучными цифрами.

— Ну, знаешь... Цифра — дело государственное, важное,— попробовал охладить пыл Остапчука Данилевский.

Но главный агроном продолжал ещё резче:

— Важное, когда она правильная. А что было у нас в области? Площадь зерновых сокращалась. Травы выгорали. Скотина голодала. Кого же мы обманываем?

— Что говорить о прошлом,— отмахнулся Данилевский.— Но подумайте,— он обращался теперь только к Гульчаку,— как это выглядит: в МТС работает партийная группа во главе с секретарём райкома, в МТС прибыло пятнадцать специалистов с высшим образованием. Постоянные кадры механизаторов... А сеяли так же, как и в прошлом году.

Гульчак молчал. Он только вопросительно посмотрел на Остапчука: что ты на это скажешь?

— Нет, не так же,— возразил Остапчук.— Я опять-таки говорю о сути, а не о сводке. В прошлом году удобрение разбрасывали как попало. А нынче была подкормка. В прошлом году о перекрёстном методе только говорили, а мы посеяли. Квадрата в прошлом году тоже не было, как тебе известно...

— Тем лучше, тем лучше,— живо подхватил Данилевский, заглядывая в лицо секретарю райкома.— Ваша МТС наконец-то пошла в гору. Зачем же эта ложка дёгтя? При тщательной проверке выяснилось бы, что почти в каждом колхозе в первые дни и на деле не было настоящего сева. Там проба, там ещё что-нибудь... Так что, в сущности, сроки не так уж были растянуты.

Остапчук прекрасно понимал, куда гнёт Данилевский. Какому секретарю райкома не хотелось бы, чтобы сроки у него были получше, тем более, когда сведения идут в областную организацию? Как и Остапчук, Гульчак тоже был новым человеком в МТС и в районе. Полгода — это немало, но не так уж и много, чтобы как следует узнать друг друга.

Секретарь райкома напряжённо прислушивался к спору между главным агрономом и Данилевским и, очевидно, раздумывал. А что тут, собственно, раздумывать? Его молчание уже начинало раздражать Остапчука: «И этот, верно, не прочь подсунуть начальству кругленькую цифру...»

Данилевский вытер платком лоб. Его всегда оживлённое, подвижное лицо выражало удивление и даже иронию, мягкую, снисходительную иронию. В самом деле, смешно: для себя он старается, что ли? Остапчук не вслушивался в его закруглённые фразы. Всё это он уже слышал. И эти протяжные вздохи тоже. Что за манера чуть не после каждого слова страдальчески вздыхать? Здоровый, краснощёкий мужчина, а стой возле него со стаканом воды.

Прикусив губу, Остапчук перевёл взгляд на исхудавшее, усталое лицо Гульчака с выступающими обтянутыми скулами, глубоко запавшими узкими глазами и горько подумал: «И с этим придётся ссориться». На какое-то мгновение его охватила бесконечная усталость. Из всех сил, чуть

не-сдирая кожу, он потёр рукой лоб, чтобы унять головную боль. Ему хотелось сказать Гульчаку: «Молчишь! Видно, при мне неудобно говорить то, что хочешь. Но я нарочно буду сидеть».

На какой-то длинной фразе Гульчак перебил Данилевского. Тот с готовностью умолк, наклонил голову. Тихо, будничным тоном, как бы жалея слов, Гульчак проговорил:

— Я думаю, что товарищ Остапчук прав. Этой весной мы выправили ошибки и учились. Легче всего уверить себя, что дела идут отлично. Труднее — посмотреть правде в глаза.

Он поднялся и сказал Остапчуку:

— Вы остаётесь? Я поеду в Журавлёвку. Сегодня там собрание.

Он кивнул головой Данилевскому и вышел.

— Да, да,— вздохнул Данилевский и, обиженно выпятив губы, углубился в лежавшую перед ним таблицу.— Да, да... А почему? — спросил он после долгого молчания. — Почему колхоз «Звезда» мог уложиться в срок? Кто там с ним по соседству? «Маяк»? Ну вот — «Маяк» сеял почти вдвое дольше...

— А вот мы сейчас всё точно выясним,— сказал Остапчук.— Я видел здесь председателя Михайловского колхоза.

Он вышел из комнаты и через минуту вернулся вместе с невысоким круглоголовым человеком, лицо которого, цвета переспелой вишни, показалось Данилевскому весьма непривлекательным.

— Ковдя,— знакомясь, коротко назвал себя вошедший.

Данилевский посадил Ковдю рядом и, слегка склонившись к нему, заговорил с мягкими нотками в голосе, с первых же слов стремясь создать атмосферу взаимного доверия. Он понимает — весна была тяжёлая, капризная, холодная. Все работы сбились в кучу. Так что обвинять некого. Речь идёт лишь о том, чтобы объективно проанализировать ход сева.

Ковдя слушал и внимательно смотрел на Данилевского ясными пытливыми глазами, в глубине которых таилась тонкая мужицкая хитринка: «Слова... Поглядим, куда ты повернёшь».

— Так вот,— подошёл наконец к делу Данилевский,— ваши колхозы расположены рядом... Меня интересует: почему в «Звезде» посеяли быстрее?

Ковдя мотнул головой так, как будто хотел сказать: «Как мне это всё надоело». И, прежде чем ответить, спросил:

— Вы Храпчука, председателя «Звезды», случайно не знаете? Жаль... У нас в районе уже был разговор, немножко соскребли с него блеск... Да он и теперь неровную цифру недолюбливает. Знаете, когда цифра кругленькая, она хорошо катится.

— Но ведь это же документация! — рассердился Данилевский и потряс папкой.

Ковдя потемнел.

— Вы агроном,— сказал он, глядя куда-то вбок,— так, должно быть, видели: есть такой сорнячок — повилика. Её годами надо выводить! Завьётся меж стеблей пшеницы, хоть жги всё к чёртовой матери. Вот так и бумажки... Что сейчас ворошить пройденное! Посеяли... А как кто сеял, хлеб покажет. Он не соврёт.

Ковдя перевёл дыхание и с затаённой болью в голосе прибавил:

— Что мне копать в посевных бумажках, когда сегодня прополка. Вот где меня припекает! Квадраты сместились — поставь их на место... И уборка на носу.

Он с укором взглянул на Остапчука: «Зачем всё это? У меня дела».

— Вы к директору? — спросил Остапчук, чтобы перевести разговор на другое.

— Нет. Хочу инженера на ферму повезти.

— Так вы идите, Кузьма Петрович,— сказал Остапчук.— Простите, что отняли время.

Ковдя поспешно вышел.

Данилевский проводил его взглядом и покачал головой:

— Извечная крестьянская неприязнь к документам, к бумажке... Что ж, старый человек. Мой отец тоже бы так сказал.

— Ковдя у нас один из самых толковых колхозных руководителей,— заступился за него Остапчук,— и в полном смысле современный человек. Разве это не факт, что мы и сейчас задыхаемся от потока бумаг. Но Ковдя сказал и кое-что поглубже: главная беда в том, что мы ворошим, описываем уже пройденное. Сев прошёл — мы анализируем сев. Начнётся уборка, а мы ещё только будем пережёвывать, прости — обобщать документы по обработке. Вчерашний день сидит на хребте.

Данилевский усмехнулся.

— И ты, кажется, возил его на своём хребте?

— Возил. Больше не хочу.

— Но и напрямки, Степан, далеко не уйдёшь. Это, если хочешь знать, ползучий эмпиризм. Сколько ни иронизируй, нам нужны и анализы и обобщения. Эти самые бумажки.

— Нужны,— спокойно ответил Остапчук.— Но и бумажки могут быть живыми, сегодняшними. А ещё лучше, когда они обращены в завтрашний день. Возьми постановления Пленума...

Раздался короткий стук в дверь. В комнату вошла Наталья Бойченко. Сейчас, переодевшись, она казалась выше, стройнее. На загорелом лице сверкали синевой глаза, и оно дышало свежестью, так украшающей женщин, не боящихся солнца.

— Садитесь, Наталья Климовна,— подскочил Данилевский.— Это хорошо, что вы пришли. Я как раз хотел заняться вопросом, который вас особенно интересует, о грозный страж агротехники!

Наталья ничем не отозвалась на шутку.

— Я не стану спрашивать у вашего сурового начальника,— продолжал Данилевский.— Он сегодня в дурном настроении... Скажите, пожалуйста, вы: чем объяснить, что в прошлом году во время весеннего сева было зарегистрировано пять случаев грубого нарушения агротехники. А в этом году составлено более десяти актов? И это после того, как здесь появилось столько агрономов. Парадокс!..

Глубокие насторожённые глаза Натальи испытующе следили за руками Данилевского, перебиравшими бумаги.

— Что ж тут странного? — сказала она.— Очевидно, в прошлом году не обращали должного внимания.

— Значит, вы считаете, что это явление положительное? — усмехаясь, спросил Данилевский.

Наталья вспыхнула. В усмешке Данилевского она, очевидно, увидела что-то для себя оскорбительное. Она бросила быстрый взгляд на Остапчука, точно хотела сказать: «Как знаете, но я ему сейчас так отрежу...» Однако ответила сдержанно, с подчёркнутым равнодушием:

— Простите, этот вопрос кажется мне ясным...

— На первый взгляд,— поучительно сказал Данилевский, сопровождая свои слова плавным жестом.

Остапчук вспомнил его выражение: «Пока я в области, я умнее».

— Это только на первый взгляд может показаться положительным явлением,— продолжал Данилевский.— А с другой стороны, это в очень неприглядном свете показывает работу специалистов. Вот, скажем, возвращаюсь я и докладываю начальнику об этих актах. Он за голову схватится: что же там мои агрономы делают?



Остапчук внимательно, сочувственным взглядом следил за Натальей. Он видел, что сдержанность, обычно свойственная ей, борется сейчас с другой чертой характера — прямоотой, несколько резкой, может быть, даже суровой прямоотой, не терпящей половинчатости.

— Я думаю... — Она подыскивала слова. — Думаю, что начальник сумеет разобраться. В управлении есть люди, которые хорошо знают...

Данилевский засмеялся. Ему нравилась, его забавляла эта красивая и сердитая девушка.

— Значит, я не сумел разобраться?

Наталья посмотрела на него с нескрываемым презрением.

— Не знаю: не сумели или не захотели... Но знаю твёрдо, что мимо нас не прошло ни одно нарушение агротехники и каждое мы тут же, на месте, выправляли. А в прошлом году...

Данилевский сощурился, но с весёлой улыбкой, словно поддерживая лёгкий, полушутливый разговор, спросил:

— Не кажется ли вам, уважаемая Наталья Климовна, что с первой же минуты нашего знакомства вы отнеслись ко мне... я бы сказал — нелояльно? Даже неприязненно. Но почему?

Наталья пожала плечами.

— Даже неприязненно?

— Я понимаю:следователь, — саркастически произнёс Данилевский, — фигура, ни у кого не вызывающая горячих симпатий. В особенности, если дела, будем говорить откровенно, не так уж блестящи. Но, — он внушительно поднял палец вверх, — перед вами исследователь, преисполненный доброжелательства и дружеских чувств, так что никаких оснований...

— Я не уверена в этом, — перебила его Наталья.

Данилевский удивился:

— Ничего не понимаю...

— Бывает, что люди не понимают друг друга, — сдержанно, безразличным тоном проговорила Наталья и повернулась к Остапчуку. — Я хотела с вами поговорить по поводу перестановки тракторов. Вы заняты — я подожду в агроотделе...

Когда за Натальей закрылась дверь, Данилевский, опять скривив губы и вздыхая, бросил:

— Всему учат в наших институтах. Но что касается такта... Такого предмета, к сожалению, нет.

Остапчук помолчал. Он и сам не понимал, что случилось с Натальей Бойченко.

Данилевский вдруг рассердился. Чёрт побери, речь идёт, в конце концов, не о нём и не о его работе, а об МТС, на которой работают Остапчук и эта самая нетактичная особа. Странное дело: он хочет объективно, доброжелательно проанализировать ход сева, показать, что дала работа специалистов, и вот нате вам... Выходит так, как будто он для себя старается. На какого ему это дьявола?

— Во всяком случае, и не для нас, — бросил Остапчук.

— То есть?

Остапчук подумал: нет смысла доказывать, спорить. Но Данилевский настаивал:

— Что ты этим хотел сказать?

— Я хотел сказать, что твой начальник...

Данилевский резко повернулся.

— Он такой же твой, как и мой.

— Ну, пусть будет мой,— нехотя улыбнулся Остапчук.— Так вот, мой начальник, как известно, не очень-то любит неприятные факты и ключие цифры. Особенно, когда с ними нужно итти наверх...

Данилевскому хотелось стукнуть кулаком по столу, крикнуть: «Значит, я для начальства стараюсь?», но произнести эти слова оказалось ещё труднее, чем промолчать. Он протяжно вздохнул, развёл руками и покачал головой.

— Э-эх, Степан, Степан!.. Ты никогда не ценил моей дружбы. Что ж, дело твоё. Но сроки сева...

— Это — дело государственное, — подхватил Остапчук, у которого уже так накипело, что он должен был высказаться. — Сеяли долго, так и пиши. Но отвечать за это я хочу вместе с управлением, с начальником. Запчасти куда заслали? Дополнительный план когда спустили? А мерная проволока?.. Когда прислали мерную проволоку? Дорого яичко к красному дню. Две трети кукурузы посадили вручную. Вместо того чтобы собирать эти протухшие сведения, ты или твой начальник приехали бы лучше и помогли, когда горело...

— Так и передать Петру Мироновичу? — кольнул Данилевский.

— Так и передай.

## 3

Директор МТС был нездоров. Но он всё-таки пригласил Данилевского к ужину. Зван был и Остапчук; он отказался, сославшись на неотложную работу.

Наталья Бойченко сидела против Остапчука, крутила в руках карандаш и вглядывалась в лицо агронома так, точно после долгой разлуки видела самого дорогого для себя человека. Как он похудел за эти месяцы! Ей хотелось разглядеть тоненькие морщинки вокруг глаз, умных, добрых, ясных глаз, которые умеют вспыхивать гневом, но в которых никогда не увидишь злобы, зависти, мстительности. Конечно, ему не легко. Директор — чинуша, хочет одного: чтобы всё шло тихо и гладко. Мягкая пахота!.. За деревьями не видит леса, за гектарами — урожая. Каждое свежее слово встречает пренебрежительным: «Слышали, знаем...» Или ещё так: «Об этом хорошо говорить на слётах, с трибуны». Весной, ни с кем не посоветовавшись, отдал приказ — пустить культиваторы по неборонованной ябл. И хотя бы поперёк пахоты — нет, погнал вдоль. Сроки сжимал! Конечно, Остапчук очень сдержанно, но решительно заставил директора отменить этот приказ. Главный агроном является сейчас государственным инспектором по качеству — никто не должен об этом забывать. И как государственный инспектор он не подчинён директору. Правда, она знает кое-каких агрономов — ни за что они ни с кем, а тем более с начальством, не будут ссориться. Но Остапчук не из таких. Потому-то ему и не легко. А тут ещё жена... Уже полгода один. Наталья как-то была свидетельницей того, как тётка Ксения трижды напоминала ему про обед. Квартирант... А жена, должно быть, раздумывает: ехать — не ехать! Если бы любила по-настоящему, так поехала бы не только в Привольное, а и в Нарьян-Мар, на остров Диксон, на Таймыр...

Наталья старается вспомнить названия всех самых далёких мест, которые перечисляет ежедневно диктор в сводках погоды.

— Между прочим, Наталья Климовна, почему вы так против него ополчились? — вдруг спрашивает Остапчук, возвращая Наталью из полярных далей на реальную привольненскую землю.

— А зачем он называет себя вашим другом? Он не смеет... — Губы у Натальи задрожали, и она умолкла.

Остапчук удивлённо посмотрел на неё.

— Работали вместе. То, другое... — не очень уверенно проговорил он. — Ведь вы его совсем не знаете. Или вы умеете читать в сердцах?

Наталья покраснела, опустила глаза, чтобы не видеть хмурого лица Остапчука, его иронического взгляда, осуждающего её легкомыслие, горячность, резкость. Она вдруг откинула голову и с искренним волнением, свойственным людям, не умеющим равнодушно проходить по жизни, быстро проговорила:

— Нечего там читать, Степан Иванович... Если бы он был у нас главным агрономом, ни одного акта о нарушении агротехники мы не составили бы.

Остапчук улыбнулся.

— А Данилевский в самом деле мог бы оказаться здесь, — сказал он. — Его не отпустили из управления. Он сначала Привольное выбрал...

Глаза Натальи засветились таким гневным недоверием, что Остапчук на мгновение растерялся.

— Послушайте, Наталья Климовна, — воскликнул он, — вы ошибаетесь! Данилевский — один из первых добровольцев в нашем управлении. Его не отпускали, он переживал...

Остапчук говорил торопливо, взволнованно, больше убеждая себя, чем Наталью.

И вдруг умолк, испытывая неловкость перед этой девушкой за свою наивную доверчивость и в то же время — ещё большее уважение к ней.

— Бесструктурный грунт, — покачав головой, пробормотал Остапчук.

Наталья поняла; глаза её блеснули. И верно, Данилевский — это бесструктурный грунт, измельчённый, рассыпающийся в пыль. Какие чувства, какие стремления могут вырасти на такой почве?

Секретарша вбежала в комнату и взволнованно крикнула:

— Что у вас с телефоном? Харьков... Идите в кабинет директора.

Остапчук побледнел и быстро вышел. Он угадал: звонила Тоня. Вовка сдал экзамены. Перешёл в пятый класс. Безмерно горд... А что у тебя? Почему такой голос?.. Устал? А может быть... Может, болен? Мы завтра выезжаем. Слышишь, завтра!.. Я посмотрю, какую нору ты нашёл. Известно, какой из тебя хозяин... Как хочешь, квартиру я не сдам. Тут пока останется Катя... Что с тобой? «Какая Катя»? Твоя сестра... Не думай, я не поехала бы. Вовка соскучился, житья от него нет. Чего ты молчишь? Ты, наверно, болен... Говори правду. Я так волнуюсь... Подожди, я тебе ещё покажу за то письмо!.. Ты и в самом деле человек с тяжёлым характером. Горе моё...

Остапчук засмеялся. Чужой голос проскрипел: «Разъединяю!» Что-то сухо, металлически звякнуло. Но Остапчук ещё добрую минуту держал трубку и улыбался. Потом выбежал в коридор, схватил за руки шедшую навстречу Наталью и крикнул:

— Едут, едут! Тоня с Вовкой!

Наталья в первую минуту не поняла. Потом каким-то неестественно звонким голосом сказала:

— Поздравляю. Я рада... за вас.

Остапчук, не слушая, пробормотал: «Надо всё приготовить... Ой-ой!» — и побежал дальше.

Наталья оглянулась вокруг. Хорошо, что никто не видит её в эту минуту — растерянную, покрасневшую, с внезапными слезами на глазах. Надо взять себя в руки — не девчонка же она! И немедленно домой. Там, в работе, всё забыть. Нет, она не забудет, не забудет никогда. Но так или иначе — скорее домой. К вечеру пойдут машины. Нет, лучше пешком... Чтобы никого не видеть. Ни с кем не разговаривать.

Но она пошла не домой, а к подруге. У каждой девушки есть закадычная подруга, которой рассказывают всё — и то, что нужно, и то, что не нужно. Марию она любила. Мария умеет слушать и не читает скучных нотаций.

Наталья долго говорила об Остапчуке. Таких, как он, мало. Видно, трудная была у него жизнь. И теперь ему не легко. Чуткий, с большим сердцем. У него есть мечта, романтика. А сколько таких, что живут изо дня в день, ползком... Не все его понимают, а она — она поняла сразу и поехала бы с ним на остров Диксон, в Нарьян-Мар...

Мария, до этого грустная и молчаливая, вдруг рассмеялась.

— Почему в Нарьян-Мар? Что ты выдумываешь?

Потом стала звать в кино. Привезли новую картину. Наталья горько улыбнулась: какое кино? Кончились её радости. После долгих уговоров она всё-таки пошла. Картина была весёлая, вокруг все смеялись. Наталья думала: хорошо смотреть на счастливых людей. И у Остапчука было счастливое лицо, когда он крикнул: «Едут, едут!..»

Была весна. Ожидание и тревога сжимали сердце. Девушке с обветренным лицом, всегда открытым солнцу, с потрескавшимися губами, шероховатыми, огрубевшими пальцами казалось, что вот пришло к ней большое чувство — любовь. Только ей не судьба... Что ж, она будет ему самым преданным другом. Пройдут годы, годы. И никто не будет знать, что всю жизнь она его любила. И презирала Данилевского и всех похожих на него.

## 4

На ночной поезд Данилевский опоздал. Видно, задержал ужин и длинный разговор с директором.

Остапчук об этом не знал. Когда он вернулся из тракторной бригады, Данилевского уже не было.

— Полчаса назад уехал, — сетовал директор. — Очень жалел, что не попрощался с вами.

Остапчук промолчал. Он не жалел.

Директор потирал руки и возбуждённо говорил:

— В основном, говорит, доволен. Есть, говорит, значительные сдвиги, однако успокаиваться ещё рано...

— Так и сказал? — хмуро спросил Остапчук.

— Так и сказал, — почти с гордостью подтвердил директор.

Остапчука не оставляло тяжёлое чувство горечи, стыда, досады. «Ни слова от души, — думал он. — Бездушно-казённое удовлетворение (в основном!) и такое же бездушно-казённое поучение: рано успокаиваться... Как будто может прийти такой день, когда успокаиваться будет не рано...»

— Да-а, — потирая руки, с завистливой ноткой в голосе протянул директор. — Действительно умеет. Его хотели к нам послать. Потом в Васильевку. Вынырнул... Теперь Пётр Миронович и сам говорит: «Хорошо, что Данилевский упросил меня. Нужен. Умеет. Без него иной раз как без рук...»

Остапчук крепко сжал губы. Ему хотелось крикнуть: «Да замолчи ты!» Не сказав ни слова, он ушёл к себе, развернул план уборочных работ, но думал о чём-то другом.

Вдруг, как свежий побег сквозь засохшую почву, пробилась мысль: Тоня, Вовка приезжают. И Данилевский с его круглыми словами и плавными жестами растаял, как туман над стоячей водой.

Через два дня позвонил начальник областного управления сельского хозяйства Гавриленко:

— Что там у вас произошло с Данилевским?

«Начальство уже информировано»,— усмехнулся Остапчук и сухо ответил:

— Ничего особенного. Поругались немножко...

Столько дел и забот набежало за эти дни, что позавчерашние разговоры уже мало его волновали.

— Поругались? — Слышно было, как Гавриленко хмыкнул.— Если на пользу дела, так это хорошо.

— Серьёзный спор всегда на пользу,— сказал Остапчук.— Беда только, что мы не любим ссориться там, где нужно и когда нужно. Сглаживаем острые углы.

— Знаю, тебе пальца в рот не клади,— прогудел Гавриленко.— Какие же есть претензии, жалобы?

— На кого?

— О Данилевском говорю.

Остапчук пожал плечами.

— Никаких жалоб.— И быстро жёстким голосом прибавил: — Но больше его не присылайте.

— А что?.. Выгонишь?

— Нет,— тихо и спокойно ответил Остапчук.— Я его убью.

— Ха-ха-ха...— послышалось в трубке, и что-то затрещало, защёлкало. Разговор прервался. Остапчук, довольный, положил трубку.

Но через минуту снова раздался звонок.

Начальник всё ещё смеялся. Настроение у него, как видно, было хорошее. Дела идут недурно, есть значительные сдвиги. В выходной день поймал вот такую шуку... Остапчук читал, как по нотам. Но сегодня в громком, уверенном голосе Гавриленко, даже в его смехе звучали какие-то необычные интонации.

— Убью, говоришь. Сердитый, брат, из тебя агроном... А как там обработка? Сроки, сроки... Вот что меня беспокоит. Надо было бы тебя послушать.

«Эге, видно, на заседании бюро вчерашними цифрами дело не ограничилось»,— догадался Остапчук.

— Обработываем тракторами,— скупно сказал он.— Освобожусь немного — приеду. Или сейчас вызовете?

— Кхе-кхе...— закричал начальник. Потом сказал: — Я сам приеду, посмотрю, как дело идёт.

Остапчук усмехнулся: «Боишься вызывать в горячие дни... Наука идёт на пользу».

С самого утра не давала покоя мысль. Надо ещё раз съездить к Ковде. Там молодой агроном. Необходимо самому на поле проверить, как произведено прорезивание в гнёздах, как выправлены смещённые квадраты. Иначе невозможна будет механизированная культивация в двух направлениях — вдоль и поперёк. А ведь в этом же весь смысл нового способа сева, которого добивались с таким напряжением сил и нервов.

Из конторы МТС Остапчук вырвался только в одиннадцать часов. Директор хотел подвезти его на машине, но позвонили из райкома, и машина помчалась в противоположную сторону. Остапчук был рад: тут близко, приятнее прокатиться на двуколке.

И вот он уже с вожжами в руках, а рядом сидит Вовка, крепко держится за отцовский пиджак и глазами, светящимися любопытством и восторгом, оглядывает всё кругом.

Неказистая серая лошаёдка рысцой бежит прямой и длинной улицей, которая стремительно вырывается в поле.

Остапчук смотрит — сады отцвели, весна, которую он видел и не видел, доживала последние дни, вступала в ветреное, обожжённое солнцем лето.

Выехали за село. Вовка замер — перед ним раскинулся степной простор. Из-под ног лошади поднялся столбик пыли и, кружась, побежал впереди.

И опять Остапчуку подумалось, что сегодняшней день, как и все его прошедшие дни, под встречными течениями разнообразных дел и забот завихрился, рванулся вверх и бежит широким шляхом, как этот вот смерч, мимоходом сметая пыль, а иной раз сухой прошлогодний листок, заваливающийся на дороге.

1954 г.

*Перевод с украинского А. ОСТРОВСКОГО.*



---

Г. ТРОЕПОЛЬСКИЙ

★

## У КРУТОГО ЯРА

*Рассказ*

**Р**ассвело. В поле тихо-тихо, ни звука. Кругом ни души. Сеня Трошин сидит на корточках в молодом овсе и пристально смотрит на большую каплю росы. Русые, почти белые волосы с завитушками над висками ничем не прикрыты. Сеня отводит голову то в одну сторону, то в другую, наклоняясь и прищулив глаз. Нет-нет да появится у него на лице улыбка. В руке он зажал фуражку — в ней что-то зашевелилось. Сеня приоткрыл фуражку и погладил крохотного зайчонка с гладким и нежным пушком.

— Сиди, сиди, дурачок! Ничего тебе худого не будет.

Зайчонок пошевелил ноздрями, ещё плотнее прижал уши и доверчиво полез к Сене в рукав, откуда шло тепло.

— Ну сиди в рукаве. Ладно. Сиди, так и быть: будешь там, как на курорте... Забавные эти зайчата-сосунки: ничего не смыслит ровным счётом — бери его руками и неси...

Сеня снова устремил взор на ту же каплю росы. Если посмотреть на неё слева, то виден в ней предутренний розово-красный горизонт неба; если посмотреть справа, то видно отражение зелени поля и облака. Настоящие, но крохотные облачка! Мир отражался в капле! И Сеня видит это крохотное отражение мира, тихого, спокойного, в предутренней свежести. Если смотреть одним глазом, закрыв другой, то картинка становится отчётливее, ярче. Сеня улыбался от тихой радости.

Он присел на колени и посмотрел вокруг. Роса на листьях играла и переливалась. На каждом листочке — капля, и в каждой капле — кусок мира. Много удивительного и прекрасного видел Сеня в поле, но такое заметил первый раз за свои двадцать четыре года.

Он встал. Пересадил зайчонка в фуражку и сунул её за пазуху. Чуть постоял. Перекинул перепелиную сеть через плечо, а на второе плечо вскинул связанные ботинки. Поднял с земли сумочку, в ней затрепыхались перепела. Ещё раз посмотрел на разбросанные по полю хрусталики росы и пошёл напрямиком, по посевам. Брюки у Сени уже давно были мокрыми до колен — сильнее намочить их уже не страшно. Да и роса была такая приятная, освежающая, бодрящая. Как хорошо в поле на рассвете!

Но вдруг он остановился: впереди, на кургане, как изваяние, появившееся на грани ночи и дня, стояла огромная волчица. Сеня долго смотрел на неё, не шевелясь, потом тихо прошептал:

— Здорово, знакомая!

Волчица, повернувшись всем корпусом, посмотрела в его сторону и спокойно ушла за курган.

Выбравшись на дорогу, Сеня пошёл не в село, а в противоположную сторону: он шёл на работу прямо с охоты. До села надо было бы пройти километров шесть, а до места дневной работы, на пропапку подсолнеч-

ника,— не более километра. Для такого случая он и завтрак припас с собой в рюкзаке.

Вскоре он подошёл к бригадному стану и скинул у лесной полосы ватник. На работу люди приходили не раньше семи часов, и Сене оставалось ещё часа три-четыре на сон. На стане было так же тихо, как и вокруг. Сторож, инвалид Отечественной войны Григорий Фомич, крепко спал сидя, вытянув деревянную ногу и склонив голову на грудь: зоревой сон крепок и сладок.

— Пусть поспит,— произнёс Сеня тихо.— Сейчас тут и красть-то нечего. Вот когда хлеб, тогда другое дело. Тогда, если уснёт, разбужу.

Затем он достал зайчонка и посадил на ладонь: тот был не больше гусиного яйца.

— Давай-ка я выпущу тебя тут, в лесополосе. А? Тут тебя коршун не достанет,— обратился он к зайчонку.

Сеня присел, чтобы посадить зайчонка под куст. Но тут послышались издали ритмичные щелчки, похожие на лёгкое щёлканье кнутом. Он прислушался, улыбнулся и подумал: «Константин идёт. Подожду выпустить — дам ему посмотреть». И накрыл сосунка другой ладонью.

Щелчки изредка, но регулярно повторялись и приближались. А через несколько минут на просеке показался человек. Он шёл, поднимая голову, будто смотря всё время перед собой, постукивал палочкой по голенищу сапога и тихо мурлыкал какой-то мотив. Одет он был хорошо: тонкого сукна брюки забраны в добротные сапоги, коричневая сатиновая рубашка, на плечи накинут серый летний пиджак. Кроме палочки, у него в руках ничего не было. Не доходя до Сени шага три-четыре и постучав палочкой о голенище, остановился, держа голову всё так же высоко.

— Кто тут? — спросил он.

— Я.

— Сеня... Как охота?

— Шестерых поймал.

— Хорошо.

— Роса с полночи упала, а то больше поймал бы. Перепел в росу не идёт под сеть. Орёт, как оглашенный, а ни с места.

— Ишь ты, какое дело! Боится замочиться... Жирные?

— Ничего... Садись-ка сюда, Константин. Что-то покажу.

— А ну? — И Константин, осторожно ступая, подошёл к Сене. Он был слеп. Открытые глаза были неподвижны. На вид он казался ровесником Сени. Тонкими мягкими кончиками пальцев он прикоснулся к Сене, затем они крепко пожали друг другу руки.

— Зачем и куда ходил в такую рань, Костя?

— Это тебе — рань, а мне всё едино... На кукурузу ходил — обошёл всю: теперь знаю, где она в этом году посеяна и как к ней идти.

— А-а... И нашёл? Как это ты смело по полю ходишь? Не боишься заблудиться?

— А вот она. — Костя поднял палочку и постучал ею. — Я по ней правлюсь. Пусть, скажем, передо мной столб впереди — чуть стукну ею по сапогу, и она скажет: столб. Вот дошёл до бригадного стана и вижу сразу — стан. Или вот ты сидишь, а я иду мимо: молчи, пожалуйста, а я всё равно увижу. Каждое вещество отражает звук по-разному. И посевы тоже: подсолнечник своё отражение даёт, рожь — своё. Я всё вижу. И волна такая тонкая от каждого предмета доходит к лицу... Не понимаешь? — спросил он вдруг.

— Нет, почему? Понимаю. Но только считаю — мне это недоступно. Мне закрой глаза и — каюк. Ты вот и щётки делаешь, и хомуты вяжешь, и сети плетёшь, на все руки мастер. Всё это и я, конечно, могу научиться, но только с глазами. А так — недоступно.



— Оно и мне кое-что недоступно. Вот смалу слышу: «Свет, свет», а что оно такое — понятия не имею. Скажем, зелёный лист и жёлтый лист осенью — это я вижу, пальцами определяю. А свет — не знаю. Оно вишь какое дело, мне это недоступно, значит.

— Ну ладно,— перебил Сеня, видимо не желая углублять тему разговора.— Ты смотри, кого я под комком нашёл.— И он приблизил к Косте ладони с зайчонком.

— Вроде бы крольчонок...— Костя гладил зайчонка и трогал тонкими пальцами шёрстку, ушки, лапки.— А-а! Зайчонок?

— Точно, он.

— Мякоть какой... А зачем ты его от матери унёс? Нехорошо это, Сеня. А?

— Как раз наоборот. Тут, в лесной полосе, ему безопасно, а там его коршун может в два счёта слопать. А матерей у него столько, сколько зайчих с молоком.

— Это как так?

— Очень просто. Она, зайчиха, как, значит, народит зайчат, то покормит их сразу же, а они тут же — шмыг, шмыг! — в разные стороны и под комочки или в ямочки. Всё. И прощай, мамаша!

— А потом?

— А потом так: как он захочет есть, то тихо-онько пищит: «Пи-пи-пи!» Тогда бежит к нему зайчиха с молоком, какая ближе от него. Иной раз и две сразу бегут, только ешь, пожалуйста, не ленись.

— Смотри-ка! Это ж удивление!

— Я всё это сам видел, лично. «Пи-пи-пи!» И она бежит, ковыляет. Обмокнет вся по росе, как баба у белья на речке, а бежит, спешит. И другая бежит. Ну эта, конечно, опоздает. Первая кормит, а вторая сидит рядом, головой кивает, как нянька. Ей-богу так!

— Как нянька! — рассмеялся Константин.— Прямо чудеса ты видишь на охоте.

— Всё равно всего не вижу.

Константин повернул к нему голову в удивлении: чуть выпятил губы и поднял брови.

— Чего удивляешься? Вот сейчас видел я небо в капле. Первый раз в жизни видел! — воскликнул Сеня с восхищением.— Понимаешь: облачка, заря — всё в капле...

Константин улыбнулся спокойной улыбкой и убеждённо сказал:

— Не понимаю.

— Да и не только ты. А Маша, жена, та понимает. И я в ней всё понимаю.

— И моя Настя меня понимает, хоть и зрячая.

— Это хорошо, когда понимают друг дружку. Вот и Алексей Степаныч, председатель колхоза, я так думаю, понимает, что я без охоты не могу: не препятствует. А бригадир тормозит мне. А я что: меньше других выработал трудодней? Больше, а не меньше.

— А я вот Алексея Степаныча не понимаю. Я ему говорю, что из кукурузных султанов можно венчики такие вязать — для чистки одежды употребляют в городе. За каждый такой венчик — рубль, а я один свяжу пятнадцать — двадцать штук за день. А то и больше. Тебе, говорит, и без того работы много — не справишься. Это меня-то работой испугал! Выгоды не видит. Ладно: я ему докажу по осени. Как созреет кукуруза, навяжу штук десять и принесу прямо в правление — рассмотрит и поймёт.

Оба помолчали. Константин достал карманные часы — с крышкой, но без стекла,— скользнул по выпуклым точкам циферблата кончиком пальца и сказал:

— Полчаса пятого. Пойду.

— А я посплю маленько. Да в обед прихвачу часок.

— Ну поспи, поспи.— И Константин, выйдя на дорогу, зашагал по направлению к колхозу, орудуя палочкой: то стукнет ею перед собой, по дороге, то — по голенищу.

И долго ещё доносились до слуха Сени пощёлкивания и стуки Константина: тук, тук... щёлк... щёлк, щёлк... тук... «Хороший человек Константин,— подумал Сеня, выпуская зайчонка.— Иной и с глазами того не сто́ит».

Солнце начало всходить. Свистнул суслик, будто давая знать, что он проснулся первым. Крот начал выталкивать из норы свежую землю. Пробежал полевой хорёк. И ещё раз свистнул суслик. Вспорхнул жаворонок над посевом и сразу же опустился: рано ещё петь. В чистом, свежем утреннем воздухе за километр было слышно, как спросонья заговорили трактористы у будки, заправляя тракторы для дневной смены. Сеня улёгся на ватник и сразу уснул.

Когда сторож Григорий Фомич проснулся, он увидел Сеню, раскинувшего руки и ноги. «Ишь ты,— подумал он.— Не разбудил меня. Крепко я подремал, крепко. Ну и ты поспи, охотник... Спи».

Около семи часов на дороге показался «Москвич» председателя колхоза. Григорий Фомич приободрился, но Сеню будить не стал. Из машины вышли председатель колхоза Алексей Степанович Зернов и бригадир Корней Петрович Ухов.

— Доброе утро, Фомич! — приветствовали оба сразу.

— Так же и вам!

— Э, да тут уже и Сеня,— громко сказал Алексей Степанович.

— Шшш! — зашипел Григорий Фомич.— Пусть поспит. Он же с охоты. Люди подъедут, тогда и встанет. Он никогда не опоздает.

Но Сеня услышал говор и поднялся. Протёр глаза, умылся около бочки с водой и подал поочерёдно руку приехавшим.

— Здравствуйте! Приехали, значит. Что-то раненько сегодня.

— На сенокос пробираемся,— заговорил Алексей Степанович.— Как бы не пришлось туда людей перебрасывать: сено в рядах, а барометр падает. Дождя боимся.

— Сегодня не будет дождя,— уверенно сказал Сеня.

— Ну, ты всё знаешь! — иронически возразил бригадир.

— Роса сильная была ночью,— ответил Сеня.— После росы в тот день дождя не бывает.— Он подумал и добавил: — И перепел на утренней заре не молчал. А перед дождём он больше молчком ходит.

— Барометру, значит, не верить, по-твоему? — спросил бригадир.

— Может давление падать, а дождя может и не быть. При сильной росе никогда не бывает дождя,— ещё раз повторил Сеня.

— Вполне научно,— подтвердил Алексей Степанович.— Правильно. Грести сено надо, но горячку давай не тачать,— обратился он к бригадиру.— Перебрось туда человек десяток — и хватит.

— И нога моя не ноет,— вмешался Григорий Фомич.— Перед дождём она напоминает.

Бригадир не стал перечить председателю, но по лицу было видно, что он недоволен всеми тремя собеседниками. Ему казалось, что все они не понимают самого важного: схватить сено до обеда, а не возжаться с ним до вечера. Алексей Степанович, наоборот, был вполне доволен «местным прогнозом». Он знал, что нарушение ритма в работе — вещь опасная: туда перебрось, тут дело оставь, а среди дня снова вези людей на это же место.

— Корней Петрович! — вдруг обратился к бригадиру Сеня.— Как закончим пропашку междурядий, отпусти меня дня на два.

— Вот! Видишь, Алексей Степаныч, — сразу вспылит тот. — Опять «отпусти». Ночами бродит по полю от молодой жены, да ещё и от работы хочет уйти.

— У меня трудней больше всех, — возразил Сеня. — Отпусти, пожалуйста. Наверстаю. Воскресенье буду работать.

— Не могу сейчас. В поле дела позарез, а ты — «отпусти». Понятия, что ли, нету! — воскликнул бригадир.

Алексей Степанович спросил у Сени:

— А куда ты собираешься?

— Да не хотел я говорить заранее. Может, там ничего и не получится.

— А ты скажи — может быть, и отпустим.

Сеня посмотрел на бригадира не особенно доверчиво и ответил председателю:

— В Крутых Ярах, в самой гущине — в терниках, волчица с выводком... Вырастет потомство — полстада овец перережут.

— Ну, а ты что с ней делать хочешь? Убьёшь, что ли? — нетерпеливо говорил бригадир, поглядывая на взошедшее солнце.

— Может, и убью.

— А на что тебе два дня?

— Да как сказать — может, и больше. Её же надо выследить и... — Сеня не договорил и, махнув рукой, отошёл в сторону.

Председатель и бригадир что-то говорили между собой, но Сеня не слушал. Ему было обидно, что бригадир не понимает его. Он думал, как ему быть: волчица беспокоила его уже не первый день.

Алексей Степанович подошёл к Сене и спросил:

— А подпустит она тебя, с ружьём-то? Волки хитры.

— Так надо ж сперва без ружья... Проследить, сообразить, а потом уж... Она мне уже знакомая. Знаю, сразу с ружьём нельзя. Тогда она или уйдёт заранее, или в норе отсидится, или перетащит волчат в другое логово, в иное место... Разве нору раскопать? — спросил он сам у себя.

Алексей Степанович смотрел на Сеню и думал. Сеня тоже думал, глядя перед собой в поле.

— Ты чем сегодня занимаешься? Какой наряд тебе? — спросил Алексей Степанович через некоторое время.

— За конным планетом хожу: на конях рыхлим подсолнечник. Сегодня, пожалуй, кончим.

Алексей Степанович больше ничего не сказал. Он отошёл к бригадиру. Тот что-то записывал и не поднял головы. Но Сеня услышал его голос.

— Алексей Степаныч! — говорил он возмущаясь. — Сами требуете ритма в работе, а сами вон что советуете: отпустить колхозника с поля. Не понимаю!

Потом они говорили тихо и вскоре уехали дальше.

Целый день Сеня рыхлил междурядья. Сегодня он был молчалив. На вопросы отвечал неохотно, а на шутки совсем не отвечал. В обеденный перерыв он лёг спать, как обычно, но уснуть не смог: волчица не выходила из головы. Никто, как казалось ему, не думает об этом опасном звере. В прошлом году десятка два овец порезали волки. Неужели допустить и в этом году? Кричать на правлении да ругать пастухов — дело не хитрое...

Но не один Сеня задумался о волчице. Алексей Степанович утром, когда отъехали от бригадного стана, говорил бригадиру:

— Сеню надо отпустить. От волчицы могут быть большие убытки. А может быть, она и не одна там.

— Да не убьёт он её, — возражал Корней Петрович. — Разве ж один охотник, да ещё с одностволкой, может убить матёрую волчицу? Нет. Месяц будет ходить, а не убьёт. Дело Сеньки — перепела, утишки, зай-

чишки... Он и так мне надоел со своей охотой: то его на уток отпусти весной, то он зимой уйдёт да попадёт в самую пургу, а ты за него душой болей. Прекратить это надо. Да ещё и так сказать: молод он и неразумен ещё, чтобы на волчицу одному отправляться.

— А всё-таки отпусти его, Корней Петрович,— настаивал председатель, пряча улыбку в чёрных усах. Загорелый, как южанин, он смотрел перед собой, ведя машину. Ветерок шевелил его седеющие волосы.— Отпусти, отпусти! Дело важное.

Корней Петрович безнадежно вздохнул и отвернулся в сторону.

Но вечером, на бригадном стане, он позвал Сеню и сказал коротко:

— Ну, ступай. Два дня тебе.

— Алексей Степаныч отпустил-то?

— Ты иди. Раз разрешаю, значит — иди. Всё.

— Всё,— подтвердил Сеня.

Подошла грузовая машина. Оба они сели в кузов вместе с другими колхозниками и больше не перекинулись ни единым словом. Но уже около гаража Корней Петрович сказал, сойдя с машины:

— Ты вот что, Сеня: один-то против волчицы с выводком не очень там... Поосторожней, говорю.

— А я думал, прямо как приду, так её за глотку: кхг! А она меня: хрык! — и готов.— Сеня сказал это серьёзно, без улыбки.

Но Корней Петрович понял иронию и махнул рукой.

— Чудак ты человек, Сенька! — сказал он на прощание.

Дома Сеня поужинал с женой, расстелив скатёрку на траве под клёном. Жареные перепела были очень вкусны, а блинцы со сметаной показались Сене и вовсе замечательными. Он тщательно вытер последним блинцом тарелку, проводил его в рот и сказал:

— Спасибо, Машенька! Ловко поужинал... Садись-ка сюда — я тебе рассказывать буду.

Он принёс из клетки кинжал, сделанный из укороченного штыка от немецкой винтовки, и расположился с ним у камня. Маша присела около него на завалинку. Маша — молодая, сильная, полногрудая, с задорными серыми глазами, смеющимися из-под чёрных густых бровей. На селе удивлялись: как это такая красавица вышла за такого «тихоню Сеньку». Правда, Сеня не был каким-нибудь шупликом, но и особой силой не отличался на первый взгляд, хотя мускулы его напоминали твёрдую резину, такую, что бывает у накачанного баллона автомашины, — не помнётся. И ростом — средний, но прочный в плечах. И такая, прямо сказать, красавица полюбила Сеню.

Спрятав руки под фартук, Маша ласково-шутливо спросила:

— О чём же будешь сегодня рассказывать? Про куропаток, что ли?

— Нет. Ты слушай.— Он начал точить кинжал и, не отрываясь от дела, заговорил: — Ты в каплю смотрела когда-нибудь утром, рано?

— В каплю?!

— Ага.

— Ну, ты что-то — того этого.— И она потрогала его за голову, потрепав легонько волосы.

Сеня рассказывал Маше о виденном подробно.

— Понимаешь, Машенька: дрожит, переливается то ясно, то смутно... И такая крохотулька. В кино того не может быть — недоступно им.

Маша слушала и смотрела на Сеню. И никакого задора в её глазах не было, и уже не казалось, что вот-вот слетит с её губ острое словцо, которого так боялись некоторые в бригаде.

— Хороший ты... — тихо произнесла она.

— А Корней Петрович говорит — «чудак».

— Ну и пусть говорит.

Кинжал потихоньку лизал камень.

Вечер стал уже темносиним, деревья — почти чёрными.

— Завтра я уйду, Маша. На два дня уйду, — доложил Сеня, вставая от камня.

— Далеко?

— Волчицу выслеживать.

— Страшно, Сеня. Она ведь с волчатами... Сказывают, их двое матёрых в одном месте поселились: самка да самец.

— Ну и что ж из того? Я на них так вот сразу и не полезу. Послежу. Подумаю... Как ты на это скажешь?

— Да ведь всё равно уйдёшь.

— Уйду.

— Ну иди. Ладно. — Она обняла его и чуточку так посидела, прижавшись щекой. — Пойдём, Сеня.

Вскоре Сеня уже спал, положив голову на руку Машеньки. А она дремала, боясь пошевелить рукой, чтобы не разбудить его.

Рано утром Сеня вышел из дому. За спиной — рюкзак, в нём, кроме продуктов, завёрнут аккуратно томик «Тихого Дона» (он читал роман уже вторично). Через плечо перекинул косу. За голенищем — кинжал. Сеня шёл и внимательно смотрел по обочине дороги. Наконец он свернул с дороги, сорвал пучок чебреца и натёр им кинжал: запах железа пропал совсем. После этого он ускориł шаги и направился к Крутым.

Часа через полтора он был уже на взлобке яра. Отсюда были видны все четыре берега яра, расходящегося в этом месте развилкой. Яр был широкий, с крутыми берегами, заросшими густым терником, орешником, шиповником и, изредка, дикими вишнями. Одиночками стояли в непроходимой чаще кустарника большие дикие груши. Внизу виднелась узкая и глубокая промоина с белым меловым дном и совершенно отвесными краями, а по ней тихонько журчал ручей, питаюсь из родника, спрятанного внутри развилки в непроходимой чаще. Ручеёк тёк недалеко, он пропадал в полукилометре отсюда в меловом слое.

Дальше, по ту сторону яра, начинался лес — такой, какие бывают только в чернозёмной зоне: среди дуба и зарослей лешины вкраплено множество диких груш и яблонь. Лес закрывал горизонт, и казалось, здесь конец степи и простору.

Между лесом и яром — чистая прогалина с редкими кустами: степь безжалостно оттесняла лес за яр. Со взлобка, где стоял Сеня, хорошо было видно всё вокруг обеих развилки яра: куда бы ни пошла волчица, Сеня увидел бы. Но пойдёт ли она? Где её лаз? В какое время суток она уходит и приходит? Где, точно, нора? Здесь ли и самец? Все эти вопросы Сеня задавал себе, присев на краю заросшей бурьяном воронки от взрыва бомбы.

Он отдохнул немного, затем подкосил вокруг бурьян, уложил на траву рюкзак, достал брусок и стал точить косу. Коса зазвенела, и звук её пронизал заросли яра. Сеня знал: волчица слышит, насторожилась, смотрит на него — что за человек вторгся в тишину сырого яра; знал, что волки не любят звука железа. Но он нарочно точил и точил. Потом выбрал площадку лучшей травы и стал её косить, медленно, спокойно, с остановками. Человек косит траву, должна подумать волчица, и больше ничего, — таков был первый расчёт.

Весь день Сеня пробыл, как ему казалось, на виду у волчицы, косил, обедал, делал вид, что спит, читал. Но он ни разу не заметил признаков присутствия зверей.

Перед вечером, когда Сене надо было быть особенно осторожным и бдительным, на противоположной стороне яра показался человек. Он обошёл заросли и подошёл к Сене. Это был Гурей Кузин, по прозвищу «Гурка-Скворец». Гурка, старик лет шестидесяти, шёл с престольного праздника, из села Житуки, куда он ежегодно уходил на Троицу и пропадавал там по нескольку дней. Задержать его не было никакой возможности даже всем правлением вкупе. Он сдавал лошадь и говорил скороговоркой:

— Человек я леригиознай. Обратно, в Житуках у меня тёща престарелая: должен я ей предпочтение преподнести. Обратно же, и в храм христов обязан там сходить, поскольку у нас не имеется. Грехов-то на нас, грехов-то! Господи вышний, грехов-то! — При этом он не без ехидства смотрел на присутствующих конюхов с явным убеждением в том, что у них грехов гораздо больше, чем у него, и он даже может помолиться и за них, если они попросят по-христиански.

Но конюхи не просили его ни о чём, и кто-нибудь из них сердито говорил Гурею:

— Иди, иди... Ты — водку пить, а за тебя кто-то должен работать. Азуйт ты, Гурей.

Ни председатель колхоза, ни, тем более, бригадир ничего не могли поделывать с Гуреем в таких случаях: он знал, что за это ему, старику, ничего не могут сделать плохого. На Успенье, в разгар уборки, он уходил ещё дальше, под самую Ольховатку — за семьдесят километров, и тогда отсутствовал не меньше недели.

— Как это так, — возражал он, — на Успенье да не пойти! Да для чего я тогда и живу? На Успенье к троюродным братьям, обратно, надо сходить.

Но ходил он просто-напросто пить водку. В жизни же был ехидный старикан, завистливый и большой охальник.

— Здорово, Сеня! Обратно, косишь? — зачастил он писклявым голошишком, ухватившись за тощую бородёнку.

— А что?

— Да площадку-то скосил не мене соток пятнадцать. Кто, значит, в колхоз косит, а кто себе.

— Да что ты, Гурей Митрич! Это я не для себя.

— Обратно, брешешь, Сенька. Коси, коси! Только и урвать на заполье — ни один чёрт не увидит. Коси: у коровы молока больше — Машка твоя, обратно, толще. Хи-хи!

Сеня внутренне осердился, сжал зубы. Но, сдерживаясь, вдруг сказал:

— Садись, Гурей Митрич, покури. Я хоть и не курю, а ты покуришь и... послушаешь.— В последнем слове у Сени появилась такая нотка, что, будь Гурка поумнее, он поспешил бы уйти.

— Обратно, покурю. Ладно. Коси, чёрт с ней, с травой... Туда, в колхоз, как в прорву,— не накусишься... А Машка твоя — бабища во! Да-а... Все качества у неё. Хи-хи!

Сеня не терпел никогда похабства и теперь готов был сунуть в морду охальнику, но он решил отучить Гурку похабить, по крайней мере при нём, и таинственным голосом спросил:

— Гурей Митрич! Как же ты через яр шёл?! А-а!

— А что-о?! — вытянул бородку Гурей в испуге.

— Да там же восемь волков! Сам видел. Я уж тут сижу сам не свой— не знаю, как и с места стронуться.

— А... я... я... ч-ч-ч... через яр...

— Съедят!!! — воскликнул Сеня, изобразив полный испуг.— Сам видел. Вот те крест!

Гурка сначала подпрыгнул сидя, не поднимая ног, потом неожиданно вскочил и побежал от воронки, оглядываясь на яр.

— Старый охальник! — крикнул Сеня. — А я тебе сбрыхал за милую душу. Знаю — слаб душой. Никаких волков не видал. Но смотри: чтоб при мне не похабил. Не посмотри и на возраст.

Гурей резко остановился, круто повернулся к Сене и закричал:

— Колхозную траву косить! Воровать! Над верующим человеком насмеяться! Я тебе покажу... Я тебя дойду! Сукин сын, обратно... — Наконец, подёрнув штанишки, он засеменял дальше, выкрикивая ругательства, на замаливание коих потратит ещё один рабочий день.

Придя в колхоз, Гурей, не заглядывая домой, не вошёл, а прыгнул в правление и растрещался о том, что «Сенька колхозную траву косит и возит домой». Во дворе он стрекотал о нарушении «дистиплины», о развале колхоза такими, как Сенька. Бригадир задумался: «Откуда взял всё это Скворец?» Он подумал, подумал и доложил председателю, Алексею Степановичу. Тот, не поверив, вызвал Гурку и подробно расспросил. Но и после этого Алексей Степанович не поверил и сказал:

— Сам поеду посмотрю.

Тем временем Сеня лежал в бурьяне и встречал ночь на краю воронки, не спуская глаз с зарослей. С юга, на горизонте, выпучился кусок тучи да так и остался чёрной, мрачной горой. Где-то там, вдали, вспыхивали молнии. Тихонько зарокотал гром, тихо-тихо, будто в глубине земли. «Сухой гром», — подумал Сеня. Вскоре темень накрыла землю непроглядной завесой, и ничего уже не было видно. Вспышки молнии стали ярче, но удары грома слышались всё так же под землёй. Потянул настойчивый ветер — бурьян заныл, лес за яром зашумел, зашумел беспокойно, с роко-том. Сеня свернул ноги калачиком и продолжал смотреть и смотреть. И вдруг... позади он услышал звук: будто кто переломил в пальцах тоненькую сухую будылинку бурьяна. Сеня повернул голову насторожившись. Далёкая молния на секунду слабо осветила окрестность: волчица генью стояла позади Сени, шагах в двадцати. Она зашла против ветра и следила за Сеней раньше, чем он её заметил, — вынюхивала, изучала. Так близко волки могут подойти к человеку только тогда, когда он без ружья — Сеня знал это. Знал и то, что волчица не нападёт на человека, если он не трогает её детёнышей. Он увидел её на какую-то долю секунды. Потом снова темень, непроглядная, тяжёлая, давящая на плечи. Сене всё казалось, что волчица стоит позади, но вскоре он заметил сбоку, уже дальше, два фосфорических огонька, похожих на свет кусочков гнилушки: «знакомая» спокойно уходила к логову. И это было уже успехом — она не нашла ничего опасного. Однако не было возможности определить, где она вошла в заросли.

«Сухая гроза» кончилась. Ветер притих. И Сеня уснул, завернувшись в плащ.

На рассвете он проснулся и, не поднимая головы, окинул взором местность. Всё было так же: в сероватом свете предутра яр казался мёртвым, а лес — спящим крепким зоревым сном.

Сеня ждал. Предрасветный час — час беговой охоты волков. «Знакомая» должна выйти. Но где? — вот вопрос... Увидел её Сеня уже вдали, в полукилометре от яра: волчица вышла незаметно для Сени. И он дрожал внутренней дрожью, думая огорчённо: «Не поверила, не обманул».

Утро раздвинуло серый налёт, висевший над землёй. На востоке загорелось огромное, необъятное зарево, но до восхода солнца оставалось ещё не меньше часа. Далеко отойдя от зарослей влево, Сеня спустился к ручью, предварительно натерев подошвы чебрецом, попавшимся по пути, и зачерпнул воды. Так, с котелком в руке, он немного постоял на дне

оврага. Под ногами был мел, а размытые кручки берегов промоины пронизаны корнями, свисающими до дна. Сеня посмотрел на подножие кручки. И вдруг его осенила мысль. Он нагнулся низко над землёй и стал рассматривать. На мелу он заметил пятнышки: это были следы когтей волка. Волки не убирают когтей, не втягивают их, как иные звери. Ясно — волчица ходит протоком, под прикрытием стенки кручи, появляясь в степи далеко от логова. Но раз она вышла, то должна и вернуться. Так думал Сеня. Он поспешил подняться наверх, взял косу и снова стал копать, поглядывая на проток.

Перед восходом солнца он заметил спину «знакомой»: она не бежала, а тихо шла под кручей к зарослям, будто и не слыша звуков покоса. «Человек косит траву — и всё,— мысленно вдалбливал ей Сеня.— Понимаешь, косит».

А через час, не более, появился самец; он бежал широкими прыжками напролом, пересекая склон без предосторожностей, и влетел в заросли стрелой. «Значит, логово близко от родника»,— определил Сеня.

Весь день он был в отличном настроении. Косил, варил еду, спал, развалившись на свежескошенной траве, собирал в копны вчерашний покос — без граблей, руками и концом деревянного кося, сняв с него косу. Среди дня волки парой ушли в поле и вернулись уже вечером, в сумерках: волчица шла впереди, самец — позади, следуя за ней по протоку яра. В солнечный день волки редко остаются у логова — они уходят, оставляя волчат. Ни один зверь так регулярно не кормит детёнышей, как волчица, но и пересосать себя мать не даёт — она уходит от логова, охотясь или отлёживаясь неподалёку от выводка. В это время ни самец, ни самка уже не бродяжат, как обычно, по чужим окрестностям — они живут семейством, «дома», то есть в радиусе не более пяти-семи километров вокруг логова.

— Значит, пришли домой,— сказал Сеня вслух и присел на копну. Ясно — днём можно заходить в квартиру к «знакомой». Он собрался и пошёл домой.

А вскоре подкатил к этому месту «Москвич», прыгая и переваливаясь уткой на кочках и промоинах. Из машины вышел Алексей Степанович, за ним выпрыгнул Гурка-Скворец, а уже после него появились член ревизионной комиссии, бородатый Агап Егорович, и бригадир Корней Петрович. Первым застрочил Скворец:

— Я, понимаешь, иду с престола. Иду, а Сенька мне, обратно, говорит: «Покури». Я, понимаешь, обратно, курю, а сам высмотрел всё и говорю себе в уме: «Колхозным добром того...» Ну, думаю, пушай ночь, а я пойду до председателя... Иду, а они мне, восемь волков, навстречу! Во-осемь! Ох! Нет, думаю, обратно, не испугаюсь! Всё равно не вернусь — пойду до председателя. Я ничего, обратно, не боюсь. Я, понимаешь, для правды, обратно, на что хошь пойду.

— Да подожди ты тараторить,— перебил его бесцеремонно Алексей Степанович. — Всё это ты уже сто раз пересказал. А вот я не вижу, где взято сено. Ты говоришь: «Возит домой». След от копны должен бы остаться. Да и половина сена сырого — сегодняшней покос. — В сумерках он обошёл весь участок скошенной травы, нагибаясь и рассматривая.

— Значит, где-нибудь, обратно, косит. Значит, оттуда возил. Я сам лично видел: возил-возил, истинный господь, возил.

Агап Егорович говорил басом:

— На всяк случай акт составим, Степаныч. Потом разберёмся. Да-а... Аль уж Семён свихнулся?.. Не похоже. А факт: скошено.— Он тоже ходил по покосу, нагибался низко над землёй, щупал сено и говорил: — Это вчера скошено, а это — нунче... Факт: скошено.



Корней Петрович всё время молчал — думал. А Алексей Степанович заключил:

— Никакого акта составлять не будем.

Сеня, ничего не подозревая, укладывался спать и тихо говорил Маше:

— Днём к ним пойду «в гости». «Знакомая» здоровущая, с телёнка!..

Хитрая, а обманул: знаю, когда уходят и когда приходят и где лаз.

Уснул он крепким, безмятежным, спокойным сном.

В полночь кто-то постучал в окошко.

— Кто? — спросил Сеня.

— Я — Константин.

— Не спится, что ли?

— Открой, дело важное.

Сеня вышел на улицу.

— Дело, брат, нехорошее затевается, — встретил его Константин.

— А что такое случилось?

— Понимаешь, нехорошо... Я в правлении был. Акт на тебя хотели составить... Гурка-Скворец всё говорил: «Составить акт на Трошина Семёна...»

— Акт? За что? Сам же бригадир... А Алексей Степаныч что?

— Он только и ответил: «Я своё мнение сказал».

— Неужели он поверил?

— А кто его знает, — неопределённо сказал Константин. — Ты сено косил?

— Косил.

— Возил себе?

— Да как же я колхозное сено себе возить буду!

— Хорошо... Значит, Гурка-Скворец наплёл... А ты почему косил там, где не положено, где сенокоса ещё не начинали?

Сеня подробно рассказал, зачем ему надо было косить. Заключил он так:

— Неужто поверят, что я сено стал косить для себя? Да не возьму я и былинки колхозного! Убей — не возьму! Ну, как это я не догадался раньше! Лучше копал бы лопатой. — Но, подумав, он сказал: — Нельзя лопатой: не копает там никто и никогда.

Константин постучал палочкой в раздумье, а потом сказал:

— Ну, ты спи. Спи: утро вечера мудренее.

Сеня ничего не сказал Маше, чтобы не волновать её. Он тихо лёг спать.

Около часа ночи Алексей Степанович сидел у себя дома за столом в одной майке. Он только пришёл с работы, начинающейся с шести утра, и пил молоко. Домашние все спали. В одной руке он держал газету, бегло просматривая её, в другой — кружку молока. Через открытое окно он вдруг услышал, как кто-то стукнул о плетень палисадника и осторожно, будто крадучись, шёл вдоль стены хаты, внутри палисадника. Такого ещё никогда не было, и Алексей Степанович подумал уже недоброе: выключил свет и стал в простенок меж окон прислушиваясь. В хате было тихо. В палисаднике тоже тихо. Так прошло несколько минут. Потом Алексей Степанович услышал, как человек, осторожно ступая, пошёл обратно к калитке.

«Значит, кто-то просто подслушивал», — подумал хозяин и, высунувшись в окошко, окликнул:

— Кто тут?

— Не спишь, Алексей Степаныч? Это я — Константин.

— А ведь ты ко мне забрёл, Костя. Заблудился?

— Нет. В своём селе я не могу заблудиться. Но только думал я так: не спит — постучу, спит — уйду. Ан и ошибся: ты не спишь.

— Ну садись на лавку. Я выйду.

Когда Алексей Степанович вышел из хаты, Костя спросил:

— Читал наверно? Тихо у тебя как.

— Читал газету.

— А мне Сеня привёз Островского «Как закалялась сталь». Эх, и книга, Алексей Степаныч! Какие люди бывают! — Он немного подумал и добавил: — Эх, и книга! По-нашему написана — для пальцев.

Алексей Степанович подумал: «И как это я ни разу не привёз ему книги? Привезу, обязательно привезу».

— Я тебе спать не даю. Я — по делу, — сказал Костя.

— Значит, важное дело, если ночью пришёл.

— За то, что ночью пришёл, прошу прощения. А дело важное: о человеке... О Сене поговорить пришёл.

— А что такое? — спросил Алексей Степанович, будто и не догадываясь.

Константин рассказал Алексею Степановичу всё так, как рассказывал ему Сеня.

— Понимаешь, Алексей Степаныч, — закончил он, — у него даже и в уме не было, что подумают плохое. Волков он выследил. А что он ещё мог там делать из таких работ, какие всегда видят волки? Пахать там нельзя, копать нельзя — никто там не копал. А сено там скоро косить будут — на лугу поконичили. Гурке-Скворцу не верь: Скворец — брехун спокон веков, и ничего-то он не видит. Слепой он в жизни, этот Скворец несчастный, — так ему и помирать безобразнику и охальнику.

Ровная и спокойная речь Константина в тихой ночи лилась убедительно. Алексей Степанович понял сейчас, здесь рядом с Костей, что хотя он и управляет колхозом уже около трёх лет, но в душу каждому ещё не заглянул. Вот и Константину не заглянул. А глядеть надо. И он произнёс после молчания:

— Я и не поверил Гурке. Не волнуйся, Костя. — Он подумал немного и, положив на плечо Константина ладонь, задумчиво сказал: — А насчёт веничков для чистки одежды я подумаю. Только всё это надо организовано. На зиму надо заготовить материал. Подумаю.

— Спасибо тебе, Степаныч! — взволнованно произнёс Константин. — А я, признаться по душам, подумал уже так: человек ты рабочий, с завода, пятнадцать лет не был в селе. Механику знаешь и агротехнику уже изучил. Но... понимаешь ли колхозников? Видишь, как я подумал-то неумно. Вот и хорошо: ошибся я, значит.

— Привыкаю, Константин. Помаленьку привыкаю понимать, — говорил Алексей Степанович, не снимая руки с плеча собеседника. — И Сеню начинаю понимать: один любит сад, другой — пчёл, а Сеня любит охоту, поле, природу. И колхозник хороший.

Константин ушёл домой успокоенный и прикосновение руки председателя чувствовал до тех пор, пока не уснул.

Утром пришёл за Сеной посыльный: вызывали в правление. Сеня шёл в правление мрачный. Внутри кипела горькая обида.

— Садись, Семён Степанович! — пригласил его председатель. — Мы по отцу-то тёзки с тобой.

Сеня сел, смотря прямо в лицо председателя. Тот заметил, что Сеня угрюм, и, догадываясь о причине, увидел в его взгляде нечто новое, чего не замечал раньше: глаза Сени выражали непреклонность и готовность защищаться.

— Ну? Выследил? — задал вопрос Алексей Степанович.

— Выследил.

— Теперь дальше что?

Сеня прижал фуражку к груди и с оттенком досады сказал:

— Да не возил я сена! Не себе косил... — И он, не договорив, отвернулся к окну.

Алексей Степанович встал из-за стола, накинул крючок на двери, чтобы никто не вошёл, и несколько раз молча прошёлся по кабинету.

— Ты вот что, Семён Степанович! — заговорил он наконец. — Иди-ка на волков, и сегодня... Раз выследил — надо дело до конца доводить. Сколько тебе дней потребуется?

Сеня поднял удивлённые глаза, широко открытые, и проговорил неуверенно:

— А сено?..

— Плюнь. Понимаю. Убей волков, Семён Степанович.

— Не знаю. Может, и убью.

— Ты брал когда-нибудь волка?

— Нет. От старых охотников, в Житуках, слышал, как их...

— Убей.

— Сегодня нельзя ещё итти: подготовиться надо, картечи накатать. И день надо ясный, солнечный: в такие дни они от логова уходят. — Сеня говорил тихо, уверенно, но он не сказал ни одного лишнего слова.

Алексей Степанович толком не понял, как это он собирается бить волков у логова в то время, когда они уходят от него. Председателю, может быть, и не это было важно: он понял человека.

— Не куришь? — спросил он, подавая папиросы.

— Нет.

— Ну и не кури. Это лучше. Расскажи-ка мне, как к тебе приходил Гурей Кузин, к Крутым Ярам.

Сеня рассказал, ничего не скрывая. Алексей Степанович одобрительно улыбался, и Сеня повеселел.

Кто-то постучал в дверь. Алексей Степанович сказал:

— Ну, Семён Степанович, действуй. Уничтожить выводок — огромная польза колхозу. На тебя надеюсь... Да! А может быть, загонщиков дать?

— Непроходимое там место, загонщики не выгонят.

— Ну, думай. Действуй.

Снова кто-то постучал. Алексей Степанович откинул крючок, и Сеня столкнулся в дверях, лицом к лицу, со Скворцом. Маслянистые прищуренные глазки у него сверкали искорками смеха, мелкие морщины перерезали щёки крест-накрест так, будто оставили следы его безалаберной и бездумной жизни. Гурка был явно в весёлом настроении.

Сеня вышел.

— Вызывали? — весело и громко спросил, кланяясь, Гурей.

— Вызывали, — угрюмо и тихо ответил Алексей Степанович.

— Явился, обратно, как часы!

— Явился, обратно, — иронически повторил председатель.

— Обратно, — сказал Гурей, уже сбавив тон.

— Обратные часы, — зло сказал Алексей Степанович.

Гурей растерялся и затоптался на месте, будто стоял босыми ногами на рассыпанных кнопках, и повторил:

— Часы. Точно.

— Нет, не точно. Ты — часы обратные: не в ту сторону стрелка идёт.

В соседней комнате послышался сдержанный смех. Кто-то там, изнемогая от внутреннего смеха, охнул.

Гурей ничего не понимал: он сразу как-то раскис, растопырил ноги и уже моргал медленно, опуская веки, как сонная курица надвигает плёнку на глаза. И молчал.

— Та-ак. Давно врѣшь? — рубанул вопросом председатель.

Гурей молчал.

— «Обратно» забыл? Эх ты, Гурей, Гурей! Ну что тебе за такую ложь придумать?.. Судить за клевету по статье — пользы тебе не будет. Вот что: возьми подводу, поезжай к Крутым и перевези всё сено на колхозный двор. А Семёну Степановичу отвезѣшь, как и полагается по уставу, каждую десятую копну. Это тебе в наказание за брехню: и люди будут знать, и сам запомнишь.

— Это как? К Крутым? К в-в-волкам?

— А это уж я не знаю, к кому. Сено перевезѣшь. Понял? И Семёну Степановичу — десять процентов. Дошло?

— А это кто же будет, обратно, Семён Степанович?

— «Обратно» забыл? Сеня-охотник — вот кто! Не Сеня он, а Семён Степанович Трошин.

Гурей почесал локтями бока и тоненько заскрипел:

— Я человек, обратно, леригиознай. Мне лучше бы в церкву пойтить, раз уж грех такой. Замолил бы грех, раз уж так. В церкву бы, чем за сеном. Он и сам перевезѣт.

— Ничего, ничего. Перевези сено, а потом замолишь. Кстати, и мой грех замолишь: мне бы судить тебя за клевету, а я вот против закона поступаю. Замолишь?

Гурей вздохнул и поплѣлся из кабинета, шаркая подошвами.

Весь день Сеня работал на чёрном пару, разбрасывая навоз по клеткам. Усталый, но довольный, он пришѣл вечером домой. Маша задержалась на прополке картофеля — её не было дома. Сеня вымыл ботинки от налипшего навоза, вымыл ноги, снял рубашку и обмылся до пояса. Маша пришла, когда он уже вытер тело полотенцем и так, без рубахи, копался в ящичке, выбирая лучший свинец. Она разожгла огонь под таганом, на загнетке, поставила варить картошку, а сама подошла к Сене и молча обняла его. Потом она просмотрела рубашку Сени и, обнаружив маленькую дырочку, тут же искусно зашила её. Сегодня она была особенно ласковой, но какая-то тихая. Сеня чувствовал это по её прикосновению к волосам, по улыбке и всё поглядывал да поглядывал на неё, бросая взгляд осторожно, незаметно. Он резал свинцовые палочки на картечины да поглядывал. И наконец сказал:

— Ты сегодня особенная...

— Как это «особенная»? — с оттенком лёгкой грусти спросила она.

— Да я и сам не могу тебе сказать, какая ты.

Она неожиданно села рядом с ним на лавку, прислонилась щекой к его голому плечу и прошептала:

— Может быть, тебе не ходить на волков... Боюсь, Сеня. Один ведь идѣшь.

— Как это так «не ходить»? Сам Алексей Степаныч дал команду — уничтожить выводок, — удивился Сеня.

И снова Маша оказалась побеждённой.

Рано утром следующего дня Сеня тщательно скатал нарезанные вчера кусочки свинца в круглые шарики — получилась отличная картечь; зарядил десять патронов, пересыпав картечь картофельной мукой (для кучности боя), залил верхние пыжи воском, чтобы не отошли, и отправился к Крутым. Вместо ботинок он опять же, как и в первый раз, надел сапоги и сунул за голенище кинжал. В рюкзаке была буханка хлеба, на

плечах — лёгкий ватник. Он шёл налегке, не обременяя себя ничем лишним: ружьё и лопатка.

Теперь-то он шёл с ружьём — волки далеко могут его почуять. Поэтому, ещё задолго до подхода к месту, он обогнул яры и пошёл против ветра. Надо было сделать так, чтобы ни разу ветер не донёс запаха ружья до логова и, что не менее важно, чтобы волки не увидели Сеню. Иначе вся охота пропала.

Но, несмотря на все предосторожности, в этот день он не видел волков.

В сумерках он осторожно — теперь уже под ветер — отошёл на полкилометра назад и заночевал в остатках прошлогодней соломы старой скирды. Огня разводить нельзя было. Сеня поел хлеба, густо посыпанного солью, и лёг на солому. Ему не спалось: он думал о волчице. Видела она его или нет, но было ясно, что она осторожна. Сеня был убеждён: «знакомая» знает его в лицо, узнаёт его по походке, даже по кашлю или чоху и, если учует при нём ружьё, волчат перетащит в другое место немедленно. Волк не может поверить человеку — волк ненавидит человека как непримиримого своего врага. Сеня знал, что, если поранит волчицу, а не убьёт наповал, волчица, защищая детёнышей, перекусит ему горло, как ягнёнку: раненная у логова, волчица страшна даже для бывалых волчатников. Так думал Сеня засыпая. «Вдвоём бы», — мелькнуло в мыслях. Но в селе нет охотников, кроме него.

На второй день он увидел волков среди дня в километре от Крутых. Значит, волки на день уходили. А раз уходили, то только по протоку — иначе он их заметил бы. И Сеня решил начинать. Перед заходом солнца он сполз по водомоине вниз в яр, прикрываясь бурьяном и ковылём, и засел в засаду около стенки протока, под густым кустом.

Стемнело. Наступила ночь. В овраг опустилась холодная, мутная пелена тумана. Самого тумана не было видно в темноте, и казалось, тяжёлая мокреть придавила человека в глухом яру. Ружьё стало влажным, скользким. Сеня и не пытался вытирать ружьё, избегая малейшего движения, не производя даже ничтожного шороха. Это было очень трудно: кости вскоре начали неметь, пальцы от непрерывного сжимания шейки приклада сделались какими-то твёрдыми и непослушными; он старался чаще шевелить ими, но даже и это движение ему казалось опасным: волки чутки! Короткая июньская ночь была в этот раз длинной, тяжёлой, сырой. Уже за полночь, а Сеня не видит и не слышит ничего: ни единого звука, ни малейшего шороха.

Но вдруг... он вздрогнул! — хрустнула кость. Он явственно это слышал: позади него хрустнула кость. Потом он услышал лёгкое повизгивание, похожее на то, когда провинившийся щенок скулит, перевернувшись вверх лапками и ожидая наказания, — или волчонок был за что-то отлупован матерью, или они покусали друг друга за трапезой... Ясно: волки были за спиной у Сени — в глубине зарослей, у родника. Они вошли не протоком, где сидел Сеня, а иной тропой. У Сени мелькнула мысль: «Не означает ли это повизгивание того, что волчица уже начала перетаскивать волчат на другое место?» И ему сразу показалось, что он в очень глупом положении: сидит, и волки знают, что он сидит. Но как же так? Когда он засел, то ветер ещё тянул на него от логова, потом сразу опустился туман, притупляющий чутьё волка, потом Сеня вместе с ружьём стал мокрым — это тоже выгодно для него, так как уменьшает запахи до предела. Но могло быть и так: волчица подходила к Сене, но он не разглядел из-за тумана. Нет. И этого не могло случиться: дно протока меловое, белое, и на нём даже в тумане можно видеть волчицу за пятнадцать—двадцать шагов; он присмотрелся к кустам и ещё раз подтвер-

дил мысленно: «Нет, этого не могло случиться». И, тем не менее, всё было туманно для Сени, как туманно вокруг, в яру.

С такими мыслями, с онемевшим телом, продрогший от сырости, он услышал на рассвете шорох: волки шли по зарослям. Видимо, была у них тропа: шорохи были лёгкими — волки не пробивались через колючий терновник, а шли своей тропой, изредка шевеля ветки, задевая их боками. Потом всё стихло.

Сеня осторожно повернулся лицом к зарослям. Теперь он смотрел вверх, на край яра, где, по его мнению, должны были выйти волки, — там выходила навстречу узкая и мелкая, в полметра, промоина. Вероятно, подошва её не имеет растительности, а кустарники просто скрывают её своими сплетёнными ветвями. Сеня не ошибся: волчица и волк вышли там. Они чуть посидели, посмотрели вокруг, в разные стороны, и медленно, спокойно пошли — волчица впереди, волк позади. Это было метрах в двухстах от Сени. Он решил так: если они вечером или ночью входили в заросли там же, то ружьё они не могли почуять. Другого утешения он придумать не мог, но и на этот раз надежда не оставила его.

Кое-как разогнув онемевшие ноги, он размял их, потоптавшись на месте, пошевелил руками, энергично потёр локтями бока и поднялся на верх яра, к воронке и копнам сена. Сеня замер от неожиданности: здесь никакого тумана не было — всё далеко-далеко было видно.

— Дурак я, дурак! — Сеня шлёпнул фуражкой о землю. — Да как же я не сообразил, что по туманному яру она не пойдёт!

И верно: в тех случаях, когда чутьё чем-либо ограничено, волк надеется на острое зрение. Так и в ту ночь — они входили и выходили сразу наверх по другой тропе. И Сеня снова вполголоса ругал себя:

— Эх ты, Сенька, Сенька! Сколько же тебе ещё лет жить надо, чтобы поумнеть? Какой же из тебя охотник?

Но как бы обидно ни было, а теперь Сеня окончательно считал волчицу хитрее себя, осторожнее, опытнее и даже проникся к ней уважением.

— Ну молодец ты, знакомая, молодец! — говорил он тихонько, успокоившись.

Взошло солнце. Запели жаворонки. Запоздалая зайчиха проковыляла на покой, на днёвку: заляжет теперь в лёжке и заснёт с открытыми глазами, видящими и во сне; прижмёт уши так, что слуховые отверстия остаются открытыми, всегда наготове.

«Ох ты, мудрая! — подумал Сеня. — Около волчьего дома уцелела. Съедят они тебя, дай срок: не доживёшь до зимы. Разве ж ты не знаешь: где волки, там зайцев нет? А ты всё живёшь, косолапая тёща. И ты, должно быть, хитрее меня».

Сеня вздохнул и присел на копну. Вдали, влево от леса, на чистом паровом поле он снова увидел волков — значит, далеко от логова не ушли. Они трусцой перебежали сейчас мимо работающего трактора, не обращая внимания на его близость и рычание мотора.

Вскоре Сеню потянуло в сон. Он прилёг на копну и, прижав к груди заряжённое ружьё, уснул сразу.

Спал он недолго — на вольном воздухе человек отдыхает быстро. И Сеня проснулся приблизительно в завтрак. Он сел, закусил, протёр ружьё и устремил взгляд на то место, где, по его определению, должно быть логово.

Ветерок потянул ему в лицо — это хорошо. Но что делать теперь дальше? Оставить жить семью волков и итти домой на посмешище всему колхозу? Тогда снова, чем ближе к осени, овца за овцой будет убывать стадо. Нет, он не уйдёт от яра. А дальше? Сидеть ещё ночь, две, три? Нет уверенности в том, что «знакомая» не учует его. Раскопать нору? Но тогда можно взять только волчат. Зато после волчица будет нещадно

мстить всей округе. Бывали случаи, когда старая волчица вырезала до тридцати голов овец в одну ночь, мстя за своих детёнышей. Нет, так нельзя. И постепенно, рассуждая сам с собой, взвешивая свои наблюдения за все дни, Сеня решил.

Как только пришло решение, он немедленно встал, оставил рюкзак в копне, проверил патроны и направился на другую сторону яра — туда, где выходила скрытая промоина. Вскоре он был уже там. Короткий и пристальный осмотр подтвердил, что тропа есть. Сеня застегнул ватник на все пуговицы, хотя ему и без того было жарко. Но ватника он в копне всё-таки не оставил: он был ему необходим при исполнении намеченного. Итти по волчьей тропе было невозможно: колючие кустарники и сплетения ветвей настолько густы, что пройти по ним можно, только расчищая путь топором. Сеня стал на четвереньки и пополз вниз по узкой промоине. Местами он передвигался по-пластунски. Верх ватника изорвался в клочья на половине пути. Он исцарапал лицо и руки о колючки терна и шиповника, но всё лез и лез. Вскоре Сеня услышал журчание родника. Он остановился передохнуть. Прислушался. Вдруг на рукаве ватника он увидел самую настоящую мясную муху; это и обрадовало его и в то же время мурашки высыпали на спине: близко мясо — близко логово. Он уже почувал запах псины. А через минуту наткнулся на телячий череп. Сеня встал.

В пяти шагах от него была кручка. Над нею росла огромная дикая груша, корни которой свисали вниз. А между корнями зияло отверстие — волчья нора в естественном углублении. Перед норой — небольшая площадка в три-четыре квадратных метра, чистая, без растительности. И на этой площадке сидели два волчонка возрастом месяца полтора. Они смотрели на Сеню сначала удивлённо, а потом всё ж юркнули в нору друг за другом: странное всё-таки животное на двух ногах появилось у них в доме, — лучше убраться.

Сеня пробрался к норе. Срезал кинжалом лещину и потыкал ею в нору, держа наготове ружьё в правой руке. Нора была совсем не глубокой, не более метра, но широкой внутри. Волчата урчали там тихонько, удивляясь появлению палки, но других звуков никаких не издавали (волки лаять не умеют). Волчицы не было. Сеня снял с себя узкий ремённый пояс, положил его в карман и стал расчищать лопаткой входное отверстие норы. Время от времени он останавливал работу и прислушивался. Иногда ему чудились шорохи — тогда он брал ружьё на изготовку и некоторое время сидел в напряжённом ожидании. Но каждый раз шорохи оказывались не волчьими. Только один раз он действительно весь похолодел: неожиданно над самым ухом застрекотала сорока, будь она не ладна! А эта птица может привлечь волчицу своим криком. Она так, эта чёртова сорока: человек пройдёт — протрещит, волк пробежит — протрещит, заяц проковыляет — трещит, окаянная! Иногда Сене казалось, что ружьё лежит не так удобно, чтобы при случае быстро схватить его, тогда он клал его прямо перед коленями, со взведённым курком, и продолжал работать. Встреча со «знакомой» здесь не обещала ничего хорошего — она появилась бы из гущины зарослей одним прыжком, — и Сеня работал, работал до боли в суставах. Всё ему казалось, что входное отверстие расширяется медленно. Но это только казалось: через полчаса он уже мог пролезть туда до половины туловища.

И вот он снял ватник. Прислушался. Вытер пот со лба рукавом. Ещё раз посмотрел на ружьё и... полез в логово. Какой-то особенный запах волчьей псины ударил в нос. Он ощупал рукой впереди себя дно логова, оно было чисто, без подстилки. Он повёл ладонью по дну вправо и, наткнувшись на мягкое, заграбастал всеми пальцами волчонка. Зверёныш попался так, что рука Сени перехватила ему горло, и тот захрипел. Сеня

вылез. Разжал пальцы. Волчонок хлебнул несколько раз воздух и, сразу опомнившись, попробовал нырнуть в логово. Но Сеня прижал его обеими руками, и, несмотря на то, что тот скалил зубы, извивался, урчал, он перевязал его поперёк живота пояском. Тёмно-тёмносерый щенок, не видевший никогда человека, уже возненавидел его всем существом: он грыз ремешок, кусал землю, но ничего не мог сделать. Сеня завернул его в ватник и направился старым следом на верх яра. Теперь, на гору да с волчком, ползти по промоине стало труднее. Но надо было спешить, иначе он может встретиться со «знакомой» лицом к лицу — нос к носу!.. И снова — проклятая сорока! Но он спешил, спешил изо всех сил.

Когда он поднялся наверх, рубашка представляла сплошные лохмотья, а тело исколото и иссечено во многих местах; это не так страшно — пройдёт. главное в том, что Сеня уже наверху. Он вновь срезал палку, привязал к её концу ремешок от волчка и потащил его. Волчонок упирался, то волочась на всех четырёх лапах, то на боку; иногда он ухитрялся вцепиться зубами в ремешок и так тащился волоком, свернувшись колючком.

Сеня шёл быстро. Но, когда волчонок начинал кувыркаться, он останавливался, давал ему немного успокоиться и снова тащил его дальше. Шёл так, чтобы ветер дул всё время в спину. Так он дотащил волчка до воронки, откуда следил за волками ранее, в первые дни. Здесь он развязал обессиленного и измученного волчка, который уже и не пытался укунить, — он тяжело дышал, вздрагивая. Затем Сеня быстро выкопал маленькую ямку, в полметра глубиной, завернул волчка в ватник и уложил свёрток в ямку.

Теперь Сеня сидел с ружьём в руках, лицом на ветер, в ту сторону, откуда тащил волчка. Расчёт у него был таков: волчица пойдёт по следу волчка обязательно, пойдёт немедленно, как только появится в норе; ветер будет от неё — ружья она не почует, а Сеню увидит только в нескольких шагах. Он сам шёл на короткую и страшную встречу со «знакомой».

Прошло уже много времени — Сеня не знал, сколько прошло. Он не заметил, как солнце свалилось за полдник, как уже упала прохлада, но он сразу ощутил приближение вечера по уменьшению ветра. Ветер затихал. Это было очень и очень плохо. Но, как только он это подумал, он увидел... «Знакомая» на рысях бежала по следу детёныша, опустив голову. Сеня прижался к земле, сжимая в руках ружьё. Волчица бежала, не раздумывая, торопясь, прямо и прямо на Сеню: она была готова на всё. Вот уже двести метров... Сто... Она повернула голову и посмотрела в сторону не останавливаясь. Вот уже Сеня видит широкий лоб, палкой опущенный хвост и горбинку на спине.

«Не поранить, — думал он, — не поранить. Или наповал, или совсем не попасть». На какую-то малую долю секунды он вспомнил Машу, но это было только на миг... «Знакомая» остановилась в десяти шагах от Сени с ходу, будто напорвшись на что-то. Она почуяла. Она подняла шерсть на спине и, чуть оскалив зубы, пошла шагом. Сеня увидел бледно-розовые дёсны волчицы. О, она уже точно знала, кто взял волчка. Знала! И Сеня выстрелил ей в грудь. На секунду дым закрыл волчицу от него. Он-то знал, что перезаряжать одностволку поздно, и выхватил кинжал, встав на колени. И увидел: «знакомая» пала на колени, уткнувшись носом в землю; она подняла зад на лапы, не желая падать совсем: она ещё хотела встать и сделать прыжок — один-единственный, последний прыжок, чтобы вцепиться зубами и, не разжимая их, умереть. Но она встала на четыре лапы и рухнула наземь.



Всё было кончено. «Знакомая» лежала перед Сеней. А он ещё с мину-ту всё стоял на коленях с кинжалом в руках, с запёкшейся от царапин кровью на лице, в изорванной рубахе; он тоже был страшен.

...Самца он убил на следу волчицы: Сеня тащил её волоком метров сто и снова засел в засаду. Волк напоролся на него, подскочив на больших прыжках, не подозревая засады. Увидев Сеню, он резко повернул в сторону, бросившись наутёк, но картечь ударила в бок.

— Трус! — презрительно сказал Сеня, подходя к мёртвому самцу.

В норе оказалось ещё три волчонка. Их Сеня убил уже утром следующего дня. Он стащил матёрых волков и тех трёх волчат в воронку и потихоньку пошёл домой, неся подмышкой живого волчонка, завёрнутого в ватник. Он освободил ему голову совсем, слегка перетянув ватник вокруг шеи. Может быть, потому, что волчонку было уютно и тепло, а может быть, истрадавшись, он был уже благодарен за то, что его приютили, — он не кусался, не рычал, но на Сеню не смотрел, отворачивая мордочку в сторону и вниз.

Последние метры до своей хаты Сеня шёл через огороды с трудом, пересиливая себя, чтобы не лечь прямо на картошку.

Маши не было дома. Сеня посадил волчонка под печку, снял остатки рубахи и брюки, подошёл к колодцу во дворе, вылил на себя ведро холодной воды, немного посидел, без мыслей, на срубе и только после этого стал мыться.

...В правление он вошёл тихо, как и обычно, и постучал к Алексею Степановичу. Тот отозвался:

— Входите!

А когда Сеня вошёл, улыбаясь, пожал ему руку.

— Алексей Степаныч! — обратился Сеня. — За волками подводу бы послать.

— Уби-ил?!

— Убил.

И только после того, как привезли волков, а народ собрался глазеть на них, обсуждая и восхищаясь, Алексей Степанович оценил и понял, что сделал Сеня: на это могли решиться только три охотника вместе, не меньше. А Сеня постоял перед волками в задумчивости и, не обращая внимания на похвалы и восклицания, тихо произнёс, глядя на «знакомую»:

— Вот и всё... Страшная-то какая! Как же это я, правда, один-то пошёл?!

Гурей понял это по-своему и сказал:

— Это, Семён Степаныч, тебя осподь-бог, обратно, спас.

— Глупый ты, Гурей Митрич, хоть и пожилой человек, — возразил Сеня.

И удивительно: Скворец ничуть не обиделся, а сказал в ответ так:

— Каждому человеку, Семён Степаныч, богом, обратно же, свой разум дан. — Он помолчал и с явной завистью продолжал: — Это, значит, по триста рублей за голову от государства — полторы тыщи, да за шкуры, обратно, не меньше шестисот. Эва! Больше двух тысяч! — Он почесал в затылке, крикнул от зависти и поддёрнул брючишки, уцепившись одной рукой за переднюю пуговку, а другой — позади. Гурка-Скворец очень сожалел сейчас о том, что не он убил волков, и ему казалось, что он вполне мог бы это сделать. Но он только повторил ещё раз: — Да-а... Боле двух тыщ.

Алексей Степанович дополнил:

— Это не всё, Гурей Митрич: полагается премия от колхоза — по овце за каждого матёрого волка.

Но Сеня не слушал Гурку. Сеня смотрел и смотрел на «знакомую», не отрываясь, и сказал ещё раз, тихо, шёпотом:

— Вот и всё кончено...

Дома он вытащил волчонка из-под печки и задумчиво смотрел на него долго, долго. А рядом сидела восхищённая Маша.

Было это два года тому назад.

Волчонок стал уже большим волком. Никому из чужих он не позволяет к себе прикасаться, кроме Кости. Алексей Степанович всё так же бесменно руководит колхозом и часто заходит к Сене домой. Тогда волк смотрит на председателя спокойно, с достоинством.

В общем, если хотите видеть ручного волка, заходите к Семёну Степановичу Трошину прямо в колхоз «Светлый путь». Только имейте в виду, днём его не застать — он обязательно на работе. А если охотится, то придётся подождать его денька два. Он всё тот же, так же любит жизнь — вот эту, нашу, настоящую жизнь, что порою отражается и в капле.



---

АЛЕКСАНДР ПИСЬМЕННЫЙ

★

## В СЕЛЕ УНГОРЯНЫ

*Рассказ*

Говорили о медицине.

Пассажир с толстым и добрым лицом большого упитанного мальчика запальчиво доказывал, что медицина — наука несостоятельная. Мелочь возьмите — бородавка какая-нибудь вскочила на руке, отчего это произошло, какая тому причина — ничего толком неизвестно. А если не бородавка, а случилось что-нибудь посерьёзнее?..

Второй пассажир, коротко стриженный, рослый, худой, усмехался, покачивая головой.

— Уж будто она такая несостоятельная, эта медицина?.. А вы мне вот что скажите, если занедужите ненароком, врача зовёте? Помощи от него ждёте? Лекарства принимаете? Что врач вас вылечит, верите? Значит, бородавка-то бородавкой, а медицина вещь всё-таки нужная, а?

Третий пассажир лежал на вагонном диване и притворялся, что читает. На самом деле он не читал, а прислушивался к тому, о чём говорят попутчики.

Накануне он видел в городе этого рослого, немолодого человека при несколько странных обстоятельствах и запомнил его. В тот день было даже для Молдавии очень жарко, и на какой-то неказистой горбатой улочке, выходящей к кишинёвскому базару, старик в обтрёпанном брезентовом пыльнике и в синем выгоревшем старомодном картузе с треснувшим лакированным козырьком продавал муст из лилового деревянного бочонка. Мустом называют в Молдавии неперебродивший виноградный сок, божественное питьё.

Человек, заступившийся сейчас за медицину, не глядя на старика, сунул ему пятёрку и попросил стакан муста.

Старик узнал покупателя. Он заулыбался, и его бурое лицо с тощей пегой бородашкой покрылось сеткой мелких пыльных морщин. Протягивая стакан, наполненный рубиновым соком, он сказал неприятно заискивающим и, пожалуй, испуганным голосом:

— Алексей Михайлович, моё вам почтеньице! Как изволите здравствовать?

Успевший поднести ко рту стакан с виноградным соком, человек, названный Алексеем Михайловичем, приостановился, глянул на старика и, не приронувшись к стакану, выплеснул муст на пыльную землю. Затем он поставил на бочонок стакан и, не взяв сдачи, пошёл прочь.

Старик злобно сверкнул глазами и позвал жалобным голосом:

— Алексей Михайлович!..

Тот не обернулся.

Теперь, в вагоне, посматривая изредка на Алексея Михайловича, третий пассажир раздумывал о том, что же такое произошло у них со стари-

ком, торговавшим мустом, какие нити связывали этих, ничего, казалось бы, не имеющих общего, людей?

А четвёртый пассажир, красивый малый с оливковой матовой кожей на лице, тонкими щегольскими усиками и иссиня-чёрными, как пишут в романах, зачёсанными назад блестящими волосами, ехал вместе с Алексеем Михайловичем по одному делу. В разговоре он участия не принимал, немного погодя поднялся и вышел из купе, — в соседнем вагоне ехали его приятели.

Поезд отошёл от Кишинёва, перегруженный пассажирами, фруктами и вином, как только и может быть перегружен поезд, отходящий с юга в конце лета. Тучные, уже пожелтевшие молдавские поля поражали воображение буйным своим изобилием. Это было какое-то торжество всего растущего, зреющего, наливающегося соком. Вдоль железнодорожного полотна бежали голенастые подсолнухи, похожие на мальчишек в соломенных брылях, измазанных в дёгте. Тянулись виноградники с огромными гроздьями, притупренными изумрудной пылью. До самого горизонта простирались кукурузные поля, им не было ни конца, ни краю, и каждый кукурузный куст с седебородыми початками был так гогуч и так величественен, что походил скорее на какое-то неведомое тропическое растение, нивесть каким путём занесённое в эти края, чем на привычный и тривиальный источник мамалыги.

Поездные пассажиры, как известно, много едят и много болтают о всякой всячине, проявляя при этом свойства, превосходно сформулированные Тимирязевым, — «знать всё о чём-нибудь и что-нибудь обо всём».

Поговорив о медицине, они перешли к вопросу о квадратно-гнездовом способе посева...

— А я вас видел в Кишинёве, — сказал Алексею Михайловичу пассажир, лежавший на диване, и сообщил, при каких обстоятельствах.

— Верно, было такое дело, — отозвался Алексей Михайлович и покачал головой. — Старик этот, который мустом торговал, бывший мой фельдшер, некто Гусаков. Препаршивейшая личность. До сих пор как увижу его, так прямо пепел Клааса стучит в моё сердце... И ненависть к нему и сознание собственной вины в какой-то мере. А в общем, бр-р-р, омерзение!.. — Алексей Михайлович замолчал, заинтересованные попутчики ждали продолжения. — Возвращаясь к вопросу о медицине, нужно рассмотреть ещё один аспект, так сказать... Видите ли, я сам — врач, и я мог бы рассказать одну историю... Хотите послушать?.. Тогда начну с того, что сюда, в Молдавию, я попал сразу после демобилизации. Ну и наследство оставили нам гитлеровцы, я вам доложу! Прежде всего, разорённый, взорванный, сожжённый край, представить страшно! Потом никаких запасов продовольствия. Всё, подлецы, вывезли подчистую! Сейчас мы с вами едем, благодать кругом какая, а тогда — засуха, недород. В общем, что вам говорить... И голод и эпидемии, горе-гореванское!

Приехали мы с женой в село Унгоряны, куда я получил назначение, ночью.

Слезли на шоссе с попутного грузовика; на дворе — ранняя весна, снег сошёл, грязь по шею. Луна светит на полный накал, и всё вокруг блестит каким-то чертовски таинственным светом, как на дне морском...

Впрочем, это уже беллетристика.

Подхватили мы свои чемоданчики и вещевые мешки и пошли в село. На окраине прохожий солдат показал нам белый дом с полуснесённой черепичной крышей — это, дескать, и есть фельдшерский пункт. Подходим. В окнах — ни зги, одно высажено начисто и заколочено фанерой да заткнуто каким-то тряпьём. На крыльце стоит большая белая собака, в лунном свете зеленеет её шерсть.

Что за чёрт! Стоит собака молча, смотрит на нас и не лает, но и хвостом не виляет. Шею опустила по-гусиному, глаза в лунном свете блестят, попробуй, сунься к двери.

А тишина в селе такая, точно вымерло всё — ни огонька, ни шороха. Только где-то далеко-далеко, за тридевять земель, в тридесятом царстве, ревьёт, надрывается мотор застрявшей машины. Может, той самой, на которой мы и приехали. Неприютно всё, незнакомо, тоска за душу берёт. Как-то будет тут нам работаться? И одна мысль: хорошо хоть, что нас двое.

А надо вам сказать, что поехал я именно в Молдавию по одной весьма, так сказать, деликатной причине. У меня была язва двенадцатиперстной кишки. Собственно говоря, я бы и на войну не попал из-за язвы, да сам, так сказать, напросился. Я хирург по специальности. А для хирурга, как известно, нет лучшей школы, чем полевые госпитали.

Жена, конечно, была против: «Куда тебе на фронт с твоим здоровьем. И сам пользы не принесёшь, и других отвлечёшь от дела». Она, может, и была права, да суть состояла в том, что в области медицины я придерживался одной, так сказать, теории. Впрочем, я и сейчас в неё верую, а именно в то, что сильный духовный подъём настолько повышает внутреннее сопротивление организма, что всякие там язвы, ишиасы, нарушения обмена веществ и прочие партикулярные болезни исчезают бесследно.

Короче говоря, я добился отправки на фронт. Воевал я на Западном, на Северо-Западном, на Втором Белорусском. Особенно тяжело было на Северо-Западном. Знаете, сплошные болота и леса. Землянку иной раз отыскать и не думайте — вода и вода! Сапоги и то просушить негде. Но и на других фронтах ни о диете, ни о каких-нибудь там удобствах, конечно, и думать не приходилось. Я выкуривал по полпачки табаку в день, а при моей болезни нет ничего вреднее курения; случалось, неделями сидел на консервах да на чёрных сухарях; тысячи операций сделал собственноручно да сколькими ещё руководил, потому что был ведущим хирургом госпиталя. И ни разу, заметьте, за все четыре года не чувствовал себя плохо со стороны своей язвы. Ни разу! Через каждые пять-шесть месяцев я становился под рентген, меня мяли, щупали, кормили бариевой кашей, будь она неладна, и ни разу рентгенологи не обнаруживали признаков болезни.

Ну, а как война кончилась и больше не нужно было думать, куда разместить раненых, да как с подвозом медикаментов, и не приходилось больше по трое суток простаивать за операционным столом, как случилось во время крупных боёв, я вскоре захандрил, почувствовал свою хворобу, а там вскоре мой liver и вовсе взбунтовался.

Посоветовался я с товарищами-терапевтами, нашли, что с хирургическим вмешательством можно повременить, а попробуй-ка ты, говорят, податься куда-нибудь в благодатные края, испытай какое ни на есть целительное питание.

Подумали мы с женой, погадали и выбрали Молдавию, виноградную страну.

Откуда мы знали, какая тут сложилась обстановка?

Уже в Кишинёве входим в гостиничный номер, батюшки-светы! — госпитальные белые койки с подъёмными изголовьями, на потолке — дыра, прикрытая незастукатуренными досками, умывальник с разбитой раковиной, всё, как было после бомбёжки. В общем, понятно без слов: в лечебном отношении дали мы некоторую промашку.

А когда в Министерстве здравоохранения рассказали мне, в каком состоянии врачебные участки и каков вообще был уровень медицинского

обслуживания во времена Антонеску и оккупации, я понял окончательно: да, тут будет не до виноградного сока и прочих благодатных вещей.

В районе, куда предстояло ехать, в селе Унгоряны, прежде работал один частнопрактикующий врач. А теперь и он куда-то сбежал. Остался фельдшер Гусаков, так о нём только и славы: взяточник, знахарь, спекулянт. Представляете, какая картина?

Прихожу на приём к заместителю министра, он ещё подбавляет краски:

— В отношении эпидемиологического неблагополучия,— говорит,— мы сейчас стоим на первом месте по всему Советскому Союзу. Что успели сделать в сороковом году, после освобождения Молдавии, всё пошло насмарку.

Одним словом, обрадовал!

Однако не в моём характере, видите ли, отступить — раз выбрал такое местечко, значит, давай попробуем. На войне похуже было, выдюжил, самомобилизовался. Ну и тут, раз такая обстановка, тоже должен самомобилизоваться.

И вот мы в селе Унгоряны. Весна, ночь, луна, и перед нами на крыльце полуразрушенного фельдшерского пункта — белая собака.

Поставил я на землю чемодан, поднялся на крыльцо. Собака ещё ниже опустила голову, но отодвинулась, не издав ни звука, потом сбежала с крыльца, чувствую, стоит на земле, уставилась мне в спину.

Постучался я — молчание. Я — сильнее. Потом ещё сильнее.

Наконец слышу, за дверью зашуршало, загремели запоры, дверь открылась, кто-то, держа дверь на цепочке, нацелился в меня электрическим фонариком. Свет слабый, жёлтый. С трудом можно разглядеть за дверью человека в валенках и в старой шинели, брошенной на плечи.

— Батарейка села,— говорю я вместо пригетствия, догадываясь, что передо мной собственной персоной фельдшер Гусаков.

— Вам что угодно? — спрашивает он.

Я хоть перешёл на штатское положение, а погоню с шинели ещё не снял. Всё-таки майорская звёздочка!

— Это фельдшерский пункт? — спрашиваю.— Мне фельдшера Гусакова. Вы будете?

— Так точно,— по-солдатски отвечает Гусаков и, чувствуя, с беспокойством поглядывает на мои погоны.

Объясняю, кто я такой. Оказывается, Гусакова предупредили о нашем с женой приезде, он только не ждал, что военный.

Снимает фельдшер цепочку с двери, а белая собака в два прыжка — и на крыльцо, меня даже в ногу толкнула боком. Гусаков на неё истошным голосом:

— Пошёл вон, пёс окаянный! — А собака никакого внимания: отошла к краю крыльца и смотрит на хозяина.— И представить нельзя, что за исчадие ада, вот так подойдёт молча и укусит,— говорит фельдшер.

Я сошёл с крыльца за вещами и, возвращаясь назад, ещё раз взглянул на собаку. Ну, ясно! Это донельзя оголодавшая собака.

— А ведь вы её попросту не кормите,— говорю Гусакову.

— Её ещё кормить? Сама найдёт! — отвечает фельдшер и опять с визгом на своего пса: — Пошёл вон, голодранец!

В помещении, куда мы вошли с женой вслед за Гусаковым, освещавшим путь своим тусклым фонариком, было сыро и, как всегда в плохих медицинских заведениях, пахло дезинфекцией.

На некрашеном кухонном столе горит семилнейная лампочка, на дощатом топчане — грязный бараний тулуп; здесь, видно, и спит фельдшер. У стены — белый шкафчик с медицинским инвентарём, лекарственных

ными коробками, баночками и пузырьками, кюветами с инструментом, замызганным стетоскопом. В разбитое и заткнутое рваным одеялом окно задувает ветер. Пламя в лампочке колеблется, мажет стекло языками копоти. Худо, одним словом.

Оглядевшись, я спрашиваю:

— И при румынах так было?

— Стол иной был. Преотличный. Кушетка была. На стене висел портрет королевы Елены, королевы-матери.

— О-о, портрет королевы-матери вещь существенная,— говорю.— Ну, а инвентарь? Инструментарий?

— Всё, что зрите. Слава богу, это хоть уцелело,— говорит Гусаков, шаркает ножкой, нагибает голову. Видно, очень человек уважает военных.

— Ну, а много у вас больных? — продолжаю спрашивать.

— Да как разве кто знает? Я обследован не производил, помилосердствуйте. Много, конечно. У нас всегда много больных. Народ дикий,— отвечает Гусаков.

Стоит он передо мной маленький, бородёнка пегая, всклокоченная, как из пакли, и брови взъерошенные, нависли над глазами, точно их гладили, как говорится, против шерсти; глаза бегают, юлят. И речь у него с каким-то церковно-библейским оттенком. Старовер, может быть, или от русского языка отвык?

Жена обмахнула варежкой табуретку, села, сидит, молчит.

— Народ-то вы оставьте в покое,— говорю.— Давно здесь работаете?

— Лет тридцать, почитай,— отвечает фельдшер.

Однако ничего себе стаж!

— Ну, а стекло когда выбили? — спрашиваю.

— Ещё в сорок первом, когда началась война.

Тут и жена моя не выдержала.

— Неужели не удосужились вставить до сих пор? — возмутилась она.

А Гусаков отвечает:

— Стекло пустяки, что стекло? Аспирина нет! Медицинских банок осталось три штуки. Немецкие солдаты растащили шнапс пить. Если, наоборот, у кого теперь пневмония, так с места на место приходится переставлять, как в шашки играем. Или возьмите камфору. Без неё, как без рук.

— Ну хорошо, пускай режим Антонеску, война, оккупация, но неужели сами не могли что-нибудь сделать? — настаивает жена.— Ну стекло-то хоть с сорок первого могли сами вставить?

Представьте, это Гусакова насмешило. Он даже ручками всплеснул. А потом говорит, и голосок у него унылый, скорбный:

— Здесь это не принято...

Я присел на подоконник, спрашиваю:

— Сегодня вызовы к больным были?

— Как не быть! Даже вечером, стемнело уж совсем, девочка пришла из Топора, окрестность здешняя имеет такое название. Мать, сказывает, заболела.

— Ну, и вы были уже?

— Кто ж вечером пойдёт, что вы? Завтра схожу. Сходить вообще надоть, конечно. Там у них в Топоре чуть не в каждом доме сыпной или возвратный. Боярское наследие.

— Хорошо,— говорю я и встаю с подоконника.— Мы сейчас пойдём. До утра это вы при Антонеску ждали.

— Помилуйте,— говорит Гусаков.— Сейчас два часа ночи!

— Вот и хорошо. До утра много времени.

— Воля ваша, конечно, но здесь так не принято!

— Курочка, яички, килограмм пять зерна,— так принято? — говорю я и смотрю в упор в его рыжие воровские глазёнки.

Больше Гусаков не поминал о том, что здесь принято, а что не принято, вышел в сени, и слышно было, как он там одевается, топаёт, натягивая сапоги, кряхтит.

Мы с женой помолчали, и вспомнилось мне, как мальчишкой батрачил я с отцом в рязанских деревнях. Вот разве там, в старые дореволюционные времена, было такое же запустение. Но с тех пор сколько воды утекло, какие перемены свершились!..

В самом деле, знаете, живёшь и свыкаешься как-то с завоеваниями советской власти, забываешь, чего достигли, какими были и какими стали, как изменилось всё вокруг, да и мы с вами. Помните, об этом Жданов хорошо сказал. А вот столкнёшься где-нибудь с прошлым, вспомнишь какую-нибудь картинку из детства, и тут-то со всей осязательной, так сказать, полнотой почувствуешь, как далеко мы в советские годы шагнули! Никакие книги, театры, выставки с такой силой вам этого не покажут.

Жена подошла ко мне, положила руки на плечи и говорит:

— Послушай, Алёша, как же ты будешь здесь работать?

Я отвечаю:

— Это, Сонечка, ты оставь. Раз приехали, значит — всё. Может, именно такая обстановка мне и нужна.

— Опять эти мистические теории! — Она ни за что не хотела признавать моё упование на самообливающие способности человека.

Известное дело, жене не переспоришь. Отошла она от меня опечаленная, встревоженная, недовольная.

Гусаков между тем оделся, и мы пошли с ним по тёмной сельской улице на далёкую окраину. Дорога разбита военными машинами, в рытвинах блестит чёрная вода. Топорщатся по краям дороги ветки молодых акаций. В первый год листья у них распускаются совсем на акацию непохожие, остроколючные, на второй или на третий год они меняют форму. Шлёпаем мы по лужам, блестят в лунном свете на придорожных крестах раскрашенные распятия, а кругом холодно, сыро и, как в погребке, — тишина. Даже застрявшей машины не слышно, выбралась она, что ли, или мотор заглох?..

Гусаков шагал впереди меня, поскольку он знал дорогу.

Должен вам сказать, что в тот вечер чувствовал я себя весьма неважно: ныло в боку, мучила изжога. Скверно я почувствовал себя ещё накануне, в Кишинёве; жене об этом я не сказал — к чему лишние волнения? Шагал я теперь по лужам за этим Гусаковым как придётся, вспоминал фронтовую распутицу, когда, бывало, промокаешь по пояс в дорожной грязи. На душе, признаться, было у меня скверно.

Оглянувшись, Гусаков говорит мне кротким-прекротким голоском:

— Вот вы дивитесь, почему стекло до сей поры не вставлено, а вы обзрите, как здесь народ живёт. Молвишь ему: «Пойди, помойся», а он в ответ: «Я никогда не мылся. Родился — искупали. Помру — обратно искупают», верное слово. И с этой стези ты его не сдвинешь. Так сказать, предрассудки капиталистического строя, — объясняет он мне.

Наконец доплелись мы к тому дому, откуда вечером приходила девочка. Долго нам не отворяли, потом за железной решёткой — в молдавских сёлах такими решётками всюду окна ограждены — засветился огонь, и мужской голос что-то спрашивает по-молдавски. Гусаков отвечает. Молчание, раздумье, наконец, дверь открывается.

Молодой хозяин, красивый, как на картинке, с узким бронзовым лицом и шегольскими тонкими усиками встречает нас неприветливо. Лицо напряжённое, взгляд насторожённый.



— Скажите ему, что я врач,— приказываю Гусакову.

— Сказывал. Не любят они нашего брата,— отвечает Гусаков, имея в виду под словами «нашего брата» медиков, к каковому числу он и себя безоговорочно причислял.

Злость меня берёт. Совершенно ясно, не любят молдавские крестьяне «нашего брата» потому, что такое посещение совсем недавно стоило пять-шесть миллионов лей. Как им втолкуешь сразу, что теперь это бесплатно?

Входим в хату. На земляном полу, вижу, на домотканых шерстяных коврах лежит покрытая овчиной молодая женщина. Её знобит — у порога слышно, как она стучит зубами. Рядом с большой — девочка лет десяти — она, должно быть, и приходила вчера за Гусаковым. У стены спит на полу мальчишка поменьше. Ножки он выпростал из-под рваного одеяла и во сне перебирает ими, шаркает по стене, верно, кусают насекомые.

Я приказываю Гусакову:

— Детей положить отдельно. Спросите, нет ли у хозяина лампы поярче? Да скажите ему, что денег за визит я не беру! Бесплатно, бесплатно! — пытаюсь я самостоятельно внушить хмурому хозяину.

Молдаванин переступает с ноги на ногу, вздыхает и говорит недоверчиво, исподлобья поглядывая на меня:

— Та нам не трэба...

— «Не трэба»? А девочку зачем посылал?

— Сама пийшла.

Вижу, Гусаков с этакой ухмылочкой жмётся в сторонку. В чём дело? Ага, догадываюсь, крестьянин посылал за фельдшером — его таксу он знал, а доктора, да ещё нового, он испугался.

Я опять начинаю втолковывать:

— Ты не бойся. Говорят тебе, бесплатно. Ведь сам заболеешь, если уже не заболел. И дети заболеют. Понимаешь?..

В тот год всё заново рождалось в наших Унгорянах, и во всём, возникшем заново, мы с женой должны были принимать самое непосредственное участие. Детвора впервые шла в школу учиться на родном языке, и не хватало учителей-молдаван; люди, окончившие четырёхклассное училище, преподавали в седьмых классах, такая была картина. Нам с женой приходилось помогать им. С опаской входили в читальню молодые парни: это бесплатно? И приходилось советовать, что почитать, объяснять непонятное. Прибывали сортовые семена; мы объясняли крестьянам их достоинства. Во время обходов больных, а постепенно в крестьянских домах стали с благодарностью принимать мои визиты, угощать вином и брынзой, я, как записной агроном, уговаривал мужиков торопиться с севом.

Для организации медицинского обслуживания в районе не было самого элементарного, самого необходимого: не было помещения для больницы: выстроенное в сороковом году, когда эта часть Молдавии была воссоединена с Советским Союзом, разбомбили, а то, которое собирався выделить райисполком, не имело ни оконных рам, ни дверей, в нескольких комнатах, видимо, на растопку выломали полы. Райздравотдел не имел в своём распоряжении ни постельных принадлежностей, ни посуды, ни кроватей, ни стульев. Даже дрова для кухни неизвестно было как достать,— председатель райисполкома честно признался: на себя эту задачу он взять не может.

Всё приходилось делать самим. Я, жена, заведующий райздравотделом, у которого, в сущности, ещё не было отдела, Гусаков — сами вставляли оконные рамы, настилали полы в доме, отведённом под больницу, ездили в Кишинёв за медицинским инвентарём и медикаментами. Сами органи-

зовали экспедицию в лес за дровами; машину я выпросил у командира воинской части, остановившейся на днёвку в нашем селе.

В такой обстановке, когда на собственном опыте испытываешь прелести разрухи, с особенной остротой чувствуешь свои обязанности, свой долг. Ты не просто врач. Ты — советский человек, полпред советской культуры! В особенности, если ты член партии и с тебя спрашивается сторицей.

Сейчас мы едем с вами в скором поезде, в цельнометаллическом вагоне; зеркала, полированное дерево, комфорт, и это нам не кажется чем-то особенным. А в тот год в наших краях окопы ещё не заросли лопухом, ещё валялись на дорогах обглоданные добела лошадиные кости, ещё свежи были могильные насыпи с деревянными надгробиями и дощечками из снарядной латуни.

В общем, как бы там ни было, начал я работать. Приходилось принимать больных не только по своей специальности, но в первое время заменять терапевта, выполнять функции районного врача. Ежедневно я обходил село, чтобы выявить больных, так как крестьяне не торопились обращаться в больницу. Я недоедал, недосыпал, жена, признаться, иногда плакала, боялась, что я не выдержу.

Но так же, как на фронте, о своей хворобе думать мне было некогда; в Кишинёве, когда мы приехали, и в первые дни в Унгорянах я чувствовал сильное недомогание, а теперь всё прошло, хотя и не было целительного винограда, и пишу приходилось есть такую, какая случалась. И курил я опять полным ходом. И спал недостаточно. И так изматывался, что еле на ногах держался... Что же касается винограда, то в тот год урожай погиб от засухи и филлоксеры.

Нашу жизнь с женой в Унгорянах осложнял фельдшер Гусаков. Жене он сразу внушил такое отвращение, что у неё буквально начиналось сердцебиение, едва лишь Гусаков входил в комнату. Жену приводил в содрогание его голос, жалкий голос человека, готового ко всем превратностям судьбы, готового снести и невзгоды и лишения, быть униженным, быть оскорблённым. Она испытывала мучение, когда случайно взглядывала в его лживое лицо. Она не терпела Гусакова за то, что он лицемерно удивляется моей энергии и работоспособности, за плохо скрываемое недоброжелательство.

Как-то жена слышала, фельдшер говорил печнику, присланному райисполкомом печь ремонтировать:

— И что за люди, не пойму! Наш хирург сам на могильном пороге, а других врачует, ночей не спит.— Голос у него был сокрушённый, негодующий.— Вот схватит, сердешного, в одночасье, ко мне прибежит. Не минет его сия чаша.

Подозреваю, что Гусаков догадывался о ненависти моей жены и специально приходил, чтобы подразнить её, когда знал, что меня нет дома. Придёт, сядет без приглашения и начнёт:

— Трудненько вам будет здесь, Софья Семёновна, помяните моё слово. Вернее всего, нужно бы вам отсель уезжать, покуда ноги носят.— И тон у него, жена рассказывает, и заискивающий, и робкий, и в то же время насмешливый, угрожающий.— А это что за книжица? Верно, что-нибудь политическое? — спросит он и тычет, прохвост, в «Хождение по мукам» Алексея Толстого или в «Карабугаз» Паустовского.— А я вот читал как-то, что в скором времени предвидится кончина Земли. Предсматривается четыре возможности...— и он загибал свои короткие, волосатые пальцы: — во-первых, всеобщий пожар по причине солнечной вспышки, смерч огненный. Во-вторых, столкновение нашей планеты с неведомым небесным светилом, это тоже, знаете, не сахар. В-третьих, мировое замерзание, поскольку наукой отмечено угасание

солнечного пламени. В-четвёртых, обратно, если на нас, к примеру, свалится Луна, не исключён и взрыв Земли, сиречь, свегопреставление...

Операционную оборудовали мы по-фронтовому — бельевым материалом обтянули стены и потолок в одной из наших палат. Каждые десять дней материал менялся, а перед операционным днём к потолку подшивались стерильные простыни. Конечно, хирург, не имеющий армейского опыта, затруднился бы работать в таких условиях, но мы, военные врачи, только так большей частью и действовали, когда санитарная часть располагалась во вновь занятом населённом пункте.

Очень мешало мне отсутствие квалифицированной хирургической сестры, так сказать, верной помощницы хирурга. От сложных операций из-за этого я вынужден был отказываться, направлял больных в Кишинёв. Иногда призывал на подмогу жену. Услугами Гусакова я предпочитал не пользоваться.

О хирургической сестре я запрашивал молдавское министерство. Оттуда ответ: кадров среднего медицинского персонала покуда не хватает, обходитесь своими силами.

Что прикажете делать? Стал искать себе помощника среди местных жителей.

Случай заставил меня обратить внимание на того крестьянина с подбритыми усиками, в дом которого я попал в ночь приезда. Теперь он уж не говорил: «та нам не трэба». Наоборот, ему очень понравилось лечиться. Жена его выздоровела, окрепла, а он, как только выпадет свободное время, обязательно придёт ко мне на амбулаторный приём и сидит.

— У тебя что? — спрашиваю. — Кто-нибудь заболел?

— Та нэ.

— Может, сам болен?

— Эге ж!

И суёт мне под нос руку с какой-нибудь ерундовой царапиной. Или придёт и скажет, что грудь застудил, всю ночь пропадал от кашля. А у нас к тому времени уже и терапевты появились, и уролог, и глазник, что вы хотите — больница!

Я ему говорю, этому парню:

— Если жалуешься на простуду, иди к терапевту, он тебя выслушает, понял? Ну, к врачу по внутренним болезням. Я же хирург. Если болячка какая-нибудь или перелом, или руку вывихнул, тогда ко мне. Понял?

— Гегае доктор, — это значит, «дядя доктор», — шибко прошу, побачьте самы.

Ладно, стал его как-то осматривать. Взял стетоскоп.

— Дыши глубже, — говорю. — Так. Теперь задержи дыхание.

Выслушал, как полагается, и отошёл к столу записать данные осмотра. У парня действительно была лёгкая простуда.

— Ну-с, так вот что я тебе скажу, — начал я, поворачиваясь к своему пациенту.

И что вы полагаете? Я даже испугался. Стоит мой парень, посиневший от натуги, выпучив глаза; оказывается, он всё ещё сдерживает дыхание.

— Да ты захохнёшься, дружок! Дыши давай! — закричал я.

И смех меня разбирает и смеяться нельзя — обидишь парня.

— Зараз можно? — глотая воздух, точно он километров пять пробежал, переспрашивает парень.

— Ну, брат, пациент ты исполнительный. А помнишь, как я в первый раз к тебе пришёл? «Та нам не трэба!» Помнишь?

Всё ещё переводя дух, он улыбнулся.

— Та я ж тэмный був, — говорит.

— Сейчас ты светлый! — И тут меня точно осенило: — Ты светлым будешь, — говорю, — когда не лечиться станешь, а сам научишься лечить.

— Та чего вы смее́тесь, геаре. Як я можу лечи́ть?..

Тогда я предложил ему стать моим помощником.

Георгий Грассу — так звали этого парня — отмахнулся, таким невероятным показалось ему моё предложение.

— Та цэ не можно!..

Но я настаивал на своём.

— Почему «не можно»? Можно! И даже нужно! И светлым ты будешь, когда это поймёшь.

Родители Грассу до революции долгое время батрачили в России, и в семье часто говорили на смешанном русско-украинском языке, на котором объяснялись батраки, сходявшиеся на полевые работы. Георгий Грассу знал немного и русскую грамоту.

Месяц или полтора возился я с этим парнем. Учить его приходилось, конечно, вещам самым примитивным, основам гигиены и антисептики, тому, как стерилизовать инструмент, как делать простейшие перевязки, уходу за больными. Но парнем он оказался смышлёным, вскоре начал понимать меня с полуслова, и дела наши с ним пошли на лад.

Гусакова это всё чрезвычайно возмущало.

— Помилуйте, Алексей Михайлович,— говорил он.— Здесь это не принято. Простой мужик, и вдруг — в медики! Мыслите, он усики отрастил да пинджак надел — значит образовался? Да он касторки от валерьянки не отличит. У этих молдаван одна думка — виноград да мамалыга. Ничего другого у них в голове не держится!..

И, будто назло, случилось так, что не успел я проверить, хорошо ли мой парень усвоил учение, как судьба распорядилась испытать его на практике.

В конце октября, рано утром, к нам в больницу привезли девочку двенадцати лет. Девочка подорвалась на mine. В тот год такие случаи бывали — уходя, гитлеровцы понатыкали мины повсюду. При осмотре обнаружилось, что у девочки раздроблена теменная кость и сломана ключица. Крупный осколок застрял в области правого лёгкого. Если я вам сообщу, что, кроме того, у неё была порвана мозговая артерия и нарушен центр речи Брока, то, насколько плохо было состояние девочки, вам не станет яснее, потому что вы не специалисты. Поэтому скажу только, что девочка была в безнадёжном состоянии.

Я немедленно вызвал жену, чтобы она подшила стерильные простыни и помогла в случае нужды, а сам вместе с Грассу начал готовиться к операции.

Через двадцать минут можно было начинать.

Приступая к делу, спрашиваю Грассу:

— Знаешь эту девочку?

Он стоит бледный, отвечает едва слышно:

— Сосидская дивчина Мария.

Я не придавал состоянию Грассу никакого значения. В таких случаях, знаете, дорога каждая минута и не приходится особенно вглядываться в своих помощников.

Осторожно вскрыл я кожные покровы. Как водится, брызнула кровь из нарушенных скальпелем мелких артерий. Не оборачиваясь к Георгию, протягиваю назад руку и прошу подать мне кохер — так у нас называют зажимы, которыми останавливают кровь.

Рука моя повисает в воздухе. Сжимаю и разжимаю пальцы, дескать, давай скорее — никакого результата. Я оглядываюсь, смотрю — мой Георгий чуть ли не в обморочном состоянии: глаза застыли, уставился на страшную рану, не движется, ничего не слышит, рот открыт, лицо белей белого. Ну, как в ступоре, ей-богу!

Нарушая, так сказать, все правила асептики, зову на помощь жену.

— Сонечка,— говорю,— ради бога, приведи Георгия в чувство! Только пусть руками ничего не трогает.

Смотрю, а в дверях стоит Гусаков и ухмыляется.

— А я о чём докладывал? Разве такого типа чему-нибудь научишь?

Тут я потерял самообладание.

— Убирайтесь отсюда ко всем чертям! — рявкнул я с бешенством и чувствую, холодный пот выступил на лбу...

И, представьте себе, выжила эта девочка Мария! И не только выжила — довольно быстро поправилась и в школу пошла.

Мы, хирурги, часто спрашиваем себя: твоя заслуга, что пациент выздоровел? Спас ты человека от смерти или это случайность, а ты просто выполнял свой долг? В случае с Марией я такого вопроса себе не задавал. Эту девочку не случай и не я спасли — её советская власть спасла.

Прошло ещё недели две, прошёл месяц, другой, и из бывшего виноградаря выработался отличный помощник. Георгий научился угадывать во время операции буквально каждое моё движение, и теперь мне зачастую даже не приходилось называть нужный инструмент. Протягиваю руку, и Грассу передаёт мне то, что требуется: пинцет с комочком ваты, чтобы собрать кровь, или пепан, чтобы развести края раны, скальпель или лигатуру. С его помощью мне случалось делать операции, которыми могла бы гордиться лучшая хирургическая клиника. В обморок он больше не падал.

В середине февраля начались метели. Закрутила вьюга в полях и на дорогах. С холмов понесло снег в долины, потонули в сугробах молдавские дворы. Заносы отрезали районный центр от внешнего мира, прервалась даже телефонная связь.

В эти дни как раз заболела моя Софья Семёновна скарлатиной. Как обычно у взрослых, болезнь сразу приняла тяжёлую форму. Кинулся я к заведующему аптекой за противоскарлатинозной сывороткой, тот лишь руками развёл: противоскарлатинозная сыворотка кончилась,— новую партию доставить не успели.

Что делать?

Выхожу совершенно обескураженный, а у дверей меня поджидает Гусаков.

— Алексей Михайлович, примите горячие соболезнования,— говорит он своим отвратным елейно-келейным голоском и осторожно вытягивает из кармана картонку с ампулами сыворотки.— Разрешите презентовать от чистого сердца.

Я, конечно, обрадовался.

— Вот это здорово! — кричу.— Откуда у вас?

Гусаков усмехается стыдливо:

— Дак в нашем положении без припасов нельзя.

Тут я сразу осекся.

— Пойдите,— говорю,— а, скажем, камфора у вас тоже есть?

— Найдётся и камфора, коли потребуется. Запася в своё время.

Я тогда вот как стоял, взял его за лацканы пиджака, прижал к себе и говорю как можно тише, потому что чувствую — иначе сорвусь:

— Третьего дня,— говорю,— старику с двусторонней пневмонией нужна была камфора, а вы молчали?

— Дак ведь, Алексей Михайлович, на всех не напасёшься,— кротким голосочком отвечает Гусаков.

А я уж почти под собой и ног не чую.

— Третьего дня умирал старик, потому что камфоры не могли достать, а вы молчали?

— Дак ведь, Алексей Михайлович!..— опять тянет Гусаков.

Тут я опомнился, встряхнул его только чуть-чуть, зубы у него лязгнули, и пошёл к дому.

Гусаков бежит за мной, кричит вдогонку:

— Алексей Михайлович, помилуйте, дак вам я от чистого сердца!.. Вы как мыслите? С вас я ничего не прошу!..

Я иду, не оборачиваясь, сердце кипит, он семенит за мной и всё кудахчет, объясняет:

— С другого я бы тысячи полторы спросил, а вам задаром. Противоскарлатинозной сыворотки сейчас нипочём не достанешь. У нас завсегда так — в феврале, как на острове. Как можно отказываться?

Я прямым ходом в райком, к первому секретарю. Так и так. Что делать? Брать сыворотку у Гусакова — противно совести. Может, как-нибудь удастся сместить по радио с Кишинёвым, чтобы выслали сыворотку самолётом?

Секретарь райкома говорит:

— Хорошо, попробуем сместить. Но пока что надо взять у Гусакова. Это, — говорит, — пустяки и миндальничанье. Судьба человека на карте! Он что, дорого просит? А мы его заставим спекулянтские замашки бросить!

— Не в том дело, — говорю. — Мне он предлагает бесплатно, но ведь подлость какая! Третьего дня умирал старик с двусторонней пневмонией, нужна была камфора, а Гусаков и словом не обмолвился. Знал, негодяй, что старик гол как сокол, никакого барыша не будет!..

— Придётся что-то с этим Гусаковым предпринимать, — говорит секретарь райкома. — Нужно поговорить с прокурором. Но дело ведь и в следующем: кто он такой, ваш Гусаков, задумывались вы когда-нибудь?

— Во-первых, — говорю, — он не мой, а наш с вами общий. А во-вторых, вопрос ясен, кто он такой. Мародёр, лихоимец — вот кто!

— Правильно! А думали вы о том, почему он такой?

Вот об этом, признаться, я и не думал.

— А надо было подумать. Ведь это прямое наследие капиталистического строя.

И дальше секретарь райкома говорит:

— У вас нехватка в среднем медицинском персонале. А нельзя ли попробовать перевоспитать Гусакова?

Представляете, какая картина?

Несколько дней всё же Гусакова видеть я не мог. Всё во мне протестовало. Потом у жены миновал кризис, я поуспокоился, и Гусаков, точно почувствовал, однажды утром сам является ко мне на квартиру — в сенях слышу, орёт на своего пса: «Пошёл прочь, голодранец!» и затем собачий визг.

Войдя в комнату, Гусаков говорит на своём церковно-бюрократическом языке:

— Алексей Михайлович, дозвоьте сделать разъяснение. В некотором роде, как медик с медиком...

И втягивает голову в плечи, точно ждёт, что я его ударю.

Я хочу сказать Гусакову: всё понятно без объяснений, и поговорить с ним по-хорошему, по-человечески, чтобы он понял, в какое время живёт, чтобы изменил своё поведение, и, представьте, ни слова не могу выговорить, словно язык к горлу присох...

А Гусаков продолжает между тем:

— В отношении сыворотки, а также камфоры. Условия какие, я хотел сказать, ежели взглянуть нелицеприятно. Треть века любо-дорого здесь не проработаешь. Тьма, нищета, запустение... А я здесь тридцать лет, как одна копеечка...

Признаться, шевельнулась во мне жалость к Гусакову. Конечно, думаю, секретарь райкома прав, не родился же наш фельдшер таким плохим да подлым. Но тут, как на грех, Гусакова прорвало после паузы:

— Приходится изворачиваться в некотором роде. Всю жизнь, знаете ли, то так, то сяк...

Я как услышал эту его формулировку, так всякую жалость как рукой сняло.

— По принципу: вы — мне, а я — вам? — переспрашиваю.

Гусаков, видимо, решил, что вот тут-то мы и поймём друг друга. Он обрадовался.

— Именно, Алексей Михайлович, именно! — говорит он и сияет, если можно представить сияющим его лицо.— Опрочь жалованья, какие тут доходы?.. Мизер один.

И я не выдержал, не самобилизовался против этакой пакости.

— Вот что, уважаемый, — говорю и зубы стискиваю, — если и считать вас медиком, то, учтите, у нас с вами противоположные взгляды на медицину. Для таких медиков, как вы, выгоднее, если народ живёт в грязи и невежестве, — барыша больше. Если бы в нашем селе при румынских боярах существовало, скажем, десять бань, то вы по миру бы пошли, вот как! А мы, советские медики, выигрываем оттого, что народ живёт лучше и болеет меньше. Мы камфору из-под полы продавать не станем!

Гусаков ручками развёл, губами пожевал, на меня искоса глянул и говорит:

— Темнота наша...

На том разговор и закончился.

Едва Гусаков закрыл за собой дверь, как тотчас послышался его истошный крик. «Бьют его там, что ли?» — подумал я и выглянул, чтобы узнать, в чём дело.

Гусаков сидит на крыльце, ругается вполголоса и стягивает с ноги сапог.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Покусала, проклятая, — в ответ шипит Гусаков.

Смотрю, а это, как возмездие, собака фельдшера стоит на дорожке у входа в палисадник, голова опущена, вылупилась на нас, и глаза у неё, не скажешь, что злые, — таинственные, зелёные и, прямо сказать, на-смешливые.

Впрочем, это, кажется, уже беллетристика.

Не раз ещё говорил я с Гусаковым, пересиливая и неприязнь и отвращение к нему. Я не терял надежды, что смогу как-то подействовать на этого человека. Фельдшер выслушивал меня покорно, делал вид, что полностью согласен со мной, и продолжал вести себя попрежнему.

Как-то, помню, должна была состояться республиканская врачебная конференция. Рассчитывая заинтересовать Гусакова, столкнуть его с мёртвой точки, я настоял, чтобы и его в числе трёх или пяти делегатов направили в Кишинёв. Такая конференция — событие в жизни районных медработников.

Вы думаете, поездка как-нибудь сказалась на настроении Гусакова, на его интересах? Ни разу ни одного слова о конференции я от него не слышал. Единственное впечатление, которое он вынес, было то, что на кишинёвском базаре много отличной битой птицы и что даже за фельдшерский визит в частном доме в Кишинёве дают не меньше четвертного; врач, тот получает и всю полусотенную.

И тут же у всех у нас на глазах совсем иное происходило с Георгием Грассу.

Приходилось вам топить когда-нибудь печку каменным углем? Ежели вы плохо разожгли её или упустили минуту, когда нужно добавить топлива, жар начинает спадать, уголь, уже разгоревшийся, тускнеет, гаснет. А ежели, наоборот, хорошо подложена растопка, во-время подброшен уголь, печка ваша — точно живая. Она разгорается всё сильнее, пылает

всё жарче, гудит, как мотор, пока весь уголь не засветится белым пламенем, ярким, как солнце. Мне всегда казался удивительным этот процесс.

Нечто подобное происходит с человеком, когда он пойдёт в рост. Какая-то внутренняя сила всё мощнее разгорается в нём и, наподобие того раскалённого угля, начинает пылать ярким, чудесным пламенем.

Радостно было глядеть на то, с каким жадным пристрастием впитывает в себя Грассу всё новое, что удаётся ему увидеть, узнать. Как ни зайдёшь, бывало, в кабинет или в дежурку, где он сидит, парень мой то книгу, то тетрадку прячет в ящик стола или под халатом. Я сперва делал вид, что ничего не замечаю. Тогда он сам открылся, попросил учебник общей хирургии. Оказываешься, задумал Георгий поступить — в техникум, думаете? Нет, не в техникум, в медицинский институт, ни больше, ни меньше. Хочет человек стать хирургом.

Начали мы с ним изучать арифметику, русскую грамматику, начальную физику. Сперва Георгий ни в какую не соглашался, что ему нужно обязательно знать, чему равняется «а» плюс «б» в квадрате, ведь он собирается на медицинский, а не на математический. Потом смирился.

Между тем врачебная работа в нашей республике всё больше упорядочивалась. К весне мы ликвидировали последствия голода, на нет свели эпидемии. У нас в Унгорянах работало теперь больше десятка врачей различных специальностей. Значительно уменьшилась моя нагрузка. С весны я принимал лишь своих хирургических больных, во-время ел, во-время ложился спать, поправился, прибавил в весе. И винограда оставалось теперь ждать недолго, и мёда, и прочих целительных даров молдавской природы. Софья Семёновна моя вздохнула, как говорится, с облегчением, — что касается моей хворобы, слава богу, она решила: пронесло!

И вот, понимаете, какая чертовщина, — казалось бы, всё прекрасно, а тем временем я чувствую — беда; чем спокойнее и налаженнее становится работа, тем всё чаще и чаще моя проклятая болезнь исподтишка напоминает о себе; иногда такое паршивое самочувствие, хоть кричи караул!

В конце лета министерство сообщает, что мне предоставляется отпуск с первого октября; в Кишинёве оставлены для нас с женой путёвки в санаторий. Приятное известие как будто бы, а меня совсем не радует — боюсь своей болезнью, что ты будешь делать!

Считанные дни оставались уже до нашего отъезда, когда случилась новая и совсем уж бесподобная история с Гусаковым.

Как я вам докладывал, Грассу оказался очень способным парнем. При этом его так увлекла новая профессия, что он дневал и ночевал в больнице. Лучше любой нянюшки, любой медицинской сестры ухаживал он за больными, в особенности за теми, кто поправлялся после операции; их он, что называется, готов был носить на руках.

Как-то оперировал я больного по поводу острого аппендицита. Операция несложная, прошла благополучно, и вдруг после операции неожиданно-негаданно у больного открывается тяжёлый перитонит.

В чём дело, чёрт побери?

Были приняты, конечно, все меры, чтобы спасти человека, но меня не переставал чрезвычайно волновать вопрос: по какой такой причине возникло это осложнение?

Что же оказалось, вы думаете?

Однажды находящийся на строжайшей диете больной почувствовал себя значительно лучше и пристал к Георгию: дай поесть чего-нибудь «остренького»...

Грассу в ответ: «Никак не можно. Имеем лекарский наказ». Больной не унимается, деньги жена ему передала, так он сотенную суёт Грассу, только принеси селёдку, чего-нибудь с уксусом, солёного огурца хотя бы.



На беду тут подвернулся Гусаков. Его мнения не спрашивают, но он суётся: «Что ты мучаешь человека? Человек деньги даёт. Слушать больше, чего эти учёные доктора приказывают, совсем человеку живот сведёт». Грассу стоит на своём: «Да вин же на строгой диете. Не можно!» Гусаков: «Ну, не знаю, чего можно, чего нельзя. Тебе поручен уход, ну и ухажи-вай. Только мучить больного медицина тоже не велит. Человек деньги предлагает. От пары килек да от солёного огурца какой может быть вред?» Доверчивый Грассу, с трогательным и наивным почтением взиравший на фельдшера, поверил ему. «Значит, ваша думка, вин не постра-дае?» — «Да помилуй бог! Острую пищу он всю жизнь ел!»

Толком мне не удалось выяснить, что именно и сколько больной съел. Каких-то консервов приволок ему Грассу, каких-то солений или марина-дов. Были основания подозревать, что больной и водки выпил с Гусако-вым. Как бы там ни было, на другой день к вечеру у больного — темпе-ратура, сильнейшие выпоты, острые боли в животе. Всю ночь он не спит, к утру начался бред.

По существу Гусаков спровоцировал несчастье. По безграмотности своей или из корысти, а может быть, и по злой воле он подвёл нашего Георгия, даже если водки с больным и не пил.

Нужно ли говорить,— Грассу был в отчаянии. Во всём случившемся он винил только себя. Не получится из него медика, мучился он. Размечтал-ся стать хирургом, а способностей для этого никаких!

Нужно было принимать в отношении Гусакова какие-то решительные меры.

Не знаю, что рекомендует в подобных случаях уголовный кодекс, но то, что продолжать попытки «перевоспитать» фельдшера мне больше невмочь, это я представлял себе отчётливо. Так я и доложил секретарю райкома. Физические недуги я готов исцелять, сказал я, таково моё при-звание, но душевные, да ещё такие злокачественные — увольте, на это меня не хватает. Я хирург и хорошо знаю: если ткань омертвела или по-теряла жизнеспособность, её удаляют безжалостно.

Вечером меня и Грассу вызвал к себе районный прокурор. Мы дали свои показания.

Поздно ночью вышли мы с Грассу от прокурора. Ночь безлунная, све-тят мохнатые молдавские звёзды, и тишина такая, что слышно, как шуршит табак, сохнувший в вязанках на крестьянских верандах. До пруда километра полтора, но и то отчётливо можно разобрать журчание воды на плотине. Пролетают по Кишинёвскому шоссе автомашины, и каждый раз доносится: у-у-у! — словно порыв ветра, да световой клин лизнёт тём-ный склон холма.

Чувствовал я себя в тот вечер сквернее обычного. Я вслушивался в не-равномерный, то набегающий, то затухающий гул машин и думал о том, что нет ничего нелепее моего положения. Впервые после засухи, после военных бед молдавская земля разродилась превосходным урожаем; пше-ницей засыпаны колхозные дворы; всюду горы подсолнуха, кукурузы, арбузов, дынь; люди не успевают убирать виноград. В каждом доме жмут вино, и все ходят с лиловыми руками и физиономиями; ноги — и те по щиколотку вымазаны в виноградном соке. Бродят по дворам лиловые собаки, кошки; выписывают пьяные кренделя, наглотавшись виноградной кожурой, куры и петухи; самый воздух пронизан пьяным ароматом. А со мной опять старая чертовщина. Да что я, околдован, что ли? Что за на-пасть такая?! Стоило только немного уменьшить нагрузку, упорядочить-ся жизни, получить возможность поехать в отпуск, чтобы снова выиграла неодолимо, говоря пушкинскими словами, моя хвороба! Чем хуже, тем лучше, так, что ли? Какая чепуха!

В тот вечер, возвращаясь с Георгием Грассу от прокурора, впервые услышал я любовные вопли, какими только в молдавских сёлах молодые люди разгоняют ночную тишину.

Молча шли мы с Грассу по сельской улице, и вдруг где-то рядом, за низкой оградой из серых, замшелых валунов, раздался надрывный вопль:

— И-и-и-ге-гей!

Я вздрогнул от неожиданности.

— Чёрт возьми, что это такое?

Георгий рассмеялся.

— Парень свою дивчину выкликае на свидание. Обычай такой.

И верно, где-то за домами послышался в ответ девичий крик:

— Эге-гей!

В противоположном конце села слышно было, как перекликается другая пара. А там я различил голоса третьей, четвёртой пары...

Было что-то наивное и весёлое в этом странном обычае оповещать всё село о своих любовных радостях. Но вместе с тем, помнится, я подумал о могучем и жизнеутверждающем начале, заключённом в трогательной непосредственности, с какой молодёжь здесь разглашает тайну своей любви. И на душе у меня стало так хорошо, что на какое-то время я позабыл думать о болезни.

А перед самым отъездом на курорт, когда уже и вещи были уложены и билеты лежали в кармане и когда я в последний раз обходил своих больных, в коридоре я вдруг почувствовал такую острую и резкую боль в боку, точно меня ножом ударили сзади. Признаться, я даже обернулся. В следующее мгновение окрашенные масляной краской стены коридора окно в его конце, через которое виднелись сельский пруд, плотина и белое, словно выложенное из кости Кишинёвское шоссе,— всё заколыхалось, потемнело, поплыло из глаз...

Катастрофа случилась со мной в час дня, а в пять я уже лежал на операционном столе, и главный хирург Молдавского лечсанупра, прилетевший из Кишинёва на санитарном самолёте, обрабатывал над умывальником свои руки, чтобы приступить к операции по поводу, как говорится на медицинском языке, прободной язвы двенадцатиперстной кишки.

Представьте себе, в глухом молдавском селе, где, сколько ни существовало это село на белом свете, не было до советской власти квалифицированной медицинской помощи, первоклассный хирург производил сложную резекцию двенадцатиперстной кишки. А больного, то есть меня, готовил к этой операции бывший виноградарь, молдаванин Грассу, всю жизнь боявшийся врачей, потому что привык к мысли: их услуги для него слишком дороги.

Такова история, которую я хотел вам рассказать.

Некогда малограмотный крестьянин Грассу окончил медицинский институт, стал хирургом, и вы его все видели — усики он носит такие же, как тогда носил, — это мой спутник; он пошёл сейчас проведать друзей в соседний вагон; мы вместе с ним едем на сессию Академии медицинских наук в Москву, — в программе заседаний значится его содоклад о хирургии застарелых хронических недугов.

А фельдшер Гусаков, стяжатель и лихоимец, из больницы был прогнан, побывал под судом за разные свои проделки и сейчас возит на коммиссионных началах колхозный муст на продажу в Кишинёв.

Что ещё следует добавить?

Где-нибудь в другом месте я был бы врач как врач. В селе Унгоряны на мою долю выпало быть полпредом советской культуры, советского образа жизни. Здесь я должен был стать лекарем не только физических, но и моральных недугов. Справился я с этой задачей или нет? В отношении Георгия Грассу, мне кажется, я с задачей справился. Что же касается

Гусакова, то в его случае медицина, как говорится, оказалась бессильной, да иначе оно и быть не могло.

Гусаков теперь старый, нищий, может быть, больной. И всё же, честно говоря, мне несколько его не жаль! Как мешают нам в нашей жизни эти обломки прошлого! Не знаю, как лучше выразить свою мысль, но, думается, что такие, как Гусаков, подобны той язве, которая подстерегала меня, чтобы ударить, как ножом, исподтишка, когда меньше всего ждёшь нападения!

И вот что ещё я вам должен заявить. Я медик, и я убеждён, что не болезни, не пороки, не наследственность — пагубнее всего для человека самоуспокоенность. Нет жизни без деяния, а деяние, как известно, это борьба. Ведёшь ли ты исследовательскую работу, добываешь ли уголь, сеешь ли хлеб, лечишь ли людей — всюду борьба, труд, преодоление преград, препятствий. К сожалению, много ещё на свете людей, не понимающих, что значит труд для человека, в особенности, если это свободный труд в стране, где он почитается как высшее благо!..

Алексей Михайлович замолчал. Пассажир, первым заговоривший о медицине, улыбнулся и вопросительно произнёс в сторону попугайчика, лежащего на диване:

— Ну, как история? Одобрим?

— История драматическая, — ответил тот.

— Одобряете вы эту историю или нет, а вот так оно всё и было. И ничего уж тут не поделаешь, — сказал Алексей Михайлович.

Поезд замедлял ход. Приближалась станция. В купе было полно всяческой снеди, но, как водится, пассажиры стали собираться к выходу, чтобы на станционном базаре купить ещё какой-нибудь еды.



---

М. ЛУКОНИН

★

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

### ЗНАКОМОЙ КРАСАВИЦЕ

Вы скажете:

«Как скучно!»

Мне не верится,  
лишь я взгляну на мир окрестный.  
Два ваших слова

мне пугают сердце:

«Не нравится».

«Неинтересно».

Вам некуда идти,  
читать вам нечего,  
рассеянно следите вы за лицами,  
живёте осторожно, недоверчиво,  
процеживая мир  
ресницами.

Сама земля,  
от края и до края,  
зовёт к себе, трубит на повороте.  
Вы, медленная, землю попирая,  
возвышенно —  
на каблуках —  
идёте.

Вас показать друзьям моим, красавица,  
я думаю,

их оскорбит, наверно,  
и то, что вам земля не нравится,  
и то, что шуритесь высокомерно.  
А вы

всё недовольней,  
всё капризней.

Вы неба не видали!

Оглянитесь!

Вы даже не дотронулись до жизни,  
как будто бы испачкаться боитесь.

Красивая.  
А вот когда случится,  
что ваше сердце сонное забьётся,



Могу ли с памятью такой  
считаться я всерьёз?  
Нет,  
понял я теперь:  
тебя нельзя запоминать.  
Все искры глаз твоих родных  
я в памяти коплю,  
Но не запомню никогда  
и не смогу узнать.  
Мне трудно с памятью одной,  
когда люблю.



---

---

АРКАДИЙ РЫВЛИН

★

## ТУЧА

Большая туча, чуть клубясь,  
Накрыла лес и крышу дома.  
И, видно, в ней такой запас  
И молний, и дождя, и грома,

Что хочется пролиться ей,  
Пролиться, грянув громом кратко, —  
Но только сразу,  
Только всей,  
Без удержу  
И без остатка.

И расплескаться над землёй,  
Над голубым простором дивным —  
Не ручейками,  
А рекой,  
Не мелким дождиком,  
А ливнем.

И вот покамест, не упав,  
Она висит подобьем слитка,  
От щедрости своей скупа  
И сдержанна лишь от избытка.

А я подумал вдруг о ней,  
Что вот и сердце с нею схоже,  
И в жизни чем оно полней —  
Тем сдержанней оно и строже.



---

А. БЕК, Н. ЛОЙКО

★

## МОЛОДЫЕ ЛЮДИ

*Роман\**

### 38. Глубокой ночью

**В**торой час ночи...

Лежащая на раздвинутом столе большая карта Советского Союза уже выглядит несколько иначе, чем тогда, когда её принёс и разостлал Володя. Северный край исчеркан, испещрён разными значками и пометками. Тут и лиловые следы химического карандаша и множество красных иероглифов, сделанных быстрой нервной рукой Валерия Николаевича. Здесь же красиво, чётко выведены кружки и квадратики — это поработала авторучка Кирпичникова. Прослышав о случившемся, старый друг Сырейщикова прямо с завода явился сюда. Седой, румяный, усевшись на подоконник, он втолковывает что-то Валерию Николаевичу. Временами сочный, зычный голос Кирпичникова беспокоит, заставляет шевелиться спящего Володю.

Мальчик уснул нечаянно, не раздевшись, решив лишь на минуточку прилечь. У Лунькова тоже слипаются глаза. Порой как-то наезжают друг на друга, будто сплющиваются, строки письма ангаростроевцам, которое он диктует с черновика на машинку.

— Завьялыч, — просит наконец Луньков. — Сменяй. Устал.

Взяв у Евгения листки, Завьялов садится на его место.

Луньков забирается в уголок дивана, в ноги Володьке, и блаженно откидывается к спинке. Теперь он может передохнуть.

На машинке стучит Лиза Кузьминская. Следя за её сухонькими, тонкими, как у девочки, руками, Женя с благодарностью мысленно называет её Лизочкой. Молодец! Получив его записку, вмиг прискакала среди ночи — свеженькая, приодевшаяся, в розовой трикотажной кофточке, готовая просидеть за машинкой хоть всю ночь. Как благодарно, приветливо её здесь встретили, как заботливо устраивали. Толстая диванная подушка положена на предназначенный дорогой госте стул, Лизочка важно восседает на нём, маленькая, строгая, без усталости стучит и стучит. Пишущая машинка принадлежит лизиной матери, стенографистке горисполкома. Сама Лизочка не дотронула бы такую тяжесть. Машинку — разумеется, тщательно упакованную и увязанную — торжественно доставил Володя, специально командированный в Первый посёлок за Лизой.

Сырейщиков-отец сейчас тоже отдыхает — сидит, вытянув длинные ноги, мирно слушает Кирпичникова. По настоянию друга, Валерий Николаевич принял душ. Мокрые, словно прилизанные волосы особенно темны, в них почти не заметны серебристые нити. Черты раскрасневше-

---

\* Окончание. См. «Новый мир» №№ 7 и 8 с. г.



гося лица смягчились, нет-нет да появится на нём мечтательное выражение, отблеск пробудившихся, оживших чаяний.

А ведь поначалу, после первых же слов Жени, Сырейщиков совсем потемнел, стал смотреть отчуждённо, неприязненно.

Лунькову и сейчас тяжело вспоминать про те минуты.

...Сырейщиков явился позже всех собравшихся, всё в том же рабочем пиджаке без пуговиц, с невымытыми тёмными руками, без шапки — таким, каким он нынешним вечером выбежал с газетой «Труд» из лаборатории.

— Валерий Николаевич, где вы запропали?

— Немного походил. Подумал.

— Что же сказал Степанянц?

— Предложил отказаться от моих... От моих воззрений... Ну, от всего.

Выпрямившись, рывком приподняв голову, так что сразу заметнее обрисовалась тёмная худая шея с выступающим острым кадыком, он поглядел на жадно слушающего Володю.

— Только напрасно... Научную истину я не предаю.

Луньков воскликнул:

— Пострадать за научную истину не придётся!.. Вас ожидает сюрприз, Валерий Николаевич...

Сырейщиков подошёл к столу, сегодня необычно длинному, посмотрел на разложенную карту Советского Союза, сказал:

— Что-то, Евгений, ты сегодня слишком весел...

— Сдаю, Валерий Николаевич, новую дипломную работу.

— Для этого и карта?

— Для этого... Помните, Валерий Николаевич, как два года назад один ваш ученик грозился снести доменные печи?

— Ну...

— Теперь, Валерий Николаевич, я начинаю с того, что отказываюсь от этой позиции. Она неправильна.

— Научно неправильна?

Луньков не сразу нашёлся, как ответить.

— Научно неправильна?! — вновь выкрикнул Сырейщиков. На последних слогах его голос сорвался.

— Валерий Николаевич, вы не волнуйтесь. Мне стало ясно, что...

— Пожалуйста, можете, товарищ Луньков, где угодно объявлять, что вам стали ясны ваши ошибки. Или, вернее, ошибки вашего бывшего преподавателя, которого выгнали из города.

— Валерий Николаевич, вы...

— Можешь не объяснять... Я давно должен был понять, что ты совсем отойдёшь, оставишь нас в тяжёлый день. Ну и ступай! Ты подготовил неплохие позиции...

Взмахивая руками, с искаженным лицом, Сырейщиков кричал, словно в истерике. Не желая слушать возражений, он вымещал на Лунькове, изливал всю накопившуюся горечь несчастливо сложившейся жизни.

— Новые позиции... — язвительно повторял Сырейщиков. — Другая деятельность... Другое поприще. Надо было мне сразу понять... Что же, воля ваша, товарищ Луньков. Меня выгоняют из города, а ты остаёшься в этом городе уважаемым лицом... Ну и иди, иди... Признавай свои ошибки... Отрекайся!

Завьялов, державшийся до сих пор в сторонке, шагнул и встал перед Сырейщиковым.

— Валерий Николаевич, опомнитесь!

— И ты? И ты с ним?

— Я думаю,— спокойно продолжал Завьялов,— что именно эта другая деятельность и навела Лунькова на верное решение. И, вместо того чтобы несправедливо его обижать, вам следовало бы...

Сырейщиков не пожелал дослушать и Завьялова.

— И вы туда же, товарищ Завьялов... Ну что же... Ну и останусь один... Останусь вот с Володькой...

И лишь после того, как в разговор вступил взволнованный, весь побелевший Володя (сейчас Луньков с улыбкой думает: «Наверное, Володьке опять захотелось побывать в роли министра»), лишь после этого отец перестал кричать, опомнился, смог слушать.

Затем сказал своё слово Кирпичников. В итоге все отлично поняли друг друга, всех увлекла мысль Лунькова. Единогласно решили немедленно составить письмо ангаростроевцам — так в этой комнате величали авторов проекта Большой Ангары, тех, которые, по свидетельству только что вышедшего тома Б. С. Э. (куда Луньков успел заглянуть), усиленно ищут потребителей невероятно дешёвой энергии.

Володя отправился в Первый посёлок за Лизой Кузьминской, а взрослые тем временем сочиняли или, вернее, творили письмо. Ощутимо казалось, что где-то — в самой глубине Сибири, нет, ныне уже, наверное, в Москве — собрались в какой-то комнате такие же, как и они, захваченные своим замыслом, взволнованные, вдохновенные, молодые и пожилые, а в общем, всё равно, молодые люди. Они ещё ничего не знают о сырейщиковцах и всё-таки ищут их, именно их, инженеров, которые сумеют использовать, претворить в миллионы тонн металла энергию, которую отдаст Ангара.

Володя что-то бормочет во сне, порывисто вытягивает ноги, толкает Лунькова. Тот открывает глаза. Маленький Сырейщиков улыбается во сне. Даже улыбкой он схож с отцом. Хорошая, доверчивая улыбка. Нос у мальчишки великоват, хрящеватый, с подвижными тонкими ноздрями, сырейщиковский нос. Только вот волосы мягкие, белокурые... Как-то в театре Зина Иваницкая, которая всегда всё знала, показала Лунькову Веру Ивановну, бывшую жену Сырейщикова. Нарядная, завитая блондинка держала стаканчик с мороженым. Луньков долго, со злым упорством глядел на её осторожно отставленные пальцы, казавшиеся блее мороженого, на улыбающиеся губы, которые она вкусно облизывала. Потом, всякий раз, как Валерий Николаевич при нём проводил художавой рукой по светлым волосам сына, Евгению было не по себе. Подмывало остановить володиного отца, сказать: «Не надо о ней вспоминать, не стоит...»

До чего же Володьке не хотелось итти спать! Тётя Маруся, высокая, как и все Сырейщиковы, но давно уже сгорбившаяся,— она приходится тёткой не Володе, а его отцу — так и не смогла уговорить мальчишка покинуть комнату, где велись столь увлекательные речи.

Маленький связанной при штабе уснул среди приготовлений к бою, под говор, под стрекот машинки, при свете. Из-под задравшейся штанины виднеется худая нога подростка. На чинёных-перечинёных башмаках шнурки с лохматыми концами. Много узелков на этих шнурках. Наверное, не видны они старческим глазам тёти Маруси, а мальчишка сам не догадается попросить новые.

Стрекот машинки обрывается. Лиза Кузьминская вынимает отпечатанную страницу, готовит новую. В наступившей тишине явственно слышится голос Кирпичникова:

— Запишем три носовых платка.

И Кирпичников, строго глядя на Сырейщикова, заносит что-то в блокнот.

Ого, вот чем они занимаются. Собирают Валерия Николаевича в дорогу! Побывавший не раз в командировках, Кирпичников составляет список вещей, которые надо взять с собой Сырейщикову.

— Я вношу предложение, — вмешивается Лиза, — Платков надо побольше.

Её уставшие руки сложены на коленях; умолкла, отдыхает и машинка.

Лизина реплика положила начало весёлому спору. Все сообща решают, как снарядить путника. По поводу единственного приличного, более или менее свежего костюма Валерия Николаевича, того, что он носит не каждый день, разногласий нет. Костюм завтра же надо вычистить, выгладить. Завтра же должна быть куплена новая сорочка. Всё это по приезде в Москву немедленно надеть. Сырейщиков не спорит. Он настаивает лишь на одном: взять с собой полдюжины — никак не меньше! — образцов чугуна, выплавленных в его печи. Да, полдюжины! И тот образец, который замечателен своим особенным кристаллическим строением, и тот, что выплавлен на бедных рудах, по существу отбросах, и тот, что отшлифован, и ещё один, который... Кирпичников знает; против этого потока доводов не устоять. Покачав головой, он включает в список все эти куски чугуна. И ещё раз наставляет приятеля:

— Выкладывай в Москве чугун прямо на стол... Заявляй; товарищи, это я кладу дополнительно ко всяким способам получения чёрного металла ещё один-два миллиона тонн чугуна в год. Ты понял?

— Просветили...

— А доменных печей не трогай. Не касайся...

— Тише! — спохватывается Кузьминская. — Не разбудите ребёнка.

Послушные строгому, немного скрипучему голосу, все замолкают. Опять в комнате стучит машинка. Луньков задумывается. Вдруг он слышит, как Завьялов говорит:

— Письмо закончено. Готовьтесь ставить подписи.

Луньков вскакивает, подходит к Лизе.

— Спасибо, Лизочка, выручила. Имей в виду, ты отпечатала историческое послание, теперь мы смеем надеяться на удачу. — Не сознавая своей жестокости, Евгений добавляет: — Это мне подсказал один человек. Бывают люди, которые приносят счастье.

### 39. Приглашительный билет

В субботу утром каждому из работников Центральной аптеки был вручён небольшой розовый билет — приглашение на общегородскую конференцию Красного Креста. В повестке дня значилось: отчётный доклад и переборы.

— Граждане! А вдруг Поземко выдвинут без её согласия? — забеспокоилась Людмила Петровна, рецептар.

В ассистентской зашумели.

— Она же объяснила, что это невозможно!

— Она всё равно не согласится!

Строгий комсорг потребовал тишины. Хватит волноваться. О её кандидатуре нет и речи. Луньков про это давно позабыл.

Четыре дня назад Шура рассталась с Луньковым возле дома Сырейщикова. И всё. Действительно, позабыл... Только не надо было в таком случае говорить, что она приносит счастье...

Придя после смены в общежитие, Шура нашла на своей тумбочке конверт. Адрес общежития был выведен химическим карандашом. Распечатать письмо удалось не сразу. И вовсе не от волнения, а от неожиданности.

В конверте находился такой же розовый пригласительный билет на конференцию, какой ей вручили утром в аптеке. В уголке крупным почерком приписано: «Присутствие обязательно». Слово «обязательно» зачёркнуто и сверху исправлено: «Очень желательно». Надпись была сделана знакомым химическим карандашом. Шура ясно представилась лиловые полоски на ладони его владельца. Та же рука подчеркнула: «Очень желательно».

Облокотившись на тумбочку, не шевелясь, Шура до тех пор разглядывала билет, пока им не завладела Рита.

— Шурка, это судьба,— прошептала она и, поразмыслив, добавила: — У меня есть необыкновенный кружевной воротник.

Воротничок с большими зубцами был связан Ритой в те времена, когда каждое движение её крючка или иголки сопровождалось песней. Какие чудесные напевы — и весёлые и печальные,— какие слова о настоящей любви звучали тогда в этой комнате!

Оживление Риты показалось бы удивительным ещё неделю назад, до вечернего тайного разговора с Шурой. Но с того вечера нет-нет да блеснут чёрные глаза, вырвется бойкое словечко. И всё же это не прежняя вертушка, которая, наверно, сейчас же начала бы надоедать Шуру расспросами. Нет, теперешняя Рита тут же стихла. Села рядом с Шурой, молча прикинула к ней.

Вскоре в общежитие убежала Даша.

— Я готова, девочки... А вы чего же? Что это вам вздумалось?

В самом деле, было чему подивиться. Шура покорно сидит на табурете, а Рита вдохновенно расчёсывает её мягкие тёмные волосы. Даше бы полюбоваться синим в цветочках платьем, кружевом, обрамляющим смуглую шею, но она не скрывает недовольства:

— Что же вы делали до сих пор?

Ей, конечно, обидно: у неё семья, она боялась задержать подруг, топились, едва успела вычистить мужу гимнастёрку.

Расстегнув пальто, сняв шляпу, чтобы не вспотеть, Дарья грозно стоит в дверях. Но понемногу досада её идёт на убыль. По-бабы подперев щеку, она пытается с высоты своего житейского опыта расценить перемену в настроении Риты. «Обновление организма после болезни», — мысленно определяет она.

— Маргарита, — предлагает Даша, — принарядилась бы и ты. За нами Всеволод зайдёт. У них в клубе до ночи будут танцы.

И Рита не кидает в ответ безучастного взгляда. Напротив, из шкафа извлекается давно висевшее без употребления красное платье с белым широким поясом.

...Порядком опаздывая, девушки быстро идут по улице. Но всё же не так быстро, как хотелось бы Шуру. Её спутницы перекидываются какими-то фразами. Шура и не пытается вслушаться, уловить смысл этих слов. Это всё пустяки. Не о том думается в такой вечер.

Возможно, это был самый обыкновенный вечер, обычные весенние сумерки, которые наступили в положенный им час. Но нынче всё — багряная полоска зари, даже её отблеск в окнах домов, в зеркальных стёклах витрин — вызывает волнение Шуры.

Ужасно хочется быть счастливой.

Однажды, ещё в суровые годы войны, её охватило такое же чувство. Нарботавшись за день, она улеглась у края копны. Голова кружилась от запаха скошенных привядших трав. Сзади, за той же копной, расположились подружки, — они тоже довольно потрудились, тоже сладко растянулись на свежем сене. Они смеялись: кто-то рассказывал смешную историю про рыбалку. А Шуру хотелось молчания... Перед ней было такое же, как сейчас, небо — гаснущее, розовеющее.

Там, у копны, она подумала вдруг, что где-то, может быть, вовсе и не в её краях, возможно, на юге, на западе или на востоке, живёт он, тот, кто ещё не скоро, неизвестно когда, всем сердцем полюбит её, Шуру Поземко. Наверно, в те времена он — тот, чей неясный облик возникал перед Шурой, — не знал ещё бритвы, ещё, как и Шура, бегал в школу. Но девушка видела серьёзного, мужественного человека, которому верят товарищи, которому поверит и она. Поверит и полюбит всей душой. И впервые Шуру ожгло предчувствие этой любви.

Теперь, очнувшись от дум, она торопит своих спутниц:

— Скорее, Даша, скорее... Мы придём позже всех...

Но что это? Похоже на то, что они действительно пришли после всех. От завидневшегося впереди приземистого строения клуба Медсантруд гурьбой шёл народ. Не в клуб, а из клуба. И кто-то знакомый, идущий навстречу, весело прокричал:

— Собрание не состоялось!.. По домам! Красный Крест не обеспечил явки...

Кончено. Всё кончено. Даже полоска зари уже успела поблёкнуть. Они никого не застанут. Двери закрыты, все разошлись. Откуда у Шуры такая усталость? И присесть негде.

— Что же, — говорит Даша, — вернёмся?

— А может, зайдём в вестибюль? — предлагает Рита, поглядев на Шуру.

Та сурово молчит. Вдруг обе девушки дёргают Шуру за рукава. Одна — за правый, другая — за левый. На широком деревянном крыльце клуба маячит какая-то фигура в кепке, в распахнутом пальто.

Шура приостанавливается в нерешительности. В четверг, когда она шла в райком, она тоже увидела вдали серую кепку, знакомую лёгкую походку. Но лучше было не обгонять: под кепкой оказалось чужое, равнодушное лицо. И вчера в магазине её вновь обмануло сходство.

Но этот, вглядывающийся в опустевшую улицу, снимает свою кепку, и сумерки не могут скрыть светлого оттенка развеваемых ветром волос. Шуре кажется, что она различает и синеву глаз и их печальное, растерянное выражение. «Я здесь» — так бы и крикнула она. Но она лишь тихо говорит подругам:

— Ладно... Ступайте.

...А ведь вечер действительно необыкновенный.

— Ты не обиделась тогда?

— Нет...

— Представь, до утра просидели!

Можно и совсем не говорить. Можно просто итти под руку и думать. Думать о том, что ещё не высказано...

— Кажется, ты принесла нам счастье...

Это он сейчас снова сказал. Снова. Как и тогда, в тот раз.

Странно, Шура не сразу узнала знакомый длинный фасад с ярко освещённым входом. Ну, конечно, это же кинотеатр «Родина». Сюда частенько заявляется весёлая компания девушек из Центральной аптеки. Почему же прежде Шура не замечала, как нарядно это здание? Нет, оно не выкрашено вновь, вот старые трещинки на зеленоватой штукатурке. Почему же оно так приветливо? Почему так необычно переливаются огоньки лампочек? Так красивы афиши? И разве было прежде столько счастливых людей вокруг?

— Придётся вернуть тебе долг, — шутит Евгений.

Он до сих пор не надел свою кепку, так и стоит, откинув русую голову, сияя глазами.

— Какой долг?

— Я ведь не дал тебе досмотреть фильм. Пойдём, хоть другой поглядим.

И Евгений отправляется доставать билеты. Но вот беда, он забыл, что нынче суббота, канун выходного.

— Шура, билетов нет. Только на десять сорок.

— На десять сорок?

— Я всё-таки взял... А пока погуляем. Видишь, какая погода. Необыкновенный вечер...

Хорошо идти по тихим вечерним улицам.

— Шура! Твоя. Полярная!

И оба глядят, как мигают звёзды. Малая Медведица. Опрокинутый ковш.

...Они стоят у низкой деревянной ограды сквера. Тихо. Во тьме, несколько рассеиваемой светом неполной луны, едва различимы голые деревья, тропки. Трудно даже представить, что на этих дорожках — неясных, таинственных сейчас — днём золотится песок, испещрённый бесчисленными следами крошечных ботишков и калош, узкими полосками, остающимися от неустанной езды детских колясок, машин и тачек. Трудно представить здесь неумолчный гомон, веселье.

Впрочем, и теперь откуда-то доносится тихий смех. А справа говор. Обнажённые деревья тщетно пытаются скрыть чьи-то тайны. Вон на ближайшей скамье военный обнял девушку в белой косынке. Отсвечивает, поплёскивает его погон.

Прислушавшись, Шура начинает беспокойно озираться: чудится, в воздухе вновь прозвучит поцелуй. Нет, лучше выбраться отсюда, перейти туда, по ту сторону сквера, гделюдно, где ярко горят фонари. Она тянет за собой Лунькова.

Чтобы пересечь сквер, надо пройти мимо этой позабывшей обо всём на свете парочки. Придётся смутить девушку в белой косынке. Шуре и то совестно за неё. Украдкой взглянув на скамью, Шура почему-то замедляет шаг. Кажется, если бы она совсем замерла, остановилась против этих влюблённых, её и тогда бы никто из них не заметил. Бледное девичье лицо было таким радостным, таким невыразимо гордым, что Шуре вдруг в самом деле стало совестно подсматривать чужое счастье.

И Шура пошла, опустив голову, задумавшись над тем, как велик и ещё не изведен ею мир, в котором она живёт.

— Шура... Ты сама захотела сюда прийти...

— Куда?

Луньков, улыбаясь, подводит её к большому новому дому, который ещё издали, ещё из сквера, манил Шуру своими огнями, разноцветными прямоугольниками окон.

— Нравится эта громада?

Конечно, Шуре нравится этот высокий дом с балконами, с освещёнными подъездами, так выделяющийся среди остальных скромных строений. Такие домища и в Ново-Доменске наперечёт, а в Обске их вовсе не было.

— Отойдём немного... Видишь, на четвёртом этаже оранжевый абажур?

— Оранжевый? — чему-то улыбается Шура. — Правда. И даже кисти видать.

— Нас здесь славно покормят.

— Где? Я никуда не пойду!

— Но мне очень хочется есть. — Луньков вздохнул так искренне, что Шуре стало его жаль. — Видишь, Шура, симпатичную женщину в тёмном платке?

Да, Шура разглядела платок, повязанный под подбородком, встряхиваемую салфетку, мелькнувшую в оранжевом свете.

— Мать со стола прибирает,— говорит Евгений.— Позволь, я познакомлю тебя с нею, а заодно и с её стряпнёй.

#### 40. За ужином

Дверь отворил Макар Семёнович. Под хмурым взглядом отца гаснет оживление Жени.

— Конференция не состоялась,— начинает он, будто оправдываясь.

— А я-то всем сообщаю: мол, заседает товарищ Луньков.

— Много звонили?

— Хватает... Один тебя вызывал, так тот, похоже, хлебнул под выходной в своё удовольствие.

Вешая шурино пальто, Евгений украдкой улыбается ей: пусть не придаёт значения воркотне. Старик не в духе.

Старик все эти дни был не в духе, и больше всего доставалось от него сыну. Вообще-то Макар Семёнович благосклонно относился к теперешнему занятию Евгения, примирился и с небольшой зарплатой комсомольского работника, значительно меньшей, чем сын мог бы иметь, работая, скажем, инженером на заводе. Старожил Ново-Доменска не был равнодушен и к уважению, которое в городе оказывали сыну, а ордер на новую квартиру, выписанный на имя Лунькова-младшего, даже уязвил стариковскую гордость. Как-то — полшутя, полуворчливо — он сказал Жене: «Мне теперь с молодёжью легко управляться; каждому сосунку не то важно, что я заслуженный плотник, а то, что самому Лунькову прихожусь папашей». Он вовсе не кинул мечты увидеть сына инженером-доменщиком. Комсомол — дело временное, молодое, размышлял старик. Возмужает, войдёт в возраст и определится на завод. Нашумевшее совещание доменщиков вновь всколыхнуло отцовские чаяния. А затем Макару Семёновичу пришлось крепко расстроиться из-за того, что сын просидел до утра у старого смутьяна — так отец Жени называл Сырейщикова. Неужели Евгений и дальше будет заниматься этой — не разбери-поймёшь — штуковиной, зрящей выдумкой Сырейщикова?

— Как дела, отец? — возможно благодушнее спрашивает Евгений, страстно желая, чтобы отец поласковее встретил гостью.

— Дела? У отца-то все дела по одной линии...

Проворчав это, старик сердито отряхивает в горсть приставшие к вылинявшей рабочей рубашке опилки.

— Полки ладишь? — всё тем же тоном осведомляется Женья, но отец не достаивает его ответом.

Вскоре откуда-то со стороны кухни слышится повизгивание рубанка... А в столовой звонит телефон.

— Тебя, Евгений,— говорит Мария Михайловна и ставит на стол два прибора.

Ей нередко приходится потчевать молодёжь. Многим товарищам Жени и Клавды она от души рада; кое-кого не особенно жалует. Эту красивую девушку она видит впервые, не знает ещё, как отнестись к ней. Блеск жениных глаз и в то же время какая-то скованность, ненатуральность его жестов не ускользают от материнского взора. Марии Михайловне хочется получше разглядеть приведённую сыном гостью, да уж больно та дичится. А Клавдии всё невдомёк, так и сыплет вопросами. Нравится, что ли, смущать человека?

Последнее время мать недовольна дочерью. Впереди экзамены на аттестат зрелости, а девчонка дурит. То ничем не остановишь, не угомонишь, то задумается так, что не подходи; то заниматься не заставишь, а

то от книг не оттащишь. Дело весеннее, девичье, да надо всё же быть по-серьёзнее. Вот и теперь — отпросилась на вечеринку, торопилась нивесть как с ужином, а сама торчит здесь, любопытствует.

Конечно, у Шуры не меньше оснований проявить любопытство. Она не раз старалась представить себе, как живёт Евгений, его комнату, книги на полке, весь уклад жизни, его близких. И вот она у него, но всё расплывается перед её глазами. Ничего она не рассматривает, ничего не запомнит. А что касается его родных, то, конечно, в её воображении не существовала эта шустрая девчонка со сверлящими глазами. Хоть бы Луньков поскорее закончил свои дела, эти разговоры по телефону, догадался бы выручить Шуру.

Но секретарь горкома комсомола сам, видимо, в трудном положении. Ему звонят, он звонит. Завтра студенческий воскресник; сейчас обнаружались нелады с какими-то платформами; это требует его срочного вмешательства.

— Да. Нет, — коротко отвечает Шура на бойкие вопросы.

— Клаша, — почти приказывает Мария Михайловна, — отправляйся. Тебе пора. Гляди, уж и платье измяла.

Однако Клавдия расправляет складку на своём наряде, навивает на палец кончик косы, пренебрежительно фыркает:

— Подождут!

Почему ей не побыть ещё немного дома, не порасспросить женькину девушку, пока сам он занят, не слышит? А её, Клаву Лунькову, пусть подождут. Клаве требуется, чтобы в компании, где собрались девочки из её класса, заметили её опоздание. Не обязательно все, но один из спецшколы. Самый высокий, вежливый, получивший приз за отличную стрельбу. Требуется, чтобы он сидел печальный и крутил патефон; и отказывался танцевать; и смотрел на дверь...

— А как вы попали тогда во Дворец металлургов? — продолжает пытываться Клава.

Успокоившись за судьбу завтрашнего воскресника, Луньков стоит у телефонного столика, смотрит на сестру. Так... Потом он ей кое-что выскажет.

— Шура, — не выдерживает он. — Этот Дворец виден и от нас. Пойдём, покажу.

...Снова они одни. Внизу, под балконом, возникают неясные шумы улицы. Где-то прошёл трамвай... Гудок машины. Обрывки музыки. Далёкие голоса... И над всем — огромное тёмное небо. И вновь мерцает созвездие Малой Медведицы, Полярная звезда...

Евгению чудится, что отныне каждый раз, когда он выйдет сюда, на балкон, подышать, подумать в одиночестве, он будет уже не один... Непременно вспомнится это милое, кажущееся сейчас бледным лицо.

— Шура... Не унывай. — Он слегка касается её плеча. — Мы быстро поужинаем и — в кино.

— Не хочется ужинать, — шепчет она.

— Ну что ты... Это так поначалу. Ты к ним привыкнешь, вы сдружитесь. Они полюбят тебя.

Кажется, он высказал больше, чем собирался сказать. На мгновение он умолкает, проводит рукой по давно обсохшим, уже чуть запылённым перилам. Обернувшись, уловив обострившимся в этот момент зрением, как изменилось девичье лицо, он говорит прямо:

— Шура... Мне очень важно, чтобы ты сдружилась с моими.

Шура не спрашивает, почему важно, не отвечает. Чтобы скрыть смущение, она нагибается к цветочному ящику, подносит к лицу горстку твёрдой, знакомо пахнущей весенними соками земли.



— Евгений,— приоткрывает балконную дверь Макар Семёнович,— приятель к телефону требует. Тот, который выпивши..

Шура не слышит, о чём разговаривает Евгений. Она вся во власти нахлынувшего радостного волнения. Уже не опасаясь Клавдии, ушедшей на вечеринку, она сидит на кушетке, тихая, задумавшаяся.

Отойдя от телефона, Евгений сверяется с часами.

— Ужинать! Ужинать!

Усевшись за стол, он говорит матери:

— Скирко-то... Долго держался, а сегодня напился. С горя и звонит.— Обращаясь к Шуре, он поясняет: — Наш новодоменский поэт. Не слышала? В день Советской Армии областное радио передавало его стихи...

За ужином он пересказывает то, что уловил из невнятной жалобы Саши Скирко. Учительница Ирина Петровна — родители знают, конечно, что это за Ирина Петровна, — приглашена на нынешний вечер. Предполагается нечто вроде помолвки.

— Одним словом,— усмехается Евгений,— известный всем вам Виталий Крекшин вскоре женится на дочери нашего Степанянца. Вот Скирко и взбунтовался, не верит в любовь Крекшина. Убеждён, что это его хитрость, расчёт.

— Правильно! — вырывается у Шуры. Она смущённо бормочет: — Нельзя ему верить.

Крайнее волнение гостя поражает всех. Сидела, упорно молчала, не решалась взять куска и вдруг...

— Объясни, Шура,— быстро говорит Луньков.

Но Шура сидит, уткнувшись в тарелку.

— Так, просто...— еле выговаривает она.

— Нет, это не просто...

Евгений, однако, понимает, что сейчас Шура не в силах что-либо объяснить. Надо помочь ей прийти в себя.

— Шура, вот я описывал родителям твои края...

Он не ошибся — гостя веселеет. Мария Михайловна спрашивает её о природе, обычаях Севера.

— У вас ведь кружевницы замечательные, — говорит она. — Я всё восхищаюсь вашим воротничком. Наверно, собственной работы?

Шура подмечает выражение гордости, пробежавшее по лицу Евгения. Ах, если бы она могла похвастать, что умеет сама сплести такое кружево!

— Нет, это не я... Мне так не сделать. Это моя подруга связала.

По весело разбежавшимся морщинкам, по одобрительной улыбке матери Луньков заключает, что правдивый шурин ответ ей ещё более по сердцу, чем любой рукодельный талант.

А Шура, думая о Рите, о новости, услышанной сейчас за столом, говорит с горечью:

— Эта подруга... Эта девушка... Она такая способная, работающая. Только она очень намучилась. Я расскажу тебе, Луньков. Она уверена, что ей никто не может помочь.

— А что такое?

Шура солидно, тоном седенького районного врача, отвечает:

— Меня беспокоит её здоровье. — И, вспомнив лекцию, слышанную в горздраве, добавляет озабоченно: — А наукой установлено, что моральный фактор очень важен для излечения больного.

#### 41. Воскресный день

Дециграмм... Сантиграмм...

Эти крошечные разновесы аптекарши зовут попросту «деци», «санти». Смуглые шурины руки работают ровно и чётко. Взвешенные ароматные

кристаллики гваякола сыпаются в ступку. Теперь очередь за штанглазом с надписью «Codeinum». Деци... Санти...

В белой широкой ступке тщательно смешиваются оба лекарственных вещества. Пока рука занята пестиком, мыслям просторно. «Мне очень важно, чтобы ты сдружилась с моими». Что он хотел этим сказать вчера на балконе? Тёплая волна приливает к лицу. Нет... Слишком всё хорошо... Необыкновенно...

— Шура, — поддразнивает её Рита, — в ассистентской улыбаться запрещено.

— Болтать тоже, — отвечает Шура и никак не может сдержать улыбку. И правда, в окно брызжет солнце, брызжет и играет, как это бывает лишь после дождя, когда лужи на улицах ещё не высохли. Лучи отражаются, трепещут во множестве аптечных склянок. Весенний воскресный день... Когда закончится первая смена, солнце ещё будет сиять, обогреть Большую Аптечную.

Рита лукаво грозит Шуре, но Шура спешит отвернуться. Ей надо достать маленькие роговые вросочки, капсулатуру.

Шура чувствует себя виноватой перед подругой. До вчерашнего вечера она честно молчала, никому не поверяла ригиных тайн, даже Даше не сказала, а Луньков попытался, когда они шли в кино. Шура ему всё выложила. То есть не всё, очень подробно рассказывать она постеснялась. Однако прощальный разговор Крекшина с Ритой, его объяснение, она передала полностью, от начала до конца. Луньков не пропустил ни звука. Когда она повторила обидные слова Крекшина насчёт «просто аптекарши», Евгений даже остановился, схватил её за руки.

Она описала ему, как изменилась, измучилась Рита, как всем им хочется опять видеть её всёёлой. Надо, чтобы она поверила. Чтобы вновь полюбила жизнь. Тогда и здоровье поправится.

— Подумать только, — сказала она под конец, — ведь это история двух комсомольцев.

Луньков рассказал Шуре про один разговор со своим другом, тем, что пишет стихи и влюблён в учительницу. Конечно, трудно вмешаться, когда Крекшин так перестроился, ловко себя повёл. Но если Рита убедится, что комсомольцы всё равно не верят Виталию, осуждают его, ей, возможно, станет легче.

— Ещё бы, — вздохнула в ответ Шура. — Всем станет легче.

...Подёрнув рукава белого халата, Шура берётся за следующий рецепт. Подходящая мазь, её надо долго, долго размешивать, растирать. Работать пестиком и вспоминать о чём хочешь.

Правильнее было бы запретить в ассистентской не только разговаривать, но и думать. Думать, например, о прошедшем вечере.

...Когда в зрительном зале стало темно, Луньков продолжал смотреть на неё, и теперь она не может вспомнить начала картины. Потом ей самой захотелось взглянуть на него, и он отвёл глаза. Она видела: он выпрямился, откинулся на спинку стула, стал следить за фильмом. Сзади какой-то старичок недовольно сказал:

— Гражданин, снимите кепку!

Было очень странно, что кто-то может говорить так сердито. Когда старичок заворчал на кого-то другого, Шура улыбнулась. Улыбнулся и Евгений. Как бы в знак дружбы, он положил ей на колени кепку. Она спрятала под неё руки, там ещё хранилось тепло от его головы.

...Даша тихонько окликает Риту, указывает глазами на шурин профиль. Девушки понимают друг дружку: Шуру можно ни о чём не спрашивать. Никого не обманет это лицо, это выражение сдерживаемого и всё же рвущегося наружу счастья.

...Он продолжал смотреть на экран и вдруг взялся за кепку, словно решил отобрать её у Шуры. Нет, не отобрал. Он положил руку под кепку и нашёл там шуриную руку. И они оба стали смотреть на экран.

Впереди них сидела пара. Лохматый мужчина и девушка в берете. Девушка вначале сидела прямо, и Шуре не всё было видно из-за неё. Потом девушка положила голову на плечо соседа и больше никому не мешала смотреть. Мужчина обнял её и стал гладить её воротник. Чего-то устыдившись, Шура высвободила свои пальцы и положила кепку на колени Лунькова. Руки она засунула в рукава пальто и стала глядеть на экран.

...Сейчас надо изготовить порошки фенамина. Сантиграмм фенамина, два дециграмма сахара... Только бы никто не начал расспрашивать её о содержании фильма!

...Когда Луньков проводил её до дома и они стояли в подъезде, скрываясь от первых капель дождя, он сказал:

— Как-нибудь загляну в ваше общежитие, полюбуюсь на «легэ артис»...

— ...Девочки! — нарушает тишину ассистентской Шура. — Вчера у нас делали субботнюю уборку?

— Кому было убирать? — отвечает Аня. — Все ушли на Красный Крест, а потом разбежались. Наведём чистоту в понедельник.

Примчавшись с работы, Шура знает, что ей следует делать. Она не собирается лодырничать, как другие, не польстится на воскресные развлечения. В миг надеты выдавшие виды синие лыжные брюки, натянута через голову майка с короткими рукавами. Руки движутся быстро и точно, не хуже, чем за ассистентским столом. Протираются все горбыльки на оконной раме, каждая перекладинка на каждой койке.

— Что на тебя нашло? — удивляются остальные обитательницы комнаты. — Разве уж такая у нас грязь?

— Ещё какая! — хохочет Шура. И вскакивает на табурет.

Ей и самой смешно. Конечно, секретарь горкома комсомола, если он когда-нибудь, действительно, придёт поинтересоваться «легэ артис» — отменной чистотой их общежития, не станет пробовать пальцем, нет ли здесь, под потолком, пыли... Да и вообще, пока он выберется, накопится новая пыль.

Но Шура с восторгом орудует тряпкой, прибирается и поёт.

Теперь осталось вымыть пол. Шуре это полдела, две минуты — и заблестит... Хороши полы крашсные. Вымоешь — засияют от свежести. Вот только волосы лезут в глаза, растрепалась!

— Девчонки! — вбегает Аня. У неё совсем круглые глаза: видимо,стряслось что-то необычайное. — Девчонки, идёт!

Аня не догадывается прикрыть дверь, и следом за ней, по-весеннему, без пальто, с непокрытой русой головой, заходит улыбающийся Луньков.

Шура стоит перед ним раскрасневшаяся, с тряпкой в руках, в лыжных штанах, в калошах на босу ногу.

«Хороша!» — с ужасом проносится в её голове.

«Хороша! — думает Евгений. — Такая она ещё лучше».

#### 42. Аллея влюблённых

Куда же пойти этой взявшейся за руки парочке?

Перед Евгением и Шурой весь Ново-Доменск, весенний, будто умытый, озарённый предзакатным солнцем. За день улицы и тропки подсохли. Изредка попадаются одинокие, отсвечивающие, отражающие небо лужи, маленькие озерки, с укоризной напоминающие Шуре о лужицах на недомытых, брошенных мокрыми, полах общежития.

Может быть, направиться по железнодорожной насыпи, пролегающей возле Большой Аптечной, подойти к заводу, рассмотреть поближе все эти непонятные (нынче совсем-совсем не мрачные) громадины-башни с какими-то мостиками наверху? Луньков, конечно, всё покажет, объяснит... Или взобраться на Сосновую горку? Или держать путь к реке?

В конце концов Шура называет одну из самых известных улиц Ново-Доменска — Первую улицу. Там, на Первой, она была прошлым летом. Там весело, шумно, полно молодёжи. Этой гостеприимной широкой улице, обсаженной кустарником и деревьями, до сих пор не изменили Даша со Всеволодом: выходят туда в свободный час. Такая уж эта хитрая улица, что, не оборвись так быстро шурина дружба с Алексеем Кистяковским, продлись она до тёплых дней, вероятно, прогулки с Большой Аптечной были бы перенесены на Первую. Ну и хорошо, что Шура до сих пор бывала там только с подругами.

— Пойдём, — соглашается Евгений и, улыбаясь, спрашивает: — А ты слышала, как прозвали эту улицу?

— Нет, — теряется Шура. — То есть не помню.

Ей ли не слышать, если об этом знает вся молодёжь города...

Даже издали можно было увидеть, как оживлена, заполнена воскресной толпой эта знаменитая в городе аллея. По-настоящему она станет хороша попозже, когда распухнет, зазеленеет листва щедро посаженных здесь деревьев. У них особая, благородная задача — заслонить, прикрыть длинный ряд унылых плоских казарм, поставленных глухими торцами к улице. Убогая фантазия архитектора, которого и поныне неласково упоминают в Ново-Доменске, породила первые два десятка каменных жилых домов, этот «квартал нового типа». Луньков помнит: ещё в те времена, когда он был пионером, в «Ново-Доменской правде» появилось письмо комсомольцев (подписанное, кстати сказать, и Володиёй Орловским), которые предлагали, даже требовали озеленить, украсить неприглядную, скучную Первую улицу.

После войны в газете появились заметки о том, что в разросшейся аллее стоило бы поставить побольше скамей; о том, что пора открыть там киоск с мороженым и водами. А два года назад чья-то добрая душа, вдобавок ко всему, догадалась запретить на Первой улице движение транспорта. С тех пор молодёжь и прозвала её Аллеей влюблённых.

...Они сидят на скамье около бездействующего пока, в ожидании лета, фонтана. Луньков рассказывает, что зашёл в общежитие аптеки прямо с воскресника. Заложены фундамент нового здания педагогического института.

— Мы с тобой, Шура, увидим в Ново-Доменске и не такие ещё здания!

— Меня-то уже не будет...

— Как так? Почему?

— Надеюсь пожить в Приалтайске... Если стану студенткой.

— А... Ну, будешь приезжать на каникулы.

Как это он позабыл, что медицинский институт находится в областном центре? Шура следит: можно сказать, в лице изменился! Довольная, она напоминает Лунькову про обещание вдвоём обсудить её дела.

— Здесь? На этой улице?

Евгений отнюдь не уверен, что выбранный Шурой маршрут годится для большого разговора. Подтверждая его сомнения, раздаётся возглас:

— Евгений Макарович, вот удачно!

Высокий узколицый человек приподнимает шляпу, знакомит Лунькова с немолодой женщиной в длинном платье, виднеющемся из-под пальто. Шура немного отодвигается, чтобы подошедшие могли присесть. Она напряжённо изучает усталое тонкое женское лицо. Шура где-то встречала эту женщину, даже, пожалуй, разговаривала с ней: голос очень знаком.

— Будем просить вас, Евгений Макарович, вновь собрать у нас небольшой актив. Ещё одну пьесу наметили.

Поражённая, Шура прислушивается к разговору. Оказывается, к ним подсел режиссёр новодоменского театра. А женщина в странной шляпке — Извольская. Неужели это Лена из спектакля «Счастье»? Лена, влюблённая в Воропаева? Ну да... Поэтому Шура и знаком её голос. Она же и Джульетта, совсем девочка, красавица с золотыми волосами. На этом спектакле Шура была с Ритой. Потом они достали Шекспира. Рита пыталась изобразить Джульетту, декламировала, декламировала и расплакалась...

Девочки позавидуют Шура, что она познакомилась, сидела рядом с настоящей артисткой, первой артисткой города. Только не надо рассказывать, что вблизи у неё заметны морщинки и она не такая интересная, как на сцене. Ведь все они мечтают посмотреть её в «Бесприданнице»...

Луньков старается втянуть Шуру в общий разговор. Девушка бесхитростно восхищается игрой Извольской, решается спросить о новой роли, которую та теперь готовит.

— Я «Бесприданницу» смотрела в кино, — говорит Шура. — Забыть не могу.

Тогда, в кино, она даже зажмурилась в том месте, где Лариса держит руку над огнём, показывает силу своей любви... Поневоле припоминалась бсль от ожога карболкой.

— Наверное, у той артистки остался след от свечи, от пламени...— Шура сочувственно вздыхает.

Извольская ласково касается шуриного плеча.

— Мы готовы испытывать на сцене любое страдание. Но нельзя же, чтобы от всего оставались следы.

Шура, сконфузившись, хранит молчание. Распростившись с актёрами, Луньков предлагает ей пойти вместе с другими комсомольцами на читку пьесы.

— Сведём тебя за кулисы, покажем декорации...

И опять хорошо на душе у Шуры... И хочется, чтобы всем было хорошо. Завтра же после получки она отправит матери ежемесячные пятьдесят рублей, чтобы успели дойти к Первому мая. Нет, на этот раз, по случаю праздника, она пошлёт восемьдесят, чтобы младшим были гостицы, чтобы чувствовали, как радостно у неё на душе.

А Евгений задумчив... Надо Шура учиться. Не откладывая! И разговор об этом нечего откладывать. Он поднимает голову — перед ним широкая, заполненная гуляющими Первая улица.

— Ну, идём, — говорит Шура.

— Пошли. Только давай куда-нибудь свернём... Куда-нибудь, где тише.

Предложение уединиться в тихом переулке немного смущает девушку.

— Зачем? Здесь будет веселее.

— Веселее-то будет, — неопределённо улыбается Луньков.

Они идут по Аллее влюблённых. Пешеходам здесь отдана и мостовая.

— Лунькову привет!

— Женька, и ты вышел пройтись?

«Популярная личность в городе», как однажды выразился «Звёздочка», раскланивается направо и налево. Шура начинает с сожалением думать о какой-либо укромной улочке. И вообще, пока не зазеленеют тополи и липы, не прикроют своими кронами однообразный, скучный ряд домов, не так уж хороша эта Первая улица. Только и красиво сейчас небо, виднеющееся промеж голых торцов, — темнобагряное, частью уже фиолетовое, погасающее.

...Сумерки совсем сгустились, стало свежее. Жарко только левой руке, которую сжимает большая, сильная ладонь. Шура думает о вчерашнем вечере... Если бы вернулось то настроение... Если бы вновь услышать то, что было сказано вчера...

Внезапно вспыхивают два ряда круглых фонарей, подвешенных на металлических столбах. Упавшие на асфальт большие круги света вырывают из сумрака толстую девицу, идущую под руку с сержантом, двух школьниц с длинными косами, освещают других смеющихся, шепчущихся в этот час молодых новодоменцев.

— Вот не ожидал!

С этим возгласом Евгений устремляется к чинно выступающей навстречу паре. Добротная детская коляска предшествует родителям.

— Шура, знакомься. Это Тамара. Это Леонид Власыч.

Шура таким и представляла знаменитого Лёшу, о котором уже слышала от Лунькова.

В виде приветствия Леонид Власыч сдвигает огромную щегольскую кепку на приметно торчащее ухо. Потом произносит со значением:

— Стало быть, едет?

— Едет...

Шура догадывается: товарищи говорят о Сырейщикове, которого в пятницу проводили на московский поезд.

Тамара Чуваева поставила коляску в сторону, стоит, сомкнув губы, почти не удостоивая Лунькова взглядом. Жаль, не хватает характера не глядеть на его девушку. Шура в свою очередь тоже не может не смотреть на жену Лёши. Странно — такая хорошенькая и такая сердитая. Когда в коляске кто-то начинает шевелиться, Шура не в силах устоять:

— Славный какой! Как его зовут?

Испуганный Валерка высовывается из-за расшитого полога, показывается во всём великолепии. Его можно отлично разглядеть в ярком свете фонаря. Щекастый, разряженный первенец — гордость семьи Чуваевых. На воскресную прогулку он выехал в голубом, отделанном пухом капюшоне, какого не увидишь ни на одном младенце. Под подбородком — два пушистых помпона, на ногах — одеяльце с вытканными хвостатыми белками и шишками.

— Ой, можно, я подержу вашего мальчику?

Что и говорить, Шура куда быстрее, чем Евгений, добилась доверия лёшиной супруги.

— Мне в детстве много пришлось понянчить, — говорит Шура. — Люблю их до смерти.

— Он не ко всем так идёт, — милостиво улыбается молодая мама.

— Но в губы их целовать не следует, — солидно наставляет Шура и прижимает к своему лицу тёплую щёчку, пахнущую молоком и мылом.

А мужчины меж тем отошли, прохаживаются по аллее. Помянув о Свердловске, что уже утром миновал Валерий Николаевич, Евгений заговаривает о другом. Понизив голос, он выкладывает то, что волнует его со вчерашнего вечера. Всё, что он выпытал у Шуры. Всё о Виталии Крекшине.

— А мы во вторник должны будем с него выговор снимать. — Лёшина кепка теперь нахлобучена по самые брови.

— И ведь не станешь же, — говорит Жёня, — выносить эту историю на собрание... Ничего не докажешь.

— Докажешь не докажешь, а выговор, будьте спокойны, останется при нём.

— Как же?

— Свободная вещь. Голосование-то будет? Создадим атмосферу...

— Не возражаю, мудрейший Леонид Власыч.

Расставшись с Чуваевыми, вновь ответив на несколько приветствий, Евгений спрашивает Шуру:

— Признаёшь свою ошибку?

Ошибка признана, дано согласие на перемену маршрута.

Кто, вспоминая свою юность, не помянет такую вот долгую прогулку вдвоём, когда тихие, сонные переулки не мешали говорить, молчать?.. Евгений говорит и слушает. И видит рядом с собой то поднятые к нему живые, блестящие глаза, то строгий милый профиль.

Окончательно решено, что Шура станет врачом. Рассказано друг другу многое, что никому не расскажешь, кажется, вся жизнь раскрыта, а они всё идут и идут. Минуют чьи-то дворики, по-весеннему пустые палисадники.

— Шура... Мне, знаешь, всегда представлялось... Всегда казалось, что я непременно встречу такую девушку... Такую, какую себе воображал...

— Какую же? — тихо спрашивает Шура.

— Сразу не скажешь... Ну, добрую к людям... Чтобы любила жизнь, людей... Выросшую в труде. Жадную к знаниям... Понимаешь, настоящего человека.

Шура молчит, лицо её строго, печально. Нет, для неё это всё слишком хорошо.

— Скромную, — продолжает Евгений. — Правдивую. Всегда говорящую правду... Такую себе представлял...

Переходя на шёпот, он лукаво добавляет:

— В вязаном кружевном воротничке...

Длится и длится молчание... Они стоят у чьей-то калитки, не мигая глядят на уснувший выбеленный домик. Маленькое оконце отражает бледный холодный свет, блестит под луной жестяная дощечка, приколоченная почти под самой крышей. «Дровяной переулок, № 17». Вдоль низкого забора выстроились топольки с набухшими, клейкими почками.

Дровяной переулок, а совсем не Аллея влюблённых...

Всё-таки странно — Женю сейчас это кольнуло, — что в шуриной жизни какую-то роль сыграл человек с такой неприятной Лунькову фамилией. Но, конечно, о нём, о сынке Кистяковского, она не станет никогда вспоминать, так же как и он о своём первом романе, в котором тоже признался сегодня. Сумел ли он рассказать о нём так, чтобы ей совсем не было больно?

— Шура... О чём ты задумалась?

Она поднимает сияющие глаза, а он... Весенний ли вечер, тополиный ли дух воскресили в памяти Жени насмешливо брошенные когда-то слова: «Другой бы давно сообразил...»

Резко, рывком, он притягивает к себе темноволосую голову и крепко целует в губы. Зина любила, чтобы он целовал её именно так.

Шура мягко высвобождается, молчит. Глядя на её посуровевшее лицо, он понимает, что сделал что-то не то. Грубо спугнул её, нарушил очарование.

— Пойдём домой, — говорит Шура.

Ей почему-то грустно... Почему-то он вдруг показался чужим, совсем не таким, как минуту назад.

Они идут. У Шуры крупный, решительный шаг. А впрочем, мелко ходить она не умеет.

— Та девушка, — наконец выговаривает Евгений, — та, которая виделась мне всегда, так и должна была рассердиться.

Шура не отвечает, но вдруг сама берёт его под руку. Теперь они идут рядом, идут тише... Вот и Большая Аптечная.

— Шура... Прости. Я... Я тебя так сильно люблю, что всё понимаю. Я обещаю тебе...

Они снова стоят, держатся за руки. Шура тоже всё понимает. И всё теперь хорошо... Если бы они стояли не на этой улице, если бы не угадывалась вдалеке вывеска Центральной аптеки, Шура бы... Но она не решается даже прикинуть к нему. Она только смотрит на него так, что больно глазам.

#### 43. В одном министерстве

— Только что с поезда? Нигде не устроившись?

— Да... Не хотелось с этим возиться. Решил прямо к вам.

— Гм...

Этот неопределённый звук издаёт Сергей Иванович Синяков, начальник одного из отделов министерства. Он ещё раз изучает командировочное удостоверение посетителя.

Сергей Иванович и не подозревает, какие сложные чувства отражает его физиономия в эти минуты — минуты первого знакомства с вновь пришедшим. Когда-то Сергей Иванович слыл добряком. В те времена, то есть лет десять — пятнадцать назад, его толстые губы, большой нос, немножко, как говорится, картошкой, лоснящиеся щёки — всё это сияло жизнерадостностью, расположением ко всем и каждому. Впрочем, и теперь дома с ребятами, с женой или в гостях у старинных друзей Сергей Иванович, уже успев обзавестись лысиной, розовеющей на самой макушке, остаётся попрежнему весельчаком, человеком открытого нрава. Но, переступая порог служебного кабинета, он меняется. Вот и сейчас глаза с набрякшими под ними мешочками придирчиво всматриваются в документ. А как же иначе? Кто только не приходит сюда? Разве наряду с маститыми профессорами или ещё неизвестными молодыми учёными не появлялись у Сергея Ивановича разного рода пройдохи и пролазы, жаждущие лишь так называемых благ, связанных с учёным званием. Таких, тут же мысленно зачисляемых в категорию «нахалов», Сергей Иванович особенно не терпит, относится к ним куда непримиримее, чем, например, к просто сумасшедшим, добравшимся порой до его кабинета, мнящим себя изобретателями, великими учёными, авторами поразительных открытий.

Гм... Этот Валерий Николаевич Сырейщиков, преподаватель Ново-Доменского металлургического института, как значится в командировочном удостоверении, тоже довольно странная личность. Ввалился в кабинет с чемоданом, чуть не уронил по пути стул. Не мог, что ли, оставить свой багаж там же, куда сдал пальто?

Недоверие у Сергея Ивановича не рассеивается и после того, как, изучив бумажку, он переводит взгляд на её предъявителя. Одет этот приезжий так, словно и не кончились годы войны. Штаны и пиджак заносены до блеска, обшлага на рукавах протёрты, бахромются. Фигура необычная. Не алкоголик ли?

Внимательно оглядев лицо посетителя, Синяков отказывается от этого предположения. Нет... никакой одутловатости. Наоборот, на щеках тёмные провалы, ямы... «Неудачник!» — наконец-то он находит нужное определение. К неудачникам, бессребренникам Сергей Иванович, добряк по натуре, питает пристрастие. Протянув с улыбкой Сырейщикову его удостоверение, Синяков соединяется по телефону с комендантом.

— Алло... У меня просьба. Тут приехал преподаватель из Ново-Доменска. Помогите, пожалуйста, ему с пристанищем. Нет, сам он, боюсь, намучается. — Оценив ещё раз взглядом странного посетителя, начальник отдела уверенно добавляет: — Сам он не устроится... Да. Хотя бы койку в общежитии. Да, Иван Никитич, позвоните мне, пожалуйста.



— Слушаю вас, товарищ Сырейщиков.

— Мне говорить нечего. Я хочу послушать, как вы мне всё это объясните.

— Что?

— Вот это...

Нервно взмахнув руками, Сырейщиков быстро вытаскивает из внутреннего кармана пиджака бумажник, находит вырезку из газеты «Труд» и кладёт её на стол перед Синяковым.

Сергей Иванович, бросив взгляд на вырезку, сразу соображает, вот почему показалась знакомой эта фамилия. Это тот самый Сырейщиков, который писал жалобы министру. Требовал огромных денег для своего исследования на какую-то фантастическую тему... Ах да, он выступил против доменных печей. Свою непосредственную работу запустил. Не ужился в институте. Руководство института решило с ним расстаться. Да, Синяков всё это помнит, объявление в «Труде» с ним согласовано.

— Что вы там выдумываете? — иным тоном, в мыслях уже причислив Сырейщикова к категории неудачников-нахалов, спрашивает начальник отдела.—Требуете каких-то колоссальных средств для своей диссертации.

— Какой диссертации?

— Ну, как её... Как зовётся ваша тема? Электроплавка стали... Так?

— Вовсе не стали, а чугуна.

— Всё равно... Напрасно вы рассчитываете, что государство выбросит для вашей диссертации...

— Какой диссертации? — снова выкрикивает Сырейщиков.— У меня совсем другие цели. Я требую средств не для диссертации, чёрт с ней в конце концов...

— Товарищ Сырейщиков!

Начальник отдела вынужден напомнить приезжему, где тот находится.

— Простите... Я сказал, что у меня совсем другие цели. Свою работу я предназначаю для промышленного использования. Я не только научный работник, я вместе с тем практик, инженер...

— Как же можно использовать вашу идею? Снести доменные печи?

Синяков помнит, как его недавно рассмешили, рассказав об этом намерении чудака-изобретателя.

Валерий Николаевич сразу ощущает давно ставшую для него привычной атмосферу насмешливости, недоверия, недоброжелательства, созданную, как видно, вокруг его имени и здесь. Он мог бы, как это не раз в прошлом с ним случалось, вскочить, наговорить колкостей, однако он отвечает сдержанно:

— Зачем же сносить домны? Они нам не мешают.

В душе он благодарит своих молодых соратников. Теперь он вооружён вескими доводами. Спасибо Лунькову.

— Мною, товарищ Синяков, предложен новый способ плавки чугуна, возможный там, где нецелесообразно, невозможно строить домны...

Кажется, собеседник Сырейщикова насторожился, слушает. Не теряя времени, Валерий Николаевич порывисто встаёт, опять чуть не опрокинув стул, быстро раскрывает чемодан, извлекает оттуда два тяжёлых чугунных обломка и кладёт на стол.

— Этот чугун выплавлен без кокса. На сыром угле, в электропечи. Скажите, товарищ Синяков, разве это не заслуживает внимания? Особенно в наше время, когда сооружаются новые мощные гидроэлектростанции?

Синяков слушает, взяв на ладонь кусок металла и словно прикидывая его на вес, одновременно взвешивает и аргументацию посетителя. Гм... Новые гидроузлы... Север... Ангара... Да, всё это звучит вовсе не так уж нелепо, как это представили Сергею Ивановичу.

А Сырейщиков оживлённо продолжает:

— Перед проектировщиками будущих гидроэлектростанций на сибирских реках сегодня стоит вопрос: кому отдать энергию, кто будет потребителем? Отвечаю: некоторую её часть поглотим мы, электродоменщики.

Гм... Этот растяпа, так и не закрывший своего чемодана, в котором виднеются ещё две или три чушки чугуна, превосходно уместившиеся на новой, в серую полоску сорочке, — этот растяпа, во всяком случае, не жулик. И не сумасшедший. Синяков уже смотрит на него с симпатией. Конечно, тут стоит вопрос не о диссертации. Возможно, здесь большое государственное дело... Зазвонивший телефон требует внимания Синякова.

— Извините, — говорит он. — Алло... Гм... Нет, знаете, Иван Никитич, предлагать этому товарищу общежитие неудобно... Что? Для кого забронирован? Вот и отдайте это, пожалуйста, Сырейщикову. Да, да, будьте добры, отдельный номер.

Валерию Николаевичу захотелось вмешаться, сказать, что койка в общежитии вполне ему устроит (вряд ли в Ново-Доменске полностью оплатят счёт за номер), но он решает промолчать. Понимая, что Синяков отбросил подозрительность, Сырейщиков благодарен ему.

— Хорошо, товарищ Сырейщиков, что вы приехали и всё лично объяснили. Я представлял это себе совершенно по-другому. В Министерстве чёрной металлургии знают о вашей идее?

— Ещё бы не знать! Я туда писал три или четыре раза.

— Что же вам ответили?

— Сообщили, что оборудование для меня выделено.

— Ну вот. Очень хорошо.

— А деньги? Ведь мне не отпустили денег, чтобы уплатить за него.

— И вы, значит, остались без оборудования?

— В том-то и загвоздка...

— Гм... Всё это не совсем понятно. Знаете что? Идите сейчас в Министерство чёрной металлургии. Прямо к Евсееву.

— А кто он?

— Ведает всеми экспериментальными работами. Я напишу ему несколько строк.

Сырейщиков прячет в чемодан драгоценные тяжёлые куски. Из-под прижатой чугуном полосатой сорочки, с которой ещё не сорван магазинный бумажный ярлычок, купленной специально для этой поездки, вынул рукав коричневого пиджака. Он не лоснится, не бахромится.

— Теперь заезжайте в гостиницу, приведите себя в порядок, — добродушно наставляет Сергей Иванович. — В таком виде по министерствам не ходите.

Сырейщиков краснеет, откланивается и в том же заношенном до блеска костюме, с тем же чемоданом отправляется напрямик в другое министерство.

А Сергей Иванович, почесав в раздумье затылок, вызывает секретаршу и просит позвонить в гостиницу, выяснить, не задержался ли ещё в Москве товарищ Шквариков, заместитель директора Ново-Доменского металлургического института.

...Минут двадцать спустя Фёдор Романович входит к Синякову.

В Москве Фёдор Романович порозовел, помолодел. Он пришёл без пальто — на улице теплынь... По случаю весны в петлице его пиджака приоткрылся маленький, чуть увядший подснежник, вставленный туда при нежном прощании одной заботливой, ласковой ручкой. Что же, и Шкварикову, человеку дела, не чужды некоторые слабости. Однако не принято являться в учреждения в таком виде. Жаль, придётся выбросить подснежник.

Разумеется, Фёдор Романович догадывается, чем вызвано это срочное и, признаться, суховатое приглашение в министерство. Он часто разгова-

ривает по телефону с Ново-Доменском. Степанянец ещё третьего дня сообщил ему, что Сырейщикова выехал в Москву. Конечно, «сокрушитель домен» уже прибыл, уже заявился к Синякову. Всё понятно. Фёдор Романович к этому готов. Готов держать ответ.

По привычке он оглядывает сквозь очки комнату, затем внимательно, но без малейшей встревоженности, смотрит на Синякова.

— Здравствуй, Сергей Иванович. Чем могу служить?

Предложив Шкварикову стул, начальник отдела говорит:

— Послушайте-ка, товарищ Шквариков, вы меня не совсем верно информировали.

Проницательная, тонкая улыбка появляется на губах Шкварикова.

— Вероятно, о Сырейщикове...

— Да... Он просит денег вовсе не для диссертации. Его работа, как я понимаю, представляет интерес для народного хозяйства.

— Насчёт диссертации нам, новодоменцам, Сергей Иванович, виднее... Ну, а хозяйственное значение... Не буду спорить. Соглашусь с вами заранее. Готов даже допустить, что предложению Сырейщикова суждено восторжествовать. Хотя, откровенно говоря... Впрочем, своё личное мнение я готов отложить в сторону.

— Но как же можно было уволить такого человека?

— Что поделаешь... Министерство ставит нас в безвыходное положение.

— Министерство?

— Ну да... Дайте нам кафедру электродоменного производства, и мы обеими руками будем держаться за Сырейщикова.

— Вы же отлично знаете, что такой кафедры не предусмотрено.

— В том-то и дело. А нам поручено готовить доменщиков. Доменщиков, Сергей Иванович, а не так называемых электродоменщиков. И, следовательно, нам нужен преподаватель, любящий доменное дело, увлекающийся им, способный передать, привить эту свою любовь студентам... Может быть, Сергей Иванович, я не прав?

Произнеся эту тираду, Шквариков скромно опускает глаза. Конечно, его логику никто не опровергнет.

Синяков не может найти возражений. Ему даже несколько совестно, что он по уходе Сырейщикова чуть не причислил Шкварикова к категории нахалов и вралей.

— Но всё же, Фёдор Романович, нельзя оставлять Сырейщикова без поддержки.

— Разумеется, нельзя! — Шквариков мигом переходит в наступление. — Вам и карты в руки. Министерство обязано помочь ему устроиться в докторантуру Академии наук. Прекраснейший для него выход. И премировать! — Посвежее в Москве, но попрежнему неяркое лицо Фёдора Романовича становится сейчас вдохновенным. — Отпустите несколько тысяч на премию.

— Каких тысяч? Откуда?

— Где-то надо изыскать, Сергей Иванович. В Ново-Доменске он тратил чуть ли не весь оклад на опыты. Я не принадлежу к его поклонникам, вы это знаете, Сергей Иванович, но надо же отнестись гуманно. С вашего позволения, я сегодня же напишу официальное ходатайство о его премировании.

— Ну, напишите... Только вряд ли что-нибудь выйдет. Пока его не обнадёживайте.

— Но главное, Сергей Иванович, помогите ему выбраться на простор, устройте его в столичной докторантуре...

— Да, надобно помочь.

Сергей Иванович делает пометку в большом, лежащем на столе блокноте: «Сырейщиков. Докторантура». Фёдор Романович следит за его карандашом, потом снимает очки, безмятежно, бесхитростно смотрит в окно. Да, эта маленькая партия выиграна. Уважаемый Сергей Иванович не разобрался в некоторых тонкостях позиции. Например, в том, что с отъездом Сырейщикова из Ново-Доменска распадётся сплотившийся около него небольшой, но зубастый коллектив. А также в том, что «утице» приходит конец... Теперь-то Фёдор Романович убеждён, что принципиальная линия, которую он так последовательно проводил в Ново-Доменске, не потерпит краха. А то ведь... Мало ли что может стрястись, пока Сырейщиков возится в своём подвале? Вдруг, чего доброго, его затеи будут объявлены ценными? Не в очень ловком положении окажется тогда Фёдор Романович. Нет уж, лучше поберечься... На новом месте, в одиночку, Сырейщиков не скоро пробьётся. А впрочем, пусть тут преуспевает. Фёдор Романович не желает ему зла. Пусть здравствует и благоденствует. Лишь бы не в Ново-Доменске.

Теперь нужен только завершающий изящный ход.

— Конечно, Сергей Иванович, если вы считаете нужным, дадим телеграмму Степанянцу. Пусть отменит своё распоряжение. Ведь это он так решил насчёт Сырейщикова.

— Нет, этого не надо,—говорит Синяков.— Постараемся здесь ему помочь.

Фёдор Романович проводит в кабинете ещё несколько минут, беседуя уже о других делах, затем прощается. Всё. Партийка разыграна...

...Выйдя из подъезда министерства, Шквариков разрешает себе вздохнуть полной грудью. Вот что значит выдержать линию!

Теперь сразу направо и вниз по Кузнецкому, прямёхонько к Центральному телеграфу. Очень кстати, что на час дня у него заказан разговор с Ново-Доменском. Он и сообщит Степану Суреновичу некоторые новости.

Можно не спешить, времени до часу предостаточно. Фёдору Романовичу не раз приходилось следовать по этому пути, посещая министерство. Однако сейчас он разрешает себе пройтись неторопливой, неделовой походкой, пофланировать, понежиться на солнышке. Не доходя до Неглинной, Фёдор Романович останавливается, привлечённый красочной витриной и вывеской «Консервы», заходит в магазин. Выбрав большую банку, на этикетке которой красуется надпись на болгарском языке и рдеют пунцовые, продолговатые томаты, он весело просит продавщицу вернуть ещё и баночку абрикосового компота.

— Пожалуйста, одним пакетом. И упакуйте получше... Знаете,—со смехом поясняет вдруг ставший разговорчивым Фёдор Романович,—неожиданно вызвали к начальству, даже портфель позабыл дома от волнения.

Взяв консервы подмышку, он идёт дальше, пересекает Петровку. Сегодня он обедает у Красных ворот, Серафима обрадуется его покупкам.

В проезде Художественного театра Шквариков задерживается у витрины фотоателье. Прекрасные снимки. Много детских мордашек, множество юных и не юных пар... А они с Серафимой не могут, не смеют вместе сняться. Она бы не возражала, но ему надо быть осторожнее.

Фёдор Романович следует дальше, к телеграфу. Сейчас лицо его озарено. У него заказан шестиминутный разговор. За шесть минут надо всё успеть сказать. Прежде всего он сообщит Степанянцу, что с Сырейщиковым всё решено. Пусть Степан Суренович немедленно сделает выводы. Кое-что надо подсказать директору, сам он не додумается. Пора дать старику ещё один заряд энергии.

Дождаясь на углу улицы Горького, пока приостановится бесконечное мелькание блистающих на солнце машин, наш не утративший юноше-

ской стройности доцент оборачивается к оформленной по-весеннему, нарядной витрине магазина парфюмерии.

Великолепное стекло, прямо как зеркало. Если встать вот так, чтобы не отвечивало, можно увидеть себя во весь рост, полюбоваться собственной персоной, складно сидящим костюмом. Мимо идут сотни прохожих, но никто не смутит Шкварикова любопытным взглядом, никто не знает, что в другом, не столичном городе он — немаловажное лицо. Там-то он не разрешает себе поротозейничать, да ещё на виду у всех; там он всегда озабочен, всегда печётся о коллективном благе.

Хорошо бы печься об этом, живя тут, в Москве Жаль, сорвалось с Овсянниковым. Эх, стать бы ему, Фёдору Романовичу, директором солидного московского научно-исследовательского института. Или хоть заместителем директора... Вложил бы в такое дело душу. Да, идут прохожие, и никто не знает, кем он, возможно, ещё станет впоследствии.

Как ловко нынче у Синякова он ввернул насчёт Степанянца. Это-де воля директора. Надо было на всякий случай подбросить эту фразу. Ну, вдруг у Сырейщикова что-то изменится: очень настойчив. Э, ерунда, что там изменится? Но принципы дороже всего. Бережёного бог бережёт.

Сквозь очки в светлой оправе хорошо видно высокое здание телеграфа. Большие круглые часы над главным входом дают знать, что в распоряжении Фёдора Романовича ещё лишь двенадцать минут. Под козырьком уличного светофора вспыхивает зелёный глазок. Переход открыт.

Энергичным шагом заместитель директора Ново-Домеского металлургического института пересекает улицу. Тут же, совсем рядом, за белой линией, нанесённой на асфальт, стоят горячие, с невыключенными моторами автомашины. Слепящие солнечные блёстки трепещут на радиаторах, на капотах. Шкварикову кажется, что это дрожат живые существа, нетерпеливые, задыхающиеся, стремящиеся рвануться вперёд. Фёдор Романович косится на них. И ощущает в себе такую же дрожь, такое же нетерпеливое стремление ринуться вперёд. Откройте только путь, и он себя покажет!

Пока же он — с компотом и томатами подмышкой — мирно переходит улицу. Вскоре он зайдёт в кабину междугородных переговоров и озабоченно произнесёт:

— Как здоровье, Степан Суренович?..

#### 44. Разные новости

Отворяется дверь из рецептарной. Людмила Петровна, подойдя к порошковому столу, таинственно сообщает:

— Шурочка, вас кто-то спрашивает.. Какой-то молодой человек..

Людмила Петровна догадывается, что это и есть знаменитый Луньков, но вовсе не находит его таким обходительным, приятным, каким его расписывали подружки Поземко.

Несколько минут спустя Шура выходит в первую комнату, или, как её ещё называют, ожидальную. У окна, на деревянном чёрном диванчике, поставленном для удобства посетителей, — на том диванчике, где некогда поджидал её Алексей Кистяковский, сейчас сидит Луньков.

Что с ним? Шура никогда не могла представить себе его таким усталым, измученным, не думала, что это лицо может вдруг так посереть, перемениться.

— Ты болен?

Час уже поздний, других посетителей в аптеке нет. То обстоятельство, что из окошечка рецептарной, из будки кассира, из-за прилавка ручной продажи поблёскивают три пары любопытных глаз, не доходит до созна-

ния Шуры. Решительным деловым жестом она овладевает запястьем Евгения.

— Пульс нормальный...

Быть может, впервые за нынешний день на лице Лунькова появляется улыбка.

— Что случилось, Женя?

— Так... Ты скоро будешь свободна?

Над застеклённым шкафчиком с надписью «Витаминные препараты» висят круглые часы.

— Осталось двадцать пять минут. Ты погуляй пока.

— Хорошо.

— Всё-таки что случилось?

— Расскажу тебе разные новости.

— Плохие?

— Не-ет... Одной новостью я тебя порадую.

Шура, однако, не испытывает облегчения. Она озабоченно произносит:

— Ты пройдишь, погуляй. Вечер тёплый... Я скоро.

— Ладно, — отвечает Луньков.

И не двигается с места. Так и сидит до конца вечерней смены.

Выйдя на улицу с той, у кого он пришёл искать прибежища, Женя сразу принимается рассказывать о событиях нынешнего дня. На сырейщиковцев нежданно обрушился тяжкий удар. Насколько можно судить, Валерий Николаевич потерпел неудачу в Москве. Пожалуй, даже подвергся разгрому, такому, после которого не скоро оправляются. Не помогло, видно, и новое экономическое обоснование, новая мысль, которую подал Луньков.

Во всяком случае, как удалось выяснить, дело обстояло так. Сырейщиков прибыл в Москву третьего дня, и оттуда почти сразу же поступил сигнал ликвидировать всё. И лабораторию Сырейщикова в подвале института и коллектив, построивший собственными руками первую опытную электродому нового типа, сколоченный, обученный в труднейших условиях. Сегодня утром уже был вывешен приказ об этом. Всем стало известно, что в Ново-Доменске больше нет места электродоменщикам. Кто-то уже пустил остроту: не они ликвидировали домны, а домны ликвидировали их.

Утром, тотчас же после звонка Завьялова, Евгений понёсся в лабораторию. Товарищи Лунькова поджидали его на пригретом солнцем бетонном крыльце. Вчетвером они пошли в подвал осмотреть входную дверь. На свежесколоченном грубом пробое висел замок. Задняя дверь была закрыта на внутренний засов и вдобавок забита несколькими длинными гвоздями. Луньков невольно запустил пальцы в карман, нащупал кольцо с двумя выпиленными Лёшей тонкими ключиками. Показалось, они жалобно брякнули, эти вдруг ставшие ненужными ключи. Потом друзья повели Евгения полюбоваться доской приказов. Об аспиранте Лунькове там ничего не говорилось, но Завьялов приказом за надлежащим номером переводился в сектор производственной практики, а рабочие-газовщики Скирко и Чуваев, согласно следующему пункту того же приказа, были временно переданы в распоряжение комиссии по устройству выставки «Двадцать лет института». Повидимому, предполагалось, что ребята будут пока мастерить макеты. Под приказом была подпись: Степаняц. Дозвониться к Степану Суреновичу не удалось. Луньков разузнал, что, поговорив с Москвой и издав приказ, Степаняц разнервничался, плохо себя почувствовал, теперь лежит дома, к телефону не подходит. Заведующий учебной частью мог лишь подтвердить то, что уже раньше сказал Завьялову: товарищи не должны обижаться на директора, вопрос был решён в Москве, указания поступили оттуда; Луньков обязан

понять, что руководство института поступило по-хозяйски; под замком имущество лаборатории будет сохраннее, а сотрудникам нельзя же оставаться без дела; пока все эти мероприятия носят временный характер, дальше будет видно.

Всё это Луньков излагает Шуре.

Оба не заметили, как подошли к скверу, к тому самому, возле низкой ограды которого недавно, в субботний вечер, провели несколько тихих, счастливых минут. Шура сразу узнала и группу деревьев и скамью, где в тот раз сидели военный и девушка в белой косынке, и громаду дома, где жили Луньковы, — дома, в котором в этот поздний час уже темны почти все окна.

— Сядем?— предлагает Евгений.

Тяжело Шуре слышать этот незвонкий, невесёлый голос.

— Женя, а ведь ты же обещал и весёлую новость?

Верно. Как он мог это забыть? Сейчас его аптекарша, «просто аптекарша», кое-что узнает, сможет теперь спокойнее говорить о Крекшине. Теперь должна ожить и та, кого Шура старалась тайком вылечить, руководствуясь теорией Павлова. Сейчас он расскажет всё так, как ему изложило это председатель собрания Леонид Власыч Чуваев.

Луньков комически откашливается, провозглашает:

— История величия и падения Виталия Крекшина.

На собрании разбиралось заявление Крекшина о снятии выговора. Крекшин держался скромно, благодушно, ничуть, видимо, не сомневаясь в исходе дела. Ему пришлось выступить, кое-что пояснить, порассказать о себе. Свои прошлые ошибки, послужившие основанием выговора, он полностью признал.

— Теперь судите сами,— в заключение сказал он,— стал ли Крекшин другим за этот период.

— Пожалуй, стал, — буркнул Скирко, поднимаясь с места. — Теперь бы на выговор не налетел...

Скирко высказался довольно сбивчиво. Он уже знал со слов друга-напарника про объяснение Крекшина с Ритой, но, поведав это Саши, Лёшка потребовал с него обещания — девичьих судеб на собрании не касаться, любовных историй Крекшина не поминать, взялся сам заранее потолковать об этом с товарищами. Поэтому речь Саши была хоть и горячей, но, откровенно говоря, маловразумительной. Оратор вдался в странное рассуждение о том, что плохого человека надо уметь раскусить, почуять. Зная приверженность Скирко к поэзии, ему простили невинную ссылку на какое-то особенное зеркальце, символ точного, верного глаза. Кое-как округлившись, Скирко сел.

Лёша предложил зачитать производственную характеристику Крекшина. Виталию пришлось застенчиво опустить глаза, столь лестным был отзыв о преподавателе физической культуры. Бумажка была изготовлена, видимо, в начале месяца; под ней стояла подпись заместителя директора, находящегося уже две недели в Москве.

Председатель спросил, нет ли ещё желающих высказаться, но собрание ответило молчанием.

— Что же, вопрос ясен?

— Ясен, ясен,— откликнулось несколько голосов.

— Может быть, товарищ Крекшин желает ещё что-нибудь сказать?

Нет, Крекшин отказался возражать Скирко. И лишь пошутил:

— Выступления товарища Скирко, к сожалению, я не понял. Потом, в личной беседе, он мне, возможно, разъяснит, что хотел выразить.

Председатель приступил к голосованию. По уверению Лёшки, эффект был потрясающий. «За» поднялось лишь две руки. Все остальные участ-

ники собрания оказались не на стороне Крекшина. Строгий выговор был оставлен в силе.

Выслушав всё, Шура восклицает:

— Здорово стукнули!

Евгений испытующе заглядывает ей в лицо:

— А до меня дошёл слух, что ты добрая...

— Ну и что?

— Добрая, а радуешься чужому несчастью.

— Нет,— отвечает Шура.— Нет, я не из тех добрых, про которых сказано: «От добрых людей мир погибает». Я радуюсь, когда бьют злых.

Евгений доволен.

— Оказывается, ты у меня не только добрая, но и умная.

Шура не отвечает на шутку. Уткнувшись щекой в его плечо, она медленно произносит:

— Я, Женя, справедливая... Мне теперь будет полегче на душе. Да и Рита по-другому заживёт. Понимаешь, мне было совестно, когда она болтала, что нет на земле правды.

— Я и Саше Скирко говорил: истина всегда всплывает.

Осекшись, Луньков умолкает. Несколько минут длится молчание. Шура знает, о чём он задумался, отчего опять загрустил.

— И ваша всплывёт... — Голос Шуры тих, нет в нём настоящей убеждённости. Просто ей хочется утешить Женю. — И у вас будет всё хорошо...

— Должно бы это быть...

Как дрожат его губы, как горько ему. Шуру пронзают одновременно два чувства: острая жалость к Евгению и радость от того, что в такой тяжёлый час он пришёл именно к ней.

Ой, как она его любит!.. Шура притягивает к себе русую голову. Сегодня она сама поцелует его.

Разве они знают, сколько минут или часов уже просидели в этом скверике, который им запомнится навек? Никогда бы не двигаться с места, всю бы жизнь вот так утешать, успокаивать его... Теперь Шура знает, как она нужна ему. И она счастлива. Ей немного совестно, что ощущение счастья с такой силой охватило её в горестный для Евгения час. Но так случилось...

И Шура Поземко, недавно удивлявшаяся парочке, которую подсмотрела в этом скверике,— парочке, не замечавшей ничего вокруг,— теперь сама никого не видит, не замечает прохожих, изредка пересекающих сквер. Если кто из них обернётся, он так же, как и она в тот раз, увидит открытое, гордое девичье лицо. Гордое своей любовью.

#### 45. В другом министерстве

С запиской Синякова Сырейщиков отправился в другое министерство. Однако начальника управления, ведающего научно-исследовательскими и экспериментальными работами в чёрной металлургии, Якова Захаровича Евсеева, не было на месте. Лишь через два дня он вернулся из поездки. К нему Валерий Николаевич попал лишь в то утро, когда на двери лаборатории в подвале Ново-Доменского института, где помещалась много-страдальная «утица», был повешен замок.

К Евсееву Сырейщиков явился уже в так называемом парадном костюме, но с тем же неизменным чемоданом.

Вот он, этот несколько странный, явно волнующийся посетитель, сидит, или, вернее, ёрзает, в кресле у стола. Евсеев читает записку. Потом поднимает внимательные выпуклые серые глаза.

— Сейчас, товарищ Сырейщиков, всё выясним.



Яков Захарович уже сед, ему под шестьдесят. У него медлительная манера говорить, жестиковать. Порой кажется, что он нарочито придерживает себя, избегает быстрой реакции. Даже взмахи век словно бы замедлены. А ведь когда-то... Когда-то чуть ли не прямо с седла, с поста начальника политотдела кавбригады, он, не окончивший курса студент-политехник, был послан восстанавливать рудники Криворожья. Несколько лет спустя он пошёл снова учиться. Потом народный комиссар Серго Орджоникидзе назначил его директором крупнейшей стройки на Востоке. Тогда Евсеев ещё не жаловался на сердце, не старался ходить ровным шагом, говорить ровным тоном. Лишь с недавней сравнительно поры его измотала, изменила всю его манеру тяжёлая болезнь сердца.

— Сейчас разберёмся, товарищ Сырейщиков.

По вызову Якова Захаровича в комнату входит серьёзная полная женщина, секретарь управления.

— Познакомьтесь, Сусанна Васильевна,— говорит Евсеев.— Это товарищ Сырейщиков из Ново-Доменска. Найдите, пожалуйста, нам всё, что его касается.

Секретарша удаляется. Евсеев расспрашивает о Ново-Доменске.

— Я ведь у вас бывал,— сообщает он между прочим.— Ещё в те времена, когда Овсянников вёл первую домну.

— Даже Овсянников пошёл навстречу нам,— почти не слушая, перебивает Сырейщиков; сейчас он не может ни думать, ни говорить ни о чём, кроме того дела, ради которого он сюда пришёл.

— А как идут ваши опыты? — понимая состояние собеседника, спрашивает Евсеев.

Сырейщиков тотчас ощущает симпатию к этому безупречно выбритому, одетому в хорошо сшитый серый костюм седому человеку.

— Скверно, очень скверно! Народ у меня прекрасный, рабстяги, толковые, но замучились из-за безделья.

— Позвольте... А наше оборудование вы не использовали?

— Какое оборудование?

— Ну то, которое мы вам предоставили.

— Мне, товарищ Евсеев, предоставили только свалку железного лома. Моя опытная печь сделана из металла с этой свалки. Имею также подаренный на бедность старенький трансформатор... А от вас, кроме писем, ничего не получал.

У Евсеева вскидываются брови,— это первое резкое движение, которое он себе позволил с той минуты, как к нему вошёл Сырейщиков,— но сразу же Яков Захарович опять словно придерживает, пригашает себя. Попржнему не торопясь, он произносит:

— Не понимаю... Ну сейчас мы это выясним.

Наконец входит секретарша. Она подаёт Евсееву папку. Там хранится вся переписка по поводу печи Сырейщикова. Евсеев просматривает бумаги... Постановление Государственной экзаменационной комиссии, принявшей дипломную работу студента Лунькова: комиссия просит отпустить средства для сооружения опытной печи. Письмо Щурова о том же. Заключение академика Овсянникова: «Проект не имеет практического значения; металлургия располагает более простыми способами получения чугуна». Отчаянное письмо Сырейщикова. Письмо Министерства высшего образования. Письмо за подписью заместителя директора Ново-Доменского металлургического института с просьбой оказать содействие опытам Сырейщикова. Письмо Ново-Доменского горкома партии о необходимости предоставить Сырейщикову нужную ему сложную аппаратуру. Список оборудования, составленный Сырейщиковым. Заключение Евсеева. Да, он, Евсеев, лично докладывал этот вопрос заместителю министра. Вот и резолюция заместителя министра: «Просьбу удовлетворить...» Письмо

Сырейщикову о том, что ему предоставляется всё оборудование, которое он запрашивал. Казалось бы, всё ясно...

— Скажите, товарищ Сырейщиков, это письмо вы получили?

— Это? Да, письмо получил, но не оборудование.

— Почему же?

— Потому что у меня не было пятидесяти тысяч рублей, чтобы заплатить за это оборудование.

— Позвольте... Ведь и деньги вам должны быть перечислены. Вот же документы. Вот моё распоряжение.

— Не знаю. До меня ваше распоряжение не дошло.

Евсеев снимает телефонную трубку, набирает номер, кому-то говорит:

— Зайдите, пожалуйста, ко мне.

Затем он поднимается, прохаживается по кабинету, явно стараясь опять обрести душевное равновесие. Остановившись у окна, он достаёт из жилетного кармана небольшой флакончик с бесцветной жидкостью и втирает пробкой в язык это лекарство, предотвращающее спазмы сосудов.

— Сердце,— поясняет он Сырейщикову.— Чуть что, и уже чувствую его. А вы не страдаете?

Валерий Николаевич усмехается:

— У меня оно, наверно, железное. Выдерживает...

Дверь приоткрывается. Входит молодой инженер, сотрудник управления, вызванный Евсеевым.

— Разрешите,— произносит он певучим, мягким голосом.

Его карие глаза немного рознятся. Один глаз на миг останавливается на Сырейщикове, другой устремлён в сторону.

— Да. Вы мне нужны,— сухо говорит Евсеев.

Молодой человек неслышно шагает к столу. Будь Сырейщиков поблагодарнее, обладай он более цепкой памятью на лица, он, наверное, припомнил бы, что когда-то в коридорах Ново-Доменского института встречал этого несколько тщедушного студента-прокатчика Алексея Кистяковского.

А Алексей мгновенно узнал новодоменского «маньяка», как и поныне называют Сырейщикова в квартире Кистяковских, теперь уже маленькой, в две комнаты, но зато московской. Он ничем не показал, что ему известен этот посетитель: лишь удлинённое, всегда бледноватое лицо при первом взгляде на Сырейщикова чуть порозовело. Много всколыхнулось в этот миг в душе Алексея.

Вспомнился Новый год, последний из тех, что он встречал в провинции. Можно сказать, отпраздновали вместе с товарищем Сырейщиковым, тот восседал в первом ряду, а компания Алексея пристроилась во втором. Возле Сырейщикова, помнится, примостился тощий невзрачный мальчик, а рядом с ним, с Алексеем, сидела та, чью улыбку он до сих пор не забыл.

Однако не вздыхать же об этом в кабинете начальства. Кистяковский знает, о чём пойдёт разговор. Что же, на всё есть объяснение...

Яков Захарович опять занял место за столом, опять говорит неторопливо

— Произошла странная история, Алексей Николаевич. Мы предоставили для опытов товарища Сырейщикова оборудование на пятьдесят тысяч рублей, а денег для этой цели ему не перевели. Вам это известно?

— Да, Яков Захарович.

— Так в чём же дело?

— У нас, Яков Захарович, для этого было основание.

— Какое?

— Были требования от других институтов и...

— Вы что-то не то говорите... О других институтах я не спрашиваю.

— Ново-Доменскому институту не хватило. Мы всё раздали другим.

— То есть как не хватило? Что вы ходите вокруг да около? Говорите прямо.

— Мы имели в виду перевести эти деньги в следующем полугодии.

— Почему в следующем? — повышает, наконец, голос Евсеев. Сдержав себя, он повторяет тише: — Почему в следующем?

— У нас очень много запросов из других мест. Вы же знаете, Яков Захарович.

— Да будете ли вы, наконец, говорить ясно?

Алексей опять косится одним глазом на Сырейщикова. Надо бы сказать: «Это же сумасшедший человек, маньяк, у нас есть вполне достоверные сведения об этом». Но как это выговорить в присутствии самого Сырейщикова? И Кистяковский попрежнему мнётся.

— Во-первых, имеется, — говорит он, — отзыв академика Овсянникова...

Сырейщикова, до сих пор слушавший молча, перебивает:

— К вашему сведению — Овсянников кое-что изменил в своих выводах.

Евсеев останавливает его:

— Подождите, товарищ Сырейщиков. В данном случае Овсянников совершенно ни при чём. Существует ясное распоряжение: перечислить деньги. Я хочу получить ясный ответ: почему это не выполнено?

— Причина в том, Яков Захарович... В том...

Кистяковский ещё раз мельком оглядывает Сырейщикова. Неужели нельзя подождать, пока этот тип уйдёт, поговорить без него? Нет, выпуклые серые глаза Евсеева смотрят непреклонно. Что сделаешь? Надо отвечать.

— Причина, Яков Захарович, в том, что к нам приезжал представитель института...

— Кто именно?

Кистяковский переступает с ноги на ногу, не отвечает. Он искренне гордится своей порядочностью. В присутствии Сырейщикова он не позволит себе назвать Фёдора Романовича, близкого знакомого, который лишь на днях играл с отцом в преферанс.

— Кто же, чёрт побери? — требует Евсеев.

— Ответственное лицо, Яков Захарович... Запомню фамилию, завтра доложу:

— Чего же хотело это лицо?

— Ну, в общем... Институт не настаивал на перечислении этих сумм.

— Институт не настаивал?

— Да, Яков Захарович...

— Стало быть, есть основание?

Кистяковскому опять не по себе. Не поймёшь этого Евсеева: всерьёз ли он спрашивает или иронизирует? Молодой инженер отвечает с вежливой улыбкой.

— Совершенно верно, Яков Захарович.

— Понятно. Можете идти...

Глотнув слюну — разговор был не из лёгких, даже в горле пересохло, — Кистяковский отвешивает короткий поклон и удаляется. За порогом он вздыхает. Ему портят жизнь, портят настроение вызовы в этот кабинет. В подобные минуты он с сожалением вспоминает о своей прежней работе на прокатном стане: там, пожалуй, было проще...

— Кто это такой? — спрашивает Сырейщиков.

— Этот? Так... Знаете, как говорят в народе: «Пирог ни с чем».

И Валерий Николаевич больше не допытывается, он уже забыл о своём вопросе, его волнует иное. Это же самое интересует и Евсеева:

— Расскажите-ка, товарищ Сырейщиков, чего же вы всё-таки добились.

Чувствуя большое доверие к этому седому внимательному человеку, Сырейщиков раскрывает чемодан, вынимает куски чугуна, письмо ангаростроевцам, толстую справочную папку — ту самую, что смотрел Овсянников в номере гостиницы.

— Это, товарищ Евсеев, наш металл. В самодельной печи выплавили. Почти без контрольной аппаратуры... Ну, ясное дело, натерпелись.

Оживившись, Сырейщиков демонстрирует металл, листает папку, рассказывает про опыты, про мытарства, про ночное совещание перед отъездом в Москву.

— А вот наше письмо проектантам Ангары, — говорит он. — Не знаю только, где их разыскать...

— Разрешите прочитать?

— Конечно... Но я уже почти целый час занимаю ваше внимание.

— Не страшно...

Евсеев развёртывает письмо, отпечатанное Лизой Кузьминской, углубляется в чтение, потом снова поднимает на Сырейщикова серьёзные глаза.

— Вот что, товарищ Сырейщиков... Доверьте это мне, — Евсеев обводит рукой всё, что сейчас наложено у него на столе: обломки чугуна, справочную папку, письмо, которое он только что прочёл. — Доверьте мне это на денёк-другой. Я ознакомлюсь повнимательнее... Идёт?

Сырейщиков оглядывает свои сокровища, с которыми по приезде в Москву ещё ни на миг не расставался. Оставить? Да, этому человеку можно оставить. Со своей чудесной, сразу освещающей лицо улыбкой он смотрит на Евсеева и отвечает:

— Спасибо!

Уже выйдя из кабинета, Сырейщиков спохватывается, вспоминает: ведь он так и не пожаловался на то, что его уволили из института. Вернуться? Нет, это неловко... Ладно, в следующий раз он об этом скажет. Только бы снова не забыть!

#### 46. В вестибюле «Волги»

Вечереет. Валерий Николаевич выходит из своего номера в небольшой гостинице «Волга», спускается по скрипучей деревянной лестнице на первый этаж. В нос ударяют запахи кухни; дверь в ресторан, расположенный здесь же, на первом этаже, приоткрыта.

Два дня, протекшие после визита к Евсееву, показали Сырейщикову самыми длинными на его веку. Главное, он почти бездействовал это время. Ведь он, можно сказать, обезоружен. Письмо, справочная папка, пояснительная записка Лунькова, образцы «исторического металла» — всё оставлено, передано человеку, которого Валерий Николаевич никогда прежде не видел.

Нет-нет да кольнёт тревога. Уж очень часто укоряли его друзья, ученики: «Нельзя быть таким доверчивым». Но в памяти всплывают выпуклые серые глаза, замедленные жесты, негромкий, словно бы спокойный голос, произносящий резкие слова: «Я хочу получить ответ, почему это не выполнено...» Крепко Евсеев взял в оборот того молодого человечка! «Итак, положимся, друзья, — Сырейщиков мысленно обращается к тем, кто в Ново-Доменске снаряжал его в дорогу, — положимся, друзья, на Евсеева, завтра будем ему звонить».

Валерия Николаевича томит бездействие. После обеда он полежал, поворочался на гостиничной койке, попытался и не смог соснуть. И вот предстоит незапятнанный вечер. Куда же пойти? Запахи жареного раздражают обоняние. Однако Сырейщиков побаивается ресторанов, или, говоря точ-

нее, ресторанных цен. В своё время, хотя и шли трудные годы, Вера Ивановна два-три раза вытаскивала его в ресторан. Последний раз они выбрались вместе с Володькой. Забавный мальчишка! Как он был поглощён своей отбивной, как счастливо морщился, окуная губы в пивную пену.

Сейчас Валерий Николаевич, пожалуй, предпочтёт попросить в номер кипяточку, выпьет чаю с булками. А потом походит по Москве. Его успокаивает ходьба; вчера, позавчера он уже вымеривал улицы длинными ногами, шагал, впад по обыкновению в задумчивость, позабыв о намерении поглядеть на столицу, на новые, выросшие после войны здания, новые кварталы...

Кто же поможет ему раздобыть кипяточку? Не рискнуть ли обратиться к этой строгой, уткнувшейся в потрёпанную книжку дежурной, восседающей за высокой конторкой? Сырейщиков видит её впервые и несколько робеет.

Неожиданно сзади раздаётся возглас:

— Валерий Николаевич, привет...

Постояльца «Волги» приветствует только что вошедший с улицы Фёдор Романович Шквариков, в меру принаряженный, в расстёгнутом светлом пальто, в мягкой шляпе. Ещё вчера он забегал в «Волгу» — его гнало сюда не только естественное стремление выведать, разузнать у Сырейщикова, не следует ли ему, Шкварикову, чего-либо опасаться, но и странное желание просто взглянуть на потерпевшего крушение, провести с ним часок, — однако в тот раз Сырейщикова он не застал.

Обернувшись, Валерий Николаевич сдержанно кланяется. Суховатый приём отнюдь не обескураживает Фёдора Романовича. Правда, на миг лицо в круглых очках приобретает привычное вдумчивое, как бы оценивающее выражение, но тотчас же Шквариков становится снова весёлым.

— Замечательное совпадение! — восклицает он.

— Какое совпадение?

— Вот это... Иду, знаете, и думаю: хорошо бы повстречать Валерия Николаевича. Направляюсь в этот ресторанчик... Бац — вы здесь!

— Разве вы знали, что я приехал?

— А как же? На днях был у Синякова. Он мне и сообщил... Кстати, позвольте, Валерий Николаевич, вас поздравить.

— С чем же?

— Место в докторантуре Академии наук вам обеспечено. Я до тех пор не уходил, пока не убедился в этом.

— А мне это место вовсе ни к чему.

— Не говорите так, не говорите... Это же, — Шквариков подаётся к Сырейщикову, доверительно понижает голос, — это же, Валерий Николаевич, признание. Кроме того, вы, вероятно, получите и ещё кое-что приятное. Но этого я ещё не добился. И пока ничего не скажу.

Фёдор Романович рассчитывает, что Сырейщиков проявит любопытство, но тот мрачновато молчит. Шквариков спохватывается.

— Как поживает ваш Володя? Здоров?

— Да. Благодарю вас.

— Чудесный мальчик... Необыкновенный мальчик... Мне о нём как-то рассказывала эта бедная птичка... Ну, эта носатенькая Степанянц. Какое это для вас счастье, Валерий Николаевич, иметь такого сына.

Сырейщиков, который во всё время разговора стоял в полоборота к Шкварикову и почти не смотрел на него, теперь поворачивается к собеседнику. Неужели и впрямь Шкварикову нравится Володя?

— Он у вас бледноват, — продолжает Фёдор Романович. — Наверное, слишком много читает?

— Много...

— Чем же он теперь увлекается?

Сырейщиков ещё раз испытующе взглядывает на новодоменского молодого деятеля, который, оказывается, с таким интересом, с такой добротой относится к Володе. И вдруг в отзывчивом широком сердце «сокрушителя домен» рождается сочувствие к Шкварикову. Конечно, тот, наверное, мечтает иметь ребёнка, сына. Как искренне у него вырвалось: «Какое это для вас счастье...» А почтенная Екатерина Афанасьевна, его супруга, уже не в тех годах. Бедняга Шквариков! Что же, Сырейщиков с удовольствием порасскажет ему про Володьку. Фёдор Романович вдумчиво вникает, подавая реплики в нужные моменты. Затем спрашивает:

— Валерий Николаевич, вы ужинали?

— Ещё нет.

— Давайте поужинаем вместе... Разрешите мне вас угостить. У меня ведь теперь тоже знаменательные дни.

— А что такое?

— Так... Можно и меня кое с чем поздравить. Успешно закончил одно трудное дело.

Говоря «одно трудное дело», Фёдор Романович понимает увольнение Сырейщикова из Ново-Доменского института. Как ни верти, дело впрямь было опасное, чреватое всяческими каверзами. Да, было и, кажется, сплыло. Судя по поведению Сырейщикова, ничего угрожающего на горизонте нет. Но, разумеется, надо позондировать глубже. И почему же не посидеть с побеждённым, не распить вместе графинчик? Придётся немного потратиться, но Фёдор Романович великодушен, сегодня он готов откинуть мелочные, презренные расчёты, готов раскошелиться. И почему не поговорить по душам? Фёдор Романович чувствует потребность приоткрыться, покрасоваться, изложить свои жизненные правила, поучить уму-разуму этого нескладного Сырейщикова, даже и на старости лет не понимающего, как устроена жизнь, каковы в ней законы успеха. Ему легко будет говорить с Сырейщиковым, ведь тот в сущности уже и не новодоменец, не сослуживец. Просто — встретились давние знакомые.

— Поужинаем вместе,— радушно повторяет Шквариков.— Нам с вами давно бы следовало посидеть, потолковать... Всё выяснить... Ну, не отказывайтесь же, дорогой Валерий Николаевич.

Сырейщиков ловит эти задушевные, дружеские интонации. По натуре жадный на ласку, изголодавшийся по ней, он с размягчённым сердцем слушает Шкварикова. Может быть, Шквариков вовсе не так плох? Может быть, Сырейщиков до сих пор его просто не понимал? Ведь сейчас ему же ничего не надо от Сырейщикова, побитого, измотанного неудачами.

— Хорошо, поужинаем,— соглашается уволенный преподаватель.

— Вот и отлично... Разрешите, я разденусь... Да, надеюсь, Валерий Николаевич, вы меня простите: я должен позвонить... Только уж, пожалуйста, меня не выдавайте.

Оставив пальто и шляпу на вешалке, Фёдор Романович крутит диск телефона, просит позвать некую Серафиму.

— Симочка, я, вероятно, немного опоздаю... Неожиданно встретил товарища из Ново-Доменска, профессора Сырейщикова... Да, да, его... Не сердись. Неотложный серьёзный разговор... Опоздаю, но обязательно у тебя буду...

Положив трубку, он обращается к Сырейщикову, нимало не смущаясь тем, что только что даровал ему звание профессора.

— Улажено... Но вы, наверно, совсем не то подумали, Валерий Николаевич... Она аспирантка. Девушка с будущим. Готовит диссертацию о жароупорных сталях. Это не пошлое знакомство.

В эту минуту раздаётся голос дежурной, отвлекшейся от истрёпанной, распадающейся на отдельные листы, книжки.

— Вы товарищ Сырейщиков?

— Да, я...

— Совсем забыла... Вас просили позвонить... Вот тут записано.— Дежурная протягивает клочок бумаги.

— Странно,— вслух недоумевает Сырейщиков.— Кому я мог понадобиться?

— Э, Валерий Николаевич, попались,— шутит Шкварииков.— У вас, как я понимаю, тоже есть в Москве свои тайны..

Сырейщиков отмахивается. Сообщение дежурной взбудоражило его. В самом деле, кто мог о нём вспомнить? Шкварииков подталкивает его к телефону.

— Звоните, Валерий Николаевич, звоните.

Сырейщиков берёт трубку, вертит диск.

— Здравствуйте... — говорит кому-то он.— Дело в том, что... Не знаю, правильно ли я понял? Мне нужен телефон...— Ещё раз сверившись с бумажкой, Сырейщиков называет номер.— Этот самый? Куда же я звоню? Простите, это какая-то ошибка. Извините.

Кончив этот краткий разговор, Валерий Николаевич смущённо улыбается.

— Угодил в приёмную министра... Вы, девушка, наверное, что-то спутали.

Шкварииков снимает очки. Его посвежевшее в командировке и всё же попрежнему бесцветное лицо становится совсем простоватым.

— Какого министра? — спрашивает он.

— Чёрной металлургии... Не вы ли это, Фёдор Романович, подшутили?

Круглые очки в светлой оправе снова взброшены на место. Глаза под белёсыми бровями оценивающе меряют Сырейщикова. Лоснящийся пиджак висит на нём, словно на вешалке. Галстук завязан кое-как. Руки болтаются. Нервно подёргивается некрасивый хрящеватый нос. Недалёкий, доверчивый, неумный человек. Типичный неудачник. Нет, таких к министру не приглашают. Успокоившись, Шкварииков смеётся:

— Валерий Николаевич, клянусь: не я в этом виноват.

#### 47. Новый ход

Они сидят за столиком в углу. Гул разговоров, неожиданные всплётски чих-то голосов, стуки и звон будто плавают по залу ресторана. Время от времени завывает квартет струнных инструментов. Никто не обращает внимания на двух новодоменцев, никто им не мешает, здесь они могут спокойно побеседовать.

Шкварииков с удовольствием созерцает стол. В графинчике подана водка. Вокруг стоят закуски. Фёдор Романович сам выбрал эти блюда. И кетовую икру с лучком, и холодец, и упругие, скользкие белые грибки в рассоле. Заказан, кроме того, и шашлык.

— Сознаюсь, втайне я гурман,— говорит Шкварииков.— В Новс-Доменске поцусь, а тут... Тут хочется пожить со вкусом.

— Только прошу иметь в виду, — с неожиданной резкостью перебивает Сырейщиков, — что я оплачу половину счёта...

— Ну к чему вы? Ну хорошо, пожалуйста... Стоит ли так кипятиться?.. Разрешите, Валерий Николаевич, вам налить.

Фёдор Романович наполняет рюмки, поднимает свою, любуется прозрачной влагой.

— Выпьем, Валерий Николаевич, за ваше счастье.

— Почему только за моё?

Шкварииков откидывается, размашисто снимает очки, благодушно улыбается.

— Валерий Николаевич, следующий тост принадлежит вам. А сейчас примите мой... За ваше счастье!

Осушив рюмку, Шквариков не отказывает себе в удовольствии крикнуть. Жаль, что дома он слишком редко может позволить себе подобные земные радости. А откровенно поговорить он может ещё реже.

— Что я разумею, когда думаю о вашем счастье? — риторически вопрошает он. — Надобно понять законы, закономерности жизни. Человек, который не понимает, куда идёт жизнь, не может быть счастливым. Вы согласны?

Сырейщикова уже тоже опорожнил свою рюмку. В голове приятно шумело. В движениях появилась странная лёгкость. Он слушает довольного собою, пустившегося в философию собеседника и вдруг чувствует, что вот-вот не стерпит и задаст Фёдору Романовичу один вопрос, спросит о том, чего они оба, словно по молчаливому условию, никогда не касались. Так и подмывает сказать: «А помните ли, Фёдор Романович, как вы предлагали мне вместе работать, вместе выступить в печати?» Сырейщикову хочется увидеть, каким станет лицо Шкварикова, услышать его ответ. Наверное, Фёдору Романовичу будет неловко. И поэтому Сырейщикову неловко спрашивать.

Шквариков меж тем продолжает философствовать:

— Приглядитесь внимательно к жизни, Валерий Николаевич. Кто в ней побеждает?

Фёдору Романовичу отлично известен ответ. Побеждают такие, как он, Шквариков. Конечно, пока он ещё достиг очень немногo, хотя попробуйте-ка получить в тридцать три года пост заместителя директора металлургического института. Он может не без гордости причислить себя к идейно выдержанным, политически зрелым деятелям. Но разве это легко ему далось? Вечное напряжение мысли, непрестанная работа, бдительность — вот его удел. Каждый миг он настороже, вечно анализирует, сопоставляет, умозаключает. Даже сейчас, когда он как будто позволил себе распуститься, выпить, закусить, пооткровенничать, даже сейчас, если хотите знать, ему приходится работать. Надо расположить к себе Сырейщикова, разузнать, как обстоят его дела, всё продумать, предусмотреть, возможно, даже сделать, смотря по обстоятельствам, тот или иной ход.

А этот чудак, горе-изобретатель, жадно поглощающий холодец и уже, кажется, уничтоживший весь хлеб, несомненно, и не подозревает всей сложности механизма современной жизни. Он всё ещё подросток... Молодой человек... А Шквариков уже в семнадцать лет понимал, что следует быть взрослым. Наша эпоха — не время для молодых исканий, порывов. Живём напряжёнными темпами. Нельзя тратить годы на так называемую молодость. Шквариков их, слава богу, не потратил. И хотя он любит порой именовать себя представителем молодого поколения, но втайне вкладывает в это выражение некий особый смысл: он представитель поколения энергичных людей, тех, кому принадлежит жизнь.

Фёдор Романович смотрит на Сырейщикова с благодушной, несколько самодовольной усмешкой. Ему хочется услышать признание от этого побитого, поверженного человека. Однако тот молчит. Шквариков опять наполняет рюмки.

Пожалуй, одно обстоятельство немного тревожит его: странный звонок Сырейщикову. Фёдор Романович механически, сам не зная зачем, запомнил номер телефона. И сейчас повторяет его про себя. Очень странно. Невероятно. Нет, это нарушило бы все представления Фёдора Романовича о законах жизни. Он переводит взор на собеседника, вновь критически осматривает его. Нет, законы жизни не таковы, чтобы этого горемыку с блуждающим взглядом просили бы звонить министру.



— Итак, Валерий Николаевич, за что же теперь выпьем?

В эту минуту Сырейщиков решает. Поблуднев, он произносит:

— А вы помните, Фёдор Романович, как предлагали мне когда-то своё... своё соавторство? И как я отказался?..

— Помню,— отвечает Шквариков. На его лице снова выражение мирного философского раздумья. Поймав вилкой скользкий грибок, он медленно, глубокомысленно его разжёвывает. — Конечно, помню... Да вы, к сожалению, отказались. И это, Валерий Николаевич, была ваша величайшая ошибка. Вот — грибочки, волшебный засол. Со смородиновым листом... Вы имели единственный шанс в жизни. Какие блестящие дела мы могли бы с вами закрутить. Принесли бы пользу родине. А без меня дело стало неудачным... Ну, назад теперь этого не повернёшь... А жаль. Честное слово, жаль! Не расстанемся же, Валерий Николаевич, врагами. Жду вашего тоста.

— Подождите... Я хочу ещё вот о чём... Скажите, когда вы предложили, тогда вы, действительно, были этим увлечены, вдохновлены?

— Сказать по чести?

— Конечно...

— Да, сознаюсь, был вдохновлён. Я ведь,— сейчас Шквариков искренен, его даже прошибает слеза,— я ведь в то время, Валерий Николаевич, был в вас влюблён. Поверил в вас, в вашу звезду. Готов был всё отдать, голову положить за наше с вами дело... Ну, что вспоминать...

Сырейщиков смотрит на скатерть, выводит на ней непослушной, словно отяжелевшей рукой какие-то узоры. Неужели он виноват перед Фёдором Романовичем? Да, грубо оттолкнул, отшил. Убил вдохновение... Но теперь, конечно, ничего назад не повернуть. Сырейщиков поднимает рюмку.

— Выпьем, Фёдор Романович, за ваше счастье... Пусть жизнь даст вам ещё раз возможность увлечься, вдохновиться большим делом. Таким, ради которого стоит всё отдать! Вот, Фёдор Романович, какого счастья я желаю вам!

— Спасибо! — прочувствованно произносит Шквариков.

Потянувшись за свободным прибором, он накладывает Валерию Николаевичу следующее блюдо — подрумяненные, сочные куски шашлыка.

— К чему столько посуды? — протестует Сырейщиков. Дома у него с Володькой существовал уговор: не доставлять лишней работы тёте Марусе. — Можно на ту же тарелку.

Снисходительно улынувшись манерам недалёкого провинциала, Фёдор Романович предлагает тост:

— За радости жизни, Валерий Николаевич! За её блага! — Не дав Сырейщикову раскрыть рта, Шквариков подмигивает: — Ведь и у вас, наверное, были в столице приятные встречи?

— Встречи? — повторяет Сырейщиков, не поняв вопроса. — Нет... Серьёзный визит был только к Евсееву.

— Как? Серьёзный?

— Ну, не в смысле результатов. А разговор был хороший. Вы знаете Евсеева?..

— Наслышан. Говорят, отличный человек... Согласен чокнуться за его здоровье. Только вот что, Валерий Николаевич, нельзя забывать дам. Я должен позвонить моей... этой аспирантке, помните?

— Ступайте, — машет рукой Сырейщиков. Он уже порядком охмелел.

Фёдор Романович выходит в вестибюль. Проявляя нежное внимание к молодой аспирантке, он, действительно, намеревается сообщить ей, что по ходу дела вынужден ещё часок-полтора провести с Сырейщиковым. Дежурной он шутливо кидает:

— Увлёкся вашим ресторанчиком... Разрешите позвонить, что задержусь...

Однако, оказавшись у телефона, он внезапно набирает тот же самый номер, по которому звонил Сырейщиков.

— Алло... Простите, мне нужен телефон номер... — Шквариков называет номер. — Я правильно попал?

Не очень любезный мужской голос отвечает:

— Да. Что вам угодно?

— Не вы ли звонили товарищу Сырейщикову?

И вдруг происходит невероятное. Шквариков едва верит собственным ушам. Мужской голос вмиг становится радушным:

— Это вы, Валерий Николаевич?

Шквариков едва не покачнулся у телефона. Ого, секретарь министра уже величает Сырейщикова по имени-отчеству. И каким тоном! Поперхнувшись, Шквариков прокашливается. А любезный голос продолжает:

— Валерий Николаевич, вы слушаете? Дело вот в чём... Министр просит вас захватить...

— Это... это не Валерий Николаевич... — заикается Шквариков. — Это по его просьбе. Что ему передать?

— Передайте, пожалуйста, что он нам очень нужен. Передайте, чтобы он нам позвонил.

Шквариков опускает словно бы потяжелевшую трубку. Вот так история! Сырейщикова вызывает министр! Это совершенно новый факт. Надо быстро определить свою принципиальную линию. Не сразу отойдя от телефона, Шквариков садится на обтянутый чёрной клеёнкой диван рядом с каким-то мрачным гражданином, видимо, ожидающим, когда в гостинице освободится место, и погружается в раздумье. Ошибся! Непростительно ошибся! Однако прежде всего не раскисать. Сохранить хладнокровие. Рассмотрим-ка, чем угрожает этот поворот событий.

Ох, посыплется тяжёлые слова. Не поддержали новатора. Загнали в подвал. В собачий ящик. Уволили. Выбросили из института. Разбили коллектив. Позвольте, товарищи, Шквариков никого не увольнял. И коллектива не трогал. Приказов об этом не подписывал. У него была ясная принципиальная позиция: «В изобретение не верю, но по долгу службы, а также выполняя указания городского комитета партии, всемерно помогаю». И помогал! Пожалуйста, вот факты, документы.

Хмурое чело Фёдора Романовича несколько проясняется. Сняв очки, он всей ладонью крепко трёт себе лицо, словно изгоняя хмель из головы.

Министр... Сырейщиков будет у министра. Ей-ей, всё ещё не верится. А что, если... А что, если решительно и смело переменить линию? Нет, поздно... Поздно. Фёдор Романович. Каждый скажет: «Шквариков примазался, переметнулся». Единственный достойный выход в том, чтобы сохранить прежнюю позицию. Тем более, что бояться, собственно говоря, нечего. Хорошо, что он постоянно всё-таки предусматривал возможность чего-то неожиданного. И всякие чреватые опасностями распряжения отдавал, славу богу, не он, а товарищ Степанянец... Ах, как кстати он ввернул у Синякова насчёт Степанянца... Воля директора... Бедняга Степан Суренович, ему, пожалуй, одним испугом не отделаться...

Эх, ну и новостиска же, ну и скандал же! А что если всё-таки круто перестроиться? Электродоменщик Шквариков... Нет, такой номер не пройдёт. Нам не нужны, — очки взлетают на место, взгляд Шкварикова делается строгим, словно Фёдор Романович кому-то вычитывает мораль, — нам не нужны люди, которые походя меняют убеждения, держат нос по ветру. Нет, будьте покойны, Шквариков не из таких. И пусть к Сырейщи-

кову благоволит министр, даже, если угодно, два министра, Шквари-ков держится своей прежней декларации: «Имею собственное особое мнение относительно ценности изобретения, но по долгу службы всемерно помогал и буду далее помогать». А ну, сумейте-ка, товарищи, отказать Шкварикову в принципиальности. Сумейте-ка подкопаться под него!

Глубоко вздохнув, так и не позвонив Серафиме, Фёдор Романович возвращается к Сырейщикову. Оглядев стол и словно бы взвесив обстановку, Шквариков подзывает официанта.

— Что вы ещё затеяли? Нам всего довольно, — беспокоится Сырейщиков.

Но Шквариков повелевает:

— Две бутылки «Боржоми». Да, да... И больше ничего. — Отдав это распоряжение, Фёдор Романович говорит: — Мы же с вами известные трезвенники. Водки больше пить не будем. Вы не возражаете? Отлично... На чём же мы с вами остановились?

— Признаться, позабыл, Фёдор Романович...

— Ах, да... Так что же сказал вам Евсеев?

— Ничего особенного. Взял материалы для ознакомления.

— Какие же материалы?

— Пробы чугуна... Кстати, и ваш шлиф...

— Значит, и обо мне упоминалось?

— Нет... Признаться, я не считал удобным...

— Так... Пробы... Что ещё?

— Ну, справочную папку. Письмо ангаростроевцам... Евсеев всё это забрал.

— Кому, вы сказали, письмо?

— Ангаростроевцам... Авторам проекта Большой Ангары... Ведь мы теперь задумали дать совсем новое обоснование.

— Новое? Какое же?

Сырейщиков доверчиво рассказывает о замысле развить электродо-менное производство в районе Ангары и ещё дальше, на Крайнем Севере, возле будущих огромных гидростанций и залежей некоксующихся углей.

— С домнами мы больше не воюем, — пытаюсь сделать глаза хитры-ми, что ему совсем не удаётся, говорит Сырейщиков.

В этот миг Шквариков меняется в лице. Благопристойная физиономия становится вдруг вдохновенной. На в меру полных щеках вспыхивают пятна румянца. Таким Сырейщиков, кажется, ещё никогда не видел своего земляка по Ново-Доменску. Шквариков, наконец, узрел... Узрел щёлочку, в которую... Нет, какую, к чёрту, щёлочку! Линию! Свою принципиальную линию!

— Это великолепно! — восклицает он. — Это необыкновенно! Валерий Николаевич, это гениальная мысль!

— Луньков предложил...

— Луньков? — О Лунькове Шквариков знает, что это серьёзная фигура, такому может повезти. — Передайте ему, пожалуйста, Валерий Николаевич, что я восхищён, да, да, буквально восхищён его идеей... Разрешите мне, Валерий Николаевич, потребовать бутылку шампанского, чтобы ознаменовать... Или нет! Пить больше не будем... Я хочу погово-рить с вами на трезвую голову... Вот вы напомнили, что пять лет назад я предлагал вам своё сотрудничество. Теперь, когда вы в таком трудном положении, я снова протягиваю вам руку. Снова предлагаю дружбу.

Сырейщиков смотрит недоверчиво. Шквариков спешит рассеять все его сомнения:

— Нет, я отнюдь не предполагаю разделить с вами авторство. У меня на это нет совершенно никаких оснований. Но я хочу быть вашим

первым помощником. Вашим учеником. Хочу пройти рядом с вами весь свой путь.

— Рядом со мной?

— Да! Вот моя рука!

Сырейщиков схватывает протянутую руку, пожимает её, неловко дёргает вниз. Этим движением он безмолвно просит извинения. Как он мог так ошибиться в Шкварикове?! Ведь это же настоящий человек!

Ребячливая улыбка озаряет измождённое лицо Сырейщикова, он счастлив — счастлив, ибо можно, можно же верить в людей!

#### 48. Знаменитая «утица»

— А ты, оказывается, трусиха!

Евгений, смеясь, подталкивает Шуру. Лишь только они свернули на Рубленую улицу и он указал на красноватую, запылённую дотемна крышу, на виднеющуюся вдали скворечню, Шура замедлила шаг.

— Как же так? К незнакомым людям...

— Познакомлю.

— Как же так? Народ только встаёт, а мы в гости.

— Твоя вина. Они собирались пригласить нас на обед.

Шуре сегодня ещё предстоит, как члену первомайской комиссии, выполнять обязанности одного из организаторов-распорядителей на вечере в клубе Медсантруд. Вот почему семейству Завьяловых пришлось предполагаемый воскресный обед заменить праздничным завтраком.

— Что же ты сказал им обо мне? — допытывается Шура.

— Сказал, что познакомлю с одним медицинским работником.

— Ой, начнут меня разглядывать...

Особенно страшно предстать перед Валентиной Фёдоровной, женой Завьялова. Преподавательница математики. Наверное, строгая.

В пятницу вечером отчисленный от лаборатории Капитан (он теперь именовал себя капитаном в отставке) зашёл к Лунькову в горьком отвести душу, посетовать, а кстати и подивиться непонятному молчанию Сырейщикова.

Прощаясь, Иван Кузьмич укорил Евгения за «не ко времени сияющий вид». Женя кое в чём ему признался. И получил приглашение явиться в воскресенье вдвоём с Шурой на Рубленую улицу.

— Не робейте, товарищ Поземко!

Евгений на миг прижимается щекой к её смуглой щеке. Но товарищ Поземко хмурится. Что это Женя так разошёлся?

— Гости идут! Гости!

К калитке мчатся две девочки в одинаковых синих пальто с пелеринками. Старшая вскоре, как бы одумавшись, переходит на степенный шаг, а та, что поменьше, продолжает бежать, широко раскрыв руки, зажмурившись от восторга.

— Дядя Женя!

— А-а, капитанские дочки! Знакомьтесь...

Младшая, Катюша, крепкая, круглолицая, некоторое время изучает Шуру, затем смело завладевает её рукой.

— Тётя, к нам скворцы прилетели!

Девочка тянет Шуру к сосне, на которой прибита скворечня.

— Прилетели. Из тёплых краёв.

Тут же Катя подводит гостей к вскопанной круглой клумбе и деловито говорит:

— Скоро и цветочки прилетят.

Её сестра снисходительно шуруется. Не присоединившись к общему смеху, она торопится разъяснить:

— Катька всегда всё путает. Ей только недавно исполнилось четыре.

Шура довольна, что встретила девочку, которая всегда всё путает. Шура с ней будет легче. Не так страшно будет сидеть в гостях... Вообще, Шура здесь начинает нравиться. Она сразу оценила трудолюбие Завьяловых. Маленький дворик, вернее, четвёртая часть общего двора, принадлежащая им, небольшой, очень чистый сарай — всё содержится, как говорят здесь, «в аккурате».

— Показать бочку? — не унимается Катя. — Только туда лазить нельзя.

Шуре приходится заглянуть в поставленную под водосточной трубой бочку. В накопившейся там дождевой воде отражается голубое небо, отражается и шурино улыбающееся лицо. Шура поспешно прячет под берет выбившиеся каштановые пряди.

— Не позволяют лазить, — жалуется Катюша. — Говорят, утону. А я и тонуть ещё не умею.

Подхватив девочку на руки, Шура входит в дом. Ой, вот и хозяйка!..

Худошавая, в праздничном, но нескладно скроенном платье, Валентина Фёдоровна поспешно вытирает пальцы ситцевым фартуком.

— Извините, друзья, занялась тестом.

— Шура, пельмени! — восклицает Луньков.

— Сибирские. По всем правилам, — говорит Иван Кузьмич. — В честь одной потомственной сибирячки. Помогайте лепить, Шурочка.

Евгений и Иван Кузьмич заводят свой отдельный разговор, а Шура, получив фартук, становится к кухонному столу. Рядом пристраивается и Катюша, выпросившая себе кружок теста.

Дверь в соседнюю комнату, где расположились мужчины, открыта. Поддерживая беседу с Шурой, Валентина Фёдоровна всё время прислушивается к их голосам.

— Возможно, моего сократят, — грустно говорит Завьялова. — На днях должен вернуться из командировки замдиректора. Ужасно вредный. Это он доконал Валерия Николаевича. Теперь и Ивану придётся бросить свою тему.

Не переставая ловко лепить один за другим маленькие, настоящие сибирские пельмени, Шура искренне вздыхает вместе с хозяйкой.

— И никто не заступится...

С лица Валентины Фёдоровны не сходит усталое, грустное выражение. Из сочувствия, можно даже сказать — из солидарности, Шура пытается и на своём лице выразить такую же печаль. Но это трудно. Разве можно погасить ощущение счастья, так и распирающее грудь? Выходит, она эгоистка? Вот даже дети серьёзны: притихли, слушая мать. У старшей глаза, как у взрослой: озабочены, встревожены.

— Помогай, Маринка, — наклоняется к ней Шура. — Раскладывай начинку.

Встретив взгляд Валентины Фёдоровны, Шура вновь сочувственно вздыхает. Но следующие же слова Завьяловой обжигают её такой радостью, которую почти невозможно скрыть.

— Евгений тоже... — Хозяйка принимается вылавливать шумовкой всплывшие в кипятке пельмени. — ...нашёл себе выход. Если Сырейщикова не оставят в Ново-Доменске, решил уехать в Приалтайск.

— Куда? — тихо переспрашивает Шура.

— Почему-то в Приалтайск. Будет проситься в обком комсомола. Шура лепит пельмени, не поднимая головы. В Приалтайск... Город, где находится медицинский институт.

Наконец пельмени поданы, аппетитно дымятся на большом блюде. Иван Кузьмич неторопливо разливает вино в жёлтые, из пластмассы, суживающиеся книзу стаканчики. Первую чарку по обыкновению выпили за «утицу», но чокались невесело. Затем хозяин дома, опрокинув ещё стаканчик, завёл сторонний разговор, пустился в воспоминания.

Возможно, его вдохновило присутствие молодой, тщётно прячущей свои чувства пары. У Ивана Кузьмича вдруг ожил в памяти далёкий, ещё довоенный год — год его знакомства с Валентиной, пора их любви.

— Иван!

Валентина Фёдоровна с укоризной указывает на Марину — та навестила уши, — но Иван Кузьмич лишь добродушно отмахивается.

Шура обняла примостившуюся у неё на коленях Катю, оставила свою тарелку, слушает, поглядывает исподлобья то на лысеющего грузноватого рассказчика, то на его жену — худощавую, со строгим, как бы подсушенным временем лицом. Шура глядит недоверчиво. Нет, не может быть... Не может быть, чтобы и они знали такую же необыкновенную любовь. Это только кажется похожим.

— Катюша! Кому сказали не трогать тарелку?

Шуре то и дело приходится обтирать салфеткой замаслившиеся детские ладошки. А Катя вовсе и не интересуется тарелками. Просто ей надо попробовать, что у гости в стаканчике — тёмное, похожее на чай.

— Ой!

Голубое платье Кати залито красным вином.

— Я сейчас... Сама её переодену, — бормочет Шура. Она сконфужена, что недоглядела, размечталась при всех.

— Ничего, Шурочка, — успокаивает её хозяйка. — В спальне на спинке кровати найдёте байковое платье.

Подхватив девочку, Шура исчезает в другой комнате. Там она сажает провинившуюся на постель, снимает с неё платье. Катюша насупилась, крутит пуговицу фланелевого в красную полоску лифчика.

— Тётя, ты долго умеешь сердиться?

Рассмеявшись, Шура целует её в круглую щёку.

— Шура... Я ревную...

Плотно прикрыв за собой дверь, Евгений подходит, садится на край кровати.

— Оставила одного... Я запрещаю со мной разлучаться.

Шура снова смеётся.

— Глупый... Совсем захмелел.

— Погоди... Ну что ж это ты?

— Оставь... При ребёнке... Ведь могут войти.

Ой! Она говорила ему, что войдут! В дверях стоит Иван Кузьмич. Нет, кажется, он ничего не видел... Что-то в облике Завьялова — не то странная бледность, не то какая-то напряжённость мышц лица — поражает Лунькова. Нет, это не от вина...

— Завьялыч, что случилось?

— Иди скорей сюда.

Друзья выходят в столовую. Обняв Марину, уткнувшись подбородком в её худенькое плечо, сидит, растерянно улыбается Валентина Фёдоровна. Среди комнаты в лёгком летнем пальто, в зелёной шляпе с большими полями стоит секретарь Щурова, Римма Борисовна. Ей до сих пор никто не предложил стула.

— Я вам звонила, товарищ Луньков, — торопится объяснить она. — Мне сказали, что я вас обоих застаю здесь.

— Кого обоих?

— Обоих сырейщиковцев.

Этот термин произнесён без малейшей насмешки.

— Интересный у меня получился выходной день. Собиралась на воздух, за город... — Римма Борисовна вовсе не жалуется. Она весело расправляет узкий листок — список фамилий — и сообщает, что ей поручено псбывать у Скирко, у Чуваева, у Кирпичникова.

— Садитесь, пожалуйста, — наконец выговаривает хозяйин.

Секретарша Щурова отгибает вверх нависший надо лбом край шляпы, протирает платочком лицо и со вкусом принимается за рассказ, ошущая и себя участницей необыкновенных событий.

— Ночью звонил министр...

Шура стоит возле буфета. Всего несколько дней назад Евгений в отчаянии прибежал к ней, и она гладила эти пушистые, светлые прядки, утешала. Сейчас его не узнаешь... Вот снова обернулся к ней, словно проверяя: радуется ли и она вместе со всеми. Конечно, радуется. Ещё бы... А он, не успев ответить на её улыбку, вскакивает, переспрашивает секретаршу:

— Кто прилетает? Сырейщиков?

— Ну да. В тринадцать часов. Я сама звонила в гараж, заказала машину в аэропорт.

Римма Борисовна довольна эффектом. Она не умолкает. Оказывается, электродомна затребована в Москву. Оказывается, в металлургическом институте уже начали под руководством Кирпичникова ломать стену подвала, чтобы в неприкосновенности извлечь и погрузить знаменитую «утицу» (секретарша Щурова так и выразилась: «знаменитую»).

— Едем в лабораторию, — хрипло произносит Евгений.

— Нет, товарищ Луньков, вас я должна сейчас, на своей машине, доставить в горком.

— Почему в горком?

— Для вас там лежит телеграмма. Вам следует срочно сдавать дела.

Позвольте, разве она не сказала им самого главного? Завтра они отправляются в Москву. Она уже звонила в билетную кассу. Заказаны два купе.

— И мы поедем? — вскрикивает Марина.

— Нет. Не сразу. Но потом семейным, конечно, дадут квартиры.

— Как? — вслед за дочерью спрашивает Валентина Фёдоровна. — Их вызывают насовсем?

— А что электродоменщикам делать в Ново-Доменске? Об одном просим: не поминайте лихом.

Не поминайте... Не поминайте... Шура обошлась без восклицаний, промолчала. Она только представила: завтра утром Женя взойдёт на железный мост. Сядет в поезд. Минует станцию Приалтайск.

Римма Борисовна извлекает из большой чёрной сумки изящный блокнот, проглядывает его. Не упустила ли она чего-нибудь? Ах, да! Кирпичников просил, чтобы Завьялов захватил все имеющиеся дома материалы, чертежи. Луньков тотчас вызывается помочь. За дело, Капитан!

— Римма Борисовна, — спохватывается хозяйка. — Без пельменей мы вас не отпустим.

Деловая женщина в зелёной шляпе созерцает грудку крошечных пельменей. Тесто так тонко, что просвечивают комочки мяса. В салатнике — белая подливка. Рецепт известен секретарше: сметана, уксус, перец, немного сахара. Что же, поскольку в выходной день человек должен доставлять себе удовольствие, Римма Борисовна соглашается.

— Мои новости стóят хорошего угощения, — весело произносит она. И садится к столу.

Шура берётся похозяйничать. Вскоре она возвращается из кухни с потрескивающими на сковородке румяными пельменями. Римма Бори-

совна благодарит кивком девушку в фартуке. Обеденный стол больше не интересует Шуру. Она незаметно поглядывает в сторону письменного, где заняты оба электродоменщика. Однако Евгений её не замечает. Вместе с Завьяловым разбирает рулон чертежей. Отложенные листы сами опять свёртываются трубкой. Некоторые упали на пол, другие возвышаются на краю стола лёгкой бумажной горкой. Евгений подкидывает туда ещё несколько калек.

Таким загоревшимся, счастливым Шура его ещё не видела. Наверное, таким он и будет ей помниться всегда. Почему-то Шуре кажется, что Женя теперь иным и не может быть. Она пытается представить себе его идущим по улицам Москвы, по Красной площади. Наверное, у него будет, вот как сейчас, необыкновенное, немного чужое лицо.

Не привлекая к себе ничего внимания, Шура усаживается в углу на низенький детский стул.

Ей вдруг вспоминается Даша. Девушки давно разгадали, что в прошлом у Даши была какая-то история, о которой она помалкивала. Лишь выйдя за Всеволода, Даша поведала всё Шуре.

Тот, о ком она прежде не поминала, был студентом горнорудного факультета. Казалось, любил Дашу, ценил её заботы — Даша и до сих пор не может сказать о нём дурного слова, — а потом... Промелькнула горячая пора последних экзаменов, защита проекта, диплом... Горняк (Дарья не захотела назвать его имени, так и говорила «горняк») получил назначение, уехал всего лишь за двести километров, на рудную базу комбината. «Неопределённо как-то простились, — вспоминала с усмешкой Даша, — а потом и письма не написал. Обычное дело...» Нет, не надо припоминать эту историю. Она не имеет никакого отношения к Шуре.

А Женя, видно, счастлив; отбирает, свёртывает в трубку чертежи. Вот снова наклонился к Ивану Кузьмичу:

— Начинается жизнь, Завьялыч!

Да... Даша так всегда и говорит: «Общественное должно быть выше личного»...

С дальнего края стола, где сидит Римма Борисовна, слышится:

— Что вы, товарищ Завьялова? Огорчаться из-за Шкварикова?

В обстановке волнения и спешки секретарша Щурова хранит завидное хладнокровие. Отправляя в рот поджаренные, хрустящие пельмени, она не забывает подставлять сложенную лодочкой руку, чтобы не капнуть на платье.

— Но он же нечестный, Шквариков, — доказывает своё Валентина Фёдоровна. — Его не должны допустить.

— Ого, как мало вы знаете жизнь!

Римма Борисовна уверенным тоном развивает свои мысли. Для неё несомненно, что такие люди, как Фёдор Романович, нужны во всяком деле. Умелые, трезвые... Это хороший признак, что Шквариков счёл нужным присоединиться. Это залог удачи.

— Только Катерине Афанасьевне не завидую, — говорит она. — Его супруге.

— Почему?

Римма Борисовна пускается в философию. Она-то знает жизнь. До Шуры доносится сказанная вполголоса фраза:

— Нельзя осуждать... Вот Луньков — прелестный юноша, а и он, вероятно, заставит поплакать по себе какую-нибудь здешнюю девушку.

Завьялова быстро оборачивается к Шуре — слышала ли? По лицу девушки не узнаешь этого. Она стоит у двери, Луньков ей подаёт пальто. Электродоменщики упаковали свои материалы.

— Поехали, Римма Борисовна!

А хотелось бы Валентине Фёдоровне поспорить с деловой женщиной.



#### 49. Счастливые пассажиры

В это же утро пассажиры скоростного самолёта, шедшего из Москвы на восток, могли наблюдать несколько странного человека, летевшего до Ново-Доменска. Собственно говоря, было нелегко определить, что же в нём странного. Он вёл себя не шумно, не задавал неуместных вопросов, наоборот, был молчалив. Правда, своеобразна была его наружность. Две глубокие горькие складки вокруг рта, горящие глаза на исхудалом, с тёмными провалами у висков и на щеках лице; очень поношенный костюм, пожалуй, действительно странный для человека, имевшего возможность или право приобрести место в таком комфортабельном самолёте. Ещё удивительнее была почтительность, иной раз даже трогательная, с какой относился к этому пассажиру его вполне благопристойный, не имевший особых примет, за исключением, пожалуй, очков в светлой оправе, молодой спутник. Однако старший, видимо, даже не замечал или не хотел замечать этих знаков внимания.

Он вообще порой, повидимому, ничего не замечал. Случалось, его исхудалое лицо вдруг, будто ни с того ни с сего, озарялось удивительной, ребяческой улыбкой.

Накануне Сырейщиков провёл три часа в кабинете министра. И все три часа были отданы «утице».

Самолёт всё рокошет, несётся и несётся на восток. Уже недолго и до Ново-Доменска. Скоро Сырейщиков увидит всех своих друзей. Они уже оповещены, начали, наверное, сборы. Увидит и Володьку. Всё ему расскажет. В воображении он уже слышит вопросы сына:

— Папа, а какой у министра кабинет?

Кабинет? Честное слово, он не заметил кабинета. Даже и министра он, пожалуй, не сумеет описать. Только глаза — вот что он видел во всё время разговора. Чёрные, блестящие, пронизательные.

Раньше Сырейщиков и не подозревал, что министр по специальности инженер-электрометаллург. И ещё какой! Сырейщиков сразу, в первые же минуты встречи, ощутил, что в этом энергичном, горячем человеке живёт страсть техника, инженера, металлурга. Достаточно было увидеть, как он взял, повернул образец чугуна. Эти образцы, которые Сырейщиков привёз в чемодане в Москву, побывавшие и на столе Синякова и на столе Евсеева, теперь лежали перед министром. Он взял обломок чушки, повернул к свету, чтобы заблестели грани кристаллов, — и по одному этому движению Сырейщиков вдруг понял, что металл попал в настоящие руки.

Потом, во время беседы, министр снова брал то один, то другой образец, опять смотрел, поворачивал и внезапно спросил:

— А почему тут так много серы?

Неужели для него уже был сделан анализ? Нет, вряд ли. Или у него такой изошрённый глаз? Распознать, уловить глазом в изломе содержание серы — не простое дело! Но всё же бывают такие знатоки металла, обладающие тончайшим зрением. Похоже, и он таков.

И Сырейщиков объяснил, что этот чугун выплавлен из отбракованной, бедной и сернистой руды, негодной для загрузки в домы. Этой плавкой он хотел доказать, что его способ позволит использовать и такие руды. Он говорил, глянул на слушателя и опять увидел эти же острые глаза.

А какой у него кабинет — это, Володька, не так уж важно... Конечно, мальчишка задаст и другие вопросы.

— Ну, а Москва, папа? Наверное, здорово изменилась с твоих студенческих лет? Хорошо ты её рассмотрел?

Да, Москву он рассмотрел... Это, Володька, было очень странно. Сегодня на рассвете, когда машина, присланная из министерства, трону-

лась на аэродром, он, сидя рядом с водителем, чуть ли не впервые разглядел краски Москвы. Ночь была бессонной (после разговора с министром он, ясное дело, не уснул), но утром, глядя вперёд сквозь стекло мчащейся машины, он не чувствовал никакой вялости, сонливости. Хотелось жить, ещё долго-долго жить! И много-много сделать! И в какой-то миг (Сырейщикову запомнилась эта минута: машина шла по улице Горького к площади Маяковского, к центру) он вдруг увидел Москву в красках. Раньше она казалась ему однотонной, серой, он схватывал лишь уходящие вдаль, сливающиеся, будто сплошные отвесы домов, лишённую цвета перспективу улиц. А теперь вдруг впервые узрел: розовые, коричневые, голубые, жёлтые, белые дома. Их будто окрасило ранее, огромное, красноватое солнце, встававшее навстречу машине. Нет, и в тени тоже всё было цветным. Сырейщиков с удовольствием приметил чёрный полированный мрамор на цоколе спортивного магазина «Динамо», уловил блёстки в этом мраморе. Затем увидел залитую солнцем, будто огненную глыбу гранита, установленную там, где будет выситься памятник Маяковскому. Вбирал глазами разноцветные вывески. И удивлялся: как он до сих пор этому не радовался, не обращал на это внимания? А памятник Пушкину, у подножия которого разбросаны живые цветы?

Дальше он увидел земной шар. Или, вернее, полушарие. Да, рельефное, выпуклое полушарие, вмонтированное в отливающее гранитом и стеклом высокое здание телеграфа. Не раз Сырейщиков проходил здесь, мимо этого здания, но лишь теперь различил на полушарии густосиние океанские пространства и светлую, будто сияющую, на огромном протяжении омываемую Северным Ледовитым океаном землю своей родной страны. Где-то там, на Севере, есть точка, в которой через некоторое время, и, быть может, очень скоро, будет заложен завод с его печами.

Ах, да... Кое-что вспомнилось, Володька, и про кабинет министра. Там висела во всю стену карта Советского Союза. И представь себе, министр водил по ней карандашом, ставил разные значки так же, как и мы на твоей карте.

Сидящий рядом Шквариков насторожённо следит за Валерием Николаевичем: порой схватывает то или другое слово, нечаянно слетевшее с шевелящихся губ, но не позволяет себе даже взглядом потревожить своего спутника. Тем более, что и сам Фёдор Романович мог бы многое вспомнить о последних необыкновенных днях в Москве.

Например, и здание телеграфа могло бы сейчас припомниться ему. Вот он направляется туда для разговора с Ново-Доменском, пересекает улицу. Подчиняясь знаку светофора, за белой линией, нанесённой на асфальт, остановились автомашины. Солнечные блёстки трепещут на радиаторах, на капотах. Машины стоят горячие, с невыключенными моторами. Кажется, это дрожат живые существа, нетерпеливые, задыхающиеся, стремящиеся ринуться вперёд. Такую же дрожь нетерпения он ощутил тогда в себе. Откройте только путь — и он себя покажет!

Да, путь, наконец, открыт!

И уже было несколько крутых, страшноватых поворотов. Неужели ещё суток не прошло, как он проводил Валерия Николаевича до самых дверей кабинета министра? За Сырейщиковым затворилась дверь, а Шквариков скромно, тихо, если не принимать в расчёт громких ударов сердца, уселся в приёмной. Протекло четверть часа, полчаса, час... электродоменищик не выходил.

Затем в кабинет прошёл Евсеев, потом один из заместителей министра, потом ещё несколько работников. А Шквариков всё сидел на стуле, ждал. Серьёзный, немолодой секретарь звонил в разные места, соединялся с Ново-Доменском, просил разыскать выехавшего на рудник

Щурова, которого срочно вызывал к телефону министр. И Шквариков вдруг сообразил: ведь там, за дверьми, происходит не просто первое знакомство министра с изобретателем. Нет, там уже идёт совещание по поводу печи Сырейщикова.

Он быстро сочинил краткую записку: «Валерий Николаевич, полагаю, что и моё участие в совещании было бы полезно для дела. Жду вашего ответа». Секретарь министра отнёс эту записку в кабинет. Затем вернулся. Затем потянулись минуты, пожалуй, самые томительные в жизни Шкварикова. Пять минут, десять, пятнадцать... Из кабинета никакого знака... Этот маньяк, этот растяпа (Шквариков мысленно уже ругался), наверное, куда-нибудь сунул записку, забыл про неё. Да, момент упущен. Всё будет решено без Шкварикова.

В этот миг его отчаяния дверь кабинета раскрылась. Плотный, широколицый, чему-то смеющийся заместитель министра громко спросил с порога:

— Товарищ Шквариков здесь?

— Да,— выговорил Фёдор Романович.

— Будем знакомы... — Заместитель министра протянул руку, назвал свою фамилию.

Шквариков уже обрёл присутствие духа.

— Но не через порог. — слегка улыбаясь, сказал он. — Не через порог, это дурная примета.

В кабинете Фёдор Романович сел рядом с Сырейщиковым, которого вновь искренне и пламенно любил...

Была и ещё острая минутка. Секретарь доложил, что Щуров находится на проводе.

— Товарищ Щуров? — сухо произнёс в трубку министр и без околичностей, что называется в лоб, спросил: — Что у вас там выдвывают с Сырейщиковым?

Фёдор Романович, опустив глаза, безразлично вертел в руках карандаш. Он явственно представил себе полное, красное лицо директора, его маленькие, должно быть, встревоженные глазки... Судьба... Могло оказаться и так, что на том конце провода был бы он сам, Шквариков... То есть, разумеется, Степанянц...

— С Сырейщиковым,— повторил министр.— Разве вы плохо меня слышите?

Пауза. Щуров что-то объяснял.

— Что значит, не у вас? — спросил министр. — Вы этим хотите снять с себя ответственность? Так я вас понимаю?

Вновь пауза. И вновь голос министра:

— Тем более, что вы сами постарались, чтобы он работал не у вас... Или, может быть, это не так?

Далее последовали ещё и ещё беспощадные вопросы:

— Как же вы допустили, что свою печь ему пришлось делать из лома, взятого со свалки?

— А бороться за новое большое дело вы тоже не могли? Бороться как металлург, как коммунист?

— Я спрашиваю, собственное мнение у вас было?

— Как же вы допустили, что Сырейщикова довели у вас чёрт знает до чего? А потом и совсем выставили из Ново-Доменска?..

Да, Степану Суреновичу можно посочувствовать, вероятно, и его ожидает подобный звонок.

Внимание! Не проронить ни слова!

Министр сообщил Щурову, что Сырейщикову для его опытов будет предоставлена производственная база близ Москвы.

— Всех помощников Сырейщикова, всех, кто ему нужен, мы возьмём сюда...

Он перечислил фамилии Лунькова, Завьялова, Кирпичникова, Чуваева, Скирко.

— Возьмём и товарища Шкварикова. Вы его знаете?

Томительная пауза... На Шкварикова устремлены зоркие, сверлящие чёрные глаза. Почудилось, эти глаза видят его насквозь, читают его мысли. Но Фёдор Романович не отвёл взгляда, выдержал. И сошло... Не так-то просто увидеть насквозь Фёдора Романовича.

А дальше он опять не сплеховал. Внёс предложение:

— Имеются, товарищ министр, ещё пять человек, которые сдали дипломные проекты на эту же тему. Им тоже не нашлось места в Ново-Доменске. Я думаю, что они были бы очень нам полезны.

Сырейщиков немедленно поддержал эту мысль.

— Список у вас есть? — спросил министр.

Да, Шквариков уже подготовил список. Фамилии, имена, место работы — всё было указано...

И при обсуждении некоторых других вопросов он проявил себя таким же вдумчивым, скромным, деловитым.

...Однако порой Фёдора Романовича всё-таки точат сомнения. Его смущает мысль: вполне ли принципиально он поступил? Достаточно ли проанализировал обстановку? Академик Овсянников, например, по-иному определил свою позицию.

Министр вчера сообщил, что для Сырейщикова будет выделено помещение на опытном заводе, которым руководит Овсянников. И добавил:

— Старик неохотно согласился. Считает, что ваша печь понадобится не раньше, как лет через двадцать.

Сырейщикова это задело. Вскочив, взмахнув руками, он стал горячо опровергать мнение Овсянникова. Министр пытался его остановить, но он накинулся и на министра.

— Надо уже теперь строить завод электродоменного производства, — горячо, торопливо говорил Сырейщиков. — Уже теперь, а не через двадцать лет.

— Дело за вами. Докажите это вашими опытами.

— Я не хочу терять ни одного дня! Мы в одни сутки соберёмся и выедем сюда.

— В одни сутки у вас это не выйдет.

— Выйдет. Только дайте разрешение.

— Пожалуйста... — Министр помолчал, потом улыбнулся и сказал: — Только на Овсянникова, если возможно, не кричите. Мы, например, считаемся со стариком.

Сейчас Шквариков обдумывает эти слова. «Считаемся со стариком...» При случае надо будет высказать своё уважение академику, отдать должное его принципиальности. Это не шутка — работать бок о бок с Овсянниковым. Следует проявить величайшую тактичность. Да, обстановка требует глубокого анализа.

Глядя, по своему правилу, правде в глаза, Фёдор Романович вынужден отметить и свои промахи, которые он допустил на совещании у министра. Зашла, например, речь об экономическом обосновании проекта. Министр сказал:

— В будущем, товарищи, у вас появится ещё один союзник: атомная энергия, промышленные электростанции на атомной энергии.

Фёдор Романович не может себе простить, как он не подхватил тотчас этой мысли, не подкрепил её собственными оригинальными соображениями.

...Но что это вдали? К земле прижато недвижимое бурое облако.

— Валерий Николаевич, смотрите... Ново-Доменск...

Сырейщиков принимает к окну.

— Эх, хорошо бы...

Шкварииков не даёт договорить. Он уже понял, схватил на лету желание своего шефа.

— Попытаюсь,— произносит он.— Попрошу пилота.

Легко поднявшись, Фёдор Романович шагает по узкому проходу между рядами мягких, одетых в свежие полотняные чехлы кресел в кабину экипажа. Отсюда, из застеклённой передней части самолёта, уже видны глинистые жёлтые берега знакомой всем новодоменцам реки. Сквозь кисею пыли, заволакивающую город, проступают неясные очертания нескольких товарных поездов, переплетение станционных путей. Шкварииков склоняется к уху пилота, иначе мощный гул мотора заглушит слова.

— Товарищ, с нами летит известный учёный Сырейщиков, который завтра совсем покидает Ново-Доменск. Не сможете ли вы пройти над городом? Хотелось бы, вы понимаете...

— Уважаемый человек?

— Первый человек среди новодоменцев!

Самолёт низко идёт над Ново-Доменском. Возникают слегка подёрнутые дымом прямоугольники городских кварталов, затем пустыри, кое-где бесформенные скопища домишек, потом опять чёткие улицы. Фёдор Романович не ищет глазами дома — одного из самых видных в Ново-Доменске,— где он обитает с Катериной Афанасьевной. Вернее, обитал... Сейчас даже трудно понять, почему Катерина когда-то казалась значительной, многообещающей личностью? И ведь влюбился! Нельзя сказать, что совсем обошлось без чувств... Храни её бог, она не плохо устроена в Ново-Доменске... Не стоит сожалеть и о самом городишке, не зря Серафима так не любит его... Как всё хорошо впереди у Фёдора Романовича!

Однажды, давно это было, какая-то женщина, смеясь, сказала ему:

— Вы, Шкварииков, умеете ухватить за хвост жар-птицу!

Какая-то женщина... Фёдор Романович не может сейчас её припомнить. Но определённо хорошенькая, весёлая такая. И, очевидно, умница.

Он почесал переносицу, но так и не вспомнил, что это сказала ему Вера Ивановна, тогда ещё носившая фамилию Сырейщикова.

...Валерий Николаевич жадно разглядывает город, в котором провёл почти десять лет. Это как будто институт... Да, да, рядом свалка лома. А вон и заводские строения. Жаль, их закрывает крыло самолёта. Но вот выплывают кауперы, домны... Сверху и они кажутся маленькими, но всё же чувствуется мощь этих закованных в железные панцири башен... Сейчас Сырейщиков не испытывает никакой неприязни к ним. Смотрит на них с симпатией. Прав был Евсеев, когда сказал, что надо быть благодарным этим могучим созданиям. Действительно, разве могла бы итти речь о мощных гидроэлектростанциях, о заводах электродоменного производства, если бы не было их, этих домен, величайших печей, вечно горячих, непрерывно рождающих металл?!

Ну что же, спасибо и им...

## 50. Последнее утро

Макар Семёнович выходит на балкон, встревоженно тянет носом. Гм... Запашок ещё не выветрился.

Вчера, узнав о новостях, Макар Семёнович не нашёл приличествующих слов. Откровенно говоря, он был сконфужен: Сколько раз он утверждал, что из этой, не разбери-поймёшь, печи Сырейщикова ничего не

выйдет. А теперь, пожалуйста, повезут её в Москву. И сам Евгений потребовался в столицу по государственному делу.

Радуюсь и роняя слёзы, мать освободила, пообтёрла чемодан. Макар Семёнович выразил свои чувства только тем, что наподдал ногой этот затасканный несчастный чемоданишко, словно мышами изгрызанный по краям. Надев картуз, плотник отправился на поиски и, наконец, принёс домой приобретённый в комиссионном магазине чемодан из настоящей кожи с прочными медными нашлёпками на углах. Кожа была кое-где поцарапана, Макар Семёнович решил её собственноручно освежить. Старик знал секретный состав. Сгонял Клаву за касторовым маслом, смешал касторку с сепией, не пожалел этой красивой, хранящейся у него издавна коричневой краски, которая, как уверял один его приятель, штукатур, выделяется из нутра каракатицы. Этим ценным составом Макар Семёнович и протёр чемодан, отправляющийся в столицу.

Теперь остаётся уповать на утреннее солнышко: оно должно подсушить, уничтожить проклятый касторовый дух. Но душок, вот незадача, не уничтожается.

Зато на славу удался оскобленный заново, покрытый с вечера лаком, сладко пахнувший грушевой эссенцией баул. Послужит металлургу-электродоменщику Лунькову для всякой мелочи.

— Мать! Готов сундучок! Пользуйся...

Евгений, доверив родным заботу о своём снаряжении, стоит на балконе, переговаривается с Орловским.

— Влип я с тобой, старик, — полшутя, полусерьёзно сокрушается Орловский. — Называется, подготовил себе надёжную смену.

— Всё от неверия, мудрейший Владимиревич. Мало я прочёл тебе лекций по электрометаллургии?

Орловский вздыхает.

— Теперь вопрос ясен, — говорит он.

Евгений хохочет, но у Орловского есть в запасе словечко, которым он словно щёлкает по жениному немного задранному носу:

— Вот только насчёт суслика для меня темно...

— Вопрос мною недоработан, — с мрачным юмором отвечает Луньков.

Разговаривая вчера по телефону с Сырейщиковым, он высказал своё недоумение относительно неожиданной метаморфозы Шкварикова. Нашли кого привлечь! Однако Валерий Николаевич вскипел: «Да будет вам, всем известно, что Фёдор Романович протянул мне руку в самую трудную минуту моей жизни...» Может быть и так, но хочется самому разобраться в этом. Пока же приходится отшучиваться:

— Доработаю, дай срок... А нынешние сутки ты сам взял у меня на откуп. Быстро я сдал тебе дела?

— Подумаешь, сдал... Я ещё и оторваться не успел.

Вчера Кротов, один из секретарей горкома партии, вызвал к себе Орловского и, предложив ему незамедлительно принять дела у Лунькова, хитро улыбнулся.

— Начнёшь готовить себе новую замену — будь, брат, предусмотрительней!

Нескоро, наверное, Орловский опять сядет за учебники. Однако, хотя он и пытается показать, что огорчён — ведь рухнули все его планы, — это ему плохо удаётся.

Вчера он открыл пленум горкома комсомола, на котором с отчётом — своим последним отчётом — выступил Луньков, и с этого часа Орловский сам себя не узнаёт. Даже табачок как будто стал вкусней. Правильно говорят: старая любовь крепка!

— Буду писать тебе, Женька... Да что ты какой беспокойный? Пойдём лучше в комнаты.

— Нет, хочется подышать.

По правде сказать, дышать на балконе не так уж приятно — странно пахнет поставленный на табурет чемодан. Но вряд ли Луньков замечает это. Задумался, засмотрелся на город.

— Твоё последнее утро, Женька.

Евгений не поворачивает головы, словно и не слышит. Если бы Орловский пригляделся внимательнее, он заметил бы, что тот и не смотрит вдаль, на широко раскинувшийся, розовеющий в этот утренний час город. Синие глаза видят лишь сквер, тот самый сквер, которого не миновать каждому, кто направляется из центра к дому, где живут Луньковы. «И каждому, идущему сюда от Большой Аптечной», — мог бы добавить Женька.

Беда в том, что выйти навстречу Шуре рискованно: можно разойтись. Но что же делать? Времени в обрез, а столько надо сказать...

Вчера, когда они отъехали от калитки Завьяловых, он шепнул ей, чтобы ждала его на вечере: как только он сдаст дела, сразу же придёт в клуб Медсантруд. А она как-то странно взглянула, словно и не поверила. И оказалась права.

Евгений неодобрительно оглядывает облокотившегося на перила Орловского. Довольный вид толстяка, даже его свежая с красивой украинской вышивкой рубашка, даже потухшая трубочка, которую, тем не менее, он потягивает, — всё в этот час раздражает Женю.

— Ты словно нарочно вчера затягивал пленум... Дорвался!

— Нет, ты меня уморишь, — хохочет Орловский. — А сколько времени сам высказывался?

Луньков с досадой отворачивается.

...Всего несколько пар кружилось в зале, когда он добрался до клуба. Ни Шуры, ни её подруг он не нашёл. Потом он стоял под тёмными окнами шуриного общежития, даже зашёл в подъезд. Вспомнилось, как они прятались там от дождя, как долго прощались...

Тогда же Шура указала ему на светящийся вдали фонарик, возле которого можно было различить вывеску: «Аптека». Там дежурный всегда наготове, каждую ночь.

Тщетно томясь у подъезда, гадая, как бы вернее, скорее дать весточку Шуре, он, наконец, сообразил, побежал туда, нажал кнопку звонка. Признаться, когда загредел крюк, товарищ Луньков немного струхнул, даже надумал попросить капель, дескать, среди ночи разболелись зубы... И вдруг ему открыла Даша. Заспанная, она не сразу признала его, а потом почему-то строго и вроде бы осуждающе вымолвила, что уже слышала о его отъезде. Но записку охотно взялась передать: она зайдёт в общежитие сразу, лишь только окончит дежурство... Смягчившись, добавила, что Шура будет утром свободна — её смена заступит с вечера...

Задумавшись, Евгений наклоняется к цветочному ящику, сгребает горстку земли, подносит к лицу. И сразу опасливо косится на Орловского, будто тот может знать, о чём сейчас вспомнил Женька.

— Что ты там везишься, старик? — не унимается Орловский. — Ты городом любуйся. Я всё смотрю: такого моста, такой арки не сыщешь и на московских вокзалах. Подержи трубку, сейчас изображу тебя, молодого Курако, с жёлтым баульчиком, с солидным папашиним чемоданом.

Но тут на балкон выходит Мария Михайловна — и Орловский откладывает до более подходящей минуты свои шутки. Трудно определить, какие чувства взяла верх на заплаканном и улыбающемся материнском лице. Победа, одержанная сыном, придала гордости и ей. Может быть, не случайно она сегодня позабыла покрыть голову тёмным в крапинку

старушечьим платком, накинула его просто на плечи. Изредка измявшимися концами она быстро стирает слезу.

— Испробуйте, молодые люди, пока горячие.

Сын видит огрубевшую с набухшими жилками руку, протягивающую пирожки, и ощущает укол совести. Самому надо было зайти на кухню, заглянуть лишний раз к матери... Когда он проснулся сегодня и приоткрыл дверь в столовую, мать как раз входила туда со стопкой разглаженных его рубашек,— видно, давно поднялась. Она остановилась у стены и, забыв положить свою ношу, долго глядела на портрет Коли, на увеличенную его фотографию, где самым крупным планом вышли кисти рук, придерживающие висящий на груди автомат. Верно вспомнилось, как провожала старшего сына.

— Не соглашусь долго жить без твоих пирожков,— Евгений обнимает худые плечи, прикрытые простеньким платком.— Заберу скоро вас к себе.

— Скоро, скоро... Уезжаете-то и впрямь скоро. Неугомонный ваш Сырейщиков, попрощаться толком не дал.

На балкон влетает Клавдия, переводит дух. Волосы не прибраны, подвачены тесьмой. Старенькое платье давно стало ей тесным и коротким. Забегавшаяся в это утро, она еле выговаривает:

— Женька, к тебе одна красавица заявила.

Кажется, он задел локтем мать, толкнул сестру, зацепил дверной косяк.

— А-а-а... Это ты? — Евгений и не пробует казаться любезным. — Ну, здравствуй, Лиза.

— Пришлось зайти по делу,— дрогнувшим голосом говорит Кузьминская.— Вчера забыла про эти протоколы... Надо бы подписать...

Лиза протягивает Лунькову папку и не садится, стоит у стола, словно чего-то ждёт. Нервные пальцы дёргают, заплетают в косицы шёлковые кисти низко спущенного над столом оранжевого абажура.

«Выдумщица ты, Лизавета», — хочется съязвить Евгению, но розовая трикотажная кофточка напоминает ему о ночи на квартире Сырейщикова, когда эти тонкие пальцы старательно бегали по клавишам машинки. И Луньков в который раз говорит:

— Видишь, Лизочка, помогло наше с тобой письмо...

— Помогло,— безжалостно подмигивает уже усевшийся на кушетку Орловский.— Помогло... ускорить женькин отъезд!

Кузьминская поджимает губы. Она оставляет абажур в покое, закладывает руки за спину. Лиза умеет быть твёрдой, даже когда судьба и несправедлива к ней.

— Вы, Владимир Дмитриевич,— холодно спрашивает она,— в горком сейчас пойдёте? Или остаётесь провожать? Я, например, ухожу.

Орловский чувствует себя виноватым.

— Зачем уходить, Лизочка? Вместе проводим.

Луньков что-то бормочет, подтверждая приглашение.

В квартире появляется Коля Базылев.

— У меня идея, Евгений. На зорьке в горком побежал, подготовил вопросик. Требуется обсудить,— и он переходит на просящий тон: — Ты же всё равно зайдёшь в Цека комсомола.

— Давай, Коля. Обсудим.

Трое горкомовцев проходят через столовую в женину комнату.

Кузьминскую, чьих выразительных взглядов Евгений упорно избегал, он не пригласил. И был наказан.

Когда в передней раздался робкий звонок, Лизочка побежала открыть дверь.

Ах, вот как... Знакомая посетительница.



— Вы по какому делу,— строго допрашивает скрипучий голосок,— по личному?

Шура молчит.

А Лиза пожимает острыми плечиками.

— Не знаю... Там у них совещание.

### 51. Последний час

Медленно шла Шура сюда, в дом Луньковых. Позади была бессонная, тягостная ночь. И утро не развеяло тоски.

...Даша постучала к ней, когда она умывалась; вошла, села на краешек ванны, вымолвила:

— Читай!

Шура прочла. От её мокрых пальцев сразу подтекли, расплылись некоторые, набросанные чернильным карандашом слова, и она испуганно бросила записку на табурет, вытерла руки. Ведь это надо сохранить на память!

Даша ещё более бледна, чем всегда, — устала после ночного дежурства, и вид у неё скорбный, как говорится, соболезующий.

— Будь мужественна, Александра,—значительно сказала она.—Помни, что все мы тебя очень любим.

Она взяла край полотенца и обтёрла с шуриного лба оставшиеся там капельки воды. Словно у Шуры была высокая температура. Потом вздохнула, сказала что-то насчёт хорошей погоды и пошла пошептаться с Ритой. Было понятно, почему Дарья повела себя так странно. Помнит про один отъезд, после которого она вдоволь поплакала. Думает, что и Шуре положено плакать...

Проводив Дашу, Рита предложила:

— Позволь, Шура, я сегодня наряжу тебя, как принцессу.

• И Шура отдала себя в её руки. Но Рита, казавшаяся такой весёлой, поглощённой шуриным туалетом, вдруг задумывалась, путалась, не могла правильно застегнуть пуговицы. Когда Шура собралась уходить, Рита бросилась её целовать. Шура отстранилась. Не любит она этих сочувствий...

Путь до знакомого сквера показался ей бесконечным... Сутки назад, таким же солнечным утром, они с Евгением шли через город в Сосновку к Рубленой улице, и не было девушки счастливее её. А сейчас? Нет, Шура не смеет назвать себя несчастной. Разве она недовольна случившимся? Она очень, очень рада, что дело Евгения признано полезным, весьма нужным. Настолько важным, что вмешалась Москва. И Шура всегда будет гордиться, что её любил человек, для которого это большое, серьёзное дело было дороже жизни... Почему любил? Такой, как Евгений, не может вдруг разлюбить! Дороже жизни... Дороже всего. И Шура не должна мешать. Пусть уедет, сам всё обдумает. Она понимает: иногда человек обязан жертвовать всем...

Может быть, правильнее сейчас не идти? Совсем не прощаться? Но вот же его записка: «Многое надо тебе сказать». Пусть скажет. Она выслушает.

Упрямо нагнув голову, прибавив шагу, не глядя по сторонам, Шура Поземко пересекла сквер и направилась к высокому дому с балконами.

Меньше всего она ожидала, что ей откроет Кузьминская. Но отступить не пожелала. Вошла в комнату, села, поджала под стул ноги в новых красных босоножках, которые Рита заставила её надеть.

Раз у него совещание, она подождёт. Она понимает: сама комсорг... И пусть эта вредная девчонка разглядывает её, сколько влезет!

Стуча сапогами, проходит на балкон Макар Семёнович, тащит оттуда шикарный блестящий чемодан, наклоняется к нему, принюхивается и, не показывая смущения, кричит:

— Мать, принимайся!

— Пора бы Жене выйти к своим,— вздыхает Мария Михайловна и сквозь слёзы улыбается Шуре.

— Стало быть, занят. Слышишь, как спорят? У человека кругом государственные дела. Не до нас с тобой.

Клавдия за дверью подаёт голос:

— Выходит, инженеру Лунькову скоро совсем не до нас будет? Большая персона!

«Может быть, зря пришла?» — мелькает у Шуры.

Сверху стопки белья, что укладывает Мария Михайловна, лежит верхняя рубашка салатного цвета. Она до боли знакома Шуре, в ней он был на Аллее влюблённых.

Нет, она подождёт.

— Мать, эту штуковину куда? — Макар Семёнович вертит в шершавых пальцах толстый том.

— В баул. Евгений в дорогу отобрал, читать.

— Всё образовывается? — Старый плотник отставляет книгу от дальних нозорких глаз, прочитывает. — Говард Фаст. Избранное.

Шура завтра же спросит в читальне эту книгу. Узнает, кто этот Говард.

— Перерос нас с тобой сынок, — явно довольный говорит отец. — Теперь не утонишься за ним.

Шура это знает. Да, перерос. Да, не утонишься за ним.

У входной двери раздаётся пронзительный трезвон. К Луньковым вваливается ватага молодёжи. Одного Шура сразу узнаёт, он выступал на вечере будущего, никак не мог дому разобрать на части.

— Сам дома? — весело восклицает плечистый парень в синей тужурке. — Доложите о прибытии делегации во главе с комсоргом завода!

Тут Лизочке уже приходится побеспокоить товарища Лунькова, вызвать его.

— Мы к тебе на минутку, — жмёт женину руку Трапезников, — сейчас оседлаем троллейбус и на вокзал, там проводим само собой.

Луньков отвечает на рукопожатия, отшучивается, а Шура чувствует, что он уже заметил её, что он взволнован.

— Садитесь, ребята... Здравствуй, Шура...

— Вызываю машину! — провозглашает Кузьминская. Сняв телефонную трубку, она кричит:

— Гараж? Это гараж?

Луньков готов вслед за матерью повторить сердитые слова: «Неугомонный Сырейщиков. Попрошиться толком не дал».

— Вот какое у нас прощание,— шепчет он Шуре.— С дороги напишу тебе. Жди... А за вчерашнее прости, не мог.

— Я не сержусь. Я вообще не сержусь. Я понимаю.

Клавдия стоит недалеко. Она успела переодеться, по-взрослому уложила волосы. На ней шерстяное, в рубчик платье, бежевые туфли на каблучках. Вот увидел бы её, сестру отъезжающего Лунькова, один высокий из спецшколы. Скажем, оказался бы ненароком на вокзале...

Глядя на брата, Клавдия вдруг ошутимо себе представляет, что и ей предстоит разлука. Выпуск в спецшколе не за горами!

— Евгений! Быстро иди сюда! Скажу очень важную вещь!

Она вталкивает упирающегося Женю в кухню и торжественно говорит:

— Я тебе, глупый, сестра... — трудно сразу найти подходящие слова, и, дёрнув его за галстук, Клава шепчет: — Я сейчас её позову, будто к себе... Для себя... Прощайтесь, как люди.

Не дав брату опомниться, Клава сама целует его, забыв, что недавно назвала его «большой персоной».

Тем временем Лизочка обращается к набившимся в квартиру комсомольцам:

— Товарищи, времени в обрез. Всё равно Луньков сейчас занят с родными. Бегите скорей на троллейбус. Ещё поспеете на вокзал. — Не слишком отходя от истины, она добавляет: — Нас, меня и Орловского, Луньков просил остаться, поехать вместе с ним.

Больше ей ничего добавлять не надо: Поземко встаёт, присоединяется к тем, кто уходит отсюда.

Хлопает входная дверь...

...Вот Шура и ушла. Вот идёт. Страшного ничего нет.

С ней уже было! Ушла, вот так, ничего не сказав. Одна бежала по пустым улицам — в мороз, в новогоднюю ночь. А сейчас лучше: утро ясное, тёплое, и люди идут навстречу.

Шура проверяет, не смялись ли оборки на платье, выпрямляется. Прохожие могут видеть, как спокойно, уверенно ступает по тротуару девушка в новых красных босоножках. Она сумеет справиться с любой бедой. Она взрослая, дошлая. И очень гордая. Как Аксинья из «Тихого Дона»...

Улица, по которой бредёт Шура, неприютная. Нет нигде лавочки, чтобы передохнуть. Прислонившись к телеграфному столбу, Шура слушает, как он гудит. Гудит о чём-то своём... Словно жалуется на что-то.

Если верить многим стихам и книгам, то всё случилось, как надо. Человек занялся большими делами. Государственными делами, как пояснил его отец. А личное должно потесниться, отступить. Шуре следует это понять, найти в себе силы. У неё впереди работа, ученье, институт... Всё правильно.

Шурины красные босоножки упираются в край канавы. Зелёные травинки тянутся из рыхлой, сырой земли. Когда вдвоём с Женей они гуляли по Аллее влюблённых, уже чуть пробивалась трава. Теперь она пошла гуще, вольнее.

Как он сказал в тот вечер? «Мне всегда представлялось, что встречу такую девушку...»

Шуре хочется улыбнуться. Ведь Женя улыбался, когда произнёс: «В вязаном кружевном воротничке...»

Глупо... Вспомнила про воротник и заплакала.

...Бегут, торопятся ноги, обутые в босоножки. Ой, где тут проходит троллейбус? Ой, она не успеет...

## 52. Последние минуты

Рита отходит от справочного окошка и, постояв в нерешительности, пожалев, что явилась слишком рано, идёт на перрон. Она сразу же согласилась с Дарьей, когда та, забежав утром в спальню, зашептала, что Александру нельзя оставлять на вокзале одну. Представляете? Тронулся поезд, и она стоит на пустой платформе!

Лёгкая, тоненькая фасовщица, улыбаясь, прогуливается взад и вперёд, стуча каблучками по асфальту. Иногда, спохватившись, переходит на степенный шаг. Совестно, что в тяжёлые для Шуры минуты у неё, Риты, так славно на душе... Наконец-то она увидит и х. В первый и последний раз. Он и — это Скирко и Чуваев. Сталевары, которые не считают Риту «просто аптекаршей», которые понимают, как должен и как не должен поступать комсомолец в некоторых очень серьёзных случаях; хотя

она сама не стала бы распространяться про это... Она только Шуру сказала, только комсоргу... Хочется Рите хоть сегодня, в день отъезда, взглянуть на «особенных ребят». Просто взглянуть, пройти мимо них. Вот так: степенно, с поднятой головой, как стоящий человек! Жаль только, что они не будут знать о её новых планах, о том, что с осени она начнёт учиться, будет догонять Шуру, закончит вечернюю школу. Послушали бы они, как Рита недавно объявила в ассистентской, что стремиться вперёд, овладевать знаниями, — в этом и есть главная красота жизни!

Рита оглядывает привокзальные пути. Где же тут третья платформа, которую ей назвали в справочном? Ага, за вагонами-ледниками виднеется пассажирский поезд! Только сейчас Рита соображает, что надо взойти на железный мост, знаменитый вокзальный мост. Ну да, по нему и идут люди!

Через несколько минут Рита стоит возле состава «Ново-Доменск—Москва». Как угадать, какой вагон повезёт сырейщиковцев? Возможно, и мягкий! Рита подходит к нарядному спальному вагону, с любопытством стараясь разглядеть, каков он внутри... Затем, поразмыслив, отходит в сторонку, чтобы Шура её не увидела сразу. У Шуры будут свои дела... А, впрочем, пока ни Луныкова, ни Шуры не видно...

Невдалеке кто-то ставит на асфальт два чемодана — радуют глаз новенькие парусиновые, с красной каёмкой чехлы.

— Стой же! — требует молодой женский голос. — Там без тебя управятся.

— Сейчас-то управятся, — слышен ответ. — Всё погрузили. Теперь могу находиться при вас.

— Можешь, — миловидное розовое лицо пытается быть сердитым. — Удостоил в последние минуты.

Рита придвинулась поближе: интересная парочка. А малыш у них — просто завидно! Когда-нибудь и у неё будет ребёнок, будет свой сын. Придёт время, она расскажет ему одну историю. Она воспитает его так, чтобы он никогда не обидел хорошую девушку...

— Береги себя и Валерку, — приказывает отъезжающий.

Небольшой некрасивый отец семейства сразу вызвал симпатию Риты. Лопоух-то, лопоух, а глаза, как угольки, умные!

— При первой возможности заберу вас к себе...

— Будешь скучать?

— О том сама догадайся.

— Мы-то с Валеркой будем...

— Давай его мне на руки...

— Сиди, сынок, смирно. Отец у тебя умный. Нам с тобой совестно, что смеялись над ним.

— Ладно. Забыто... Начинается жизнь, Тамарка. Знаешь, какая: по мне!

— Знаю. Высоковольтная.

Тамара... Валерка... Рита догадывается, что это и есть знаменитый Лёша, любитель высоковольтной жизни.

Ну ничего — и она, Рита, когда-нибудь встретит настоящего, хорошего человека...

Голос из радиорупора объявляет о начале посадки. Возле спального вагона уже немало народа. Пожилая низенькая проводница загоразивает приступки, ведущие в вагон, далеко отставляет локоть.

— Билетики, билетики! Проездные документы, граждане.

Один очень приличного вида — в шляпе и в светлом пальто — гражданин подходит к проводнице и что-то ей тихо втолковывает. Этой сердитой тётушке следует помнить, кого она будет везти в третьем и четвёртом купе. И хотя она, знай себе, повторяет — «билетики, проездные документы», но

внушение гражданина в шляпе на неё всё-таки действует. По его настоянию, она опускает локоть, отодвигается, чтобы пропустить в вагон провожающего, почтенного пожилого человека, отца известного в Москве инженера Лунькова.

Фёдор Романович, посчитавший нужным внушить поездной бригаде особое уважение к людям, отъезжающим по срочному вызову министра, может снова вернуться к Екатерине Афанасьевне.

— Закрутили тебя дела, Федюша, — слышится её низкий голос, — толком ничего мне не объяснил.

Шквариков простодушно оправдывается:

— Дела есть дела, Катерина. Тебе это по должности следует понимать.

Но начальница отдела кадров прославленного комбината сейчас не желает думать про свою должность. Широкое, мясистое, часто суровое лицо её обмякло. Что-то гложет в эти минуты Фёдора Романовича, что-то похожее на тревогу. Страшновато всё-таки выбираться из-под крылышка этой женщины, навсегда лишиться её забот. Сумеет ли та, другая, всегда так же восхищаться им, верить в него?

Поглядывая на короткую подбритую сзади шею Екатерины Афанасьевны, Шквариков соображает, что сказать бы утешительное этой, ничего ещё не подозревающей бывшей (иногда он решается выговорить про себя «бывшей») супруге. Надо бы вымолвить что-нибудь доброе, например: «буду посылать тебе денег, Катерина». Но денег ей и без него хватает... И Шквариков, взявшись обеими руками за свою мягкую шляпу, чтобы придать ей правильный наклон, милостиво обещает:

— Снимусь в столице, пришлю тебе фотографию...

Невдалеке Мария Михайловна в чёрном шёлковом полущалке, заправленном в ворот пальто, бледная и серьёзная, наставляет сына. Но что-то он плохо слушает. Между ним и сестрой идёт свой, немой разговор. У Клашеньки невесёлое лицо, словно она провинилась перед братом. Стоят рядышком светлоголовые дети и глядят на железный мост.

Клавдия не замечает, что измяла, затеребила букет робких весенних цветов, который должен украсить столик в четвёртом купе. Вот нелепость... Хотела помочь брату, выручить!

— Придёт ещё, — тихо говорит она.

Евгений молчит. Заводские ребята, с которыми, по уверению Лизочки, Шура побежала к троллейбусу, уже здесь. Все, как один, налицо.

А Шуры Поземко нет!

Сейчас почему-то она видится Жене такой, какою он встретил её в первый раз, перед зажжённой новогодней ёлкой. Стройная, ладная, в лёгком синем платье с белыми пушинками на рукавах и груди, в грубоватой дешёвой обуви...

Теперь она немного иная, не та, наивная, несмелая девушка, прибывшая «издалека», ещё много будет в ней перемен. Как жадна она к знанию, всё время совершает в жизни открытие за открытием. Разве возможна счастливая новая жизнь без Шуры?

Товарищи, пришедшие проводить Лунькова, притихли; вероятно, догадываются о случившемся. Орловский, словно ему уже и тут, на вокзале, следует заменять Евгения, шутит, ведёт разговор.

А Луньков, встретив чей-нибудь взгляд, безотчётно повторяет:

— Я напишу вам с дороги, ребята, напишу...

Нет, такая, как Шура, легко не разлюбит. А Шура любит его! Ни разу не вымолвила слово «люблю», не посмела. Но он знает.

— Не моргай, Женька, — шепчет сестра. — Поглядел бы на себя со стороны.

По перрону идёт грузноватый Щуров. Добротная тёплая кепка сдвинута на бритый розовый затылок. Получив взбучку от министра, Щуров счёл долгом приехать на вокзал лично проводить в путь-дорогу группу Сырейщикова, а также и его печь, извлечённую ночью из подвала. Этим, хотя бы до некоторой степени, Сергей Емельянович поправит свой промах. Да, серьёзный промах — Щуров перед собой не скрывает этого. Устранился от решения острого вопроса, ушёл, спрятался в заводские дела. Поступил не так, как следовало бы поступить коммунисту, депутату.

— Ну как, товарищ Луньков? — спрашивает Щуров. — Что-то у вас мрачный вид. Чем-нибудь обеспокоены?

— Нет, ничего...

— Говорите прямо, что вас тревожит.

— Благодарю, Сергей Емельянович, ничего.

— Вы знаете, Женя, как я всегда к вам относился. И если сейчас у вас есть какой-нибудь вопрос...

— Хотите вопрос? — зло произносит Луньков.

— Ну, ну...

— Хорошо бы, Сергей Емельянович, всё-таки услышать ваше мнение.

— О чём собственно?

— О том, например, как это товарищ Шквариков вдруг сделался электродоменщиком... Или по этому поводу пока мнения у вас нет?

Синие, будто ледяные глаза, не прощая, в упор смотрят на толстого директора. Уши и шея Щурова краснеют.

— Работник он отличный... — Директор уклоняется от прямого ответа.

— Знаю, что старательный, — жёстко говорит Луньков. — Сейчас он для нас, что захотим, из-под земли достанет. А если взглянешь на него в зеркальце...

— Какое зеркальце?

— Хитрое.

Луньков отвернулся. Смотрит, как по железным ступенькам спускается Саша Скирко; под руку с ним Ирина Петровна. Она-то пришла проводить!

— Где Валерий Николаевич? — хрипло выговаривает Евгений.

— Вот же, возле вагона, — подсказывает Завьялов.

Сегодня Валерий Николаевич не одинок, Володя тоже. Каждый, кто здесь поздравлял отца, пожимал и другую руку, поменьше. Луньков сейчас должен обратиться к Сырейщикову с просьбой. Просьба такая, что сразу и не выложить.

— Валерий Николаевич, извините меня. Я прошу... В общем, я должен остаться.

— Что такое? Почему?

— Валерий Николаевич. Я догоню самолётом. Очень важное дело. Такое важное, какое бывает раз в жизни. Позвольте остаться!

— Папа, позволь! Папа, а я поеду. До Москвы и обратно. Я же поклялся, что троек больше не будет!

— Постой, Володька... Женя, куда?

Но Луньков уже не слышит. Он круто повернулся. Поразительно, ему же никто не подсказывал, что по железным ступеням сбегает запыхавшаяся девушка, растрепавшаяся так, что совсем рассыпается узел темно-каштановых волос.

Бросившись навстречу, подхватив Шуру, почти приподняв её, он произносит:

— Как ты могла! Как ты могла уйти!

Они не слышат, как голос из радиорупора оповещает о том, что поезд отходит через две минуты.

Когда проводница прячет за пазуху клеёнчатый кошель, вместилище отобранных проездных билетов, Сырейщиков решается приблизиться к шепчущимся молодым людям.

— Ну как, Женя?

Вслед за Сырейщиковым Луньков вскакивает на подножку. Держась за поручни, он обращается к тем, кто стоит у окон, и к тем, кто остался на платформе.

— Знакомьтесь. Это моя невеста. Моя будущая жена.

Мягко, почти незаметно струнулись колёса. Поезд медленно уходит. Шура идёт рядом с вагоном... Немного успел сказать ей Евгений, но и этого было достаточно.

### 53. На железном мосту

Прошли и лето и осень. Уже зима. Всё так же стоит переброшенный над путями, склёпанный из первого новомоменского проката железный мост.

Ему, рассчитанному с надёжным запасом прочности, не страшно, что в иные дни, хотя бы, например, нынче, в первый день студенческих каникул, столько народу спускается и поднимается по его крепким лестницам. Множество валенок, ботинок, сапог ступают по мосту, утаптывают бурый, почти чёрный снег. А перила припорошены нетронутым снежком: руки пассажиров, даже упрятанные в перчатки и варежки, не рискуют коснуться холодного металла.

Через сорок минут отправится поезд на Приалтайск. Студент педагогического института Виталий Крекшин сдаёт в багаж несколько тюков и корзин, которые пойдут с этим поездом.

Через четверть часа к третьей платформе подкатит поезд Москва—Ново-Доменск. Его пришла встречать студентка медицинского института Александра Поземко. Всего три часа назад она прибыла из Приалтайска, забежала на Большую Аптечную, нарушила тишину в ассистентской, переполошила всё общежитие. Уходя обратно на вокзал, Шура заглянула в знакомую ванную комнату, постояла перед большим зеркалом. Радостно было посмотреть на себя в новой пуховой шапочке, купленной к нынешнему знаменательному дню, только что обновлённой, белой, как выпавший совсем недавно снег.

Сейчас Шура стоит у перил, высоко на мосту, и глядит вдаль, в сторону, откуда прибудет поезд из Москвы. В тёмных глазах, в уголках губ таятся улыбка. Хорошо Шуре... Немного тревожно, но хорошо.

Зато Крекшин хмур. У людей каникулы, у него заботы... Медленно ползёт очередь к распахнутой двери, сквозь которую виднеются тронутые ржавчиной станционные весы. Можно было бы, конечно, отыскать лазейку, чтобы не торчать в очереди, быстрее освободиться. Но к чему спешить? Меньше всего Виталия привлекает комната матери и ребёнка, где его дожидаются Инесса и незадачливый хворый тесть.

У Крекшина есть все основания считать себя обманутым: нескладная семейка. Подумать только: за всё, что тут училили над Сырейщиковым, за всю эту историю, ответил в конце концов товарищ Степаныч. Вздыхал вместе с доченькой, сочувствовал этому долговязому, который вовсе и не остался в дураках, а потом... Ух, как помотали. Спасибо, что не отняли партийного билета. С начала учебного года Степан Суренович дожидался назначения. Теперь, наконец-то, едет в Приалтайск. Но работёнка будет там невидная...

Инесса Степановна однажды размечталась: когда Виталий закончит учение, отец перейдёт на пенсию, хоть временно, чтобы подлечиться. Виталий чуть не свистнул в ответ, но, разумеется, сдержался, — теперь-то

он научился сдерживаться... О том, что будет, когда он закончит институт, рано загадывать.

Вышло очень удачно, что деканат не разрешил ему до конца учебного года перевестись в приалтайский институт. Комнату ему дают приличную, лишь бы поскорей освободил квартиру Степанянца. Из обстановки Виталий оставил себе всё, что захотел. Инессе это было безразлично. Нет у неё вкуса к хорошим вещам, да и киснет — страшится родов, что ли? И папашу побоялась отпустить одного. Ну и живите, дорогие, в Приалтайске. Живите, работайте...

Скользя, придерживаясь за кирпичную будку с надписью «Кипяток», медленно приближается Степан Суменович. Встретив взгляд Виталия, он робко улыбается. Затем ему приходится потоптаться на месте, переждать, пока укутанная шалью женщина освободит дорогу, протаскает салазки с багажом. Всё это время Степан Суменович для чего-то обминает руками, поправляет на голове островерхую котиковую шапку и не перестаёт виновато улыбаться.

— Ты не замёрз, голубчик? — спрашивает он, подходя к Виталию. — А то пошёл бы к Инессе. — Глаза его смотрят умоляюще. — Пошёл бы... А я подежурю здесь... Понимаешь, в её положении...

— Плачет? — жёстко произносит Виталий.

— Что ты! Она и итти за тобой не велела. Она весёлая.

Степанянц садится на обшитый мешковиной тюк. Рядом сложены ещё несколько таких же — громоздких, тяжёлых. И всё же он говорит:

— Ступай... Я и сам как-нибудь сдам. Люди помогут.

Когда широкоплечая крупная фигура зята в тёплом добротном пальто скрывается в здании вокзала, Степан Суменович поднимает меховой воротник, опускает жёлтые в морщинках веки и предаётся невесёлым думам.

Так-то вот... Приходится покидать Ново-Доменск... Хватит ли сил, чтобы приняться как следует за новую работу? Врачи уверяют, что волнения обострили болезнь. Возможно... Возможно... А Шкварилов, поговаривают, здоровёхонек. Недавно вступил в должность заместителя директора завода, ещё строящегося, пуск которого вскоре ожидается. Интересный завод получает Север, первый завод с печами Сырейщикова. Пока, правда, небольшой, опытный, но с богатыми перспективами развития. Степан Суменович не желает людям зла, однако, признаться, его порадовал слух, что и Шкварилову не во всём повезло. Передают, что он никак не поладит с Луньковым, который назначен партторгом ЦК на новом заводе, что между ними, Шквариковым и Луньковым, всё разгорается война. Счастливый этот Луньков! Видно, имеет характер, может поставить на своём. На днях Инесса очень хвалила его, а Виталий вспыл, хлопнул дверью. Не надо бы ей раздражать мужа. Лучше бы ладком.

В комнате матери и ребёнка сейчас тихо. Самый горластый из временных обитателей уснул. Инесса Степановна отказывается прилечь. Скоро подадут состав, тогда она с удовольствием вытянется на нижней полке.

Инесса Степановна отлично поняла, почему отец вдруг засуетился, стал уверять, что хочется подышать на воле, — надумал прислать к ней Виталия... При входе её заставили снять шубку, и теперь она старательно кутается в платок. Недавно Виталий, поморщившись, сказал, что не ожидал, чтобы у столь маленькой, худенькой женщины мог вырасти такой живот. Виталий любит, чтобы всё было красиво. Инесса не осуждает, но стало как-то обидно, когда пришло письмо от Ирины — Ирины Петровны Скирко. Она тоже ждёт ребёнка, но разве может Инесса ответить таким же счастливым письмом, пожаловаться, что муж одолел заботами?

В комнату заходит Виталий, недовольно бросает дежурной пальто. Инесса видит, как муж, направляясь к ней, наступает на разрисованный



картонный кубик. Сам он не заметил расплющенной игрушки, лучше и ей смолчать.

— Ну как, Инесса, жива?

— Спасибо, жива. Садись, погрейся.

Свежему, разругавшемуся на морозе Виталию вряд ли надобно согреться. Он молчит.

Почему-то в его присутствии Инесса постоянно чувствует себя виноватой.

— Видишь, как получается,— говорит она.— Пришлось нас провожать. Ты очень расстроен, что пропустишь эти дни?

Из-за того, что Крекшин перевозит семью, несколько изменился порядок его участия в городских конькобежных состязаниях. Никаких осложнений из-за этого не произошло, но он хранит мрачноватую задумчивость. Видя сочувствие Инессы, он соображает, что его преданность спорту может явиться наилучшим выходом. Да, он поднажмёт, покажет класс фигурного катания. Институт ценит своих чемпионов, его будут задерживать в Ново-Доменске. Что же, причина вполне уважительная. Повеселев, Крекшин предлагает жене:

— Давай, притащу тебе чего-нибудь закусить.

Она благодарно улыбается.

— Спасибо, не хочется... Пойди, сам поешь. И следи здесь за своим питанием. Смотри, не экономь. Без средств не останемся.

Инесса Степановна успела в Ново-Доменске защитить диссертацию. Приалтайцы обещали хорошо её устроить.

Неожиданно желтовато-бледное лицо краснеет. Инесса тихо произносит:

— Береги себя, Виталий. Маленькому нужен отец.

Виталий, вздохнув, встаёт:

— Схожу, принесу тебе чаю.

Инесса тоже поднимается, смотрит в окно, в незамёрзшую верхнюю часть рамы. Прощай, Ново-Доменск! Отсюда нельзя увидеть трёхэтажное красное здание с неоштукатуренными колоннами, с вывеской «Мужская школа № 17». Школу эту — первое место работы — позабыть нельзя... А разве забудется вот этот перекинутый через пути мост. Прочный железный мост... У перил давно стоит девушка в белой шапочке, тоже о чём-то задумалась. Так ли ей грустно, как сейчас Инессе?

...Шура поёживается, притопывает ногами. День безветренный, но морозец крепкий, январский. Она нетерпеливо отодвигает рукав, взглядывает на часы, присланные ей из Москвы в подарок.

Как-то она встретится с Женей? На карточке, которую Евгений вложил в одно из последних писем, он выглядит изменившимся, раздавшимся в плечах, очень серьёзным, пожалуй, даже немного важным. Сразу и не выговорить: «заместитель главного технолога, парторг ЦК». Едет сюда, чтобы забрать семью на новый завод. Семья — это значит и Шура... До сих пор не верится. Сыграют здесь свадьбу и покатают все вместе на Север. Когда-то Евгений в своём дипломном проекте начертил такой завод. Тогда над ним посмеялись. А теперь они поселятся на этом заводе. По утрам Шура будет ездить в город, на занятия в институт, а вечером опять на поезд и домой, к мужу. Шура смеётся и вновь смотрит на часы. И снова задумывается.

А вдруг они оба так изменились, что встретятся, как чужие? Эта мысль иногда тревожит её.

Вчера, складывая свои пожитки, Шура сунула под подушку толстую пачку писем. Допоздна вчитывалась в них.

Хорошо написал Евгений: «Разлука тоже подарена нам судьбой, она укрепила и дала время осмыслить нашу любовь». Это правда: укрепила.

Вдали, в морозной мгле, уже различим сизый дымок. Это его поезд. Надо бы бежать, скорее бежать вниз, а Шура почему-то не может сдвинуться с места. Под мостом мелькают крыши вагонов; они идут всё медленнее; вот и остановились. Шура, наконец, рванулась с места, побежала, потом перешла на шаг. Где же лестница на платформу? Пальцы вдруг обожгло холодом: это Шура схватилась за перила. Когда же она сняла варежку?

Много сошло пассажиров. Неужели это Евгений? Он! Волнуется, высматривает её. А ей скользко идти. Ноги совсем как чужие... Пальто на нём новое. И шапка из серой мерлушки. Поставил чемодан и забыл о нём. Озирается. Не видит Шуры. Растерялся. Верхняя губа смешно напозла на нижнюю, часто-часто заморгал. Ой, он же совсем не изменился!

...Они медленно всходят на мост. Отсюда виден город, в котором вырос Женя Луньков. Громадные чёрные домны, сейчас смутно проступающие в негустой изморози, давно не страшат Шуру. Вот над одной вспыхнул венец синего пламени, будто в честь электродоменика, навестившего старые домны.

— Рада? — тихо спрашивает Евгений. Голос не слышится его.  
Рада ли? Сильнее радости, наверное, и не бывает.



---

ИЛЬЯ АВРАМЕНКО

★

## ДО ВСТРЕЧИ НА ЕНИСЕЕ

Так бывает: когда мы едем —  
и одни мы и не одни, —  
всё нам кажется, что соседям  
наш душевный огонь сродни;

что стремятся они туда же,  
на неведомые места,  
что влечёт их одна и та же,  
что и нас увлекла, мечта;

что в степях, иль у горных речек,  
иль на тёплой лесной тропе  
предстоят ещё где-то встречи  
нам с соседями по купе.

...Полустанок мелькнёт — и снова  
беспредельный летит простор;  
то подступит густой сосновый  
медностволый высокий бор,

то речушка... Её с откоса  
за кустами и не видать.  
Мчится поезд, стучат колёса,  
даль скрывается. И опять —

полустанок...

Московский скорый  
встал, на стыках проскрежетав.  
Я проснулся, раздвинул шторы,  
но товарный скрывал состав  
всё от глаз моих. Утро было.  
Топольевый порхал пушок.  
Где-то стрелочница трубила  
на соседних путях в рожок.

Шли осмотрщики. И к вагонам  
подносили девчонки квас.  
А товарный пришёл гружёным  
и стоит тут который час.

Дожидаются отправления,  
растянувшись на полверсты,  
матерьяльные подкрепленья  
наших замыслов и мечты.

Груз внушительный, чрезвычайный,  
и такой же, что шёл вчера:  
краны башенные, комбайны,  
самосвалы и трактора,

трубы, провод, мешки с цементом.  
На платформах всего тут впрок.  
Вот прикрытый слегка брезентом  
облупившийся катерок.

И куда он теперь свой новый  
держит путь? В Абакан? В Читу?..  
Трое дуются в подкидного,  
примостясь на его борту, —

и дорогой довольны дальней  
и судьбою своей вполне.  
Парень с чубом — таким нахальным! --  
вдруг вовсю улыбнулся мне.

То ль почувал родство какое,  
то ли мой был маршрут знаком, —  
он вскочил, замахал рукою.  
Я ответил ему кивком.

И догадки в лихой погоне  
перепутались, понеслись:  
то ли видел на Волго-Доне,  
то ли вместе с врагом дрались?

Но качнулся, поплыл товарный,  
раньше нас покатился вдаль.  
Кто-то молвил:  
— А хлопец гарный.  
— Что, знакомый?  
— Не помню.  
— Жаль.

Загорелый, широкоплечий,  
Ну, не всё ли ему равно?  
Нет, он крикнул ещё:  
— До встречи..  
Где ж нам встретиться суждено?



---

---

## ИТАЛЬЯНСКИЕ РАССКАЗЫ

АННА-МАРИЯ ОРТЕЗЕ

★

### Очки\*

— Солнышко, солнышко-то какое! — протянул нараспев Пеппино Квалья, стоя на пороге подвала.

— Слава богу! — послышался изнутри тихий радостный голос его жены Розы, лежавшей в постели с жестокими ревматическими болями, осложнившимися сердечным припадком.

Обратившись к невестке Нунции, Роза весело продолжала:

— Знаешь что, Нунциата? Попозже я встану и вытащу простыни из корыта.

— Делай, как знаешь, а по-моему, это — чистое безумие, — раздался из тёмного угла сухой и резкий голос Нунциаты. — С такими болями не вредно денёк полежать в постели. — После паузы она добавила: — Нужно какой-нибудь новой отравы добыть — сегодня утром мне огромный тараканище в рукав залез.

Из маленькой кроватки в глубине комнаты, которую вернее было бы назвать пещерой с низким сводом, откуда свисали нити паутины, донёсся негромкий нежный голосок Эуджении:

— Мама, сегодня я получу очки!

Тайная радость звучала в простых словах девочки, третьей дочери Пеппино. Две старшие — Кармела и Луизелла — жили в монастыре и вскоре собирались постричься в монахини, убедившись в том, что жизнь наша есть сплошное наказание господне. Двое младших детей, Пасквалино и Терезелла, ещё похрапывали в постели матери.

— Да, и только не хватает, чтоб ты эти очки сейчас же разбила, — раздражённо отозвалась тётка.

Нунциате как будто хотелось выместить на окружающих свои жизненные невзгоды и прежде всего то, что ей не удалось выйти замуж и пришлось, как она выражалась, терпеть милости невестки; хотя при этом она не упускала случая добавить, что покорно несёт это унижение во имя господя. На самом же деле тётка Нунция была неплохой женщиной; ведь это именно она решила купить за свой счёт очки для Эуджении, когда выяснилось, что девочка буквально ничего не видит.

— Они стоят уйму денег! Восемь тысяч лир! Восемь тысяч, как одна копейка!

Эуджениа ничего не ответила. Но она была довольна, очень довольна.

Неделю назад она ходила с тёткой к оптику на Виа Рома. Там, в этом шикарном магазине на одной из центральных улиц Неаполя, среди свер-

---

\* Рассказ «Очки» взят из сборника «Море не омывает Неаполя», за который Анна-Мария Ортезе получила в 1953 году премию «Виареджо» (ежегодная литературная премия, присуждаемая прогрессивной общественностью).

кающих прилавков, под лучом зелёного прожектора, светившего из-за портьеры, доктор исследовал зрение Эуджени; он заставил её надевать то одни, то другие очки и читать на картонных табличках целые колонны букв — больших, как кубики, и маленьких, как булавочные головки.

— Эта бедная девочка почти слепа,— сочувственно сказал он потом тётке.— Впредь она никогда не должна снимать очков.

И, надев на Эуджению, сидевшую на табуретке и трепетавшую в ожидании, очки в оправе из белого металла, он сказал ей:

— Ну-ка, посмотри на улицу.

Эуджения встала; ноги у неё дрожали от волнения. Взглянув, она не могла сдержать крика радости. Прекрасный мир открылся перед её прояснившимися глазами. По тротуару мимо магазина шло множество красиво одетых людей: синьоры в шёлковых платьях, с напудренными лицами; юноши с пышной шевелюрой, в ярких свитерах; седовласые старички, опирающиеся розовыми пухлыми руками на палки с серебряными набалдашниками. Посреди улицы мчались выкрашенные в яркие цвета автомобили, блестящие, нарядные, как игрушки; шли огромные, словно дома, зелёные троллейбусы; окна у них были открыты, а внутри сидели такие элегантные пассажиры. А на той стороне улицы тянулись роскошные магазины с зеркальными витринами, полными чудеснейших вещей, при виде которых у Эуджении забилось сердце. Было на той стороне и кафе с красными и жёлтыми столиками, за которыми сидели девушки с золотистыми волосами, заложив ногу на ногу, болтали, смеялись и пили что-то из больших цветных бокалов. Балконы верхних этажей были открыты, на дверях висели вышитые занавески, и когда ветер развевал их, то были видны серебристые портьеры и тяжёлые люстры из бронзы и сверкающего хрусталя, свисавшие с потолка, словно связки искусственных фруктов. Чудеса!..

Поглощённая зрелищем всего этого великолепия, Эуджения не слышала разговора доктора с тёткой. Нунция, одетая в своё коричневое платье, в котором она ходила к мессе, с необычайной для неё робостью заговорила о цене, опасливо держась подальше от прилавка со стёклами:

— Доктор, прошу вас, не берите дорого... Мы бедные люди...

Услышав цену — восемь тысяч лир,— она едва в обморок не упала.

— Помилуйте! За два стёклышка! Иисус! Мария!

— Вот невежество...— буркнул доктор, откладывая в сторону остальные очки, предварительно протерев их кусочком замши.— Наденьте-ка девочке эти два стёклышка и убедитесь, лучше она видит или нет. У неё девять диоптрий с одной стороны и десять — с другой. Если хотите знать, она почти слепа.

Пока доктор записывал имя и фамилию девочки: «Эуджения Квалья, переулоч Чаша святой Марии в Портике», Нунциата подошла к племяннице, которая, стоя на пороге магазина и придерживая очки грязными ручонками, всё ещё жадно глядела вокруг.

— Глазей, глазей, милая моя! — заговорила она захлёбываясь.— Ты знаешь, сколько это удовольствие стоит? Восемь тысяч лир! Слышала? Восемь тысяч, как одна копейка!

Эуджения вся залилась краской не столько из-за упрёка, сколько из-за того, что синьорина в кассе услышала эти слова, выдававшие их нищету. Девочка поспешно сняла очки...

— Как же это, такая маленькая и уже настолько близорука? — спросила синьорина у Нунциаты, пока та платила задаток.— К тому же она такая истощённая, старообразная...

— Милая синьорина, в нашей семье у всех глаза хорошие, а это на нас уж такая напасть... ко всем прочим горестям... Как говорится: господь на рану соли присыпал...

— Приходите через восемь дней,— сказал доктор,— очки будут готовы.

Выходя, Эуджениа споткнулась на лестнице.

— Спасибо вам, тётя Нунция,— сказала она помолчав.— Я всегда с вами невежлива, грубо отвечаю, а вы такая добрая, очки мне покупаете...

Её голос дрожал.

— Эх, девочка, этот мир таков, что лучше его не видеть,— ответила Нунциата с неожиданной грустью.

Эуджениа и на этот раз не ответила. Ведь тётя Нунция всегда такая странная, кричит и плачет по пустякам, вечно бранится, а вместе с тем прилежно ходит к мессе и вообще — добрая душа: когда кому-нибудь надо помочь, она первая от всего сердца отзывается. Не следует обращать внимания на её выходки.

С этого дня Эуджениа целую неделю жила как в лихорадке, страстно мечтая об этих благословенных очках, которые дадут ей возможность ясно видеть людей, вещи, весь мир. Ведь до сих пор она была словно окутана туманом; подвал, где ютилась её семья, двор, вечно завешанный бельём, шумный грязный переулок — всё это было покрыто для неё тонкой, но густой вуалью. Только лица родных, особенно мамы и брата с сестрёнкой, она хорошо знала. Ведь она часто спала вместе с ними и не раз, проснувшись ночью, пристально разглядывала их при свете масляной лампадки. Мама спала с открытым ртом, так что были видны жёлтые попорченные зубы. Пасквалино и Терезелла, всегда грязные, сопливые, были покрыты чирьями и вечно храпели во сне.

Подчас Эуджениа ловила себя на том, что разглядывает их, сама не понимая, о чём она при этом думает. Она смутно чувствовала, что за пределами этой комнатухи с вечно мокнувшим в корыте бельём, с поломанными стульями и вонючей уборной есть свет, краски, красивые вещи. И тот миг, когда ей надели очки, был для неё подлинным открытием: да, мир вокруг неё прекрасен, по-настоящему прекрасен!

Сидя на приступочке соседнего подвала, где жила дворничиха Мариучча, Эуджениа разглядывала разорванную страничку детского журнала, слетевшую с третьего этажа. Здесь была такая яркая цветная картинка: голубая речка среди необозримого поля и красная лодочка, которая плыла, плыла неведомо куда... Эуджениа уткнулась носом в бумагу, иначе она ничего прочесть не могла. Написано было по-итальянски<sup>1</sup>, так что девочка понимала не слишком много, но тем не менее время от времени беспричинно улыбалась.

— Так значит, сегодня ты с очками? — сказала Мариучча, появляясь за её спиной.

Эту новость уже знали все обитатели двора, так как Эуджениа не могла удержаться от искушения рассказать о своём счастье, а кроме того, тётка Нунциата тоже сочла нужным разъяснить соседям, что и она кое-что тратит для этого семейства.

— Тебе их тётя подарила, а? — спросила Мариучча, добродушно улыбаясь.

Это была женщина крошечного роста, почти карлица, с мужским лицом, на котором красовались изрядные усики. Разговаривая с Эудженией, она расчёсывала свои длинные чёрные волосы, которые доходили ей до колен. Эти волосы являлись одним из немногих доказательств

<sup>1</sup> Неаполитанский диалект значительно отличается от литературного итальянского языка и по правописанию и по произношению. (Примеч. перев.)

того, что Мариучча на самом деле женщина. Она причёсывалась медленно, улыбаясь своими маленькими мышинными глазками, лукавыми и добрыми.

— Мама пошла за ними на Виа Рома,— сказала Эуджения, благодарно посмотрев на дворничиху.— Вы знаете, мы за них заплатили восемь тысяч! Как одну копейку... Тётя ведь...— Она собиралась сказать: «очень добрая», когда Нунция, высунувшись из подвала, раздражённо позвала:

— Эуджения, поди сюда!

— Иду, иду, тётя! — И Эуджения подбежала к ней.

Из-за спины тётки выглядывал Пасквалино, красный от волнения, с гримасой, выражающей одновременно удивление и радость.

— Иди купи мне две карамельки по три лиры штука у табачника Винченцо. Да возвращайся поживее.

— Хорошо, тётя.

Эуджения зажала деньги в кулак и быстро пошла со двора, забыв о раскрашенной картинке.

Выходя из ворот, она только каким-то чудом не попала под колёса огромного, словно башня, воза с зеленью, который тянула пара лошадей. Возница, лениво помахивая кнутом, нараспев расхваливал свой товар. «Све-ежая... прекра-а-асная»,— неслось по переулку, и эти отрывочные слова звучали нежно, словно любовная песенка.

Когда воз проехал, Эуджения подняла голову и посмотрела своими близорукими глазами вверх, в небо, смутно ощутив его горячий голубой блеск. Она почувствовала, что сегодня всё вокруг неё какое-то особенное, праздничное: и вереница телег с овощами, и велосипеды, проносящиеся мимо, и большие грузовики, откуда высовывались американцы, одетые в хаки. Балконы верхних этажей заставлены ящиками с цветами, а на железной ограде весело развеваются, словно флаги, жёлтые и красные одеяла, голубые детские пелёнки, покрывала, подушки и матрасы, вынесенные для просушки. В глубине переулка ветер колышет корзинки, спущенные из окон на длинных верёвках, чтобы поднимать наверх овощи и рыбу, купленные у бродячих торговцев... И хотя солнце освещало только самые верхние балконы, а внизу переулок, похожий на трещину в беспорядочном скоплении домов, попрежнему был тёмным и грязным, великий праздник весны всё-таки был неуловимо разлит повсюду. И худенькая бледная Эуджения, выросшая, как былинка, на мусорном дворе, порывисто задышала, словно этот праздник, этот весенний воздух и вся небесная лазурь, простёршаяся над кварталом бедноты, принадлежали также и ей.

У входа в лавку табачника Эуджения встретилась со служанкой синьора Амодио, Розарией Буонинконтри, румяной толстухой, одетой в чёрное.

— Скажи маме, чтоб она сегодня поднялась на минуточку к нам: у синьоры Амодио есть для неё какое-то поручение.

— Мамы сейчас нет дома. Она пошла на Виа Рома за моими очками.

— Мне бы тоже надо носить очки, да жених не позволяет.

Эуджения не уловила смысла этого запрещения и наивно ответила:

— Они очень дорого стоят, их беречь надо.

Они вместе вошли в лавчонку Винченцо. Там был народ, и Эуджению совсем затолкали, всё время оттесняя её назад.

— Иди вперёд, ведь ты совсем слепая,— добродушно улыбнулась ей Розария.

— Да, но тётка Нунция заказала ей очки,— вмешался Винченцо, хитро подмигивая, с понимающим видом: старик сам был в очках.— В твоём возрасте,— продолжал он, протягивая девочке карамельки,—



у меня было зрение, как у кошки, я ночью мог нитку в иголку вдеть... Ну, а теперь я постарел.

Эуджения кивнула.

— Из моих подружек никто очков не носит, — сказала она и, повернувшись к Розарии, гордо добавила, так, чтобы слышал и Винченцо: — Ведь у меня девять диоптрий с одной стороны и десять — с другой... Я почти слепая.

— Вот видишь, как тебе повезло! — засмеялся Винченцо.

— Бедняжка, — покачала головой служанка, когда довольная Эуджения вышла из лавки. — Это сырость её глаза сгубила. В ихнем подвале со всех стен течёт... Дайте мне кило крупной соли и пакет мелкой... А какой сегодня денёк-то, синьор Винченцо! Прямо лето.

Медленно идя обратно, Эуджения не вытерпела, развернула одну из карамелек и сунула её в рот. Конфета приятно пахла лимоном.

«Скажу тётке Нунции, что потеряла её на улице», — решила она. Карамелька была такой вкусной, что Эуджению не пугала перспектива неминуемой расплаты за свой поступок. Кто-то дёрнул её за руку. Она узнала Луиджино.

— А где ж очки? — спросил мальчик.

— Мама пошла за ними на Виа Рома.

— Я сегодня в школу не ходил — до чего ж погода хорошая! Пойдём погуляем немножко?

— Что ты! Я сегодня должна слушаться...

Луиджино посмотрел на неё и заулыбался до ушей.

— Ну и растрепалась же ты!

Эуджения инстинктивно поднесла руку к волосам.

— Я ведь плохо вижу, а у мамы времени нету, — сказала она жалобно.

— А какие они, эти очки? Оправа золочёная? — осведомился Луиджино.

— Вся, вся золочёная, — соврала Эуджения. — Так и сверкает!

— Очки носят только старухи, — отпарировал Луиджино.

— Нет, и дамы тоже, я видела на Виа Рома!

— Те очки чёрные, от солнца, — настаивал Луиджино.

— Тебе завидно — вот ты и говоришь так. Мои очки стоят восемь тысяч лир!

— Когда получишь их, покажи мне, — сказал Луиджино. — Я хочу посмотреть, правда ли оправа золочёная... Ведь ты такая врушка, — и он убежал посвистывая.

Входя во двор, Эуджения с тревогой спрашивала себя, будет ли в самом деле у её очков золочёная оправа. Если нет, как убедить Луиджино, что это действительно дорогая вещь?.. Какой чудный день!.. Может быть, мама уже идёт домой и несёт очки в пакетике... Скоро она их наденет... скоро...

Град оплеух обрушился на голову девочки. Она зашаталась, тщетно пытаясь закрыть лицо руками. Разумеется, это была тётка Нунция, пришедшая в бешенство от того, что Эуджения задержалась. Пасквалино был тоже очень разозлён, он уже потерял всякую надежду на карамельку.

— Всю душу вымотала! Вот тебе, вот, противная слепуша! Всю жизнь я отдаю этой неблагодарной! Ты плохо кончишь! Я восемь тысяч на тебя истратила, как одну копейку! Эти бездельники из меня просто кровь пьют!

Тётка Нунция перестала драться и разразилась громкими рыданиями:

— О мать пресвятая богородица, Иисус Христос, молю вас, пошлите мне смерть...

Эуджениа тоже безудержно плакала.

— У-у, у-у...— всхлипывал и Пасквалино.

— Бедная девочка,— заговорила Мариучча, подойдя к Эуджениа, лицо которой распухло от пощёчин и слёз,— она ведь это сделала не нарочно, успокойтесь, Нунция. Где у тебя конфеты, Эуджениа?

Разжав кулак с единственной карамелькой, Эуджениа с тихим отчаянием ответила:

— Одну я съела. Мне так захотелось...

Но, прежде чем тётка успела вторично кинуться на девочку, с освещённого солнцем шестого этажа послышался бархатный голос маркизы Д'Аванцо:

— Нунциата!

Тётка Нунция подняла вверх страдальческое лицо, похожее на лик Мадонны семи страстей, висевший у изголовья её постели.

— Сегодня первая пятница месяца. Сегодня нужно прощать во имя господне.

— Ах, синьора маркиза, какая вы добрая! Из-за этих несчастных я постоянно грешу, себя не помню...— И Нунция закрыла лицо руками.

— Бедная тётя! Она тебе очки подарила, а ты её вот как благодаришь,— выговаривала Мариучча дрожавшей Эуджениа.

— Вашего брата нет дома? — спросила маркиза.

— Я здесь, синьора, я здесь,— отозвался Пеппино, который, сидя у дверей подвала, усердно размахивал картонкой, раздувая плиту, на которой варилась фасоль на обед.

— Вы можете сейчас подняться ко мне?

— С вашего позволения, синьора, жена ушла за очками для Эуджениа, а я присматриваю за фасолью. Нельзя ли немножко попозже, синьора?

— Тогда пришлите девочку. Я хочу дать платье для Нунциаты.

— Господь вас наградит... Уж мы вам так благодарны,— ответил Пеппино со вздохом облегчения — ведь подарок был единственным средством успокоить его сестру.

Но, взглянув на Нунциату, он убедился, что она не радуется, а продолжает проливать горючие слёзы. Это так поразило Пасквалино, что мальчик замер на месте и стал задумчиво ковырять в носу, глядя на тётку.

— Ты слышала? Поднимись к синьоре маркизе, она тебе даст платье для Нунции,— обратился Пеппино к дочери.

Эуджениа постояла мгновение, пристально глядя в пустоту невидящими, широко раскрытыми глазами. Потом, вздрогнув, она послушно побежала к лестнице.

— Скажи ей: «Господь вас наградит», а в комнату, смотри, не входи.

— Да, папа.

— Поверьте, Мариучча,— всхлипывая, сказала тётка Нунция, когда Эуджениа ушла,— я люблю эту девочку и каждый раз, как побью её, раскаиваюсь, истинный бог. Но как начну с этими ребятами воевать, вся кровь в голову бросается. Молодость моя прошла, как видите, — и она поднесла руку к увядшей щеке. — Иногда мне кажется, что я с ума схожу...

— Но ведь и ребятам иной раз нужно дать волю,— ответила Мариучча.— Этим невинным душенькам ещё придётся в жизни наплакаться. Когда я смотрю на детей и думаю, что они станут такими, как мы,— она взяла метлу и смела капустный лист с порога,— я спрашиваю себя: что ж это бог-то делает?

— Такое новёхонькое платье вы отдаёте? — спросила Эуджениа, не сводя глаз с лежавшего на софе зелёного платья, пока маркиза искала старую газету, чтобы завернуть свой подарок.

Синьора Д'Аванцо подумала про себя, что девочка и впрямь слепая, если не видит, что платье, принадлежавшее покойной сестре маркизы, совсем ветхое и во многих местах заштопанное. Однако маркиза воздержалась от комментариев. Найдя газету, она спросила Эуджениу:

— А очки тебе подарила тётя? Они новые?

— В золочёной оправе, стоят восемь тысяч лир, — одним духом выпалила Эуджениа, снова взволновавшись при мысли об удаче, которая выпала ей на долю. — Я ведь почти слепая, — добавила она скромно.

— По-моему, — заявила маркиза, аккуратно заворачивая платье в газету и заботливо засовывая один рукав, который высунулся наружу, — такие расходы — излишняя роскошь для твоей тётки. Я видела в одном магазине на улице Вознесения прекрасные очки всего за две тысячи лир.

— Может быть, они не годились... ведь у меня девять диоптрий, — попробовала робко возразить Эуджениа.

Синьора Д'Аванцо зло прищурилась, но, к счастью, девочка этого не заметила.

— А я тебе говорю, что это были прекрасные очки, — жёстко сказала маркиза. — Дочь моя, — продолжала она, несколько смягчившись, — я говорю так, ибо знаю, как вам трудно живётся. Сэкономив шесть тысяч лир, вы бы на десять дней хлеба могли купить... Да и зачем тебе хорошо видеть? То, что тебя окружает... — Она помолчала. — Ты читать умеешь?

— Нет, синьора, — испуганно сказала девочка.

— А я несколько раз видела тебя с книжкой. Ты ещё и лгунья, дочь моя, это нехорошо...

Эуджениа ничего не ответила. В полной растерянности она тупо уставилась на свёрток с платьем.

— Оно шёлковое? — смущённо спросила она.

Маркиза в раздумье посмотрела на девочку.

— Хоть ты этого и не заслуживаешь, но я хочу сделать тебе маленький подарочек, — сказала она внезапно и направилась к шкафу. Но в это время зазвонил телефон, и синьора Д'Аванцо, не открыв шкафа, вышла в коридор.

Подавленная словами старухи, Эуджениа, оставшись одна, стала оглядываться вокруг, рассматривая обстановку. насколько это позволяли её бедные глаза. Как тут всё красиво, изящно! Ну, совсем как в магазине на Виа Рома!

Прямо перед ней распахнутая дверь вела на балкон, на котором стояло много горшков с цветами. Эуджениа вышла на балкон. Какой чистый воздух! Как красиво кругом! Дома, словно окутанные лазурной вуалью, а внизу переулок, как колодец, а там... там люди, как муравьи, снуют взад и вперёд... Какие они маленькие!.. Что они делают? Куда идут? Вот они входят в лавки, выносят каравай хлеба... Это делают и её родители... делали вчера, сделают и завтра, всегда, всегда... Сколько нор, сколько муравьёв!.. А кругом в ослепительно ярком свете — божий мир, ветер, солнце, а там, вдали, — огромное чистое море.

Девочка стояла, прижавшись подбородком к решётке и глубоко задумавшись. Выражение горя и смятения легло на её личико.

Сзади послышался мягкий, вкрадчивый голос маркизы. В своей белой гладкой руке она держала книжечку в чёрном картонном переплёте с золотыми буквами на корешке.

— Это изречения святых, дочь моя. Молодёжь нынче ничего божественного не читает, и потому мир пошёл по плохой дороге. Возьми, это

я тебе дарю. Но обещай мне читать эту книгу понемножку каждый вечер, раз у тебя теперь будут очки.

— Да, синьора,— поспешно ответила Эуджениа, взяв книжку и покраснев оттого, что маркиза застала её на балконе.

Синьора Д'Аванцо сочувственно посмотрела на девочку.

— Господь хотел спасти тебя, дочь моя,— сказала она, передавая Эуджении пакет с платьем.— Ты не красива, отнюдь нет, и уже сейчас выглядишь старой. Значит, господь захотел отметить тебя своей милостью, ибо таким образом ты не испытаешь злого искушения. Господь хочет, чтоб ты стала святой монахиней, как твои сёстры!

Хотя эти слова не причинили ей острой боли, потому что Эуджениа уже давно силой вещей бессознательно была подготовлена к безрадостной жизни, но она всё-таки почувствовала какое-то огорчение. На миг ей показалось, что и солнце не так ярко сияет, и мысль об очках не доставила ей прежней радости. Она рассеянно смотрела своими тусклыми глазами на море, туда, где, как зелёная ящерица, поднялся над водной гладью холм Позилиппо<sup>1</sup>.

— Скажи отцу,— продолжала маркиза,— что с матрасом для мальчика сегодня ничего не выйдет. Мне позвонила моя кузина, и я еду на целый день на Позилиппо.

— Я там тоже один раз была,— начала было Эуджениа, оживившись при этом названии, и, как зачарованная, посмотрела в ту сторону.

— Разве? — безразлично спросила Д'Аванцо.

Для неё это слово ничего особенного не значило. Она величественно проводила девочку, всё ещё оглядывающуюся на сверкающее море, и медленно закрыла за нею дверь.

Когда Эуджениа переступила последние ступеньки лестницы и вышла на двор, тень, омрачившая её мысли, исчезла и радостный смех задрожал у неё на губах: девочка увидела свою мать! Ей нетрудно было узнать её знакомый усталый облик. Эуджениа бросила пакет на скамеечку и кинулась к матери.

— Мамочка! Очки!

— Тише, тише, дочка, ты меня с ног собьёшь!

Сразу же вокруг них собралась кучка зрителей: Мариучча, Пеппино, жилец третьего этажа Греборио, присевший на скамеечке во дворе, прежде чем подняться к себе по лестнице, служанка синьоры Амодио, возвращавшаяся домой с покупками, и, разумеется, Пасквалино и Терезелла, которые тоже всё хотели видеть и радостно визжали и прыгали. Нунция стояла в стороне, разочарованно рассматривая дарёное платье, которое она вытащила из пакета.

— Посмотрите, Мариучча, мне кажется, что это ужасное старьё... Подмышками всё износилось,— сказала она, подходя к остальным.

Но никто не обратил внимания на платье. Роза Квалья благоговейно вытащила из-за пазухи футляр с очками и с бесконечными предосторожностями открыла его. Какое-то сверкающее насекомое с двумя большими глазами и изогнутыми усиками блеснуло под бледным лучом солнца в худой красной руке Розы, перед глазами восхищённых бедняков.

— Восемь тысяч лир — вот эта штучка! — сказала Роза, глядя на очки со смешанным выражением почтения и упрёка.

Помолчав, она надела очки на Эуджению, в экстазе протягивавшую к матери руки, заботливо проверила, прочно ли они держатся на ушах.

— Ну как, видишь меня? — печально спросила она дочь.

<sup>1</sup> Позилиппо — живописное курортное место в окрестностях Неаполя. (Примеч. перев.)

Держась обеими руками за очки, словно боясь, что у неё их отнимут, Эуджениа, с полузакрытыми глазами, с замершей на губах блаженной улыбкой, сделала два шага назад.

— Ну, поздравляю, — сказала служанка Розария.

— Поздравляю, — сказал и Греборио.

— Она похожа на учительницу, правда? — радостно сказал Пеппино.

— И даже не благодарит! — буркнула тётка Нунция, продолжая с кислой миной рассматривать платье. — Все её поздравляют, а она...

— Осторожней, деточка, — предупредила Роза, идя к двери подвала. — Она в первый раз надела очки, — сообщила она, повернувшись к балкону третьего этажа, где показалась кавалер Греборио.

— Я всё вижу маленькое-маленькое, — сказала Эуджениа каким-то придушенным голосом. — Чёрное-чёрное...

— Ну ясно, ведь это двойные стёкла, — заявил Пеппино. — Но хорошо ли ты видишь? Вот что важно... Она в первый раз надела очки, — поторопился он объяснить кавалеру Амодио, который в этот момент проходил по двору, держа в руке развёрнутую газету.

— Предупреждаю вас, — обратился кавалер к Мариучче, мельком взглянув на Эуджениу, словно это была кошка, — лестница не выметена. Я нашёл под дверью рыбы кости. — И он удалился, согнувшись над своей газетой.

Попрежнему придерживая очки рукой, Эуджениа неверными шагами добралась до ворот, чтобы поглядеть наружу, в переулок Чаши святой Марии. Ноги у неё подгибались, голова кружилась. Она больше не испытывала никакой радости. Хотела улыбнуться побелевшими губами, но улыбка превратилась в бессмысленную гримасу. Внезапно балконы заплясали у неё перед глазами, удвоились, удесятились. Телеги с зеленью ринулись прямо на неё; голоса, крики, щёлканье кнута били по голове, словно молотом. Шатаясь, девочка повернулась лицом во двор. Но ужасное впечатление только усилилось. Двор был как липкая воронка, повёрнутая горлышком к небу; на сырых грязных стенах приклеились жалкие балкончики; чёрные своды подвалов, мыльная вода после стирки, выплеснутая прямо на мостовую; нечистоты, рваная бумага, гниющие капустные листья... А в середине двора люди, ссутулившиеся, оборванные, с лицами, обезображенными нищетой и вечной покорностью, любознательно смотрели на девочку. Но что же это? Вот они искривились, расплылись, стали гигантскими в заколдованных стёклах очков Эуджении...

Мариучча первая заметила, что девочке плохо, и быстро сорвала с неё очки. Эуджениа скрючилась, и у неё началась сильнейшая рвота.

— Они ей на желудок бросились! — закричала Мариучча, поддерживая девочку лоб. — Нунциата, принесите скорей кофе!

— Восемь тысяч, как копеечка! — завопила, вытаращив глаза, тётка Нунция, бросившаяся в подвал за пакетиком с кофейными зёрнами. Держа в руке новые очки, она вздымала их к небу, словно требуя объяснения у бога. — Они, значит, неправильные?

— Это так всегда бывает в первый раз, — успокаивала Розу служанка синьора Амодио. — Вы не волнуйтесь, она потом понемногу привыкнет.

— Ничего, дочка, ничего, не пугайся, — уговаривала мать Эуджениу, но сердце у неё сжималось от горькой мысли: какие же мы несчастные! Вернулась Нунция с кофе, всё ещё крича:

— Восемь тысяч, как одна копейка...

Бледная как мертвец Эуджениа всё ещё испытывала позывы рвоты, хотя в желудке у неё уж больше ничего не было. Её выпуклые глаза почти вылезли из орбит, на старческом личике, залитом слезами, застыл тупой испуг. Дрожа, она ухватилась за мать.

— Мама, мама, где мы?

— Во дворе мы, доченька, — терпеливо объяснила Роза.

И выражение бесконечного сострадания, появившееся в её глазах, отразилось на лицах всех присутствующих.

— Она ведь полуслепая!

— Скажи — полубезумная! — сердито пробормотал кто-то.

— Оставьте бедную девочку, она просто удивилась, — мрачно сказала Мариучча, спускаясь в подвал, который показался ей темнее обычного.

Только тётка Нунция продолжала ломать руки:

— Восемь тысяч, как одна копейка!

## ЛУИДЖИ ИНКОРОНАТО

★

### *В день выборов\**

— Ты бросила макароны в кипяток, Лучетта?

— Да, папа!

— Чтоб тебе пусто было, не вертись под ногами!

Мальчуган, к которому относилось это восклицание, перевернулся на полу, пробежался по комнате на четвереньках, как собачонка, и запрыгал вниз по лестнице.

— А где старшие сёстры?

— В церкви, папа.

— Что, месса целый век тянется, что ли?

— Это большая месса, папа.

С лестницы послышался женский голос:

— Можно к вам?

— Кто там? — спросил портной, хотя он и узнал голос учительницы.

— Это я — синьорина Кончетта.

Пожилая женщина осторожно поднялась по лестнице, словно опасаясь свалиться с этих ненадёжных ступенек.

— Мы собираемся обедать, — сказал хозяин, когда она вошла в комнату.

— О, не беспокойтесь, я только на минутку.

Девушка подала пришедшей стул.

— Спасибо, Лучетта, спасибо.

Портной продолжал гладить, не поворачивая головы.

— Как же вы работаете? Ведь сегодня воскресенье, — спросила гостья.

Портной посмотрел на неё покрасневшими глазами, и по его желтовато-бледному лицу пробежала насмешливая улыбка. Он ответил:

— Когда есть работа, мне всё равно — что воскресенье, что вторник.

Синьорина Кончетта сухо кашлянула.

— Простите, но мне нечем вас угостить, — сказала Лучетта.

— Синьорина знает, что у нас угощать нечем, — угрюмо отозвался отец. — Что ты извиняешься? Ясно, что она к нам не кофе пить пришла.

— Ну, конечно, нет, — сконфуженно подтвердила та.

— А зачем же вы тогда пришли? — резко спросил портной, бросив на стул пиджак, который он гладил.

Женщина замялась и ничего не ответила.

\* Новелла «В день выборов», принадлежащая перу известного итальянского прозаика Луиджи Инкоронато, была опубликована в прогрессивном журнале «Ринашита» (1953 г.).

— Папа, что ты говоришь? — с упрёком сказала девушка.

Отец повернулся к дочери и угрожающе посмотрел на неё.

— Я знаю, почему синьорина Кончетта пришла сегодня к нам, — сказал он более спокойным тоном. И, шагнув к госте, продолжал: — Вы самая хорошая учительница в наших местах. Так ведь говорят. За это я уважаю вас, синьорина. Кроме того, вы несколько раз делали нам добро. Когда мы в прошлую зиму голодали, вы приносили нам макароны. Я это помню. Вы подарили ребятам старые платья. Когда умерла в январе моя жена, вы дали денег на похороны. Я ничего этого не забыл, синьорина Кончетта.

Учительница, привстав со стула, тщетно пыталась перебить портного. Девушка подошла к отцу, словно желая остановить его.

— Молчи, ты! — прикрикнул на неё отец.

И, снова обернувшись к старухе, твёрдо продолжал:

— Синьорина Кончетта, то, что вы для нас сделали, быть может, очень важно, не спорю. Но это ещё не даёт вам права прийти именно сегодня к нам в дом сами знаете зачем.

— Да, я... да, я... — забормотала учительница.

— Нет, говорю я. Это уж чересчур!

— Я не понимаю, что плохого, если я в последнее время иногда захожу повидать Лучетту...

— Это как сказать, синьорина. Я так считаю: никому не позволено использовать других в своих интересах... Вы ведь меня понимаете, синьорина?

Старуха, побледнев, встала.

— Я считаю, что могу прийти в ваш дом, потому что я всегда любила Лучетту, ещё с тех пор, как она была в школе.

Лучетта смотрела на отца умоляющими глазами.

— Повидаться по-хорошему вы всегда можете, — сказал портной мягче, — дом у меня открыт, хоть у нас и нужда...

Учительница всё ещё стояла в нерешительности. Лучетта схватила её за руку.

— Оставайтесь, синьорина, мы будем очень рады. Вы так давно не сидели с нами за столом! Хоть пообедаем сегодня вместе. У нас всё есть, право же! Хотите?

Услышав приглашение дочери, портной помолчал, а затем и сам сказал:

— Оставайтесь, синьорина, сделайте удовольствие Лучетте. Я пошлю Тонио предупредить, чтоб вас не ждали дома.

— В другой раз, пожалуй, — нерешительно проговорила учительница.

Портной закашлялся и отошёл в сторону, отирая губы платком с траурной чёрной каймой. Переведя дыхание, он продолжал:

— Так я пошлю Тонио сказать, что вы задержитесь. Будьте покойны, служанка всегда рада, когда хозяйки дома нет. — Он улыбнулся, довольный, что ему удалось заставить улыбнуться и старуху.

— Видишь ли, Лучетта, я бы рада остаться, но сейчас...

— А куда вы спешите? В обеденный час обходить дома неудобно, — перебил её портной.

— Я и не собиралась обходить дома, — довольно резко возразила учительница.

— Ах, не собирались? Так оставайтесь, не то мы будем думать, что вы обиделись... Не принимайте к сердцу, что я сказал, вы ведь меня знаете. Я иной раз и выругаюсь, а потом самому неприятно. Я не хотел вас задеть. А обойти дома ещё успеете до завтра.

— Прошу вас, синьорина Кончетта, оставайтесь, — возобновила свои просьбы девушка. — Я буду так рада!

Учительнице очень хотелось бы уйти, она всегда брезгала есть за одним столом с портным. Но ей необходимо было поговорить с Лучеттой и её двумя старшими сёстрами. Уйти было бы ошибкой. Да и действительно в этот час неудобно обходить дома. Пожалуй, стоит остаться и попробовать обратиться трёх девушек на путь истинный. Поэтому учительница решилась и кивнула в знак согласия.

— Молодец, синьорина Кончетта! — воскликнул портной. — Так я иду за вином и собираю всю семью. А ты, Лучетта, поскорее накрывай на стол...

— Я мигом. Сейчас должны прийти Анджела и Нунциата, они мне помогут.

Портной вышел, зажав подмышку пустую фьяску<sup>1</sup>. Когда его шаги затихли на лестнице, синьорина Кончетта спросила девушку:

— Ты одна в доме?

— Да.

— Бруно нет?

— Он ушёл с утра, он ведь уполномоченный по списку<sup>2</sup>...

— Да, да, мне уже говорили, — с неудовольствием заметила учительница.

Девушка принялась накрывать на стол.

— Нунциата и Анджела ещё не голосовали? — снова спросила учительница.

— Нет, — ответила Лучетта, помешивая макароны на плите, стоявшей в том углу комнаты, который служил кухней.

— Мои уговоры никак на них не подействовали? — внезапно спросила старуха.

— Мне так кажется, синьорина, — смущённо пробормотала Лучетта, ставя на стол стаканы.

— Как изменились твои сёстры за один год, — сокрушённо вздохнула старая дева.

— Да, с тех пор, как они работают на табачной плантации, — подтвердила Лучетта.

— Ещё бы! Табачницы — самые скверные женщины у нас в посёлке. Твои сёстры от них набрались, — заявила учительница.

— Вчера у них было собрание в доме Илоде, — сообщила девушка.

Глаза синьорины Кончетты сразу сделались колючими и насторожёнными.

— Много их там было?

— Я только слышала, как Нунциата и Анджела разговаривали об этом вчера вечером. Было человек двадцать. Разъясняли, как нужно голосовать.

Синьорина Кончетта поникла головой. Она пришла сюда, надеясь заполучить эти два голоса — Нунциаты и Анджелы, — но теперь ей стало ясно, что это пустая надежда. Эти нахалки за какой-нибудь год совершенно изменились. Забыли все её благодеяния! Достаточно было им побыть в компании каких-то бесстыдниц с табачной плантации — и вот уже Нунциата и Анджела оказались заодно с этими пропащими!..

— Лучетта, ты должна пойти голосовать одна, слышишь? Не с ними, понимаешь меня? Ведь они способны в последний момент сбить тебя с толку. И тогда пойдёт насмарку всё то, что я тебе объясняла.

— Не беспокойтесь, синьорина. Я не ошибусь.

<sup>1</sup> Оплетённая соломой бутылка для вина. (Примеч. перев.)

<sup>2</sup> Во время выборов в Италии на избирательных участках дежурят уполномоченные от каждого списка кандидатов, следящие за ходом голосования. (Примеч. перев.)



Макаронны были готовы. Лучетта сняла их с огня. На лестнице слышались шаги, женские голоса.

— Вот они и возвращаются, — сказала Лучетта.

В комнату вошли две девушки. Анджела была в дешёвеньком, но изящном розовом платье, узком в талии, с широкой юбкой. На милостивом лице этой двадцатитрёхлетней девушки лежал отпечаток какой-то грусти. Во внешности низенькой толстушки Нунциата ощущались упорство и настойчивость. Они приветливо, но сдержанно поздоровались с учительницей.

— Где папа? — спросила Нунциата.

— Пошёл купить вина, — ответила Лучетта.

— Вина? — удивилась Анджела.

— Синьорина Кончетта осталась с нами пообедать, — объяснила младшая сестра.

— Понадобились новые выборы, чтоб вы снова сели с нами за стол, — смеясь, заметила Нунциата.

— Да я не так уж давно обедала у вас, — стала оправдываться учительница.

— Нет, почти два года прошло. Я хорошо это помню, потому что тогда разбилось большое блюдо. Хорошо ещё, что макаронны мы успели съесть, — весело продолжала Нунциата.

Тем временем Лучетта накрыла на стол. Девушки сняли с себя нарядные платья и надели будничные, поношенные.

Макаронны были разложены по тарелкам, и Лучетта сказала, что надо приниматься за еду, не то тесто склеится.

— Подождём ещё немного, пока отец вернётся, — возразила Анджела.

Нунциата позвала с улицы младших детей. Два мальчика, восьми и шести лет, и девятилетняя девочка одним духом примчались по лестнице на зов старшей сестры. Они были босые, голые до пояса, девочка в голубой юбочке, мальчуганы в одних штанишках. Учительница встретила их с распростёртыми объятиями, но когда мальчики увидели, что она не принесла никакого подарка, то сразу кинулись к столу, крича, что они умирают от голода. Усевшись, они сперва побарабанили ложками по столу, но потом степенно принялись за еду.

— Вот и солнце показалось, — проговорила учительница, чтобы начать разговор.

Нунциата посмотрела на неё; впервые она ощутила в голосе старухи неприятную, фальшивую ноту.

С лестницы донёсся голос портного, который поднимался по ступенькам с песней:

Землю, что ты обработал,  
Потом и кровью полив,  
Землю, что ты засеял,  
Свобода тебе отдаст.

Увидя макаронны на тарелках, он потряс наполненной фьяской.

— К столу, к столу! — весело проговорил он и уселся напротив синьорины Кончетты.

Мальчики с перепачканными рожицами глотали макаронны с необыкновенной быстротой.

— Вот так аппетит, благослови их господь, — сказала учительница.

— Это всё Анджела и Нунциата, — сказал портной. — Их деньги проедаем, их заработок... Бруно всё без работы, а я... какие у меня теперь клиенты...

— Кушай, кушай, папа, — ласково сказала Анджела.

Портной налил в стаканы пальца на два вина. Детишки тоже требовали своей доли. Они пили все втроем из одного маленького стакана, ссорясь из-за очереди.

Анджела оставила немного макарон на тарелке. Нунциата съела всю свою порцию.

Портной набирал на вилку целые гроздья макарон и разом проглатывал их. Учительница искоса поглядывала на него.

Кончив еду, портной вытер губы платком, снова налил стаканы, и в глазах его промелькнула улыбка.

— Как вы думаете, синьорина, мог бы я купить вина, если бы Анджела и Нунциата не приносили денег с плантации? Нет, дорогая синьорина, никакого вина не было бы. Я уж стар, всё кашляю, болею, не умею шить по моде... Клиенты понемногу от меня уходят... Остались только старики, которым нравятся, что я крою по-старинному, как никто уж здесь больше не умеет... Выпейте, синьорина, а потом я произнесу тост.

— Я пью, пью, — уверяла учительница, поднося стакан к своим тонким губам.

— Налейте вина всем... ребятам тоже — и Тонию, и Розарию, и Бичеттине! А ты, Лучетта, налей себе полный!

— Я не хочу пить...

— Не хочешь пить?

— Да, я не хочу вина...

С некоторых пор на Лучетту находило иной раз такое упрямство. Когда отец напоминал, что вино куплено на деньги Анджелы и Нунциаты, ей не хотелось его пить. Она-то хлопотала дома по хозяйству: эта работа не приносила денег, и никто не видел, сколько она трудится.

— Пей же, — повторял отец. — Ведь это вино!

Он наполнил стакан дочери и поставил перед нею.

— Пей, не будь дурочкой.

Лучетта покраснела.

— Пусть я дурочка, а пить не хочу.

— Ну выпей немножко, — пробормотала учительница.

— Глоточек, — сказала и Анджела.

Лучетта замотала головой.

— Вода вкуснее, — сказала она.

— Эх, глупышка, — засмеялся отец. — У тебя такой же несчастный характер, как у тётки Луизы.

У Лучетты на глазах показались слёзы, но она сдержалась и продолжала неподвижно сидеть, глядя в пустую тарелку.

Боясь, что отец рассердится, Анджела шепнула сестре:

— Ну что тебе стоит выпить немножко?

Нунциата молчала, зная, что Лучетту в такие минуты уговорить невозможно. А если отцу придёт охота ругаться, пусть ругается, будет даже смешно смотреть, как учительница начнёт то краснеть, то желтеть от злости.

Однако, вопреки ожиданиям, портной, словно забыв эту небольшую ссору, сказал:

— Так я скажу тост.

Анджела встала и разложила мясо по тем же тарелкам, с которых семья ела макароны. Только учительнице подали чистую. Дети начали визжать:

— Мне мяса! Мне!

Тонию вырвал у Бичеттины кусочек мяса, который она подносила ко рту. Девочка разревелась:

— Он стащил мой кусочек!

Отец встал, чтобы шлёпнуть Тонио, но тот увернулся и удрал на лестницу.

— Убирайся вон и не приходи больше! — рявкнул портной.

На мясе обед кончился. Фруктов в доме никогда не бывало.

— Ну, так я хочу сказать тост, — снова повторил старик и долил свой стакан из почти пустой фьяски. — Вы заметили, синьорина Кончетта, что сегодня у людей в нашем посёлке очень серьёзный вид? Я такого ещё не припомню. Видал я много человеческих лиц на своём веку: и на войне и на похоронах. На прошлых выборах тоже кое-кто по-особому смотрел. Но вот сегодня на улицах, на площади весь народ словно какой-то другой, не знаю, как и сказать... Будто в глазах у всех написано — у мужчин, у женщин, у девушек... Раньше в наших местах ещё мало было таких, кто понимал, что именно происходит, а остальные делали, как скажут другие... Ещё в прошлый раз на выборах у нас так было...

Он замолчал, словно ему трудно было говорить дальше, словно он внезапно смутился, увидев устремлённые на него глаза детей и учительницы. Не слушала только Лучетта.

— Что же такое особенное вы заметили сегодня? — иронически спросила старуха.

— Я не могу вам точно сказать... но только чувствую, что всё идёт не так, как раньше. Вот посмотрите-ка на Анджелу и Нунциату — и они сегодня другие. А уж мне ли не знать их лица!

Лучетта встала и начала убирать тарелки.

— Вот хоть бы и лицо сына моего, когда он утром пошёл на избирательный участок. Ведь он уполномоченный по списку! Он раньше и не знал, слыхом не слыхал, что это такое значит. А сегодня утром встал пораньше и пошёл... Мир меняется, синьорина Кончетта.

— Ну, конечно, меняется. Но всегда по воле божьей, — возразила учительница.

— Мир меняется, — с ударением повторил портной и выпил вино, ещё оставшееся у него в стакане. — И как же я счастлив, что мир меняется. Ведь было бы так ужасно, синьорина Кончетта, если бы он не менялся. Если бы жизнь этих девочек и малышей была такой, как моя или их матери... которая умерла от нищеты, потому что у нас не было денег на лекарство... вы это знаете, синьорина Кончетта. В нашей стране таким, как мы, дышать не дают...

Лучетта мыла тарелки, Анджела вытирала. Учительница выжидала удобной минуты, чтобы извиниться и уйти. Ей нужно было обойти ещё много домов, а ей приходилось сидеть тут и слушать эти разглагольствования. Но с этим человеком надо быть осторожной, неизвестно, что он может выкинуть.

... — Так вот, синьорина, может, вот это самое я и увидел сегодня на лицах в нашем посёлке... Раньше мало было таких людей, а сегодня очень много... Уверяю вас, я внимательно смотрел — мужчины, женщины, молодёжь, и у всех в глазах написано: мир меняется.

Учительница опустила голову. В этом доме можно рассчитывать только на голос Лучетты. Неблагодарная семейка! Если бы они помнили хотя бы только о деньгах, данных на похороны матери, то они сочли бы долгом чести проголосовать, как их просят. А эти две девчонки: ангельские лица и бесстыжие сердца, у них ещё хватает наглости ходить в церковь. Им-то чего надо? Работы? Работают же они на табачной плантации! Сколько им старых платёв подарено! А этот грубиян портной, со своей бородищей, осмеливается ещё ногаии читать, неуч! Ей, учительнице!

За столом остались трое: Нунциата, портной и учительница — друг против друга. Маленькие незаметно исчезли.

Слова: «Мир меняется. Какое счастье, что мир меняется!» — ещё звучали в ушах Нунциаты. Она вспомнила о женихе, который два года назад отказался от неё, потому что у неё не было даже ночной рубашки в приданое. Ещё год назад она не поняла бы, что значат такие слова. Как и почему мир меняется, ей постепенно объяснили другие работницы на плантации. Теперь она знала, что и она, Нунциата, чего-то стоит, она тоже помогает изменить мир.

Лучетта ставила тарелки на место. Она была довольна, что добилась своего: так и не выпила вина. Анджеला смотрела на неё, и ей внезапно захотелось приласкать младшую сестрёнку.

Портной встал.

— Видите ли, синьорина, до прошлого года я отдавал свой голос тому, кто приходил просить его у меня. Раньше у нас в посёлке всегда было так. Шли годы, люди рождались и умирали, такая уж была жизнь. И почти все так и жили. Но, видно, теперь творятся у нас хорошие дела, если такой, как я, может сказать вам: синьорина Кончетта, в нашем доме для вас найдётся только один голос, вы знаете чей. И я надеюсь, что скоро вы и этого голоса не получите.

Учительница ожидала всего, но только не того, что портной, пригласив её к обеду, снова заведёт разговор на эту тему. «Какая же я дура, — мелькнуло у неё в голове, — он надо мной потешается!»

Нунциата была ужасно довольна. Она не упустила ни одного слова из речи отца и готова была расцеловать его. Синьорина Кончетта действительно помогала им раньше, но как ей взбрело в голову, что на этом основании она может распоряжаться в таком важном деле, как выборы!

— Я осталась обедать у вас, потому что вы сами меня пригласили, — прошипела сквозь зубы старая дева.

— Да, да, конечно... И мы благодарим вас за честь, — вежливо сказал портной. — Но раз мы уж посидели за одним столом, то можем и поговорить откровенно, не правда ли, синьорина Кончетта?

— Вы... вы невозможный человек, — вырвалось у учительницы.

Ей не сиделось на месте. Ноги её больше не будет в этом доме! Если Лучетта хочет её видеть, пусть сама приходит к ней.

Портной удивлённо посмотрел на старуху; он не понял хорошенько, что она хотела сказать.

Синьорина Кончетта торопливо прощалась с тремя сёстрами. Нунциата и Анджеला пожали ей руку, Лучетта поцеловала. Но никто из них не сказал ей: «заходите ещё».

И сама учительница не обещала этого. Все понимали, что это — её последнее посещение.

Портной подошёл к уходящей гостье.

— Я ещё раз сердечно благодарю вас, синьорина, за всё, что вы для нас в прошлом сделали, — сказал он, и учительница почувствовала, что эти слова были сказаны искренне.

Дочери и отец постояли на площадке лестницы, прислушиваясь к шагам синьорины Кончетты, осторожно спускавшейся по ступенькам.

Затем портной направился к постели.

— Хороший был обед, — сказал он. — Я хочу отдохнуть немного, прежде чем итти голосовать.

## ДЖОВАННИ ДЖЕРМАНЕТТО

★

*Серебряная туфелька\**

— Ведь только пару стежков, Мартино! Это же минутное дело...

Толстый приходский священник, отдуваясь от жары, указал кончиком зонтика на свой башмак, который он с превеликим трудом поставил на верстак сапожника.

— Не могу, дон Венанцио, не могу, видит небо, я бы с удовольствием... Зайдите завтра... Право, не могу, у меня ремесло утомительное, не то что у вашего пономаря...

— Ты неисправим, Мартино, как только у тебя заведутся два сольди в кармане... Ведь всего пара стежков.

Но Мартино уже снял с себя чёрный просмолённый передник, перешедший к нему по наследству от старушки-матери, и мыл руки в грязном ведре, где мокла какая-то сношенная обувь. Потом он схватил свой берет, стряхнув разлёгшуюся на нём кошку, и выскочил на улицу.

— Два стежка, минутное дело...— ворчал дон Венанцио, идя к цирюльнику, у которого он обычно читал газеты, никогда не тратя денег на их покупку.

А Мартино забежал в церковь, через несколько минут вышел оттуда и направился к Аньезе, хозяйке таверны, где он обычно выпивал рюмочку, когда его ремесло приносило ему какой-нибудь заработок.

Солнце уже скрывалось за Альпами, когда дон Венанцио, сидя у цирюльника, прочёл в газете о новых чудесах, совершённых Мадонной в различных приходах. Сам дон Венанцио уже давно мечтал о каком-нибудь чуде в своей церкви и предвкушал удовольствие увидеть своё имя на страницах газет, живо представляя себе визит епископа, а может быть, даже и кардинала, многолюдную толпу и многочисленные пожертвования на храм божий... Можно будет тогда приобрести многое и прежде всего побольше хорошей новой обуви, чтобы не пользоваться услугами этого пьяницы Мартино.

На следующий день произошло событие, о котором заговорила вся деревня: Мартино, нарядившись в куртку, доставшуюся ему лет тридцать назад от покойного отца, начистив ботинки, стряхнув рукавом пыль с берета и расчесав копну волос растопыренной пятернёй, отправился на станцию, даже не заглянув к Аньезе. Кто-то сказал, что он купил билет до города. Вся деревня оживлённо обсуждала эту новость. После явки на призывной пункт много лет назад Мартино так ни разу и не выезжал из деревни. Его тогда забраковали по трём причинам: один глаз у него смотрит на нас, в Бизальту, а другой — на вас, в Монвизо, правая нога короче левой и к тому же горб весьма солидных размеров...

Вечером Мартино вернулся домой, а на следующий день не только не стал чинить башмаков духовному отцу, а провёл несколько дней подряд в таверне Аньезы, угощая своих друзей выпивкой. Это продолжалось до тех пор, пока всех жителей не взбудоражило новое происшествие.

Как всегда перед пасхальными праздниками, дон Венанцио осматривал церковь, чтобы удостовериться, всё ли в порядке. Он прежде всего обнаружил, что пономарь Микеле, вместо того чтобы обметать пыль, снимать паутину и наводить чистоту, сладко спит, уютно устроившись в исповедальне.

\* Автор новеллы «Серебряная туфелька», опубликованной в газете «Унита», хорошо известен советскому читателю как мужественный борец против фашизма и как автор книг «Записки цирюльника» и «Гравальо».

— Ты не слуга божий, а слуга антихриста! — возопил дон Венанцио. — Посмотри на статую Мадонны! В каком она виде! Вся в паутине, под носом черно, будто она табак нюхала, серебряные руки и ноги потемнели, как чугунные, а серебряная туфелька...

Но тут священник утратил дар слова и побелел как мел.

— Туфелька! Где серебряная туфелька с Мадонны? Где она?!

Серебряная туфелька, дар богатой прихожанки, исчезла бесследно. . .

— Несчастье! Святотатство! Обокрали Мадонну!

И дон Венанцио с необыкновенной быстротой помчался к аптекарю.

Увидев красного, потного священника, как бомба влетевшего к нему в лавку, аптекарь не на шутку испугался. Дон Венанцио рухнул в кресло, и даже освежающий элексир — изобретение самого аптекаря — не мог успокоить святого отца.

— Серебряная туфелька! Святотатственная кража!

Новость разнеслась по деревне с быстротой молнии. Мгновенно у аптеки собралась толпа. Явился и бригадир карабинеров.

— Кошунство! Украли серебряную туфельку Мадонны! — причитал дон Венанцио.

— Успокойтесь, святой отец, я найду вора!

И действительно, в тот же вечер усердный бригадир с торжеством явился к священнику.

— Вор пойман, уличён и признался...

— Кто же это? Наверное, чужак! Здесь у нас, в горах, никто не способен совершить подобное преступление!

— Это Марино...

— Как? Марино?!

— Да, именно он...

На следующий день Марино был препровождён в город, в тюрьму. Его вели в наручниках, под конвоем пяти карабинеров: опасались беспорядков.

В день суда все жители горной деревушки отправились поездом в город. Начальник станции ещё никогда не продавал столько билетов за день.

Толпа крестьян и крестьянок, предводительствуемых доном Венанцио, до отказа заполнила зал суда, где со стены, повыше надписи «Все равны перед законом», глядел на них запылённый деревянный Христос.

Когда ввели Марино, в зале послышался приглушённый ропот, мгновенно затихший при появлении судей.

— Белетрутти Марино, сын Джакомо, пятидесяти одного года отроду, из Вальбаите, вы обвиняетесь в похищении серебряной туфельки Мадонны из приходской церкви в Вальбаите. Признаёте ли вы себя виновным?

— Я не крал туфельки. Мадонна сама дала мне её...

— Чудо! Чудо в нашей деревне! — вдруг крикнула какая-то женщина и начала усердно креститься.

Её примеру последовали другие.

— Расскажите, как происходило дело, — потребовал председатель.

— Я грешник, синьор судья, но я всегда чтил Пресвятую Мадонну, покровительницу нашей деревни... Накануне святой Пасхи я пошёл в церковь, чтобы покаяться в грехах. Конечно, я большой грешник, синьор, но Мадонна так добра...

— Изложите факты!

— Я стал на колени перед статуей Мадонны и сказал ей так: «Вы так прекрасны, о наша Мадонна, простите мне мои грехи». И вдруг вижу: Мадонна задвигала рукой и показала мне на свою серебряную туфельку.

Я вскочил и кинулся целовать туфлю, но тут Мадонна заговорила. «Ты беден, Мартино, возьми мою серебряную туфельку,— сказала она.— Продай её в городе, чтобы отпраздновать святую Пасху». Она замолчала, опустила руку и стала неподвижной, как была. Я, конечно, послушался Пресвятой девы и взял туфельку.

В зале послышались охи и рыдания. «Чудо! Великое чудо!» — неслись со всех сторон восторженные возгласы.

Дон Венанцио прямо задышался от бешенства: «Вот бесстыжий лгун, вот проклятый пьяница!»

— Прекратить шум! — распорядился председатель.

Наступило молчание.

— Возможно ли такое чудо, святой отец? — обратился судья к священнику.

Дон Венанцио растерянно посмотрел на деревянного Христа, потом перевёл взгляд на спокойного и уверенного Мартино. Он не знал, на что ему решиться.

«Конечно,— взвешивал в уме дон Венанцио,— чудо — вещь превосходная... Но этот мошенник, пропивший туфельку, выйдет на свободу... Нет, этого допустить нельзя! А с другой стороны, если я буду опровергать, то Мартино засадят в тюрьму, но тогда прости-прощай чудо...»

— Так как же вы думаете, святой отец?

Дон Венанцио наконец решился.

— Да,— процедил он сквозь зубы,— возможно...

— Чудо! Чудо! Слава Пресвятой Мадонне!

Освобождённого Мартино окружили радостные односельчане. Дон Венанцио остался сидеть в углу, слушая воркотню своей ядовитой экономки:

— Хорошенькое вы сладили дельце, нечего сказать!

*Перевод с итальянского  
З. ПОТАПОВОЙ.*



---

---

# ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

С. МОРОЗОВ

★

## БЛИЗКАЯ АРКТИКА

*Из дневников*

*Изменились географические понятия.*

**И** горожанину и колхознику — жителям средних широт — Арктика представляется довольно отвлечённо. Где-то на макушке памятного с детства глобуса сгущаются тонкие чёрточки меридианов, и параллели, опоясывающие земной шар, поднимаясь к северу, становятся всё короче. К северу бледная голубизна прибрежных морей постепенно переходит в тёмную синеву океанских глубин, Синева испещрена белесоватым узором — над океаном извечный покров пловучего льда..

Слов нет, красив глобус, да больно уж далека от наших городов и сёл эта самая Арктика!

Но вот полярные льды предстают перед нами не в схематическом изображении картографов, а на фотоснимках, в газетных и журнальных иллюстрациях. По заснеженному полю, меж торосов движутся трактор и автомобиль-вездеход. Над антенной, одиноко торчащей рядом с палаткой, висит в воздухе вертолёт. Полярники в тёплой меховой одежде играют на пианино под брезентовой крышей снежного дома, распивают чай у самовара.

И Арктика сразу становится близкой. С душевным волнением, с глубокой патристической гордостью думаем мы о мужественных наших соотечественниках, занятых сейчас нелёгким и опасным трудом во имя науки. И много приветствий со всех концов страны передаёт радио по необычным адресам: «Северный полюс-3», «Северный полюс-4».

В такие дни иному жителю средних широт вспомнятся крылатые слова адмирала Макарова о великой стране, обращённой фасадом к Северному Ледовитому океану. И с новой силой зазвучат поэтические строки Ломоносова о «Колумбах Российских», побеждающих полярные льды.

Многовековым подвижническим путём шли русские люди на Север. На утлых судёнышках, под рваными парусами штормовали в студёных морях поморы — первокриватели Груманта и Новой Земли. На собачьих и оленьих упряжках, на лыжах и пешком преодолевали дремучую тайгу и безлюдную гундру неутомимые землепроходцы. Но столетиями Крайний Север оставался пустыней, и многим поколениям казалась бесплодной мечтой сама идея мореплавания в Арктике.

Только в новую эру человечества, начатую Великим Октябрём, свершилось пророчество мудрого северянина — отца русской науки. Советские люди, руководимые Коммунистической партией, стали Колумбами новых транспортных путей в Арктике, смелыми новаторами в древней науке — географии.

Уже в пору юности Республики Советов гениальный Ленин отечески заботился о развитии производительных сил Севера, об изучении полярных морей. Позднее, в годы предвоенных пятилеток, на пустынных побережьях и островах выросли порты, исследовательские станции. В гундре задымили заводы. Вглубь недр, наперекор вечной мерзлоте, устремились стволы шахт. И корабли под красным флагом Союза Советских Социалистических Республик поплыли вдоль северного побережья Азии — к устьям великих сибирских рек, сквозным путём: с запада на восток и с востока на запад. Северный морской путь сблизил бассейны Атлантики и Тихого океана.



Но попрежнему сурова природа крайних широт, попрежнему здесь капризна и переменчива погода. Задуют ветры от полюса, и на пути морских караванов непроходимой стеной встанут сплочённые ледяные поля, и корабли, ещё недавно смело резавшие волны, окажутся беспомощными перед стихией.

Полярный лёд нельзя уничтожить. Но можно изучить законы его движения, найти определённую систему в ледовом режиме морей Арктики.

Как взаимно связаны мелководные, опреснённые реками прибрежные северные моря и центральная глубоководная часть Арктического бассейна? Сколь далеко проникают в Арктику тёплые струи Гольфстрима и тихоокеанских течений; какие препятствия мешают этому? Современной науке должны быть известны и температуры, и качественный состав морской воды на различных горизонтах, и все неровности океанского ложа.

Всем этим занята служба ледовых прогнозов, впервые в мире созданная в нашей стране.

Движение льдов во многом зависит и от ветров. Какие же процессы происходят в атмосфере Арктики, откуда порой ледяное дыхание циклонов доходит и до цветущих полей и до раскалённых песков пустыни? Регулярное изучение погоды крайних широт необходимо и мореплаванию и народному хозяйству в целом.

Есть над чем поработать в центре Арктики и учёным, исследующим магнитное поле Земли, и геологам, воссоздающим древнейшую историю нашей планеты.

Всё это достижимо при одном условии — исследователи и учёные должны не только проникнуть в центр Арктики, но и прочно обосноваться там, оставаясь в то же время надёжно связанными с Большой Советской Землёй. Тут на помощь науке приходит транспорт, самый совершенный и быстрый транспорт нашего времени — воздушный.

Начав с кратковременных эпизодических разведок льдов для нужд мореплавания, советская авиация быстро освоила необозримые воздушные просторы и пловучие ледяные поля Арктики. Тула, куда не в силах пробиться ни один морской корабль, самолёт долетает в считанные часы.

И лёд — извечный, устрашающий враг мореплавания — становится в наши дни надёжным союзником исследователей. На дрейфующих полях сооружают жильё и научные станции. На льду ведут наблюдения океанографы и метеорологи, чьи приборы проникают и в пучину океана и в заоблачную высь.

Плодотворному содружеству советских учёных и авиаторов мир обязан выдающимися географическими открытиями, совершёнными в послевоенные годы. В глубоководной котловине Северного Ледовитого океана обнаружен мощный подводный хребет, которому присвоено имя М. В. Ломоносова. Открыта и тщательно исследуется сильнейшая магнитная аномалия во всём Северном полушарии. В краях вечного холода, которые раньше считались вовсе лишёнными жизни, найдены живые существа. Много новых сведений по океанографии, много новых данных для службы погоды получено в результате наблюдений за дрейфом льдов, за подводными течениями и процессами, происходящими в атмосфере.

Благодаря смелым новаторским методам советских полярников изменились и самые географические понятия. Огромная область высоких широт, ранее не известная человечеству, именовавшаяся «областью недоступности», теперь стала ареной обширных исследований. В нынешнем, 1954 году там всерьёз и надолго обосновались две дрейфующие станции, два отряда учёных. Следующие по времени за первой и второй дрейфующими станциями «Северный полюс» и «Северный полюс-2», которые работали в 1937—1938 и 1950—1951 годах, новые станции названы «Северный полюс-3» и «Северный полюс-4».

Оснащённые разносторонней техникой, обеспеченные всеми удобствами, доступными в походном быту, смелые советские люди стали постоянными жителями высоких широт.

Воздушная экспедиция, высадившая дрейфующие станции на лёд, одновременно провела новые исследования близ Северного полюса, там, где в глубинах океана простирается подводный хребет Ломоносова.

И далёкая вершина нашей планеты словно приблизилась к Большой Советской Земле.

### *По знакомой воздушной дороге*

Когда в Москве уточнялись планы и сроки экспедиции и на карту наносились районы будущих посадок на лёд, худощавый, подвижной Черевичный произнёс обычной своей торопливой скороговоркой:

— Дорога-то знакомая.

И с усмешкой, прищурившись, глянул на Котова и Титлова, назначенных, как и он, командирами лётных отрядов.

— Да, уж че вперво-ой,— негромко и чуть нараспев согласился приветливый голубоглазый Илья Спиридонович Котов.

Коренастый, плотно сбитый Михаил Алексеевич Титлов молча наклонил крупную лысеющую голову.

Три полярных авиатора, не схожих ни внешнеюстью, ни характером, давно связаны совместным трудом, общностью жизненной цели.

Иван Иванович Черевичный ещё до войны первый проник в «область недоступности» и совершил несколько посадок на лёд для научных наблюдений. Вместе с магнитологом Михаилом Емельяновичем Острекиным он доказал, что большие мощные самолёты вполне могут быть передвижными, кочующими обсерваториями в Арктике.

Котов, более молодой годами и полярным стажем, известен мастерством ледовой разведки, открытием большого дрейфующего ледяного острова.

Титлов, прошедший за штурвалом самолёта добрую половину жизни, даже среди товарищей-лётчиков славится редкой выдержкой, неутомимостью, каким-то особым, хорошо обдуманым бесстрашием.

Под стать командирам отрядов и остальные пилоты.

Бывальцами, выдавшими виды полярниками зарекомендовали себя океанограф Алексей Фёдорович Трёшников и синоптик Евгений Иванович Толстиков, которым поручено руководить научными станциями на дрейфующем льду океана. Учёные уж в который раз отправляются к высоким широтам знакомым воздушным путём.

Из Москвы на Север самолёты уходят по расписанию. Взметая фонтаны талой воды, тяжёлые двухмоторные машины одна за другой вырываются на старт и с интервалами в считанные минуты отрываются от мокрого бетона взлётной дорожки. Пилоты быстро набирают высоту, и вот уж в кабинах, тесно заставленных грузами, наступает полумрак, и по оконным стёклам снаружи бегут тоненькие ручейки. Но облачность пройдена, сквозь сухое стекло снова виднеется широкое крыло «ИЛа», золотистое в лучах солнца, и впереди крыла — трепещущий нимб, вычерченный в воздухе стремительным вращением винта. Облака тянутся внизу бескрайней пушистой пеленой, похожей на застывшее море, как бы напоминая о скорой встрече с Арктикой.

Воздушная дорога из Москвы за Полярный круг недолга, но богата впечатлениями.

Над Большеземельской тундрой бортралист, выглянув на минуту из своей рубки, молча пересчитывает пассажиров и, возвратившись к ключу, неторопливо выстукивает заказ на ужин и ночлег в следующем пункте посадки.

Ночлег у нас в Амдерме. Когда самолёт, приземлившись на лёд, рулит по пологой косе, рядом белой зубчатой стеной высятся вздыбленные торшением льды Карского моря. Рыжее солнце сползает за горизонт. Но снег в закатных лучах отливает мертвенной, леденящей синевой. Едва дверь кабины открылась и на землю спустили трап, невольно поднимаешь воротник и завязываешь наушники шапки. Клубящиеся под ногами облачка позёмки предвещают скорую пургу.

Впрочем, внимание путника сразу привлекают иные приметы. По улицам посёлка меж рядов двухэтажных домов шагает детвора, размахивая школьными сумками. На витрине у перекрёстка расклеен свежий номер местной газеты. В столовой подают зелёный лук и молоко — не гущённое, из консервной банки, нет,— парное, от здешних арктических «бурёнок».

Неподалёку от Амдермы проходят заполярные отроги Урала. Отсюда, с арктической границы Европы и Азии, начинается судоходная трасса Северного морского пути. Тут, в районном центре Ненецкого национального округа, растёт второе поколение жителей — коренные уроженцы Амдермы.

Всё это особенно впечатляет человека, ранее бывавшего на Севере и вновь приехавшего сюда после долгого перерыва.

Мне вспоминаются морские карты на ледоколе «Красин», который летом 1933 года вёл караван из Архангельска в устье Лены. На тех картах Амдермы не было вовсе. Её не существовало тогда. Только год спустя у песчаной косы, названной кочевыми охотниками «Амдерма» (по-ненецки — лежбище моржей), в хмурое, облачное небо вонзилась антенна радиостанции.

Ощущение больших значительных перемен в жизни Крайнего Севера не оставляет путника и в дальнейшем полёте. Когда далеко внизу под нами проплывают льды Карского моря, то сплочённые, то изрезанные разводьями, невольно вспоминаешь, с каким трудом пробивались тут пароходы с грузами для Сибири и Якутии. Как тревожились капитаны, когда с обоих бортов напирала ледяные поля. С нетерпением и надеждой моряки вызывали самолёт для воздушной разведки, и если лётчику удавалось выискать другую, менее трудную дорогу во льдах, на него глядели, как на волшебника: «Шутка ли, пробыть в воздухе пять-шесть часов. В воздухе над льдами!»

Пилоты нашего «ИЛа» — Фёдор Анисимович Шатров и Константин Фомич Михайленко — ветераны войны, Герои Советского Союза. Они давно уже стали мирными тружениками на заполярных воздушных трассах, и нынешний рейс едва ли не тысячный в их послужных списках.

Самолёт окружает густой туман, в окна не видно оконечностей крыльев. Но штурман Фёдор Андреевич Бурлуцкий и радист Сергей Александрович Чалеев уже настроили радиокompас на привод Диксона, и скоро пилоты вслепую, без особого труда выведут машину к месту посадки.

Сменяя друг друга на вахте, механики Диомид Павлович Шекуров и Михаил Иванович Чагин чутко вслушиваются в равномерный гул моторов, время от времени регулируют подачу тёплого воздуха от бензиновой печи. Приятно в тепле вспомнить молодость: как мёрзли, бывало, в открытых кабинах, как, выбиваясь из сил, впрягались в нарты, чтобы подвести к самолёту тяжёлые бочки с горючим.

Теперь, когда наш «ИЛ», опустившись на лёд бухты Диксона, подруливает к стоянке, его встречает зисовский грузовик. За ним, откуда ни возьмись, заметая снегом узорчатый след шин и цепей, мчатся запряжённые веером нарты. Мохнатые остроухие псы никак не реагируют на затихающий рёв моторов. Видно, этот шум так же привычен им, как деревенским лошадям — пыхтение трактора.

Остановив упряжку, седобородый каюр откидывает кашпо́н малицы и, сняв рукавицы, дружески здоровается с Шатровым.

— Садись, Фёдор Анисимович, прокачу до гостиницы.

— Спасибо, отец, прокати.

Шатрову нет ещё сорока, а Григорий Моисеевич Кузнецов — заведующий собачьим питомником на Диксоне — сорок лет трудится в Арктике: промышляет зверя на полярных островах и побережьях, водит упряжки по тундре Таймыра и ледяному береговому припаю Енисейского залива. Кузнецов статен, широк в плечах, у него высокий зальсый лоб, серые глаза под тяжёлыми морщинистыми веками, окаяющий поморский говор. Так, должно быть, выглядели Семён Дежнев, Владимир Атласов, Савва Ложкин..

Наш новый знакомый — далёкий потомок исконных мореходов русского Севера, тоже в своём роде лицо историческое.

— Русанова на Новую Землю провожал, с Бегичевым дружил. — рассказывает он за чайком в гостинице, самодовольно поглаживая бороду. — Вы про Серёгу Журавлёва слыживали?

Ещё бы не слыжать! Всякий, кто читал книгу Г. А. Ушакова о первых исследованиях Северной Земли, никогда не забудет его замечательного спутника — Сергея Прокофьевича Журавлёва. Мне даже посчастливилось в жизни встретиться с ним.

— Ага, вот приятно... Так мы с Серёгой как родные братья были. Упряжку на Северную я ему помогал подбирать.

Вспоминая покойных друзей-полярников, Кузнецов гордится знакомством и с живыми современниками, со многими, кто прилетает сейчас на Диксон по пути к высоким широтам. Завидев упряжку на льду бухты, лётчики и учёные всегда тепло приветствуют старого каюра.

Встреча со старожилом Арктики, интересная сама по себе, особенно радостно воспринимается на Диксоне, где, кажется, сами скалистые берега хранят память о прошлом.

Неподалёку от увенчанного башней нарядного дома управления морского порта проглядывает из-под сугробов почерневший от времени простой деревянный крест. Там, на ближнем к острову материковом берегу, тридцать пять лет назад сложил кости норвежский матрос Тессем. Посланный Амундсеном от мыса Челюскин с донесением о ходе экспедиции, он прошёл пешком по Западному Таймыру около тысячи километров, но тут, обессилев, сорвался со скалы, когда впереди сквозь пургу уж светили огни советской радиостанции на Диксоне.

Сейчас могила Тессема — в центре оживлённого посёлка полярных портовиков, живущих здесь оседло, с семьями, воспитывающих детей в местных школах.

В подъезде портового управления мне сказали:

— Вы к Соколовой, к Людмиле Григорьевне? Наверх, пожалуйста, на второй этаж.

Седая женщина со значком почётного полярника на форменной морской тужурке приветливо поднялась из-за стола.

— Вот неожиданность... Сколько лет, сколько зим... Жаль, Геннадий Алексеевич сейчас на дежурстве. Он тоже обрадовался бы вам.

Я, впрочем, не уверен, что Геннадий Алексеевич Соколов — главный хирург портовой больницы — помнит меня. Более двух десятков лет прошло с того дня, когда в тесной бревенчатой избе — единственном жилом доме Диксона — я вручал ему посылку, привезённую из Москвы от жены, Людмилы Григорьевны. Тогда, помнится, возвращение отца с первой зимовки ожидал вместе с матерью и девятилетний Лёва.

— Лёвушка-то? — отвечает на мои расспросы Людмила Григорьевна. — Он с той поры и позимовать с нами успел и на кораблях плавал, а теперь вот за науку взялся.

Да, Льва Геннадиевича Соколова — нежного сына и бывалого плярника — нет сейчас на Диксоне. Штурман ледокольного флота, он учится в Ленинграде, в аспирантуре Высшего арктического мореходного училища.

Судьба семьи Соколовых — одна из тысяч судеб советских людей, осваивающих и обживающих Крайний Север.

В облике Диксона, чьи посёлки раскинулись и на острове и на берегу материка, всё явственнее проступают черты будущего города. Под стать новому клубу, который недавно поднялся ввысь рядом с посёлком полярной станции, ещё одетая лесами водонапорная башня. В домах полярников, снабжённых центральным отоплением, телефонами и радио, скоро появится водопровод.

Припоминая прежний, довоенный Диксон, всегда мысленно представляешь себе вереницу судов на рейде. Сейчас, когда до открытия навигации ещё далеко, на льду бухты не меньшее оживление. Тут сейчас большая походная стоянка воздушных кораблей. Круглые сутки трудятся механики, прогревая моторы. Штурманы и радисты проверяют навигационное оборудование, радиосвязь.

Точно на складе товарной станции, тянутся штабеля ящиков, тюки оленьих шкур, лежат связки выгнутых алюминиевых труб, обёрнутые чёрными керзовыми чехлами будущих палаток, ярко рдеют под солнцем продолговатые металлические баллоны с газом. По адресам отправителей, помеченным на упаковке, можно было бы составить целый географический справочник. Тут и ближние олени совхозы Севера, и газовые промыслы Борислава, и заводы Киева, Ленинграда, Москвы, и различные научно-исследовательские институты.

Над снаряжением экспедиции в высокие широты потрудились и конструкторы, и технологи, и сапожники, и повара. Всё рассчитано, подготовлено так, чтобы на льду

скеана полярникам было удобно и тепло, чтобы пища была и питательной и разнообразной.

Общий вес грузов, доставленных на Диксон, в адрес высокоширотной экспедиции измеряется уже сотней с лишним тонн, а самолёты всё прибывают и прибывают. Одни машины выгружаются, другие грузятся. Сложное и громоздкое хозяйство двух будущих научных станций сортируют, комплектуют, направляют дальше, по адресам, которые пока что можно представить себе только приблизительными координатами широты и долготы. И командиры трёх лётных отрядов уже поднимаются в воздух, чтобы вести головные самолёты по своим маршрутам.

На север, в район полюса, с отрядом И. И. Черевичного уходит группа учёных, которые продолжают исследования подводного хребта Ломоносова.

На северо-восток стартует отряд Титлова. С ним — сотрудники дрейфующей станции «Северный полюс-4», которую высадят на лёд с берегов Чукотки.

— Пора и нам в путь-дороженьку,— заметил как-то невзначай Илья Спиридонович Котов, заканчивая ужин в гостинице Диксона.

— Да уж, пожалуй, время лететь,— поддержал его Трёшников.

Слушая их неторопливую беседу, можно было подумать, что речь идёт о завтрашнем утреннем старте. Выспимся и полетим. Но в календарных сроках экспедиции рассчитан каждый час, и спать пришлось не на мягкой постели, а притулившись к тюкам в тесной самолётной кабине. Взлетев в сумерках, Илья Спиридонович вёл машину меж облаков, тёмной ночью, то над пустынным таймырским берегом и островами, то над частыми польнями. Вёл так же уверенно, как и днём,— дорога знакомая.

В устье реки Таймыр мы садилась и взлетали, включив фары на крыльях, а на мыс Челюскин прибыли белой ночью. Тут уже начинался долгий полярный день.

К домикам полярной станции, осенённым крылатыми мачтами ветродвигателей, наши чемоданы поехали на тракторных санях. В стороне от посёлка, чуть левее, виднелось необычное издали строение, чем-то похожее на деревенскую колокольню. Мы подошли ближе и остановились перед этим домом у пирамиды, сложенной из плоских камней.

Узнаю знак Амундсена! Так же точно выглядел он и двадцать с лишним лет назад, когда туманной сентябрьской ночью сюда подошёл караван судов — первый караван, шедший с запада в устье Лены. Настроение было праздничное, никому не спалось, и большая группа свободных от вахты моряков пошла на катере к берегу. Очень уж не терпелось ступить на землю самой северной оконечности Азии. Ведь тут, у мыса, нанесённого на карту русским штурманом Семёном Челюскиным, за всю историю мореплавания побывало только восемь судов под разными флагами, а в нашем караване было сразу шесть кораблей и следом подходило ещё три.

Когда из тумана вынырнул знак Амундсена и катер пришвартовался к ледяному припю, мы вышли на берег и сняли шапки. Мужественный норвежец сложил здесь каменную пирамиду в честь своих предшественников — людей разных наций, но одной великой идеи покорения Арктики.

Мороз не помешал нам обнажить головы и теперь. У каменной пирамиды на Крайнем Севере Азии мы разглядывали стоящее рядом высокое здание туманной станции Главсевморпути. Огромным зеркальным глазом сверкал с верхней площадки прожектор, рядом серебрился иней на мощной сирене. Летом, когда тут, проливом Вилькицкого, идут корабли, сирена в туманную погоду предупреждает их о близости берега. Осенью, в тёмные ночи, путь кораблям освещают электрические лучи.

Мы пробуем подсчитать, сколько же десятков, нет, пожалуй, сотен судов прошло мимо мыса Челюскин за последние двадцать лет. И, сбиваясь со счёта, прибавляем к десяткам и сотням ещё единицу, оставшуюся неизвестной и Семёну Челюскину и Руалю Амундсену. Незадолго до Отечественной войны наши полярные гидрографы нашли на острове Фадея — к юго-востоку от этих мест — обломки корабля, заржавленные мореходные инструменты, монеты времён царствования Михаила Фёдоровича. Значит, был предшественник и у Семёна Челюскина! За сто лет до него безвестные русские люди обогнули северную оконечность Азии.

Для нас, идущих в высокие широты, мыс Челюскин скоро станет далёким югом. Знакомая дорога вдоль берегов Большой Советской Земли завершена. Впереди — прыжок на дрейфующий лёд, к последним параллелям Северного полушария.

### *Седина лётчика Котова.*

Решительно нам не везло. Где-то поблизости, в проливе Вилькицкого, вскрылась полынья, густые испарения зимнего моря плотно окутали мыс Челюскин, и Котов поневоле с часу на час откладывал старт в высокие широты. На крыльях самолётов нарастал иней, лыжи примерзали к влажному снегу. Механики поспешно смахивали иней длинными метлами, изо всех сил дубасили деревянными кувалдами по лыжам.

— Потееют аэропланчики, что ты скажешь, Пётр Павлыч,— с нотками досады обращался Котов к Москаленко — командиру второй машины, идущей с ним в паре.

— Обидно, Илья Спиридоныч,— соглашался тот,— на востоке-то, гляди, Титлов с Виталием уж хозяйничают на льду.

Речь шла о восточном отряде высокоширотной экспедиции, базирующемся на Чукотке. Там Михаил Алексеевич Титлов и Виталий Иванович Масленников уже наши лыдины для дрейфующей станции «Северный полюс-4» и, высадившись на ней, начали перевозить грузы с берега. Для отряда Котова календарный план экспедиции предусматривал более позднее начало работ. Но хоть время в запасе и есть, а медлить никогда не хочется

— Подождём, Пётр Павлыч.— Котов развернул синоптическую карту.

Кривые линии изобар обещали отличную видимость на 85-м градусе северной широты, где намечалась первая посадка на лёд, первый промежуточный лагерь. Попасть туда надо было к полудню, когда солнце стоит высоко.

Туман начинал постепенно редеть, сквозь белёсую кисею наверху проглянул солнечный луч. Сложив карту в полевую сумку, Котов сказал уверенно:

— Проскочим, Петя, пробьёмся к солнышку! Только машины вот надо облегчить.— Он сделал небольшую паузу и закончил с улыбкой: — За счёт пассажиров, процентов этак на пятьдесят.

Пассажиров было двое: оператор кинохроники и журналист. Оба мы, спутники Котова по экспедициям прошлых лет, знали по опыту, что в таких случаях у кино-объектива явное преимущество перед репортёрским блокнотом. Вздохнув, я пошёл выгружаться.

Наблюдая, как из кабины на снег летят мои пожитки, Илья Спиридонович сказал, словно утешая:

— Вы посидите тут в тепле ещё денёк-другой. Успеем ещё помёрзнуть, как тогда на полюсе мёрзли...

Он тихонько рассмеялся и, сдвинув шапку на затылок, открыл густые волосы, когда-то тёмные, теперь сивые от густой седины.

Мы простились долгим рукопожатием. Котов и Москаленко вошли в кабины. Самолёты вырулили на старт и, заскользив лыжами, скрылись в облаках снежной пыли. Потом вынырнули из редющего тумана и сразу, потеряв объёмные очертания, стали крохотными силуэтами на светлеющем небосводе.

«Тогда на полюсе...» Случайно обронённая фраза Котова, его шапка, сдвинутая со лба, оживили в памяти моей давний эпизод. Не берусь сказать точно, когда начали серебриться волосы Ильи Спиридоновича, но знаю хорошо, что именно тогда, шесть лет назад, у него заметно прибавилось седины. И мне вспомнился другой, куда более рискованный старт лётчика Котова с дрейфующих льдов Северного полюса. Думаю, об этом уместно рассказать — ведь именно тогда, весной 1948 года, развернулось особенно широко изучение Центральной Арктики, упорное, градус за градусом, продвижение в высокие широты, в края «белых пятен».

...Уже более двух недель работала высокоширотная экспедиция 1948 года на дрейфующих льдах. Огромным треугольником между 80-й и 87-й параллелями, захватывая почти всю «область недоступности», раскинулись три дрейфующих лагеря. Что ни день

спускались на них самолёты с Большой Земли. Вдоль торосов штабелями стояли бочки с горючим, ящики с продовольствием. Тут и там чернели круглые куполы жилых палаток; зелёными конусами возвышались брезентовые укрытия над гидрологическими лунками; ослепительно белели под незаходящим солнцем снежные павильоны для магнитных работ. Уходя под лёд, в пучину океана, лоты нащупывали резкое падение глубин — отроги подводного хребта. Приборы магнитологов зарегистрировали сильнейшую магнитную аномалию.

По планам экспедиции нужно было от трёхнедельных дрейфующих лагерей сделать по несколько воздушных прыжков в прилегающие районы, чтобы там, на льду, в трёхдневные сроки провести дополнительные наблюдения. Первый такой прыжок к Северному полюсу из дрейфующего лагеря близ 87-й параллели выпал на долю Ивана Ивановича Черевичного, Ильи Спиридоновича Котова и Виталия Ивановича Масленникова.

— Тут недалеко, рукой подать, — шутили командиры кораблей перед стартом.

В самом деле, погода стояла ясная и лёту до полюса оказалось часа полтора. Но как ни привыкли мы тогда к кочевой жизни на льду океана в тысячах километров от берегов, этот короткий путь был полон томительного ожидания. Как ни примелькались нам ледяные поля, гряды торосов и тёмные пятна разводий, каждый с волнением смотрел вниз, пока штурманы кораблей и астрономы-магнитологи экспедиции, переговариваясь по радио-телефону, сверяли свои вычисления. Результат у всех оказался один: северную широту — 90 градусов — определили с точностью до одной минуты.

Задевая края наплывающих облаков, самолёты снижались, заходили на круг. Вот, наконец, лыжи машин с лёгкими толчками коснулись снежного покрова льда, и вершина земного шара предстала перед нами в весьма скромном обличье.

Всё же мы были взволнованы как никогда. Снова, второй раз в истории, флаг нашей Родины развевался над Северным полюсом. И если экспедиция О. Ю. Шмидта—М. В. Водопьянова в мае 1937 года опустилась на лёд, пройдя за полюс несколько десятков километров, то мы теперь были, несомненно, первыми людьми в самой «точке земной оси». Дрейфующая станция И. Д. Папанина начала измерение глубин океана в июне несколько южнее Северного полюса. Океанографы высокоширотной экспедиции 1948 года М. М. Сомов и П. А. Гордиенко тотчас после посадки прорыли лунку во льду и начали гидрологическую станцию.

«Глубина океана на Северном полюсе равна 4 039 метрам», — сообщали наши радисты вечером 23 апреля в дрейфующий лагерь экспедиции вослед улетевшему туда И. И. Черевичному. Для трёхдневных научных работ на Северном полюсе осталось восемнадцать человек: экипажи самолётов Котова и Масленникова, два океанографа, два магнитолога, кинооператор и журналист.

В первые часы мы как-то не могли свыкнуться со своеобразием нашего географического положения. Солнце двигалось строго по кругу, высоко над горизонтом, всё время на одной высоте. Куда ни глянешь, всюду юг — как тут определить направление ветра!

Но советские люди влёкули дома, когда с ними флаг Родины. Москвичи, мы продолжали жить по московскому времени. Наши штурманы и астрономы определяли направление ветра с помощью секстанов и теодолитов — по меридианам.

Правда, ни солнце, ни ветры особенно не баловали нас. Едва улетел Черевичный, как тяжёлые облака затянули небосвод, и полотнище флага на вершине самого высокого тороса обвисло вдоль древка. Протизный, сырой мороз, градусов на сорок, больно щипал лицо, затруднял дыхание. Но в палатках уютно теплились синие огоньки газовых горелок — лёгкие портативные плитки и баллоны с газом, захваченные из Москвы, действовали безотказно. Большое это было наслаждение, отстояв вахту, поесть горячих пельменей и попить чайку, чтобы потом, раздевшись до белья, забраться с головой в спальный мешок. Каждый, кому выпадал заслуженный отдых, тотчас засыпал непробудным сном. Словом, всё было точно так же, как и в предыдущие недели нашей кочевой жизни на дрейфующих льдах.

На вторые сутки, однако, Северный полюс дал о себе знать.

— Полундра! — Резкий крик, шедший откуда-то снаружи, сверху, поднял спящих в палатке людей экипажа Масленникова.

— Полундра! Выходите скорей! — кричал радист Ю. П. Черноусов. На вахте в самолётной рации он одновременно наблюдал за льдами.

Мы выпрыгивали из спальных мешков, одеваясь на ходу, вылезали из палатки. Под самолётом Масленникова, вдоль корпуса, ровно посреди правой лыжи, прошла трещина. Толстенный, метра в три, паковый массив треснул, будто сахар под щипцами.

— Скорей заводите моторы. Доски, лопаты сюда, — заметно вслунаясь, командовал Виталий Иванович.

Бортмеханик, рослый здоровяк Юрий Григорьевич Соколов, накачивал подогревательные лампы, и горячий воздух устремлялся к моторам по гофрированным металлическим шлангам.

Мы подкапывали снег под правой лыжей, подсовывали под неё доски. Переползая с крыла на крыло, приоткрывая капоты моторов, Соколов ругался хриплым шёпотом, словно шептал заклинания. Горячий воздух гудел, шланги накалялись докрасна. Края трещины разошлись уже настолько, что доски под лыжей начали прогибаться.

— А ну, крутаните, ребята! — гаркнул с крыла Соколов.

Легко сказать «крутаните!» Мы висли на лопастях винта, забыв о бездне, разверзающейся под ногами. Винт проворачивался медленно, словно нехотя. Сквозь плексиглас пилотской кабины виднелось серое, с закушенной губой лицо Масленникова. Котов со своими людьми, поднятыми со сна сигналом тревоги, изо всех сил тянули за верёвки, привязанные к хвосту, отрывая от снега примёрзший хвостовой лыжоник.

Доски начали уже соскальзывать с краёв трещины, когда винты вычертили первые круги. Моторы заработали, и Масленников сдвинул машину с губительного места.

— Ну, Илья, гора с плеч, — выходя из кабины, сказал он Котову. — Может, успеем взлететь, а?

Пожевав губами, Илья Спиридонович молча показал сначала вниз, на лёд, потом вверх. Трещина в паковом массиве, увы, была не единственная. Тёмные полосы вдоль и поперёк пересекали ровный сероватый лёд, ограждённый аэродромными флажками. Тяжёлые облака опускались всё ниже, в одном месте на горизонте чернел столб, похожий на смерч. Солнце словно умерло. Было ясно без слов: если успеем взлететь, то тут же обледеем и грохнемся обратно.

— Что наука скажет, а, Михаил Михайлович? — Котов обернулся к подошедшему Сомову. На обветренном, потемневшем лице океанографа белела небритая заиндевевшая щетина.

— Подвижка льдов идёт сильнейшая, где-то поблизости много открытой воды, — ответил Сомов.

— Значит, надо ждать, — развёл руками Котов, — кончится же когда-нибудь эта кутерьма.

И он распорядился перенести лагерь на противоположный паковый массив, не тронутый пока трещинами. Когда самолёты, ревя моторами, рулили через недавнюю взлётную площадку, под лыжи их подкладывали фанеру, накрывая трещины. Следом перетаскивали палатки, газовое отопление, научные приборы — всё имущество. Только флаг оставили на старом месте, на самом высоком торосе. Что бы там дальше ни случилось с нами, флаг СССР будет развеваться на Северном полюсе.

Разожгли плитки. Оставили дежурных наблюдать за льдом, сели завтракать. Последним вошёл в палатку Илья Спиридонович.

— Куда веник-то девали? — ворчал он, отряхивая снег с унтов.

Веника и впрямь не оказалось, потеряли в суматохе. Кто-то сострил пастёт первой жертвы суровой Арктики и, взглянув на часы, вспомнил, что сегодня воскресенье, что хорошо, должно быть, сейчас в Москве.

Полотняный купол палатки, до сей поры неподвижный, вдруг заходил ходуном. Котов не успел поднести ко рту чашку с горячим какао, как за его спиной приподнялся входной полог, раздался срывающийся голос штурмана Шерпакова:

— Оторвало, уносит!

Все выскочили наружу. Никогда за минувшие две недели мы не наблюдали ничего подобного. От туч не осталось и следа. В глубокой синеве неба горело бронзовое солнце. Дул ветер, — чёрт его знает от какого меридиана! На месте тронутого трещи-



нами сероватого ровного льда темнел бурлящий поток. Высокий торос с флагом плыл куда-то влево, исчезая за чертой горизонта. Плыли, двигались все льды, ограничивающие чистую воду. То и дело от паковых полей отламывались новые и новые куски. Поток ширился на глазах.

— Ох-хо-хо... Светопреставление, братцы, — вздыхал Михаил Емельянович Острекин, астроном-магнитолог, руководитель научных работ экспедиции.

Оставив вариометр и теодолит, он быстро доставал из-под меховой куртки фотоаппарат. Надо же было запечатлеть столь редкостное зрелище для будущего отчёта.

На стрежне потока вынырнула чёрная голова нерпы. И тут всегда спокойный, рассудительный Соколов неожиданно проявил охотничью прыть. Он мгновенно извлёк из палатки карабин и, двумя выстрелами уложив зверя, страшно огорчился, что мёртвую нерпу не успели заарканить тросами.

— Злодеи вы, авиаторы, — укоризненно улыбнулся океанограф Павел Афанасьевич Гордиенко, — нерпа на полюсе — это же сенсация в науке, а вы палить вздумали.

— Ничего, Паша, — утешил его Котов. — Вот вернёмся на землю, сделаешь доклад. А сейчас перед нами задача другая — как бы самим не нырнуть вслед за нерпой.

И сразу переменяв шуточный тон на серьёзный, он обратился к Масленникову:

— Давай выгружаться, Виталий. Нарты и клипперботы, ручные рации — на лёд. Каждому взять в заплочный мешок самое необходимое.

Особых пояснений к приказу не требовалось. Стиснутые с трёх сторон острыми торосами, самолёты стояли на бугристом паке в каких-нибудь ста метрах друг от друга. О взлёте нечего было и думать. Не могли нам помочь и другие лётчики экспедиции, хотя Котов уже успел связаться с дрейфующим лагерем на 87-й широте и сообщить о нашем несчастье. Все пилоты, находившиеся там в этот день, готовы были тотчас лететь к полюсу. Но какой самолёт сможет опуститься в наше ледяное крошево? И нам оставалось одно — готовиться к пешему переходу на случай, если машины в конце концов затонут.

Поток продолжал бурлить, и наш островок заметен уменьшался в размерах. Подозвав к себе магнитолога П. К. Сенько и меня, Илья Спиридонович сказал:

— Сходите-ка, друзья, на разведку. Ширину островка мы знаем, а в длину сколько — неизвестно.

Проваливаясь в сугробы, скользя по обледеневшим застругам, мы с Павлом Конозичем прошли вглубь торосов метров сто, от силы сто десять. И тут, за ледяными скалами, вдруг открылся неширокий ручей. Края его обламывались. Обратнo мы бежали со всех ног. А вдруг и под нами треснет!

— Та-ак... — сказал Котов в раздумье. — Что же, друзья, подождём ещё, пока целы машины.

Ветер перешёл в позёмку; колючая снежная пыль слепила глаза, забивала дыхание. А над головами нашими в безоблачном небе холодно сверкало огромное равнодушное солнце.

Как ни велико нервное напряжение, физическая усталость всегда возьмёт своё. Когда выгрузку закончили и нарты стояли упакованные, готовые к пешему переходу, мы снова собрались в палатках у горящих плиток и, наскоро проглотив по кружке чаю, не раздеваясь, повалились на спальные мешки. Только дежурный с карабином на плече ходил взад-вперёд по лагерю, да над самолётами посочерёдно звивались картонные змееподобные антенны.

Проснувшись от шума голосов, я поразился неподвижности полотняных стен. Ветер стих, лёд больше не скрипел, снаружи доносилась оживлённая беседа.

— Чудеса, Илья! — говорил Масленников.

— Н-да, — согласился Котов. — Но чудеса в нашу пользу, Виталий.

— Да вы меня послушайте, — горячо настаивал Сомов. — Мы с Димой вычислили координаты: те же самые, что и при посадке позавчера. Выходит, льдинка наша так и крутится вокруг земной оси.

— Кругосветное плавание, — добавил со сдержанным смешком штурман Дмитрий Николаевич Морозов, — и быстро, и дешево, и, главное, сердито.

Все расхохотались. Приподняв палатку, я едва не вскрикнул от изумления — так изменилось всё вокруг. На месте недавно ещё открытой воды, неподалёку от палатки, на паковый массив вылезала ровная и тонкая льдина, на неё громоздилась вторая, на вторую, ещё дальше, — третья. За ними сверкали голубые пики торосов, не тронутые снегом, омытые струями океанских течений. За торосами у самого горизонта виднелся снежный холм с нашим флагом.

Выбравшись из палатки, я присоединился к Котову и Масленникову, которые, поминутно нагибаясь, с рулетками в руках уже шагали по тонкому льду. На сыром снегу виднелись следы унтов, самолётных лыж, кое-где торчали чёрные аэродромные флажки. Невероятно, но факт — обломки нашей взлётной полосы снова приплыли к нам и сошлись вместе. Но, боже, в каком они были виде! Там, где края льдин наползали друг на друга, образовались невысокие ропаки. Рядом лучились трещины. Самый крупный ропок, более метра, пожалуй, был у края пакового массива, там, где на него вылезала первая тонкая льдина. За грядой, последней, тонкой льдиной темнела полынья.

Вдруг Котов сдвинул шапку с потного лба, и тёмная прядь волос, заиндевав на морозе, стала такого же цвета, как и серебрившиеся виски его. Обернувшись к палаткам, он зычно крикнул:

— Подъём! Всем на аврал, площадку строить!

Пешнями и ломами мы скальвали неровность льда, лопатами подгребали осколки, засыпали ими трещины, поливали водой из чайников и вёдер.

Из самолётов выгрузили всё наиболее тяжёлое: инструменты механиков, доски, чемоданы с нашими вещами. Баллоны с газом и плитки, лебёдки океанографов и приборы магнитологов тоже оставались на льду. С собой учёные брали только журналы наблюдений.

Уже ревели моторы, прогреваемые перед стартом, когда командиры оглядели ещё раз «клеёную», узенькую, вытянутую чулком взлётную дорожку. Приземистый Масленников просительно, снизу вверх, глянул на высокого Котова.

— Разреши, я первый пойду. Номер будет цирковой, Илюша, без сетки.

— Нет, Виталий, — твёрдо ответил Котов, и вдруг улыбнулся неожиданно весело: — Раз уж без сетки, Виталий, старший командир рискует первым.

Лётчики обнялись.

Когда самолёт Ильи Спиридоновича Котова зарулил на старт, снова поднялся ветер. Огромную пустую машину парусило, она качалась на неровном льду, словно корабль в шторм. Вот Илья Спиридонович развернулся для взлёта, и все мы, спутники Масленникова, стоявшие на льду, мысленно ужаснулись: таким огромным, близким выглядел самолёт, которому ещё предстояло разогнаться перед взлётом.

Котов дал газ. Отбежав в стороны, мы легли на лёд, чтобы видеть лучше. Вот скользят огромные лыжи, похожие на птичьи лапы. Вот они оторвались ото льда. Ещё мгновение и...

Между зеленоватым льдом и серым дюралем лыж самолёта прорезалась полоска голубого неба. В следующее мгновение самолёт Котова прошёл над головами у нас в каких-нибудь полутора-двух метрах. Наше хриплое «ура», казалось, заглушило свист позёмки.

— А ну, грузи баллон, — скомандовал повсселевший Масленников. — А то замёрзнем без газа-то.

Мы втащили чугунный баллон и плитку в такую просторную, почти пустую сейчас кабину. У открытой двери стал Юрий Соколов, проверяя, всё ли сделано нами для увеличения подъёмной силы машины. Когда вырулили на старт, было видно, как под тяжестью только что взлетевшего самолёта Котова начали расходиться трещины, как на лёд выступает вода. Ещё раз глянув в открытую дверь, Соколов захлопнул её и поднял большой палец: всё как следует! Штурман Шерпаков, стоя в проходе пилотской кабины, тронул Масленникова за плечо. Виталий Иванович повёл машину на взлёт.

До чего же медленно бежала тогда секундная стрелка по циферблату! Восемь, девять, десять секунд... одиннадцать...

Вскоре я оказался в объятиях Юры Соколова.

— Взлетели. Знай наших!

Потом, успокоившись, он пояснил: нормально взлёт — на 21-й секунде разбега.

Счастливо улыбаясь, Юра поглаживал чугунный газовый баллон:

— С нами чушечка! Теперь с Ильёй в очередь греться будем.

Набирая высоту, Котов и Масленников вели машины прощальными кругами над Северным полюсом. Да, страшновато выглядело сверху ледяное крошево, в котором мы прожили трое суток. Прильнув к окнам, люди смотрели вниз, туда, где над торосами вился по ветру флаг Отечества. Наше красное знамя на вершине земного шара!

Часа через полтора на ледяном поле дрейфующего лагеря у 87-й параллели мы, «полюсники», переходили из объятий в объятия. Друзья наперебой зазывали нас в гости, закармливали шоколадом, поили без усталости чаем, кофе, какао. И расспрашивали, спрашивали без конца.

Потом наступило новоселье и у нас, в собственных палатках, — их всё-таки не решились бросить на полюс. Правда, газовый баллон и плитка были теперь в одном комплекте, но что поделаешь — «в тесноте, да не в обиде».

Когда усталый, засыпающий Котов, забираясь в спальный мешок, наклонил голову, Масленников, толкнув меня, молча показал на него глазами. Широкая волнистая прядь над высоким лбом Ильи Спиридоновича серебрилась так же, как и виски. Теперь уже это был не иней — в палатке достаточно тепло...

...Пережитое на Северном полюсе шесть лет назад вспоминалось мне теперь последовательно, час за часом, во всех деталях, пока радист мыса Челюскин держал связь с ушедшими в воздух головными машинами отряда Героя Советского Союза И. С. Котова.

«Сели благополучно. Лыдина отличная» — такую радиограмму приняли на мысе Челюскин часов через шесть после вылета Котова и Москаленко к 85-му градусу северной широты.

До чего же обидно, что радист загружен оперативной перепиской, что нельзя в ответ поздравить Ильёй Спиридоновича. А поздравить, обнять от всей души очень хочется. И его — бывалого, испытанного нашего командира — и Виталия Масленникова, сидящего сейчас на льду где-то к северу от острова Врангеля, и Черевичного с Острекиным, снова летящих к полюсу.

Чудесный, богатый народ они, наши советские полярники! Большое это счастье быть спутником таких людей!

### *Быт на льду.*

Никогда прежде высокие широты не были так «густо заселены», как ныне, весной 1954 года.

Третью сутки живём мы с Котовым и Трёшниковым в палатке на льду за 86-й параллелью, близ границы Восточного и Западного полушарий. Километрах в шести-стах к юго-востоку от нас — дрейфующий лагерь, основанный Ильёй Спиридоновичем и ставший промежуточной базой для самолётов, летящих с Большой Земли. Строго на юг от нас, за тысячу с лишним километров — «новостройка» Евгения Ивановича Толстикова. Туда, на льдину, избранную для дрейфующей станции «Северный полюс-4», что ни день прибывают новые партии оборудования, снаряжения, припасов. Севернее нас, совсем рядышком с полюсом, обосновались Черевичный и Острекин. Там каждый день в разных направлениях совершаются воздушные прыжки по льдам, дрейфующим над подводным хребтом Ломоносова.

Привыкнув к быстроте воздушного передвижения над льдами, мы как-то перестали ощущать расстояния, и ровное заснеженное поле, на котором позавчера опустился самолёт Котова, воспринимается всеми нами, как обжитая, освоенная «территория».

Аэродромными флажками размечена взлётная полоса, выложено посадочное «Т», за каждым из торосов разбита палатка, рядом с её чёрным куполом — самолёт

с красными чехлами на крыльях. Стальная кабина его пуста, проморожена насквозь. Под капотами моторов, огороженными брезентовыми щитами, стоят подогревательные лампы. Словом, всё подготовлено к быстрому взлёту на случай внезапных трещин, на случай «полундры», от которой никогда нельзя быть застрахованным.

Это тем более необходимо, что погода заметно испортилась, а когда давление на барометре падает, всегда можно ждать сильных ветров и подвижек льда.

Только изредка пробьётся косою луч сквозь серые тяжёлые тучи, прсбьётся и тотчас исчезнет. Невидимое нами солнце стоит высоко — в этих краях давно уже наступил долгий полярный день. Но свет какой-то сумеречный, рассеянный. Торосы, чьи очертания столь рельефно выступают в ясную погоду, сейчас сливаются в белесоватую бесформенную массу. И когда, дежуря по лагерю, шагаешь взад-вперёд, не раз споткнёшься. Незаметные глазу неровности — надувы, заструги, ропаки — весьма чувствительны для ног.

Дежурные сменяются каждые три часа, но и за этот недолгий промежуток времени не раз заглянешь в палатку погреться чайком. Больно уж холодно, промозгло нынче снаружи.

В лагере нас девять человек, но в палатке отдыхают одновременно не более шести. Радист и два механика почти не покидают самолёт. Наш «снайпер эфира», кругленький смуглый весельчак Николай Алексеевич Богаткин, то переговаривается с другими отрядами экспедиции, то настраивается на вещательные станции, и в палатку сквозь плотняные стены врывается вдруг оглушительный грохот и стенания джаза, непонятная скороговорка на чужом языке. Тут, на рубеже полушарий, громко звучат станции Америки и Японии и с трудом пробиваются в сутолоке радиоволи родные голоса Камчатки, Хабаровска, Сибири.

Но всегда, входя в палатку, Богаткин значительно поднимает палец:

— Какие новости я выудил, братцы мои.

И тут же с комментариями излагает телеграммы из Женевы и Вьетнама, вести с посевной на целинных землях, отчёты о шахматных турнирах и первых футбольных матчах.

Перекусив, вздремнув полчаса, Богаткин исчезает вновь, и к нам доносится мерное стрекотание движка самолётной рации. Скоро к нему примешивается новый звук — начинают пыть подогревательные лампы. Это наши заботливые механики Валя и Володя, протянув гофрированные шланги под чехлы на крыльях, обогревают крылья горячим воздухом, не давая им леденеть.

— Толковые ребята, знают дело, — вполголоса произносит Котов, лёжа на спине с закрытыми глазами.

В его устах это наивысшая похвала Валентину Николаевичу Ананьеву и Владимиру Михайловичу Водопьянову — самым молодым членам экипажа. Они пришли в полярную авиацию в послевоенные годы, после армии, так же как и второй пилот Александр Николаевич Пименов и штурман Михаил Фролович Шерпаков. Ветеран Арктики Котов называет свой экипаж молодёжным. Подбирая людей в трудную экспедицию, он не случайно остановил свой выбор на Шерпакове, Пименове, Водопьянове.

Высунув из отверстия спального мешка только кончик носа, Илья Спиридонович кажется спящим. Но стоит дежурному заглянуть в палатку, и командир тотчас, не открывая глаз, спросит полушёпотом, чуть нараспев:

— Как там лёдок? В порядке?

Или:

— Медведя не видать?

Получив успокоительный ответ, Котов снова затихает.

Медведи могут к нам пожаловать запросто, и заряжённый карабин за плечами дежурного — предосторожность совсем не излишняя.

Рядом с дремлющим Котовым разметался в глубоком сне рослый Трёшников. Его большому, мускулисту телу, привычному к резким движениям, явно тесновато в спальном мешке.

Впервые за несколько последних дней командир отряда и начальник будущей дрейфующей станции могут выпастись влать. Очень уж утомительными были недавний полёт и последующая работа на льду.

Часами кружил наш самолёт над ледяной пустыней океана, часами не отрывался Трёшников от ветрового стекла, а Котов — от штурвала. С пристрастием знатоков высматривали они льдину, пригодную не только для высадки станции, но и для долгого годичного дрейфа научной станции.

Внизу, как назло, виднелись только молодые годовалые льдины. Котов и Трёшников искали устойчивую, надёжную многолетнюю льдину для будущей станции — большое паковое поле, утолщённое намерзаниями снизу, обточенное ветрами сверху, уже выдержавшее не одно сжатие, не один натиск соседнего льда. Ведь научная станция должна пройти в дрейфе всю Центральную часть Ледовитого океана.

Когда такой массив был, наконец, найден, мы опустились неподалёку от него.

Тут хватало работы и Котову, и Трёшникову, и всем нам — их спутникам. Не раз прошагали мы льдину из конца в конец, прежде чем разметить расположение временной базы. Потом собирали каркас палатки из выгнутых алюминиевых труб, и к холодному металлу то и дело пристывали наши одеревенелые намозоленные пальцы.

Натягивали на каркас, один за другим, три матерчатых шатра, винчивали в полотняную стену круглое окно из толстого стекла, в три ряда настилали пол: брезентом, прорезиненной тканью, оленьими шкурами. Подкатывали по снегу от самолёта тяжёлый газовый баллон, подключали резиновый шланг к лёгонкой газовой плитке. Из ближних сугробов накапывали снег, терпеливо растапливая его в вёдрах, кастрюлях, чайниках. Надо же когда-нибудь и умыться, и пообриться, и обед сварить.

Словом, ни одна хозяйка, въезжая в новую квартиру, не тратит столько сил и энергии. Нам явно не хватало двадцати четырёх часов суток, и время для сна приходилось «занимать» у следующего по календарю дня. Благо, солнце стоит высоко и хоть не греет, но светит со всей полуденной щедростью.

Зато, когда следующая за нашей машина опустилась на площадке, мы чувствовали себя именинниками и, забыв об усталости, снова подкапывали снег, строили из досок наклонный помост, выкатывали по нему бочки с бензином.

Таким же хлопотливым обещал быть и третий день в нашем лагере, но «не было бы счастья, да несчастье помогло» — внезапно испортилась погода. Можно, наконец, отлежаться в спальных мешках, встать насладиться скудным и потому особенно дорогим уютом и теплом тесной палатки.

Отдыхая, мы снова и снова поминаем добрым словом всех, кто позаботился о комфорте походного быта на льду.

— Молодчага всё-таки этот Шапошников, — говорил Трёшников, потягиваясь после сна, касаясь головой вентилятора в вершине полотняного купола, — отличное жильё смастерил.

— Да уж что говорить! Яранга удобная, — согласился Пименов. — Собрали мы её в два счёта, а если, неровен час, треснет под нами, тоже не беда: приподнимем палаточку и сразу, вместе с полом и стенами, на другое место перетащим. Для нашей подвижной жизни лучше и не придумаешь.

— Ну вы-то, авиаторы, бродяги известные, — засмеялся Трёшников, — а нас, зимовщиков, можно причислить теперь к оседлым океанским жителям.

И, весело глянув на Пименова, Алексей Фёдорович начал рассказывать, как трудится сейчас в Ленинграде неутомимый конструктор Главсевморпути Сергей Анатольевич Шапошников, по чьим чертежам строятся передвижные разборные домики для дрейфующих станций.

— Скоро повезёте вы их сюда. И тракторы повезёте. Домики на полозьях, тракторами их будут буксировать, в случае нужды через трещины перетащить недолго.

— Тракторам в торосах трудновато придётся, — покачал головой скептически настроенный штурман Шерпаков.

— Ну, тут уж Комаров себя покажет, — вступил в разговор молчаливый до той поры Котов. — Миша Комаров на тракторе в любых торосах дорогу пройдёт.

И все заулыбались, вспомнив Михаила Семёновича Комарова, в прошлом лётчика, механика-изобретателя, обязательного участника всех высокоширотных экспедиций. Это ему принадлежит конструкция портативных газовых плит, это он, зимую три года назад на дрейфующей станции «Северный полюс-2», уверенно водил там автомобиль-вездеход в полярную ночь.

И сейчас Алексей Фёдорович Трёшников ждёт Комарова себе в спутники на всё время дрейфа. Михаил Семёнович пока занят у наших «южных соседей» — на станции Толстикова.

Тракторами и разборными домиками не исчерпываются новшества в быту высокоширотной экспедиции. Обе научные станции будут обслуживаться в дрейфе также и вертолётами. Эти необычные для Арктики машины мы уже встречали по пути сюда, на Диксоне, куда они пришли «своим ходом», по воздуху.

Но теперь мы не без тревоги думаем о дальнейшей дороге вертолётов над льдами.

— Долетят, — уверенно говорит Котов, — в случае чего, если погода будет вроде сегодняшней, на льдинку сядут, переждут.

Точно в подтверждение слов командира, в палатку входит Богаткин с прозрачным шелестящим листком свежей радиогаммы.

— Прибывает нашего полку, Илья Спиридонович. Москаленко радирует, что вертолёт и «АН-2» опустились у него в промежуточном лагере.

— Добро, — кивает Котов, пробежав глазами текст, — значит скоро и к нам прилетят. Нам-то они уж больно необходимы.

Всем понятны последние слова командира. Грузы для станции Трёшникова будут возить с нашей временной площадки на место будущего лагеря Трёшникова лёгкий биплан «АН-2» и вертолёт.

Отдых по случаю плохой погоды затянулся ненадолго. К вечеру облака разошлись. ртуть в барометре поднялась, и ничто уже не задерживало в пути летящие к нам самолёты.

— Здорово, Володя! — весело пробасил Михаил Васильевич Водопьянов, выходя из флагманского самолёта экспедиции и обнимая сына, — ну, как вы тут хозяйничаете?

Оглядев чисто подметённую дорожку, ведущую к нашей палатке, Водопьянов-старший заметил одобрительно:

— Смотрите, пожалуйста, какой порядок навели.

Недаром аккуратист Володя, поднявшись раньше всех, возился с лопатами и веником, прибирая разбросанные по снегу консервные банки, окурки, обрывки бумаги. Чистота на льду должна быть такая же, как и в самолёте, как дома.

Окружив отца и сына, мы шутим насчёт славной арктической династии Водопьяновых, расспрашивая Михаила Васильевича про жизнь-бытьё наших «южных соседей».

— Строится Толстикова вовсю, к нему там с Чукотки прямо авиалиния открылась, — с видимым преувеличением рассказывает старейший полярный авиатор, — а было время, я до Чукотки из Москвы чуть не месяц летел.

Особенно радует нас одна из новостей, привезённых Михаилом Васильевичем. Вертолёт, предназначенный для станции Толстикова, отлично выдержал трудное испытание. Когда от Чукотского берега оторвало небольшую льдину и на ней унесло в море охотника-чукчу, на розыски отправили вертолёт. Пилот Мельников быстро обнаружил терпящего бедствие. Вертолёт повис над льдиной в воздухе, закорчевшему, мокрому с головы до ног чукче спустили трос. Обязавшийся им чукча был поднят в кабину.

— Вот она новая техника, куда уж теперь нам, старикам, — посмеиваясь, закончил свой рассказ Михаил Васильевич.

Энтузиаст Арктики, он не пропускает ни одной экспедиции в высокие широты. Правда, здоровье и годы уж не позволяют держать штурвал, но Водопьянов-старший полезен руководителям экспедиции и в роли консультанта. К его советам прислушиваются и начальник нашей экспедиции Василий Федотович Бурханов, и его заместитель Вячеслав Васильевич Фролов, и пилот флагманского корабля Илья Павлович Мазурук.

Обмен мнениями происходит и сейчас. После тщательного осмотра паковой льдины руководство экспедиции одобряет выбор, сделанный Трёшниковым и Котовым. Принято решение именно здесь организовать станцию «Северный полюс-3».

Путь флагмана лежит дальше, к полюсу, в лагерь Ивана Ивановича Черевичного. А у нас наступает «строительный сезон» — горячая пора создания дрейфующей научной станции.

Поначалу, правда, мы чувствуем себя не столь строителями, сколь грузчиками и разнорабочими.

Из закрытых дверей кабин непрерывным потоком идут ящики, мешки, тюки — знай подставляй спину. В частых авралах на выгрузке обязательно участвует и Трёшников и все его сотрудники, постепенно группами прибывающие в лагерь с Большой Зем.ли.

Впрочем, теперь это уже не походный лагерь, а настоящий посёлок.

Небольшую площадку, где на высокой мачте поднят государственный флаг СССР, окружают жилые палатки, такие же точно, как наша первая. Но внутри под чёрными куполами куда просторнее, чем было у нас в первые дни. Когда ложишься спать, уже не нужно расталкивать лежащих вповалку товарищей, завернувшихся в спальные мешки. В каждой палатке две койки-раскладушки, складной столик, стулья, шкафчики для книг, этажерки для приборов и стеклянной посуды учёных.

Оседлые жители океанского льда размещаются, так сказать, по производственным признакам. У океанографов, у метеорологов, магнитологов, у аэрологов «собственные квартиры», служащие одновременно и рабочими кабинетами. Лаборатории расположены отдельно.

За окраиной посёлка, ограждённой высокими стенками из снежных кирпичей, стоят чувствительные к металлу приборы для магнитных наблюдений. Неподальку — теодолиты, с помощью которых астроном-магнитолог Николай Евдокимович Попков определяет высоту солнца, и по этим данным вычисляет новые и новые координаты. Наше овальное поле крепкого многолетнего льда, точно островок, окружённое торосами и молодыми льдинами, дрейфует вместе с ними на северо-восток. Широта изменяется незначительно — на минуты и секунды, а долгота иной раз — на целый градус за сутки.

— Что поделаешь, — пожимает плечами Попков, — полюс к нам совсем близок, и меридианы торчат, словно телеграфные столбы на большой дороге.

Учёный так выразительно жестиккулирует при этом, что, слушая его, невольно представляешь зримыми, осязаемыми воображаемые линии долготы.

С какими только меридианами и параллелями не знаком Николай Евдокимович, где только не определял он координаты. Тысячи километров прошёл Попков на лодках по верховьям Лены, по стиснутой скалами Нижней Тунгуске, по штормовому разливу Енисея. Плавал он и на Балтике, на исследовательском судне Института земного магнетизма — специально построенной шхуне, в корпусе которой не было ни одного железного гвоздя. Попков не новичок и в Арктике. Дрейф на льдине для него — очередная научная работа.

Новые записи появляются каждый день и в журнале океанографических наблюдений. Океанографы Владимир Александрович Шамотьев и Георгий Андреевич Пономаренко ежедневно измеряют глубины. Они колеблются в считанных метрах, — неизменными остаются километры океанской воды под нами.

Гидрологическая палатка, пожалуй, самая интересная лаборатория научной станции. Стальная тренога лебёдки висится над вырубленным во льду круглым колодцем. Вровень с сероватыми мокрыми стенками — зелёная морская вода. На треноге укреплен барабан, густо обмотанный стальным тросом. Когда отпускают стопор, барабан начинает вращаться и лот на тросе со всплеском ныряет в воду. Чтобы поднять лот обратно, после того как он достигнет дна, включают мотор.

— Надёжный движок, сколько людской силы сберегает, — задумчиво произносит Трёшников, наблюдая, как на барабан уже более часа наматывается мокрый стальной трос.

Алексей Фёдорович вспоминает, как в одной из прошлых высокоширотных экспедиций мотор на лебёдке отказал и лот пришлось поднимать вручную:

— Нет на свете худшей каторги! Вот папанинцы-бедняги в своё время помучились. У них-то лебёдка была вообще без мотора.

Я представил себе мысленно возможный путь дрейфующей станции «Северный полюс-3». Она может проплыть со льдами над хребтом Ломоносова, выйти из восточ-

ной части Ледовитого океана в западную и там, возможно, сомкнуть свой маршрут с маршрутом первой советской дрейфующей станции И. Д. Папанина.

Алексей Фёдорович и его спутники должны по плану через каждые тридцать миль дрейфа проводить гидрологические станции, а также регулярно делать химический анализ воды, брать пробы грунта со дна океана. Для непрерывного наблюдения за течениями они располагают новейшими приборами, сконструированными сотрудниками Арктического института.

Весьма обширна и программа метеорологов и аэрологов. Актинометрист Анатолий Данилович Малков изучает солнечную радиацию в высоких широтах. Синоптик Георгий Иванович Матвейчук регистрирует влажность и температуру воздуха, силу направления ветра, словом, наблюдает за погодой. Аэрологи Василий Гаврилович Канаки, Платон Платонович Пославский и самый юный участник дрейфа двадцатитрёхлетний Игорь Цигильницкий исследуют различные слои атмосферы. Они уже начали регулярно запускать радиозонды — наполненные водородом серебристые шары, на которых укреплены метеоприборы и автоматические радиопередатчики.

Пожалуй, никогда прежде полярным пилотам не приходилось возить столь разнообразные грузы, столь часто опускаться на ледяных площадках в океане. Илья Спиридонович Котов, Пётр Павлович Москаленко, Фёдор Анисимович Шатров — постоянные гости дрейфующей станции. Мы привыкли просыпаться и засыпать под рёв моторов и всегда, глянув в окно палатки, сразу определяем по номеру на крыльях машины, кто же именно к нам прилетел.

Вместе с грузами лётчики привозят газеты и почту с Большой Земли, первые поздравления с новосельем от далёких сейчас родных и друзей.

Под грузовой склад дрейфующей станции отведена особая площадка, она выглядит сейчас примерно так же, как две-три недели назад выглядела бухта Диксона.

Врач дрейфующей станции Виталий Георгиевич Волович, почти свободный от своих прямых обязанностей за отсутствием больных, стал по совместительству товароведом и кладовщиком. Часто можно видеть, как, примостившись где-нибудь на ящиках, он озабоченно перелистывает накладные, шелестящие под ледяным ветром, и карандашом расписываясь в получении грузов, ворчит:

— Опять замёрзли чернила в авторучке.

Ассортимент грузов разнообразен: тут и консервы, и пищевые концентраты, и хрупкие научные приборы, на упаковке которых чёрной краской выведены предостерегающие надписи: «Внимание, стекло. Осторожно, не кантовать!» Тут и книги и музыкальные инструменты. Последние не залёживаются в ящиках. Владелец тонкого слуха и приятного голоса, Виталий Георгиевич быстро нашёл применение и аккордеону и баяну. Каждый вечер перед сном в палатке у весёлого доктора собираются друзья послушать песенки его собственного сочинения.

— Погодите ещё недельку, — многообещающе заявляет радист Константин Мигрофанович Курко, — вот привезут пианино, тогда наш Витя задаст концерт.

Для пианино нужно достойное помещение. Как ни уютна продолговатая полуторная палатка, в которой разместились камбуз и кают-компания, но всё-таки в ней тесновато от газовых плит, столов, самовара. И полярники возводят неподалёку снежные стены, перекрывают их брезентовой крышей. Отличный будет «Дворец культуры».

Пианино выдержало все превратности воздушного путешествия над льдами, но доставило немало хлопот при выгрузке. Ещё труднее было вытаскивать из тесных кабин громоздкие детали трактора и агрегатов электростанции. В разобранном виде эти сложные машины лежали тяжёлыми глыбами металла, и, чтобы передвинуть их хоть на полметра, мы не раз охрипшими голосами затягивали «Дубинушку».

Зато автомобиль-вездеход «ГАЗ-69» приятно поразил всех. Сверкающий свежей краской, с баками, залитыми горючим, он двигался из самолётной кабины по наклонным доскам, точно сходил с заводского конвейера. Уже на помосте Михаил Семёнович Комаров включил мотор и, мастерски съехав на лёд, дал на радостях пронзительный гудок.

Ещё большим ликованием встретили мы долгожданный вертолёт и его славный экипаж во главе с пилотом Алексеем Фёдоровичем Бабенко.



Поначалу, правда, вертолёт поражал своим необычным видом и поведением в воздухе. Оглушительно жужжа длинными и широкими лопастями, он словно не летел, а плыл. Вдруг остановился, повиснув в воздухе, над палатками, высматривая себе подходящее место для стоянки. Снова продолжил горизонтальный полёт и, наконец, снизившись строго отвесно, чуть приямл снег шинами колёс.

Конечно, вертолёт будет незаменим в быту полярников. За долгое время дрейфа не раз, возможно, треснет лёд, и посёлок научной станции понадобится перебазировать. В любом подобном аварийном случае вертолёт может тотчас подняться высь. В его вместительной кабине хватит места для всех сотрудников станции. Ну, а потом, высмотрев с высоты новую льдину, можно будет перевезти туда по частям всё оборудование.

— Богато живёте, друзья, — сказал прилетевший как-то к нам доктор географических наук Михаил Михайлович Сомов. Старожил высоких широт, руководитель дрейфующей станции «Северный полюс-2», он придиричивым, хозяйским глазом оглядел жильё, лаборатории и остался доволен.

— Хорошо устроились, как дома, — говорил Михаил Михайлович, пожимая руки Трёшникову и своим спутникам по былому дрейфу 1950—1951 годов Канаки, Комарову, Воловичу, Курко.

Из самолёта, с которым прилетел Сомов, мы выгружали стены разборных домов.

### *Интервью с академиком Щербаковым.*

— Ну, знаете, в такой обстановке мне ещё не приходилось давать интервью, — ответил с улыбкой академик Дмитрий Иванович Щербаков, когда к нему обратились журналисты высокоширотной экспедиции.

Разговор происходил неподалёку от Северного полюса, в дрейфующем лагере отряда Черевичного, и главной сенсацией для представителей прессы был уже самый факт появления в этих местах члена Президиума Академии наук СССР, академика-секретаря отделения геолого-географических наук.

Маситый учёный, убелённый сединами, но стройный и подвижной не по годам, ещё на Диксоне приятно поразил всех своей общительностью. Ничуть не жалуясь на утомление после двухдневного воздушного пути из Москвы, он живо реагировал на впечатления, связанные с первым посещением Арктики, и больше спрашивал, чем рассказывал сам.

Но вот Дмитрий Иванович завершил ещё один, уже более трудный отрезок пути. Флагманский самолёт, на котором он летел вместе с начальником экспедиции Бурхановым, пробивал облачность, леденел, мчался и над открытой водой и над вечными ледниками Земли Франца-Иосифа. Разумеется, теперь журналистам не терпелось узнать о самочувствии академика.

— Великолепное, — бодро отвечал Щербаков, — в кабине «ИЛа» не менее комфортно, чем в международном вагоне. С чего бы это мне чувствовать усталость? Я же не управлял аппаратом тяжелее воздуха. Вот Илье Павловичу действительно пришлось потрудиться.

И Дмитрий Иванович показал глазами на Мазурука, который, едва успев войти в палатку, сразу же задремал, сидя на свёрнутом спальном мешке.

Нам очень хотелось побеседовать с академиком о подводном хребте Ломоносова, узнать его мнение о научной ценности этого открытия. Но Дмитрий Иванович отвечал в прежнем шутовском тоне:

— Не будем спешить, я ведь новичок в Арктике. Моя область Памир и Тянь-Шань, но, думаю, вас сейчас не привлечёт лекция об этих краях.

Сверху донёсся нарастающий рёв мотора, и полотняные стенки палатки затряслись под внезапным ветром.

— Черевичный прилетел. Пойдёмте встретим, Дмитрий Иванович, — поднялся со своего места Бурханов.

Через несколько минут все мы гурьбой обступили выходящих из кабины Ивана Ивановича Черевичного и Михаила Емельяновича Острекана.

— Как прыглось? — с улыбкой спросил Бурханов. — Надоело, поди, по горам лазить, товарищи альпинисты.

— Нормально, Василий Федотович, — в тон ему отвечал Черевичный. — Горы, конечно, там внизу крутые, но ледок ничего, работать можно.

Иван Иванович показал рукой себе под ноги, будто и впрямь можно было рассмотреть подо льдом и колоссальной толщей океанских вод далёкое ложе океана, пересечённое хребтом Ломоносова. Разговор зашёл о глубине, только что измеренной спутниками Черевичного на западном склоне хребта, километрах в семидесяти отсюда. Снова сверху донёсся гул снижающегося самолёта.

— Сорокин с Гаккелем возвращаются, — поднял голову Черевичный, — они над вершиной садились. А скоро Перов с Фёдоровым и Гудковичем прилетят. Им на восточном склоне работать пришлось.

Глянув на Щербакова, Иван Иванович сказал:

— Выходит, что и по горам лазить на самолёте сподручнее, чем пешком ходить. И быстро, и ноги не устают.

— Нет, вам, я думаю, труднее, — отвечал Щербаков, вглядываясь в утомлённое лицо Черевичного... — Чудеса вы творите, Иван Иванович.

Когда все машины отряда, опустившись на льдине, одна за другой подрулили к своим стоянкам, в палатке Черевичного собрались пилоты и учёные, чтобы обсудить итоги последних воздушных прыжков и замеров глубин океана, чтобы уточнить простираание подводного хребта.

Начинаясь к северу от Новосибирских островов, хребет Ломоносова тянется в район полюса и дальше в сторону Гренландии и Земли Элсмира. Обнаружив резкое падение глубин, советские учёные ещё в 1948 году впервые нащупали его отроги. В последующие годы было установлено, что протяжённость хребта — около полутора тысяч километров. Но чтобы подводная гряда могла появиться на картах, нужны ещё некоторые дополнительные исследования.

Кропотлив и напряжён труд полярников в «прыгающем» отряде Черевичного. С ледяного поля близ полюса самолёты почти каждый день разлетаются в разные стороны строго по плану. В заранее намеченных пунктах, когда штурманы определяют координаты, пилоты сажают свои машины на безвестные льдины. И тотчас океанографы, сделав лунки, ставят свои лебёдки. Лоты и батометры уходят под воду. Магнитологи тем временем работают по своей программе. Когда серия гидрологических и магнитных наблюдений завершена, лебёдку и вариометры убирают в кабину, палатку свёртывают, и самолёт возвращается в дрейфующий лагерь отряда. Там люди отдыхают, машины заправляют горючим, и снова они разлетаются в разные стороны.

На полётных картах отряда Черевичного появилось за последний месяц множество точек, соединённых тонкими ломаными линиями. Ими отмечены маршруты воздушных прыжков. Бесконечные столбики цифр растут и растут в журналах учёных. Тут и глубины скорости, и направления подводных течений, и температуры воды.

Мне довелось участвовать в одном из прыжков над подводным хребтом вместе с экипажем лётчика Виктора Михайловича Перова. За двое суток, которые продолжался этот своеобразный рейс, океанограф Залман Маркович Гудкович и магнитолог Павел Кононович Сенько ни разу не сомкнули глаз.

Да, прав академик Дмитрий Иванович Щербаков: необычайно сложно и утомительно исследование подводного хребта. Редкой физической выносливостью и душевным самообладанием одарены люди, кочующие по воздуху над льдами.

Вновь побеседовать с академиком нам довелось лишь спустя несколько дней, когда работы экспедиции заканчивались и все три отряда постепенно стягивались из высоких широт к Большой Земле. Дмитрий Иванович успел за это время побывать на обеих дрейфующих станциях и остался очень доволен гостеприимством постоянных жителей высоких широт.

За окнами гостиницы Диксона высокие, в уровень второго этажа, сугробы стали поздраватыми, серыми. На развезенной дороге грузовики буксовали в липком снегу. С моря долетали порывы влажного весеннего ветра.

— Об одном я жалею,— сказал задумчиво Дмитрий Иванович,— что попал в Арктику не в молодости. При изучении геологии материков необычайно ценны и важны сведения, добытые поляриками со дна океана.

И, не меняя тона, так же неторопливо, вполголоса, академик Щербаков продолжал:

— Недаром говорят, что современная география ушла под воду. Это закономерно. Земная поверхность основательно изучена и описана, а в водах и на дне океанов и морей поистине неограниченный простор для всякого рода исследований, которые расширяют круг человеческих знаний. Известно, что океаны и моря занимают большую часть поверхности нашей планеты. Добавлю, что площадь Северного Ледовитого океана (13 миллионов квадратных километров) превышает половину всей гигантской территории нашей Родины.

С этих позиций и надо оценивать научное значение высокоширотной экспедиции 1954 года. На огромном пространстве произведён как бы вертикальный разрез верхней оболочки Земли. Океанское ложе, водная среда, ледовый покров полярных морей и атмосфера над ними исследовались во взаимосвязи одновременно во множестве пунктов. Нужно ли говорить, что такой размах научных работ возможен только в нашем социалистическом государстве!

Отдельно скажу о хребте Ломоносова. Это, безусловно, одно из самых крупных географических открытий последнего времени. Ведь с конца прошлого века господствовало представление о том, что Северный Ледовитый океан — глубокая впадина, разъединяющая Евразийский и Американский континенты, что, подобно Тихому океану, он является древнейшим геологическим образованием и что геологические структуры материков нарушены этой впадиной.

Оказывается, дело обстоит иначе: в этой части нашей планеты происходили более поздние тектонические процессы. Вероятно, что именно в результате вертикальных движений глыб бывшей на этом месте суши образовалась подводная горная цепь, связывающая Новосибирские острова с Гренландией, и глубокие впадины. Это даёт право пересмотреть геологическую связь горных структур Северной Азии и Северной Америки, предположить известную повторяемость структурных линий и отложений горных пород на обоих материках.

В прошлом на тех местах, где сейчас распространяются воды Северного Ледовитого океана и северной части Атлантического океана, существовали большие площади суши. Гренландия, Северная Америка и Азия соединялись через Арктическую область, образуя один огромный материк.

Из этого следует, что Северный Ледовитый океан должен рассматриваться с геологической точки зрения не как океан, а как Средиземное море. Его глубины представляют собой опустившиеся части единого большого континента, затопленные морской водой. Хребет Ломоносова делит океан на два, в значительной мере самостоятельных бассейна — западный и восточный.

Есть также некоторое сходство и с геологическим строением нашего тихоокеанского побережья, где вдоль горных хребтов Камчатки и Курильской гряды по дну океана тянется глубокая впадина, являющаяся как бы швом между двумя глыбами. Вдоль этой впадины в Тихом океане располагаются эпицентры землетрясений.

Обширная исследовательская работа предстоит всем нашим геофизикам.

Заканчивая беседу, Дмитрий Иванович повысил голос и произнёс с нотками скрытого волнения:

— Велико счастье научного открытия! И особенно радостно сознавать, что наши открытия принадлежат не отдельным лицам, а рождаются творческим трудом коллектива.



---

---

# ДНЕВНИК ИСКУССТВ

ГАЛИНА УЛАНОВА

★

## ПАРИЖ — БЕРЛИН

**М**ы ехали в Париж с открытым сердцем. Только что закончившиеся в Москве и Ленинграде гастроли «Комеди Франсез», восхитившей нас мастерством, грацией и юмором, яркой театральностью, лишённой кричащих красок и экспрессией, избавленной от излишних движений, — возбудили повышенный интерес к культуре Франции, к её народу и искусству. Мы ехали в Париж с открытым сердцем, не сомневаясь, что на исконно русское радушие, встретившее у нас французских артистов, нам ответит прославленная галантность Франции. Мы были уверены, что гастроли советского балета послужат укреплению дружбы и взаимопонимания наших народов.

Не знаю, быть может, как балерина, я склонна преувеличивать значение своего искусства, но, право, мне кажется, что русский балет мог без слов поведать народу другого языка и другого мировоззрения о главном: о поэзии и правде, о стремлении к свету и справедливости, о вере в человека, об идеях, воодушевляющих советских людей не только в сфере художественной, но и во всех областях жизни. И я не могла сомневаться в том, что эти идеи найдут отклик во Франции. ибо всё, что я знала до сих пор о её людях, можно было выразить короткой формулой Руссо: «...французы... — мягкий, вежливый, великодушный народ, славящийся своей любовью к благоприличию и деликатностью...»

Сознательно забегая вперёд, я должна сказать, что запрещение гастролей советского балета во Франции ни на йоту не поколебало моей уверенности в наличии этих свойств у французов, и я бы не хотела и не могла повторить вслед за автором «Исповеди» окончание его характеристики: «Можно было подумать, что... этот народ вдруг позабыл все свои отличительные качества...»

Напротив: чем невежливее, неделикатнее и, да простится мне, актрисе, глупее вело себя тогдашнее французское правительство и его глава г-сподин Ланбель, тем горячее, сердечнее и во всё более широком масштабе проявлял свои симпатии к советским артистам и, что ещё важнее, к нашей Родине замечательный французский народ. И это нам давало то истинное и высокое удовлетворение, которое мы должны были испытать от сознания хорошо исполненной миссии дружбы, с которой мы прибыли во Францию.

Мы оказались в Париже довольно поздно, но едва приземлился наш многоместный самолёт, как большая толпа устремилась нам навстречу. Всегда и повсюду советских людей встречают цветами, словами любви и приветия, изъявлением дружбы и признания, и казалось бы, что к этому давно могли привыкнуть наши артисты, которые хорошо знают, что в любой стране ознакомление с советским искусством превращается в его триумф. Однако каждый раз такие встречи по-новому волнуют и по-другому радуют. Ведь дело же не в привычке «пожинать лавры». Дело в сознании огромной ответственности перед пославшим тебя народом, искусство которого ты должен представлять на чужой земле и представлять так, чтобы всем стали ясны животворные истоки этого искусства, доброжелательность и душевная широта народа, породившего его. И не лавры нас интересовали, а возможность рассказать нашими выступлениями о русском балете, его принципах и осесвополагающих идеях.

Поэтому, когда на аэродроме мы слышали речи директора «Гранд-опера», представителей общества «Франция — СССР», артистов парижских театров, они не могли нас не взволновать: нас ждали с нетерпением, нас приветствовали как представителей могучего и миролюбивого Советского Союза, на гастроли советских артистов возлагали огромные надежды. Прибавьте в этому, что ещё в Москве мы знали, как велика тяга на наши концерты, как люди ночами стоят в очереди к театральным кассам, как из-за океана, из Италии, Англии, Голландии и других стран поступают заявки на билеты, и вы поймёте, что наше волнение и радость были как нельзя более объяснимы.

Если рассказать о первых впечатлениях от Парижа в двух словах, то словами этими будут: свет и движение. Или так: движение света. За окнами автомобиля пронеслись машины с яркими фарами; синие, жёлтые, красные, лиловые и зелёные огни реклам бежали, прыгали и вертелись в чёрном небе, где же осталось места для настоящих звёзд и вечерних зарниц, воспетых Ронсаром, Бодлером и Валери...

В старомодной и уютной гостинице «Коммодор» мне отвели две прелестные комнаты, похожие на бонбоньерку из розового стёганого атласа, украшенные белой мебелью. И хотя мои склонности весьма отличны от такого мягкого, игрушечного комфорта, здесь очень приятно: по утрам из окна я любовалась лёгкой, высоко вознесённой и потому словно парящей в синеве, словно из света и воздуха рождённой церковью Сакракёр. Казалось, что рядом со мной, как по волшебству, оживают, дышат, смеются, страдают, надеются и разочаровываются герои Золя, Флобера, Мопассана и Бальзака. О Бальзаке я вспомнила ещё раз, когда мы поехали осматривать «Гранд-опера», где нам предстояло выступить.

Здесь уместно напомнить, что балет Асафьева «Утраченные иллюзии» переносил место действия, точнее — место работы Корали из бульварного театрального «Драматическая панорама» и «Жимназа» в «Гранд-опера», так как, по либретто, моя бальзаковская героиня была танцовщицей.

Итак, только ещё подхожу к Парижской Большой опере, только ещё увидев стройную колоннаду её фасада, скульптуры, украшающие вход, и барельефы композиторов на фронтоне, я уже представила себе, как здесь бывал Люсьен де Рюампре — сначала полный мечтаний, молодой и прекрасный баловень судьбы, а потом — поникший, сломанный жизнью человек, жертва утраченных иллюзий.

Мы вошли внутрь. Вот они, эти золочёные колонны репетиционного зала, огромное зеркало, изумительная живопись медальонов с портретами великих балерин: Марины Гальони, Фанини Эльслер, Карлотты Гризи... Но, боже мой, как всё это запущено и неряшливо! Какая неудобная сцена и как тесны артистические уборные! Сколько везде пыли и грязи! Неужто никому не дорого это дивное помещение, где благоговение должно охватить всякого, кто войдёт сюда, помня о священных тенях, незримо присутствующих в своём родном театре?

Мы начали репетировать в том самом зале, где некогда, может быть, занимались все лучшие балерины и танцовщики мира — от Вестриса и Аллар до Павловой, Карсавиной и Мордкина во время их наездов из России во Францию.

Наши ежедневные занятия шли полным ходом. Уже газеты поместили статьи, информации, фотографии, посвящённые предстоящим гастролям русского балета; уже «Пари-пресс—Энгрансжан» дала целую страницу к началу наших спектаклей и подписчики могли увидеть в своей газете снимки монтажных репетиций — последнего подготовительного этапа к первой программе; уже мы успели сдружиться с рабочими сцены, артистами превосходного оркестра — со всеми теми, кто с такой сердечностью и деликатностью стремился сделать всё от них зависящее, чтобы мы чувствовали себя в хорошем рабочем тоне, чтобы мы могли узнать французов с их наилучшей стороны. Одним словом, приближалось восьмое мая — день первого концерта.

Но тут случилось нечто, казалось бы, столь далёкое от балета, что никак не должно было повлиять на нормальное начало гастролей и, однако, повлиявшее на них так, что мы не танцевали вовсе.

Вьетнамская Народная армия заняла крепость Дьен-Бьен-Фу. Советский народ, а значит, и его артисты никогда не скрывали своих симпатий к борющемуся за свою независимость народу Вьетнама. На протяжении долгих месяцев следили мы по газе-

там и географическим картам за борьбой далёкого и милого нам своим мужеством и стойкостью народа. Мы знали, что народные массы Франции возмущены «грязной всьной», развязанной военщиной в угоду американским дельцам, переливающим кровь французских и вьетнамских юношей в золото своих сейфов. И всё-таки, когда нам сказали, что наши концерты откладываются на два дня по случаю национального траура в связи с поражением французов у Дьен-Бьен-Фу, мы приняли это сообщение с уважением и сочувствием к горю тех, кто потерял своих близких в этих бесславных, никому не нужных боях. Русские слишком хорошо знают, что такое война и приносит её горе!

Однако в первый же вечер «общегосударственного французского траура» мы были несколько озадачены тем, что в трауре оказались лишь «Гранд-опера» и «Комеди Франсез». Вокруг всё плясало. Все кабаки, все бесчисленные варьете, мюзик-холлы, увеселительные клубы Парижа работали «на полную мощность», и жители столицы могли созерцать полу- и вовсе голых див «Фолл-Бержер» или, выбрав себе более пристойное развлечение, направиться в офицерский клуб на бал. Право, это был какой-то странный, непонятный нам траур.

Впрочем, в чужой монастырь со своим уставом не ходят: мы терпеливо ждали десятого мая. Но и в этот день нам сообщили, что намеченный на сегодня концерт не состоится. И на этот раз извечное русское прямодушье помешало предположить, что нам уготован какой-то подвох. В неожиданно освободившееся время мы решили осмотреть Париж.

Здесь нас ждало столько радости, что, если бы и закралось к нам в душу какое-нибудь подозрение, наши светлые впечатления от встреч с французами, от знакомства с их открытым, непринуждённым характером, от созерцания творений французского гения в музеях и парках вытеснили бы любые мрачные мысли.

Мы любовались бесконечной, просторной перспективой арок Елисейских полей, кушами Булонского леса, фонтанами, зелёными далями, лугами и удивительно красиво подобранными сочетаниями деревьев, кустов и цветов парка Версаля; торжественно и молчаливо прошли мы возле могилы неизвестного солдата с негасимым огнём на ней; с интересом смотрели, как вечером по площади Конкорд среди массы огней переливается широкий, как море, поток автомобилей, не соблюдающих никаких правил уличного движения. Если на это движение посмотреть сверху, то покажется, что можно прыгнуть на крыши всех этих красивых машин и идти по ним, как по паркету.

По пологим уступам улиц старого Парижа мы, как по лестнице, поднялись на холмы Монматра, откуда город кажется выстроенным в лагуне и его огни похожи на звёзды, искрящиеся на дне глубокого, чёрного, вечно движущегося океана.

Монмартр хранит все «преданья старины» столицы Франции. Здесь улочки так узки, что две машины на них не разъедутся. Здесь электрические лампы имеют форму керосиновых и газовых светильников, фонари — в чеканной оправе, словно сделанной средневековыми мастерами; дома, двери, кольца у калиток, резные флюгеры и гребни высоких крыш — всё полно неизъяснимой прелести свято оберегаемого далёкого прошлого. И в этой романтической обстановке нарочитой архаики особенно приятно слышать смех молодёжи, собравшейся в дешёвом открытом бистро отпраздновать окончание учебного года, видеть живой блеск внимательных, умных и весёлых глаз красивых девушек, чувствовать себя частичкой этой пёстрой, непринуждённой, элегантной толпы, где никто ни на кого не обращает внимания и потому все так свободно себя чувствуют. Вы можете увидеть здесь пылких влюблённых, целующихся прямо на улице, и вас это скорее умилит, чем шокирует. Вы залюбуетесь художником который быстро и легко рисует свои маленькие изящные картинки и тут же их продаёт. Вы порадуетесь за глубокого старика, который, как к огоньку, придёт погреться возле мелодости, шума, оживления и совершенно особенной красоты Монматра, которому отроду чуть ли не две тысячи лет.

Луи Арагон и Эльза Триоле доставили мне немалое удовольствие, показав ещё одно весьма демократическое место Парижа — его главный рынок. Конечно, здесь снова возникли литературные ассоциации: передо мной было «чрево Парижа», описанное беспощадным пером великого Золя, рынок, куда из всех пригородов стекается

огромное количество еды всякого рода, на всякий вкус и на любую цену. Горы мясных туш, груды изумрудной, ещё влажной зелени, живой ворох морской и речной рыбы — всё это располагается в течение ночи в строгом порядке по бесконечным столам и прилавкам. Целые улицы магазинов, киосков, столиков, настилов, рассыпей цветов, где мои спутники купили и поднесли мне на память о нашей прогулке мои любимые цветы — огромные ароматные гвоздики...

Но и здесь, как и повсюду, как всегда в жизни, главное — это люди. Трудовой люд с большими, загрубевшими в тяжёлой работе руками; дородные торговки живностью; крестьяне близлежащих ферм и деревень; перекупщики и спекулянты всякого рода; цветочницы; шофёры; фургошники; продавцы фруктов; шарманчики; какде-то широкоплечные молодые люди, с безразличным видом прогуливающиеся в этой толчее...

Пёстрая, шумливая, весёлая и по-своему (конечно, совсем не как на Монмартре или в центре, у «Мулен руж») красивая толпа, привлекательная своей непосредственностью, взрывами хохота, лёгкостью движений. Изрядно проголодавшись, мы зашли в таверну. Она полна народу, будто на улице светлый день и приближается час обеда. Где-то истошно кричат, где-то играет шарманка, гремит радио, шёлкают кости на столе перед азартными игроками. Кто-то целуется; кто-то громко говорит о дороговизне, о пагубном влиянии Америки, о глупости и безволии правительства; кто-то с увлечением поглощает горячий суп из мяса, хлеба, овощей, острых приправ и сыра.

Нам подали вкусно заваренный чёрный кофе, кровавый бифштекс из только что привезённого мяса — и мы с удовольствием не то поужинали, не то позавтракали.

Вечер наступившего дня был у нас свободен, и мы решили посвятить его французскому театру. Проспект «47 спектаклей Парижа» являл собой поистине поучительную картину, и если бы я была театроведом, то смогла бы, наверно, лишь на основе этого жёлтого листка сделать весьма обоснованные и далеко идущие выводы о состоянии зрелищ столицы современной Франции. Но я просто актриса и потому перечислю только немногие, запомнившиеся мне весьма характерные названия.

Десять комедий, четыре оперетты, бесчисленные ревью, обзоры, кабаре звали к смеху, веселью, развлечению «без конца и границ». Пьеса, шедшая в «Аполло», называлась «Мой муж и ты»; в театре «Амбассадер» — «Муж, жена и смерть»; в театре «У трёх дураков» — «Пойдите снова оденьтесь»; в «Помидоре» — «Сексуальный комферт»; в «Жимназе» — «Порка»; в «Новинках» — «Когда появляется ребёнок...»

Но не довольно ли перечислений? И как тут было не вспомнить «Письма о французской сцене» Гейне! «...Нравственные или, скорее, безнравственные отношения между мужчиной и женщиной здесь во Франции служат удобрением, которое придаёт такое драгоценное плодородие почве комедии. Брак, или точнее, прелюбодеяние представляет центр всех тех комических ракет, которые с таким блеском взвиваются в высоту, но оставляют после себя меланхолические потёмки и, пожалуй, даже гадкий запах...»

Театры «Казино де Пари», «Ку-ку», «Два осла», «Рыжая луна» и так далее до бесконечности предлагали «громовое ревью», ревью просто, песенки гитан, парады полуодетых, полу- или совсем раздетых женщин... Мы были несколько растеряны и обескуражены. Да не заподозрят меня в излишнем пуританизме или в том, что французы называют одним коротким и точным словом «прюд». Я совсем не «прюд», не «чистюля». Я очень люблю шутку, включая и лёгкую, я не раз восхищалась умением парижан сказать любую фривольность с тонким остроумием, безобидной насмешливостью и изяществом, свойственным лишь французам. Но есть, должно быть, какое-то чувство меры, особенно когда дело касается общественного явления — искусства.

Да, мы привыкли относиться к нему с присущей русским душевной чистотой и чувством глубокой ответственности, продиктованным пониманием значения искусства, в частности театра, для формирования сознания, устремлений, порывов человека. Я не вижу никакого «прюд» в требовании, обращённом к театру, к балету, развивать в человеке его самые благородные, а не низменные инстинкты. Я — за свободу искусства и вкуса и знаю на примере моей Родины, как прекрасны могут быть плоды подлинной свободы и подлинного художественного вкуса, ставшего достоянием масс. Пусть будет много театров — хороших и разных, очень хороших и очень разных — от театра высокой трагедии до театра буфф и миниатюр, но не искусственно сформированный,

нарочито облегчённый и оглулённый репертуар, обеспечивающий бездумье, пошлость, «приземлённость» человеческой мысли. Репертуар парижских театров показался нам неуважительным по отношению к разуму, достоинству и даже чувству юмора здорового человека. Среди 47 спектаклей только один — театр Сарры Бернар — ставил в те вечера серьёзную вещь, То был «Кин» Дюма, заново инсценированный Жаном-Полем Сартром.

Так в Париже мы не могли остановиться ни на одном французском театре. Тогда мы направились в театр «Этуаль» смотреть бразильский балет.

Труппа «Бразилиана» создана пять лет назад энтузиастами народных танцев и песен Бразилии. Главный балетмейстер Жильберто Бреа, композитор и дирижёр Хозе Пратес, художник Д. Нери и весь небольшой коллектив положили немало труда, чтобы сохранить в своих представлениях характер и аромат народной непосредственности. Они начали репетировать в какой-то книжной лавке Рио-де-Жанейро, из милости предоставленной им владельцем, а теперь их уже знают во всей Южной Америке и Европе как исполнителей совершенно своеобразных песен и танцев.

К сожалению, исполнение «Бразилианы» не лишено примеси эротики и модернизма, народные мелодии порой слишком уж явно «джазируются», но многое по-настоящему трогает и пленяет свежестью, искренней увлечённостью и завершённой — верными признаками артистического творчества.

Нельсон Феррац — замечательный исполнитель народных песен. Его выступление в «Карнавале Рио-де-Жанейро» так заразительно весело, что оно запоминается надолго. В центре этой хореографической картинке — танец «Фрево». Это слово происходит от глагола «кипеть», а танец и впрямь передаёт кипение крови его персонажей: их лёгкие, очень быстрые па исполняются на крошечном пространстве. Нельсон Феррац поёт и песню о тяжкой и горькой доле негра — «Бесплодная земля», — в которой говорится: «...когда он пришёл в эту страну, он был молод и радостен. Теперь он истощён и разбит бесплодным трудом». Так в пёструю, весёлую ткань спектакля вплетаются нити народной скорби и жалобы на несправедливости жизни.

Открывается программа «Бразилианы» увертюрой «Пой, Бразилия!» (музыка Альсира Пиреса), следом за которой следует танцевально-обрядовая сценка «Кандомбле»: дух богов, вызванный ритмом барабанов и священными песнопениями, нисходит в верующих; впадая в экстаз, они перестают быть самими собой и превращаются в богов — молнии, чумы, бури и т. д. Жильберто Бреа, который поставил все эти пляски на основе подлинных, очень сложных движений головы, рук и бёдер, исполняет бога молнии: он импозантен в своём алом одеянии и пластичен предельно.

Очень интересны «Бразильские ритмы», в которые входит танец «Хоро», песни Нельсона Ферраца и выступление барабанщиков Мате, Бастоса и Роберто. Первый из них недаром назван в программе виртуозом на барабане: совершенство ритма создаёт иллюзию мелодии, и всё это делается с такой лёгкостью, так подвижны его пальцы и кисти рук, что это не может не обратить на себя внимания.

Хореографические картинки «Как рождается самба», «На одной кофейной плантации», «Праздник в деревне» очень различны по содержанию, но объединены одним стилем исполнения, экспрессией, темпераментом.

Мне остаётся упомянуть ещё древний бразильский танец «Лунду», исполняемый Оливией Марино и Жильберто Бреа, несколько северобразильских народных песен под общим названием «Я продам мою барку», которые поёт Нельсон Феррац, и «Похороны царя племени Наго» — инсценировку негритянской легенды о том, как царь племени Наго предпочёл смерть рабству: на палубе корабля, увозившего его племя от родного берега в страну белых рабовладельцев, он убил себя, и его народ с плачем и стонами погрузил тело своего вождя в свободные волны вечно свободного моря.

Я не искала символов в этом не столь уж значительном представлении. Но сюжет-легенды, музыка Хеккеля Тавареса, хореография Марилы Гремо и Жильберто Бреа, исполнение Нельсона Ферраца и хора не могли не навести на размышления об участи современных рабов... Вряд ли исполнители ставили перед собой цели возбуждения каких бы то ни было ассоциаций. Но коль скоро их искусство дало пищу для размышлений — значит оно уже хорошо.



Если я упомяну ещё о посещении Лувра и музея новой французской живописи, то на этом можно будет закончить рассказ о моих зрительных впечатлениях. Музеи нам показывал главный художник Большого театра Вадим Фёдорович Рындин, не раз здесь бывавший, и потому он сразу вёл нас к самым значительным произведениям, пропущенная немалое число посредственных полотен и статуй. Это помогло нам в короткое время насладиться тёплым, золотистым колоритом Тициана, сочностью и радостью жизни картин голландцев, торжественной монументальностью исторической живописи, утончённым реализмом итальянского Возрождения. Мы видели крылатую Победу — Нику Самофракийскую, которая устремлена вперёд и высь так, как если бы её влекла за собой сила, которая может всё — даже оживить камень. Нас покорила изысканная правда Ренуара, пламень красок и огромная внутренняя страсть картин Гогэна, предпочитавшего дикарей Ноа-Ноа на Таити мещанскому лощёному самодовольству французских буржуа.

Право, можно было подумать, что этому гению приходилось общаться лишь с господами ланьелями, — так безудержно он презирал французоз. А между тем даже мы, русские, могли убедиться, что Ланьель и французы — понятия, далеко не адекватные.

Когда господин Ланьель, бывший в мае 1954 года премьер-министром Франции, запретил гастроли советских артистов и при этом счёл возможным никак сие не объяснить, то тут сказалась ограниченная самонадеянность французского буржуа, утратившего к тому же свою самостоятельность. Смехотворный «довод» о том, что французское правительство не может поручиться за безопасность советских артистов, коль скоро те будут выступать в Париже, никого не мог обмануть. Сейчас я расскажу всё, как было, и пусть читатель сам судит, могло ли что-либо угрожать нам, окружённым заботой, сочувствием, вниманием и любовью сотен и тысяч французоз.

В два часа того дня, когда первое выступление советского балета было наконец объявлено, нам сообщили, что гастроли вновь откладываются и на этот раз «на неопределённый срок». Сначала мы не поверили, восприняв это как неумный розыгрыш, — настолько далеки мы были от мысли, что в этом дружелюбном окружении и при всеобщей расположенности к нашему искусству могла возникнуть такая нелепая идея.

И всё-таки она возникла. Правда, не в той атмосфере благожелательности, которая нас окружала на каждом шагу, а где-то за пределами доброй воли и такта, на который, казалось бы, мы могли рассчитывать. Напрасно рассчитывали, подумали мы в тот миг, когда убедились в срыве наших гастролей.

Мы постарались отнестись к этому философски и вполне спокойно, сразу же поняв непричастность французоз к этой бестактной выходке правительства Ланьеля. Если оно хотело таким путём отыграться за поражение у Дьен-Бьен-Фу, излив своё раздражение на воздушные пачки и розовые пуачты советских балерин, то, ей-богу, вряд ли это был достойный и действенный способ восстановления «чести нации». Если оно надеялось переключить возмущение французоз против «грязной войны» на возмущение русским балетом, то это ему явно не удалось. Запрещение гастролей было обнародовано, но игра премьеры — проиграна.

Господин Ланьель сыграл свою роль прескверно, и над его словами — «правительство очень сожалеет о запрещении гастролей русского балета» — потешался весь Париж: значит, не правительство сделало невозможным наши выступления? Так кто же? Может быть, парижане, которые встречали нас цветами, добрыми и сердечными словами, стремлением во всём помочь? Может быть, зрители, которые простаивали ночи напролёт у касс за билетами на русский балет и, приехав в театр, оказались перед запёртой дверью?

Как? Что? Почему? Никто ничего не знал. Владельцы билетов устремились к кассам за деньгами — кассы были закрыты. Люди пытались добиться каких бы то ни было объяснений — им отказывались их давать. Безмолвные полицейские патрули, очевидно «на всякий случай», появились под перистилем Оперы, ибо недовольство росло, а жители столицы выражают его довольно шумно.

Тогда парижане пошли к гостинице, где жили советские артисты. Там их тоже встретила полицейская цепь. Толпа стояла сначала сдержанная и терпеливая, но встревоженная незнанием того, что произошло с нами. Когда люди поняли, что мы живы

и здоровы, они начали прорываться сквозь полицейский заслон, чтобы подойти поближе к нашим окнам и балконам или даже постараться пройти внутрь гостиницы. Мы видели улицу, запруженную людьми, слышали их возмущённые крики, а когда самые решительные стали подниматься к нам, давать нам цветы, взволнованно объяснять, что в происшедшем не виноваты французы, а повинны те, кто предаёт их и в более серьёзных делах, — вот тогда мы утратили своё спокойствие, так растрогала нас эта всеобщая любовь, преданность и участие.

Не проходило дня без новых и новых подтверждений приязни к нам парижан. В «Коммодор» шли делегации рабочих, интеллигенции, учащихся, членов общества «Франция—СССР». Мы не спрашивали у приходивших ни об их профессии, ни об убеждениях. О принадлежности к тому или иному слою общества говорил костюм, об убеждениях свидетельствовали искренние, темпераментные, чисто французские высказывания в адрес правительства Ланьеля и в адрес советских артистов и их Отчизны. Надо ли говорить, что по этим двум адресам произносились диаметрально противоположные слова: в первом случае — весьма нелестные, во втором — полные уважения.

Все дни от запрещения гастролей и до нашего отъезда «Гранд-опера» не работала. Мрачное, неосвещённое здание чернело среди огней вечернего Парижа, и меж тёмными колоннами белел квадрат объявления об отмене спектаклей советского балета.

А мы продолжали получать письма, простенькие и трогательные подарки от неавестных почитателей. Нам приносили цветы — пышные и нарядные букеты, маленькие бутоньерки, благоухающие веточки... Мне поднесли отлично изданную книгу — перевод статьи «Школа балерины». Особенно приятно было то, что в книге помещено множество фотографий всех моих товарищей по московскому и ленинградскому балету в разных спектаклях и ролях. На путеводителе по Версалю господин Е. Рабейра, показывавший нам этот великолепный дворец и парк, созданные Ленотром и Франсином, написал: «Мы бесконечно жалеем, что у нас было слишком мало времени для того, чтобы показать нашу страну нашим очень дорогим друзьям — представителям советского танца...»

Наконец наступил день отъезда.

Наши машины подошли не к главному, а к боковому подъезду аэровокзала, и на взлётную площадку нас провели через никому неведомые ангары прямо к самолёту. Однако ещё по дороге мы успели заметить, что возле аэродрома дежурит немало полицейских машин, а по прилегающим улицам и дорогам идёт много народа. Но Париж — город с преувеличенным количеством полицейских и город весьма оживлённого уличного движения. Так что всё это могло и не иметь к нам никакого отношения...

Оказалось, однако, что отношение было самым прямым.

Над стартовой площадкой парижского аэродрома идёт как бы второй этаж, род высокой террасы, где мы увидели огромное скопление людей, оцепленных полицейскими. Люди прорывались к нам, вниз. Их не пускали. Чем ближе был миг подъёма нашего самолёта, тем бурнее волновалось людское море. Повидимому, чёрные машины стояли и здесь «на всякий случай». Парижане, приехавшие проводить своих русских друзей и грубо лишённые этой возможности, начали громко выражать своё возмущение и негодование. На передних напирали те, кто был сзади, так как каждому хотелось увидеть русских, помахать им на прощание рукой, улыбнуться, попытаться крикнуть приветственное слово. Но полицейские были неумолимы, и недовольство собравшихся всё росло.

Тогда, повидимому, для того, чтобы предотвратить возможные эксцессы импульсивных парижан, полицейским был дан приказ: пропустить к нам только тех, кто пришёл поднести цветы. И знаете, что сделали тогда счастливые обладатели букетов? Они начали делить их на части, чтобы поменьше было обиженных, чтобы побольше народу имело возможность попрощаться с нами. Их пропустили. Но тогда те, кому цветов всё-таки не хватило, — матери с детьми на руках, студенты, артисты — заявили, что и им надо поднести нам на память свои подарки, которые они не обязаны показывать полицейским, и стали напирать на цепь. Многим удалось прорваться, и мы оказались в таком плотном кольце такого огромного количества друзей, что сердце учащённо забилося и слёзы выступили на глазах. Вот с такими людьми было действительно

жаль расставаться, и мы впервые за все эти дни почувствовали огорчение оттого, что не сумели одарить французов нашим искусством.

— О, это не французы сделали так, что вы уезжаете, поверьте! — сказала дрожащим голосом белокурая девушка.

— Мы ещё увидим вас, вы приедете в страну французов, мы в этом не сомневаемся! — воскликнул высокий человек без шляпы.

— Вы будете танцевать!

— Привет Москве!

— Да здравствуют советские люди!

— Дружба!

— Французы с вами!

...Я бессильна перечислить даже малую часть возгласов, добрых напутствий, пожеланий, просьб не отождествлять французов с Ланьедем. Да разве могли мы это сделать? Мы, которые видели столько добра в каждом взгляде, чувствовали столько тепла в каждом рукопожатии?!

С этим ощущением теплоты и сердечности французов мы и оторвались от земли Франции.

Самолёт взял курс на Берлин.

В Берлине нас встретили с распростёртыми объятиями, и на аэродроме кто-то, смеясь, сказал: «Вот уж, действительно, не было бы счастья, так несчастье помогло...»

Все понимали, разумеется, что никакого несчастья с нами в Париже не произошло. Но то, что приезд советского балета немцы восприняли, как подарок судьбы, — это было несомненно. Мы могли в этом убедиться с первого часа нашего пребывания на земле Германской Демократической Республики. Мы убеждались в этом на каждом из двадцати трёх наших концертов, до, во время и после каждого выступления, каждого номера.

Приветливость и добрая воля немцев выражались не только в очень приятных для нас речах и общаниях. Они начали с того, что предоставили нам самим право выбора любого театрального помещения в демократическом секторе Берлина, где бы нам было удобно и приятно работать, выступать. Объехав множество отличных зданий, мы остановились на Фридрихштадт-паласте: здесь была хорошая сцена, удобные уборные и три тысячи мест в зрительном зале. Последнее имело немаловажное значение, так как огромное число желающих попасть на наши спектакли диктовало необходимость выбора наиболее вместительной аудитории: правительственная комиссия, распределявшая билеты, к моменту нашего приезда получила три миллиона заявок; их количество продолжало всё время возрастать, и понятно, как было важно иметь достаточно большой зал.

Таким и был Фридрихштадт-паласт. Для того, чтобы здесь мог удобнее разместиться необходимый нам оркестр, пришлось снять два первых ряда партера; некоторых переделок потребовала сценическая коробка, и всё это было сделано с быстротой, точностью и любовью к делу.

Для утренних и дневных занятий нам отвели лучший репетиционный зал Государственной оперы, причём её артисты и балетмейстеры перестроили своё расписание применительно к удобству гостей, трогательно заботясь о том, чтобы нам было хорошо.

И нам было хорошо. Мы работали очень много днём, каждый вечер танцевали, а усталость от непривычной нагрузки чувствовалась только в самые первые дни. Потом мы втянулись в этот ритм постоянного труда, который протекал в такой благоприятной обстановке, что не мог не дать нам высокого удовлетворения тем, что мы делали.

Ведь всё, что мы делали, так явно приносило радость зрителям, так благодарна была аудитория, так содержательна, интересна и благожелательна пресса, что всё это вместе создавало превосходный рабочий и жизненный тонус. Он поднимал настроение, делал незаметной усталость от беспрестанного и гнётного труда тренинга, экзерсисов, репетиций и выступлений. Да, мы оказались среди таких людей, для которых хотелось делать возможно больше, доставить им максимум удовольствия нашими танцами, отрывками из лучших спектаклей советского балета.

Три наши программы должны были дать о нём представление почти исчерпывающее. Третий акт «Ромео и Джульетты» и краковяк из «Ивана Сусанина», адакжо из второго акта «Лебединого озера» и па де де из «Дон Кихота», «Гавот», отрывки и сцены из «Тараса Бульбы», «Лауренсии», «Пламени Парижа», «Медного всадника», «Шурале»... Чайковский, Рахманинов, Шопен, Люлли... Прокофьев, Глиэр, Асафьев, Хачатурян, Соловьёв-Седой, Яруллин, Крейн... Одно, и то по необходимости неполное, перечисление названий балетов и имён композиторов должно показать разнообразие жанров, выразительных средств, музыки, отличающих советскую хореографию, впервые столь полно представленную за рубежом.

Артисты привыкли волноваться, и есть даже высказывание (пожалуй, более глубокое, чем это может показаться с первого взгляда), что тот не артист, кто не волнуется перед выходом на сцену. Но как во всякий вечер своего спектакля артист непременно делает что-то новое, так всякий раз он как-то по-новому, по-другому волнуется. И хотя мы знали о безусловно благожелательной обстановке, в которой начинались гастроли, мы всё время думали: а каково будет первое впечатление от нашего балета? Поймут ли нас сразу? Будут ли ясны отрывки из больших произведений, показанные изолированно? Вот что нас беспокоило, волновало.

...Когда мы увидели в правительственной ложе Вильгельма Пика, услышали торжественную речь обер-бургомистра Большого Берлина Фридриха Эберта, который говорил не только о высотах, достигнутых советским балетом, но и о том, что наши выступления прямо служат делу укрепления дружбы между немецким и советским народами, — разве мог кто-нибудь остаться равнодушным ко всему этому, к этому вниманию, почёту, которыми были окружены советские артисты?

Мы знали, что в зале, кроме немцев, много иностранцев, специально приехавших за нами из Парижа, чтобы вопреки всем препонам увидеть русский балет. Здесь была прима-балерина «Гранд-опера» госпожа Д'Арсонваль, руководитель танцевальной группы парижского театра «Елисейские поля» господин Рубин, известный голландский меценат балета господин Керкибю, журналисты из Англии, Дании, США, Франции, зрители из Западной Германии, Бельгии, Италии и других стран. Мы знали, что на нас смотрят артисты, рабочие, писатели, студенты, строители, служащие ГДР — люди, которые создают новую, свободную, миролюбивую Германию...

Но вот раздвинулся занавес, мы услышали первые такты музыки — и всё, что нас волновало до этого, встало на место, обратившись в волнение творческое, в хорошее, нормальное, рабочее настроение.

Было бы непрослительным фарисейством утверждать, что нам был безразличен большой успех. Ведь это был успех не столько каждого из нас в отдельности, сколько триумф советской культуры, Советской страны, взлелеявшей столь победительно действующее искусство.

В статье театрального критика доктора Гергарда Штейнера «Правда и красота» говорилось:

«Над всеми выступлениями, как ясное летнее небо, светилась радость. В каждом танце художественно воплощена жизнерадостность, отражена любовь народа к своей Родине, его воодушевление своей силой, своим будущим. В каждом движении выражалось счастье прекрасной, всё более прекрасной жизни.»

В этих словах объективного театрального критика и выражена, очевидно, причина нашего успеха. Если смысл, идеи нашего искусства так хорошо дошли до публики — значит это искусство по справедливости может быть признано возвышенным и прекрасным.

Я думаю, что эти прогрессивные идеи так глубоко тронули сердца людей Германской Демократической Республики потому, что они сами проникнуты «воодушевлением своей силы, своим будущим».

Во имя будущего свободной, миролюбивой, объединённой Германии трудятся сейчас немцы с энтузиазмом и порывом, каких не знала история этой страны. Достаточно выйти на Сталин-аллее, где из руин вырастают большие, светлые и просторные здания, достаточно поговорить с любым честным немцем — от члена правительства ГДР

до тех, кто своими руками строит дома, делает машины, пашет землю,— чтобы почувствовать и понять сегодняшний день этого народа.

Встречи с немцами и беседы с ними, знакомство со стройками демократического Берлина, его книги, картины, театры показали, что здесь всё или, во всяком случае, многое рождается наново, что пылкий ум и порыв к будущему создают великие ценности, по которым будущий историк сможет судить о трудном, сложном и благодатном процессе становления хозяйства, идеологии, культуры демократической Германии в середине двадцатого века.

Наши же впечатления, впечатления современников, хотя и лишённые историко-философских обобщений, тоже с несомненностью говорили о том, что мы присутствуем при рождении новой жизни и, в частности, нового искусства. Мы много работали в Берлине, постоянно были заняты и потому, увы, смогли очень мало увидеть и мало говорить с людьми нового немецкого искусства, но и то немногое, что мы узнали, быть может, представит известный интерес. Естественно, что я хочу начать с балета.

Разверните изящную узкую программу балетного вечера берлинского «Метрополь театра» и на оборотной стороне обложки вы прочтёте: «По решению культурной комиссии Всемирного Совета Мира в этом году все передовые люди всего мира отмечают 50 лет со дня смерти Антонина Дворжака...»

Это предварение не случайно: на темы славянских танцев Дворжака берлинская балетная труппа поставила очаровательный спектакль «Птичье пугало». Полный задорного юмора и светлой лирики, этот балет по своим приёмам и выразительным средствам весьма отличен от наших постановок. Я бы назвала его камерной танцевальной пантомимой. Она, правда, не свободна и от некоторых ухищрений модерна, влияние которого в театре ещё счень сильно.

Либретто упомянутого балета остро сюжетно: девушка хочет проверить, проручить и вернуть своего возлюбленного. Она наряжается пугалом, следит за возлюбленным корчит уморительные гримасы, смешит и пугает своего жениха Франто, увлечшегося кокеткой Лизкен. Действие развёртывается стремительно, спектакль игровой и танцевальный, в движениях есть и элементы классики (пуанты, полупальцы, поддержки), но не они определяют характер этой постановки изобретательного и талантливого балетмейстера Анни Петерка.

Главное — сюжет, содержательность, артистическое мастерство, ритмичность и музыкальность балета, его действующих лиц и исполнителей. Среди исполнителей на первом месте героиня Маринка — Рита Забеков. Она танцовщица и актриса редкостного обаяния, с изумительной фигурой, стройными ногами и умением вложить в каждое своё движение столько женственности, обворожительного лукавства и грации. Она не боится казаться некрасивой — свидетельство большого актёрского мужества, присущего очень немногим актрисам.

Да, она не обладает классической техникой в нашем понимании этого слова. Но, говоря несколько упрощённо, мы ведь и танцем-то считаем только классику, тогда как для них всякое движение — ритмичное, связанное с музыкой, — танец. Что ж, это вполне правомочная точка зрения: мы убедились, что может быть и такой балет. Он, несомненно, очень хорош, держится на высокоразвитом актёрском искусстве и, конечно, во сто раз лучше плохого классического балета.

Их характерные танцы дышат подлинной народностью и представляют собой род заподни, близкой к тому, что мы можем иногда увидеть в ансамбле Игоря Моисеева.

Мне показались интересными по движению и трудовому мотиву танцы девушек со снами; хороши массовые сцены — игровые и танцевальные одновременно.

В тот же вечер шёл и комический балет К. Грисбаха «Платье делает людей» по повелле Готфрида Келлера. Анни Петерка создала увлекательное зрелище в семи картинах, быстро сменяемых, полных интересных событий и людей разных характеров и устремлений. Бедный портняжка, решив пробраться в знать, оставляет себе платье, предназначенное для богача. Он направляется в Гольдах, и там его встречают по платью: бургомистр соглашается отдать за него дочку Нетхен. Влюблённый в неё юноша разоблачает портняжку. Его с позором изгоняют, но на большой дороге его нагнет

Нетхен, решившая остаться с милым и в беде. Портной возвращается к своему ремеслу и своим трудом добивается известности и уважения.

В реалистическом, живом и опять-таки остросюжетном спектакле мне очень понравились Вальтер Шамс, играющий портняжку, и Рената Ветгер — Нетхен. Молодому танцовщику свойственна большая пластичность и темпераментность; при его хороших данных, приятной манере сценического поведения он, несомненно, станет недожиданным артистом балета. Его партнёрша очень танцевальна, всё умеет делать, так как одинаково владеет классикой и характерным танцем, что в той или иной мере свойственно всем этим артистам: когда видишь, как они двигаются, жестикуют, когда убеждаешься в их чувстве ритма и музыки, в их умении играть, в их «синтетичности», начинается казаться, что если они сейчас вдруг запоют или заговорят, то и это у них получится здорово.

Та же Рита Забеков, которая в балете на музыку Дворжака исполняла главную партию, здесь играла эпизодическую роль матери Нетхен. Но как играла! Некрасивая, с большим носом и потешными движениями, она везде и во всём была верна режиссёрскому замыслу и чувству меры, вне которого нет искусства. Такое «переключение» ролей разного значения тоже характерно для берлинского балета: актриса, танцующая сегодня в кордебалете, завтра исполняет воздушную партию. Полезная и нужная традиция!

Но главное и общее всем им свойство — это молодой энтузиазм, освещающий и освящающий всё, что они делают, их стремление расти творчески, узнавать всё новые и новые движения, приёмы танца, целые балеты. Такой коллектив не может не развиваться плодотворно, ибо в искусстве всякие искания обогащают, и даже впоследствии отвергнутое на каком-то этапе приносит пользу.

Спустя несколько дней в том же «Метрополь театре» мы видели восхитительную, весёлую, блестящую, в стиле лучших времён венской оперетты, музыкальную комедию «Бал в опере». Действие происходит в Париже, в опере, в вечер маскарада. В знаменитом кабаре «Мулен руж» и дома у трёх супружеских пар — неразлучных друзей. По ходу действия нам показали варьете, где были представлены все мыслимые эстрадные жанры — от эксцентрических танцев до акробатики, причём многие номера являли высокий класс этого искусства.

...Итак, жёны разыгрывают своих мужей, приглашая их анонимными письмами на костюмированный бал. Те под разными предлогами в назначенный час убегают на свидание и в маскараде отчаянно начинают ухаживать за «прекрасными масками», под которыми скрыты очаровательные лица насмешниц-жёнов. Всё спутывается в сложный клубок флирта, ревности, неузнаваний и мнимой неверности. Но всё приходит к благополучному концу: любовь и супружеская верность торжествуют.

Реакция зала показала, что немцы любят шутку, порой даже чуть грубоватую, смех и веселье: они отдаются ему, забывая, кажется, всё на свете, и хохочут заразительно, как дети.

Превосходны артисты, декорации, костюмы — всё в точном соответствии стилю произведения и музыке. Руководитель «Метрополь театра» Фред Кроншторм — великолепный комик. В танцах мы видели всё ту же маленькую и талантливую балетную труппу, которая накануне радовала нас в сказке о портняжке и грациозной кутерье «Птичьего пугала».

В Немецкой Государственной опере нам показали «Спящую красавицу» Чайковского. Конечно, Портняжка и Пугало были нам интереснее принцессы Авроры по многим причинам: во-первых, увиденное в «Метрополь театре» было для нас совершенно внове; во-вторых, у нас сложилось впечатление, что те спектакли много самостоятельнее и потому своеобразнее берлинской постановки «Спящей».

А вместе с тем Элеонора Веско, танцующая Аврору, пленяет своей мягкостью, плавностью, юностью. И столь же молода и такая же хорошая танцовщица Эльга Зоммеркамп, исполняющая добрую фею (у нас она называется — фея Сирени).

От нашей постановки берлинскую «Спящую красавицу» отличает ещё и включение в дивертисмент третьего акта Китайского танца из «Щелкунчика», танца «Иван-царе-

вич и его братья» и вариации Золушки, которая исполняется, если я не ошибаюсь, на музыку вариации фей-крошки из первого акта «Спящей».

Репертуар Государственной оперы интересен и разнообразен. Тут идёт и «Золушка» Сергея Прокофьева в постановке Дайзи Шпис — одарённого главного балетмейстера этого театра, в декорациях и костюмах Гельмута Нентвиг, под музыкальным руководством дирижёра Карла Эгона Глюкзелиг, «Бал-маскарад» Верди, «Дон Жуан» Моцарта, «Мадам Баттерфляй» Пуччини... Здесь всегда бывает много слушателей и зрителей, горячо любящих классическую оперу и балет.

Вообще, я должна сказать, что берлинцы — большие знатоки и поклонники классической и современной хореографии в её самых различных проявлениях — от строгих форм большого балетного спектакля до вечеров, посвящённых сборным программам, в которых объединены совершенно различные по стилю вещи.

Так, вечер балета, идущий в Ксмической опере, состоит из «Классической сюиты» по мотивам балета Чайковского «Лебединое озеро», половецких плясок Бородина и «Шехерезады» Римского-Корсакова. Первые две вещи поставлены такими хореографами, как Жан Вейдт и Иост Беднард, а третья — Гертрудой Штейнвег и Гергардом Келлер.

Пусть название театра — «Комическая опера» — не введёт вас в заблуждение. Наряду с «Парижской жизнью» и «Продавцом птиц» здесь идёт «Кармен», «Фальстаф», «Богема», «Волшебная флейта»...

Эту оперу Моцарта мне посчастливилось услышать, и я не могу забыть поистине волшебной, искромётной музыки, которая, к сожалению, так редко исполняется у нас. Постановочно этот спектакль выше похвал. Поэтичная, пусть опять-таки с какой-то примесью модернизма, сказочность декораций и сценических эффектов, мгновенная их смена, гармоничное, ярко театральное сочетание красок, костюмы — всё слито в едином комплексе зрелища, полного музыки и красоты. Если бы я начала перечислять создателей всех компонентов этого прелестного спектакля, то список был бы слишком длинен: дирижёр, художник, режиссёр, хор, солисты — всё хорошо потому, что создаёт настоящий ансамбль. Даже элементы конструктивизма в оформлении подчинены общему замыслу и играют служебную роль: дерево, причудливо изогнутое и расположенное среди сцены, почти в каждой картине замечательно исполняется и обыгрывается: по нему ходят, на нём сидят, с него прыгают и всё это ко времени, в нужную минуту, а не ради каких бы то ни было формалистских вымыслов. Хорошо!

Берлинским вечером можно посмотреть «Отелло» и «Томаса Мюнцера», «Ревизора» и «Юлиуса Фучика», «Дон Карлоса» и «Эгмонта» в Немецком театре; в Камерном театре идёт «Пигмалион» и «Минна фон Барнхельм», в театре Максима Горького — «Достигаев и другие», «Утерянное письмо»... Любители более лёгких развлечений найдут их в маленьких театриках типа варьете; к услугам любителей музыки — концерты замечательных оркестров, певцов, инструменталистов. Вот такой театрално-музыкальный вечер кажется мне отвечающим вкусам мыслящих цивилизованных людей, ибо, как бы ни были разнообразны их эстетические желания, они могут быть удовлетворены насыщенной, осмысленной, разноликой жизнью немецкого искусства.

Я закончу рассказ о нём самым светлым и высоким воспоминанием, увезённым мною из Германии. Мы были на экскурсии в пригороде Берлина, во дворце Фридриха Второго — Сан-Суси. Не буду подробно описывать его мозаику и лепные украшения зал, где стены, колонны, инкрустация пола сделаны из морских раковин, картинную галерею, где, откровенно говоря, не так уж много первоклассных произведений. Но не могу умолчать о неожиданной радости, которая выпала на нашу долю в дворцовом театре, живо напоминавшем театр нашего ленинградского Эрмитажа.

Мы вошли в маленький, нарядный и уютный зал театра Сан-Суси, когда там только что кончился концерт старинной немецкой музыки. Пожилой любезный музыкант, узнав, что русские артисты хотят послушать его игру, сел за фисгармонию и сыграл для нас Баха. Торжественные звуки мессы заполнили зал, озарённый свечами, горевшими в потемневших от времени канделябрах. Мелодия всё ширилась и росла, она звучала, как могучий органнй гимн, и её нельзя было назвать иначе, чем божественной. Мы сидели, покорённые и благоговейные, не замечая слёз, застилавших глаза, не слы-

ша бега времени, готовые, кажется, пробыть здесь вечность, ибо вечностью была эта музыка в обстановке старинного зала с небольшим полукружием мягких скамей и кресел, бликами хрусталя, зеркал в инкрустированных рамах, мрамора и бронзы. И то, что я не узнала имени музыканта, было моим единственным огорчением за все дни пребывания в Германии. Если ему когда-нибудь случайно попадутся на глаза эти строки, пусть он узнает, что я на всю жизнь сохраню благодарную память об этом, самом сильном моём музыкальном впечатлении на его родине.

Демократизация новой Германии сказывается, между прочим, и в том, что на эти дневные концерты в Сан-Суси, которые даются в каждый праздник, может теперь прийти кто угодно. Чем подлиннее свобода народа, тем, очевидно, доступнее ему музыка, искусство и притом самое возвышенное. В детском парке на окраине Берлина я видела тысячную толпу, сосредоточенную и тихую. Она слушала Девятую симфонию Бетховена, которую под открытым небом исполнял большой симфонический оркестр и хор. «Ода к радости» да и все части симфонии воспринимались так, что было очевидно: Бетховена здесь знают и любят все.

Мы думали, что Берлин — серый, холодный город, а он оказался полным зелени бульваров, скверов, цветников. Аллея, ведущая к Трептов-парку, широка и тениста. Кружевные платаны с переплетающимися кронами образуют шатёр над головой пешехода. Вокруг дороги и в самом Трептов-парке изумительной красоты цветы и деревья — могучие, с раскидистыми ветвями, в вечном шелесте листья и шепете птиц.

Всё это выглядит прекрасным символом торжества жизни особенно здесь, у Трептов-парка, где похоронены советские воины, погибшие в боях за Берлин, в борьбе с фашизмом, в борьбе за достойное будущее новой, мирной, единой Германии.

Длинной и скорбной аллеей, идущей меж надгробий с именами наших солдат и офицеров, подошли мы к мавзолею, увенчанному монументальной фигурой советского бойца, прижимающего к груди ребёнка и опустившего меч. Мозаика внутри мавзолея, его скульптуры и горельефы, цветы, которые мы принесли с собой, и те, что там были, — всё говорило о непреходящей всенародной памяти, хранящей образы знакомых и безвестных героев, положивших жизни свои на алтарь чести и свободы человечества.

Люди Германской Демократической Республики очень хорошо знают, как много они обязаны подвигу советского солдата, избавившего их от позорного гнёта гитлеризма. И потому так свято охраняются эти священные могилы, и потому строительство новой Германии — лучший памятник им, памятник, возводимый самой жизнью.

Мы побывали в Потсдамс, видели дом, где происходило историческое совещание глав великих держав, и слышали, как сами немцы говорили о том, что, если бы потсдамские решения выполнялись по совести и чести, большая часть недоразумений и неразрешённостей «германского вопроса» давно исчезла бы.

Мы постоянно общались с немцами и убедились, что они полны желания дружить со всеми странами, полны благодарности советскому народу, стремления узнать как можно больше о нашей стране, укрепить с нею культурные и деловые связи. Для нас было очевидно, что со времён «Путешествия на Гарц» соотечественники великого Гейне существенно изменились. Во всяком случае, мы нигде и ни в ком не встречали хмурой ограниченности, замкнутости филистёров, так беспощадно высмеянных автором «Путешествия».

Напротив: широта кругозора, понимание своих исторических задач, поэтизация своего труда на общее благо, здоровый юмор и серьёзность взглядов на жизнь — вот что показалось нам самым характерным для нынешних немцев, для их лучшей и, смею полагать, большей части. Да, народ стал другим. И другим его сделала свобода, воодушевление всепобеждающей новью, необходимость преодолевать огромные трудности, двигаться всё вперёд.

В дни наших гастролей в Берлине происходил всегерманский слёт демократической молодёжи — противников милитаризации страны, защитников её объединения. Все знают, какие рогатки, застыны, ограничения пришлось преодолеть молодёжи Западной Германии, чтобы попасть в демократический сектор Берлина. Отважных юношей и де-



бушк ловили на дорогах, избивали, сажали в тюрьмы, а они всё шли и шли, и сила их была неодолима.

Они шли, чтобы решительно и смело изъявить свою волю к миру, к дружбе между народами. И как всегда при большом скоплении молодёжи всё вокруг обретает юношеский пыл и мужество, так и в эти дни помолодевший демократический Берлин показал свою истинную силу и энергию. Сотни митингов, встреч, шествий; дружеские разговоры и песни братства; игры и танцы на площадях — три дня столица сверкала, шумела, переливалась молодыми голосами, сиянием юных глаз патриотов и негибасых борцов за справедливость.

В дни слёта нам пришлось надписать несметное число автографов: юные посланцы разных земель Германии во что бы то ни стало хотели оставить себе память о советских артистах.

К советским людям здесь относятся как к носителям добра и всех лучших чаяний прогрессивного человечества. И в этом была одна из причин, быть может основная, того, как нас встречали и провожали до и после каждого концерта. Не было ни одного дня, когда бы по ступенькам, соединявшим сцену Фридрихштадт-паласта с залом, к нам не поднимались молодые люди с ясными и открытыми лицами, с цветами в руках и ласковыми словами на устах. Не было дня, когда бы мы не получали маленькие сувениры — трогательные свидетельства дружбы и любви не к чам одним, а к нашему великому народу. Когда мне поднесли два издания моей статьи из «Нового мира» и книгу Сизовой о детстве, в приложенном письме Общества германо-советской дружбы говорилось: «Каждый новый читатель советской книги — это находка для дела мира и прогресса».

Значит, дело было не в том, что это мои книги, а в том, что они — советские. И так было во всём. Советский балет восхитил берлинцев, и мы были тем безмерно счастливы. Но ещё более восхитило народ ГДР, что к ним приехала такая большая группа советских людей. И сознание того, что эти люди — мы, гордость за свою Родину, за ту всеобщую любовь, которую она снискала, сделали нас счастливыми стократ.



Н. ФЕДОРЕНКО

★

## ВСТРЕЧИ С КИТАЙСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

ЛУ СИНЬ

**Р**едко кто из советских людей, посетивших в эти годы Шанхай, не был в этом доме. Деревянному флигельку на Далу суждено стать самой дорогой реликвией современного Шанхая.

В этом доме жил и умер великий китайский писатель Лу Синь.

На бледном лице нашего спутника, в его глазах, в нервном изгибе бровей лежит отблеск горячей земли его родины — китайского юга. Да и речь Ся Яня так темпераментна, как это бывает у китайцев, считающих своим родным городом Кантон. Наш спутник — известный драматург, автор пьес-памфлетов, исполненных сатирического огня. Пьесы Ся Яня были запрещены в гоминдановском Китае: их смех и их гнев были беспощадны. Впрочем, этими качествами была отмечена и его публицистика. Я встречал писателя в 1940 году в Чунцине, когда он работал в коммунистической «Синьхуа-жибао», и хорошо помню, как огневое слово Ся Яня разило врага.

Чем меньше остаётся до Далу, тем чаще наша беседа прерывается паузами. И вот мы входим под тень акаций, растущих на Далу. Наш спутник вдруг останавливается, и я слышу его взволнованный голос:

— В Шанхае не было человека, которого бы гоминдановцы так ненавидели, как Лу Синя. Писатель скрывал коммунистов, пересылал их письма; щедро, подчас не по средствам, он помогал партии. Вы думаете, что власти не знали об этом? Знали, но боялись его... За тем порогом кончалась их сила... Переступить тот порог, значило поднять на ноги Шанхай, а Шанхай — это не только космополитический Банд и Нанкин-род, но и трудовой Чапей. Для шанхайской полиции не было крепости более неприступной, чем этот скромный дом, вот этот дом...

Мы стоим у порога лусиневского дома.

Мягкое утреннее солнце лежит на изогнутых консолях крыши, негустая узорчатая ткань полузакрывает большое окно во втором этаже — за ним угадывается прохладный сумрак. Над крышами проносится стая голубей, и вместе с хлопотливыми ударами их крыльев в небе возникает целая симфония звуков — её разыграли маленькие флейты, укрепленные под крыльями птиц. Стая пролетела — и смолкли флейты.

Мир и спокойствие царят здесь.

Мы ещё не переступили порога дома, но тишина, которая разлилась в нём, уже наполнила нас...

Нам навстречу выходит Сюй Гуан-пин, жена и друг писателя. Её имя хорошо известно в Китае. Статьи Сюй Гуан-пин, посвящённые насущным литературным проблемам, часто появлялись в прессе. В течение многих лет она была помощницей Лу Синя: вела его дневники, ведала перепиской. После смерти писателя Сюй Гуан-пин стала хранительницей рукописного фонда писателя. Она лучше, чем кто бы то ни было, ориентировалась в собрании лусиневских рукописей, которое по своим размерам, разнообразию тем и жанров является целым миром. Сюй Гуан-пин находит в нём всё новые шедевры, и каждый из них, будь то рассказ, статья или даже письмо, открывает нам в образе Лу Синя новые, доселе не известные черты. На то она и была подругой!

Лу Синя, чтобы стать не просто хранительницей и издателем его рукописей. Она принадлежит к тем китайским интеллигентам, которые не мыслят своей работы без деятельного общения с массами, без непосредственного участия в борьбе народа за свободу. Я остро почувствовал всё это несколько лет тому назад, когда впервые увидел Сюй Гуан-пин. Это было 19 октября 1946 года, в день, когда прогрессивный Шанхай отмечал десятилетие со дня смерти Лу Синя.

Она стояла в дальнем конце зала в кругу писателей. Почти не было человека, который не подошёл бы к Сюй Гуан-пин, не прикоснулся к её руке, не сказал бы ей приветливого слова. Помнится, среди них были и железнодорожники из пригорода Шанхая, и ученицы какого-то католического колледжа, студенты. Текстильщицы большой шанхайской фабрики «Суншин» долго беседовали с Сюй Гуан-пин, расставаясь, вложили ей в руку три веточки глоксиний, чудом сохранивших в эту позднюю осеннюю пору и свою форму и свой цвет — негасимо красный, нетускнеющий.

И вот мы пришли в дом, который теперь сохраняется как памятник о незабвенном Лу Сине.

На Сюй Гуан-пин — традиционный китайский халат, темносиний, гладкий, ноги в бесшумных матерчатых туфлях, в которых принято здесь ходить не только дома. Её волосы, коротко стриженные и тщательно зачёсанные назад, открывают гладкий, мягкой матовости лоб. Она приветствует нас, приглашает в дом и говорит, что каждый раз, когда в этот дом входят советские люди, она думает об одном: как был бы счастлив Лу Синь принять их...

Я слушаю её, и мне кажется, что обаяние, которое излучает эта женщина, может быть одинаково отнесено и к её негромкому голосу, к её манерам, мягким, даже чуть робким, несмотря на то, что она находится в своем доме; к её улыбке, которая, говорят, чем-то напоминает улыбку Лу Синя.

В этот ранний час дом ещё закрыт для посетителей, и он меньше всего похож на музей. Иногда кажется, что человек, который навсегда ушёл из этого дома, всего лишь отлучился в город и вернётся к обеду.

Мы и прежде слыхали, что Лу Синь был убеждённым врагом расточительности, но не предполагали, что писатель был так аскетически скромен и невзыскателен в повседневной своей жизни. Наверное, у Лу Синя были какие-то любимые вещи, к которым он привык; но обстановка его дома поражает своей простотой, бесхитростностью и строгостью.

В рабочем кабинете писателя стоит письменный стол с выдвижными ящиками, маленький и скромный, который вряд ли украсил бы комнату мелкого шанхайского клерка, в жесткое кресло, кровать, застланная белым покрывалом, и небольшой платяной шкаф, в котором без остатка уместилось будничное и праздничное платье Лу Синя. В шкафу — единственный европейский костюм, сшитый из материала, подаренного кем-то из друзей; выходной халат, который видел на писателе в течение нескольких лет; парусиновые туфли на резиновой подошве. В последние годы своей жизни, когда Лу Синь стал заметно уставать, он разрешил поставить в кабинете раздвижное кресло, но своим скромным видом оно ничем не отличалось от остальной мебели: кресло сооружено из мелких жёрдочек и выставано парусиной. После пяти-шести часов работы писатель любил посидеть в нём, вытянув ноги, смежив веки.

Лу Синь так ограничил свой быт не потому, что не имел возможности жить иначе: он считал, что деньги, заработанные тяжёлым трудом, должны быть обращены на иные цели. Главной статьёй этих расходов были постоянные пожертвования в фонд многочисленных прогрессивных организаций, работавших в тесном контакте с коммунистической партией и под её руководством. Писатель оказывал немалую материальную помощь молодым литераторам, музыкантам, художникам, которые были его постоянными посетителями и дружкой с которыми он так дорожил.

Лу Синь, когда это касалось его одного, был врагом какой бы то ни было расточительности. Однако это не мешало ему принимать гостей по всем правилам китайского гостеприимства. Традиционные субботние обеды в его доме собирали многочисленных литературных друзей, среди которых всегда была молодёжь.

За столом собирались все, кто для писателя олицетворял живую действительность Китая, могучее напряжение воли народа, его стремление к свободе. Лу Синь поселился в Шанхае, чтобы лучше чувствовать жизнь. Шанхай с его многообразной политической жизнью и резкими, доведёнными до крайности социальными противоречиями, где роскошь встречалась лицом к лицу с неслыханной нищетой, где новый мир жестоко единоборствовал с миром старым, будил и тревожил мысль великого художника.

Обитатели простого домика на Далу и их гости жили этой борьбой. Борьба, её радости и печали определяли настроение бесед на Далу в субботние вечера. Они начинались за обеденным столом и продолжались часто допоздна в гостиной. Зелёный чай был постоянно на столе.

Мы стоим с Ся Янем у невысокого круглого столика гостиной, и мой спутник пытается воссоздать обстановку субботних вечеров в доме Лу Синя. Писатель сидел в плетёном кресле, положив ногу на ногу. Стоячий воротник халата расстёгнут, лицо выражает внимание. Внутренний огонь, который ровным пламенем постоянно горел в этом человеке, будто пробивался наружу, и тогда лихорадочные пятна проступали на лице. Но проходило волнение, и краски лица медленно гасли, и кожа будто стягивалась, и острее проступали скулы, глазницы, и яснее очерчивались мощные линии его крепкого черепа, высокого, упрямо выступающего лба.

Когда писатель говорил, он медленно поднимал руку, неторопливо пересбирал пальцами, словно хотел крепче ухватить нужное слово, и, неожиданно сжав кулак, поднимал его. Он часто говорил о необходимости всемерно развивать в народе высокие патриотические чувства, укреплять в людях человеческое достоинство, которое так грубо было попрано в годы чужеземного ига. Говоря об этом, он вновь и вновь возвращался к эпизоду, который произошёл едва ли не на заре его жизни, и заставил Лу Синя глубоко задуматься над судьбами отечества.

Это было в начале нашего века, в годы, когда на заснеженных просторах Маньчжурии уже шла война между Японией и Россией. Показывали документальный фильм «Японцы казнят китайца, оказавшего помощь русским». Казнь была снята в подробностях и производила тяжёлое впечатление. Но неизмеримо большее впечатление на Лу Синя произвело иное: безучастный вид нескольких китайцев, наблюдающих казнь. Так могли смотреть на гибель соотечественника только те, чьё национальное сознание парализовано.

Лу Синь глубоко пережил этот эпизод. Он задумался над целью своей жизни. Впервые он усомнился в правильности своего решения стать врачом. Он понял, что для китайского народа в тот момент было важно не столько физическое, сколько моральное здоровье. Лу Синь полагал, что призвание истинного патриота — помочь народу открыть глаза на рабское своё положение, укрепить в людях достоинство человека и гражданина.

По глубокому убеждению Лу Синя, эта задача была по плечу только писателю, чьими устами говорит совесть народа, его сознание.

И чем больше он думал над всем этим, тем острее в нём зрело желание сменить скальпель врача на перо писателя.

Именно борьба за укрепление национального достоинства народа, задвленного и приниженного годами рабства, определила деятельность писателя на многие десятилетия. Ничто не вызывало в Лу Сине такого протеста, ничто не могло повергнуть его в такой гнев, как вид человека, стремящегося оправдать свою рабскую душу. И как часто вот в этих стенах звучал уже тронутый зловещими хрипами взволнованный голос писателя:

...— Если на свете остаются люди, которые хотят жить, то они должны сметь говорить, смеяться, плакать, гневаться, ругаться и драться, чтобы смести с этого странства это проклятое время...

Лу Синь являл собой образец человека, свободного от рабского угодничества, и требовал этого от других. Не случайно эту черту как первое качество в натуре настоящего революционера подметил в своё время Мао Цзэ-дун: «Лу Синь был человеком крепкой кости, в нём не было ни тени рабелепия и пресмыкательства».

Мы поднимаемся в кабинет и долго стоим у письменного стола писателя. Настольная лампа на металлической подставке с попитром, как у музыканта, деревянный стакан с несколькими кистями, стопка бумаги. За этим столом писатель работал последние девять лет. Здесь был написан весь цикл его новелл, вошедших в книгу «Старые легенды в новом изложении». За этим столом редактировались первые китайские издания переводов советских книг: «Тихий Дон», «Разгром», «Цемент». Последняя большая работа, которую закончил здесь Лу Синь, принадлежала также перу русского. Это был перевод «Мёртвых душ».

Лу Синь не делал тайны из своего писательского опыта, полагал, что здесь всё очевидно. И его высказывания на эту тему предельно лаконичны. Он отмечал, что в работе над своими рассказами старается избегать многословия, почти не останавливается на побочных деталях и ограничивается лишь тем, чтобы достаточно полно передать другим свои мысли. По убеждению Лу Синя, для его целей не был нужен фон, поэтому он не описывал красот природы и не давал больших диалогов. Если он чувствовал, что рассказ читается с трудом, то долго и упорно перерабатывал его.

Когда читаешь некоторые рассказы Лу Синя, кажется, что они написаны в один приём. В действительности дело обстояло иначе. Если бы настольная лампа на металлической подставке обрела дар речи, она бы многое могла рассказать о полуночных муках писателя над листом бумаги.

Мы поднимаемся на третий этаж, в комнату, которая при жизни Лу Синя была почти закрыта для посетителей. Почти... Комната напоминает девичью или детскую — так она тиха и светла. Недаром рядом с нею находится спальня сына Лу Синя: это самый укромный уголок дома. Но сравнение со светёлкой только внешнее: при жизни писателя у этой комнаты было иное назначение — здесь Лу Синь скрывал коммунистов. Они шли сюда из разных мест Китая, зная, что здесь их примут. И, оставшись один на один со своим новым пришельцем, может быть, убавив свет или завесив окно покрывалом, писатель до полуночи слушал рассказ своего нового друга о событиях, разворачивающихся далеко на западе, северо-западе, севере и отмеченных тревожными и радостными названиями тех мест: Жуйцзинь, Яньань, Цзинганшань, Сиань, Пекин.

«...Лу Синь не принадлежал к коммунистической партии организационно, но все его мысли, действия и творчество были по своему характеру марксистскими...» — сказал о Лу Сине Мао Цзэ-дун.

Подобно другим выдающимся мастерам мировой культуры, для которых участие в революционной борьбе пролетариата явилось животворным источником создания, Лу Синь испытал благотворное влияние этой борьбы в своём творчестве. Участие в ней укрепило душевные силы писателя, положило конец его сомнениям, придало всей его жизни ту устремлённость, которая отличает жизнь настоящего революционера.

«Я глубоко убеждён в необходимости появления бесклассового общества,— говорил Лу Синь.— Это не только рассеивает все мои сомнения, но во многократ умножает мои силы».

Он говорил, что, если писатель действительно революционер, то всё равно, о чём бы он ни писал, в какой бы форме ни писал, его творчество будет революционным. «Ведь из источника всегда течёт вода, а из вен кровь»,— замечал писатель. И как подлинный революционер, Лу Синь не освобождал себя от повседневного труда революционера, как бы это ни было тяжело и опасно.

Кто были его ночные собеседники, кто поверял ему свои тайны и кому исповедовался он сам? Наверное, здесь бывал Цюй Цю-бо, один из тех писателей-коммунистов, которые много сделали, чтобы приблизить Лу Синя к партии, быть может, здесь была вся группа молодых поэтов, расстрелянных в этом городе однажды в феврале, и среди них друзья писателя Бай Ман, Жоу Ши...

По словам Лу Синя, Жоу Ши был родом из Нинхя (область Тайчжоу), что сказывалось в его настойчивости, характерной для тайчжоусцев. Лу Синь не помнит, где он встретил своего молодого друга впервые, но полагает, что это было в Пекине — Жоу Ши говорил, что слушал лекции Лу Синя в этом городе. Лу Синь ничего не говорит о том, какие взгляды исповедывал его молодой друг, но отмечает, что в течение долгого времени он и Жоу Ши бывали друг у друга и выяснили, что у них одни взгляды.

Друзья условились основать общество «Утренние цветы» и журнал с таким же названием. По словам Лу Синя, почти все дела по новому издательству свалились на Жоу Ши: он просматривал большую часть рукописей, покупал бумагу, бегал по типографиям, правил корректуру, подбирая иллюстрации.

Гроза собралась внезапно; однако, судя по воспоминаниям Лу Синя, писатель заметил её приближение и предостерегал своего друга.

Жоу Ши был значительно моложе Лу Синя и многое видел в розовом свете.

«Иногда я говорил с ним о том,— рассказывал Лу Синь,— как обманывают, как продают друзей, как высасывают людскую кровь, а он — с таким чистым лбом, с насторожённо округлившимися глазами — протестовал: «И это может быть?»

Общество «Утренние цветы» скоро закрылось. «Не хочется даже объяснять, почему оно закрылось,— пишет Лу Синь.— Первой набила шишку оптимистическая голова Жоу Ши». Друзья предприняли новые начинания, но они окончились так же неудачно. Вскоре Жоу Ши был арестован — в кармане у него нашли бумаги, написанные рукой Лу Синя. Ходили слухи, что власти разыскивают и Лу Синя. Писатель решил скрыться.

«Я не мудрый монах и не стремлюсь уйти в небытие, у меня ещё сохранилась привязанность к жизни — и я бежал. В ту же ночь я сжёг старые письма друзей, а затем вместе с женой, несшей на руках ребёнка, ушёл в гостиницу. Через несколько дней до меня со всех сторон стали доходить слухи, что я арестован или убит. О Жоу Ши известий почти не было».

Наконец от него пришла весть. Он сообщал, что попал в комендатуру Лунхуа вместе с тридцатью пятью заключёнными, семь из них — женщины. Ночью всех заковали в кандалы. По словам Жоу Ши, в тюрьме у него несколько раз спрашивали адрес господина Чжоу — так звали Лу Синя его друзья. «Но откуда мне знать этот адрес?» — замечает Жоу Ши. В письме есть и такая строка, относящаяся к Лу Синю: «Пускай господин Чжоу не беспокоится — нас не пытали».

Но вскоре пришло второе письмо. «Как и следовало ожидать,— пишет Лу Синь,— второе письмо носило уже другой характер: он сообщал в очень горьких выражениях, что у Фын Кэн распухло всё лицо».

Прошло ещё дней двадцать, и вдруг пришло страшное известие: Жоу Ши и ещё двадцать три человека были расстреляны в комендатуре Лунхуа ночью с 7 на 8 февраля.

Писатель тяжело пережил смерть своего молодого друга.

«Тёмной ночью я стоял во дворе гостиницы. Всё кругом спало. Заснула даже жена с ребёнком. Я был подавлен. Я знал, что потерял очень близких друзей, а Китай — славных юношей. Скорбь охватила меня. И только благодаря долголетней привычке сдерживаться я овладел собой, и у меня сложились строки:

Привык я долгими ночами провожать весну.  
И вдруг виски покрыла седина. бежал с женой, младенцем,  
Во сне всё чудится, как льются слёзы матери моей,  
Над городом — как призрак деспота — знамёна.  
Как пережить мне множество погибших юных душ?  
В лесу штыков я в гневе стих нищу».

Так говорил Лу Синь, вспоминая Жоу Ши.

Я стою посреди этой комнаты — она почти пуста, в ней нет ничего, что напоминало бы о волнующих событиях тех лет, но один вид этой комнаты стесняет грудь...

Прежде чем покинуть дом, мы заходим в комнату рядом — в спальню сына. После ночных бесед писатель всегда заглядывал сюда, чтобы поправить сбившееся одеяло, убрать со лба сынишки прядь влажных волос или просто постоять в полутьме подле сына, прислушиваясь к его дыханию. О чём думал в полуночной тишине писатель, только что расставшийся со своим другом? Может быть, о том, что новый Китай скоро, очень скоро станет явью и, если его не удастся увидеть Лу Синю, то сын наверняка увидит. Если же сынишка не спал, отец присаживался на минуту у его кровати и между ними возникала беседа. Говорят, однажды сын спросил отца, указывая на деревянный бюст Горького, подаренный Лу Синю шанхайскими гравёрами:

— Это Горький? Русский писатель Горький? А я думал, что это ты.

Наверно, писателю было приятно это сравнение, но он сделал вид, что не понимает сына.

— Нет, сынок, у нас ещё нет Горького, ещё нет Горького...

Этот разговор много раз воспроизводился в воспоминаниях о писателе. Авторы воспоминаний хотели сказать не столько о внешнем сходстве между Горьким и Лу Синем, сколько о том общем, что было в духовном облике великих писателей — русского и китайца. В Китае называли Лу Синя китайским Горьким, и в самом деле: творчество Лу Синя было выражением самых сокровенных устремлений народа, а общественная деятельность являла пример верности идеям нового Китая, непримиримой ненависти ко всем его врагам.

Реакция, в какие бы одежды она ни рядилась, какой бы фразой она ни пыталась скрыть зловещее своё существо, была всегда одинаково ненавистна Лу Синю.

Я смотрю в распахнутое окно на улицу. Майское солнце уже накалило тротуары, и с улицы пышет жаром. Ветер стих, белое облако, плывущее над городом, будто остановилось в зените. Смолк шелест деревьев, запах горячей листвы всё явственнее доносится через открытое окно. Может быть, такое же утро было в Шанхае в мае 1933 года, когда Лу Синь вместе с группой своих единомышленников пошёл в германское консульство, чтобы протестовать против приговора нацистов, подвергших репрессиям прогрессивных немцев — друзей СССР.

Я смотрю на улицу, и мне кажется, что я вижу, как Лу Синь идёт через город. Он идёт быстро, высоко подняв голову, и весь он, его подбородок, скулы, худые плечи, локти пришли в движение, зло заострились. Он останавливается на мгновение, чтобы поднести платок к влажному лбу или унять прерывистый стук сердца, и продолжает идти. Мне кажется, что я вижу, как поднимается он по каменной лестнице консульства, открывает дверь, и вот я уже слышу его гневный голос.

Говорят, что в немецком консульстве великого писателя приняли с открытой неприязнью. Иначе его принять и не могли. Ведь это был Лу Синь — заклятый враг фашизма.

Незадолго до того, как писатель пошёл в германское консульство, шанхайские газеты опубликовали заявление Лу Синя, в котором он недвусмысленно отвечал на угрозы гитлеровцев в адрес Советской державы. Заявление это нельзя читать без волнения.

«Мы боремся против нападения на СССР, — заявлял писатель. — Несмотря на все унижения наших врагов подделаться под поборников справедливости, мы расправимся со всяким дьяволом, который попытается напасть на Советский Союз. Таков единственный для нас путь в жизни...»

Проходясь с домиком писателя на Далу, я вспомнил один эпизод, заставивший меня через несколько дней вновь побывать на этой улице. Лу Синь рассказывает в своих воспоминаниях о Жоу Ши, как незадолго до своей смерти молодой поэт ездил на родину, в область Тайчжоу, где жила его мать, давно ослепшая. По словам Жоу Ши, он никак не мог уехать из родных мест — мать просила сына остаться подольше. Быть может, мать предчувствовала материнским своим чутьём, что гроза уже собралась над головой её сына. Рассказ Жоу Ши о встрече со слепой матерью не давал покоя Лу Синю. Писатель хотел написать о погибшем поэте в одном из номеров журнала «Большая Медведица», который он тогда редактировал. Но писать было нельзя. Тогда Лу Синь разыскал гравюру на дереве Кете Кольвиц «Жертва» и напечатал её в журнале. На гравюре мать со скорбью прощается со своим сыном. «Только я один и знал, — замечает Лу Синь, — что то была память о Жоу Ши».

Лу Синь не впервые обращался к гравюре, когда враг отнимал у него возможность свободно говорить с народом. Писатель считал её боевым жанром революционного искусства, призванным помочь народу в его борьбе с угнетателями. И Лу Синь, никогда не бравший в руки резца, оказал огромное влияние на развитие этого вида искусства. Он положил начало Обществу по изучению гравюры — первой организации китайских гравёров. Но у гоминдановцев было своё мнение об организациях, к которым

имел отношение Лу Синь. Как правило, эти организации распускались вскоре после того, как они появлялись. Та же судьба постигла и организацию гравёров.

Отрицательная позиция властей к каждому новому начинанию писателя только убеждала его в том, что он делает дело, полезное народу. И он продолжал спланировать молодых художников, устраивал выставки их работ, публиковал лучшие гравюры. Не без помощи Лу Синя в Шанхай был приглашён Какичи Учияма — известный японский гравёр. Эту же цель преследовало издание сборников гравюр Кэте Кольвиц и выдающихся советских гравёров, предпринятое Лу Синем. Много труда отдал он организации выставок китайской гравюры, которые неизменно вызывали огромный интерес в стране своей патриотической направленностью.

Последняя из фотографий, на которой мы видим живого Лу Синя, сделана за одиннадцать дней до его смерти. Случайно или нет, но фотография запечатлела писателя на выставке работ молодых гравёров Шанхая. Он сидит в кругу своих друзей за столом, установленным посреди выставочного зала. Наверно, Лу Синь только что обошёл выставку и теперь присел отдохнуть. Болезнь иссушила некогда крепкий организм писателя. Кожа стянула кости лица, но, как и прежде, нетускнеющим огнём, ярким и сильным, горят глаза Лу Синя. Он говорит, его глаза выражают раздумье, лица молодых людей, слушающих его, внимательны. Нет, это не только внимание. Ни один другой документ не может рассказать так наглядно об отношении молодёжи к Лу Синю, как этот снимок, сделанный в последний месяц жизни писателя, — так можно смотреть только на человека, который является не просто твоим учителем, но и единомышленником.

И вот мы вновь возвращаемся на улицу Далу, чтобы посетить постоянную выставку гравюр, в своё время собранных Лу Синем. Мы рассматриваем работы, в подборе которых так полно обнаружился вкус писателя, и нам кажется, что после этой выставки мы глубже постигли натуру этого человека, нам открылась ещё одна черта его облика. В самом деле, почему этот, а не иной жанр пользовался такой симпатией художника?

Повидимому, Лу Синь считал гравюру наиболее подходящим жанром для атак на старый мир в тяжёлых условиях гоминдановского Китая — не таким прямолинейным, как карикатура, и не таким сложным, как полотно, написанное маслом.

Любовь к гравюре, очевидно, вытекала из всего строя художественных вкусов Лу Синя, его представлений о формах искусства. Гравюра, в которой скупость изобразительных средств была подчеркнута и резкостью линий, и однотонностью краски, и несложностью сюжета, во многом напоминала рассказы самого Лу Синя, написанные, как признавался он сам, без фона и второстепенных деталей, экономно до афористичности.

Гравюра была родни мужественному искусству тех лет — плакату, оратории, пьесе-агитке. Серая обёрточная бумага, на которой печатались газеты военного времени, решительно отказывалась воспроизводить фотоснимок, но она отлично воссоздавала скупые и резкие линии гравюры. Гравёры работали в газетах, они писали плакаты, делали трафареты, с помощью которых рисунки наносились прямо на заборы и фасады домов.



Перед отъездом из Шанхая я вновь встретился с Сюй Гуан-пин, чтобы вместе отправиться на загородное кладбище, где покоится прах Лу Синя. Садилось солнце, и червонный отблеск зари лежал на крышах домов, на верхушках акаций и платанов. Далеко у набережной носились чайки, близко припадая к воде. Где-то стороной прошёл дождь, и ветер доносил оттуда запах мокрой земли.

Мы вышли на аллею, ведущую к могиле Лу Синя, и замедлили шаг: большая группа молодых рабочих только что подошла к могильной плите. В руках многих из них были флоксы и тюльпаны.

Рабочие возложили цветы и стали поодаль. Мы подошли к могиле и вплели свои цветы в венок, охвативший серый гранит надгробной плиты. Мы долго стояли в глубокой молчании. Всё сильнее давал о себе знать ветер, напоённый влагой приближаю-



шейся грозы, всё яснее слышались в его дыхании запахи мокрой зелени. Когда ветер усиливался, неудержимо шумели своей густозелёной листвой молодые деревца туи, стоящие прямо перед могилой.

Мы отошли от могилы, и наше место заняла новая большая группа шанхайцев-студентов, а может быть, молодых учителей.

Нескончаем поток людей, проходящих у могилы Лу Синя. Этот поток возрастает особенно в день 19 октября, когда Китай отмечает день смерти писателя.

Незабываемую картину являло собой это шествие 19 октября 1949 года, когда освобождённый Шанхай впервые отмечал эту дату. Враг бомбил город в этот день ещё более жестоко, чем прежде. Горели деревянные хижины в рабочих кварталах Чапея, пламя стлалось вдоль берега Ванпу, охватывая склады, подбираясь к судам, стоящим у причала, а народ продолжал идти на кладбище. Вместе с китайцами, чтившими память своего великого соотечественника, в этот день пришли сюда советские люди — первая делегация деятелей нашей культуры, посетившая освобождённый Китай.

Мы возвращаемся на Далу. Сюй Гуан-пин дарит мне томик неопубликованных писем Лу Синя, только что вышедший под её редакцией в Шанхае. Красный переплёт, в который был заключён этот том, так верно символизировал самое существо чувств и мыслей Лу Синя!

Вечером я иду с Далу. В городе только что закончился большой трудовой день. Батага молодых людей шагает вдоль набережной Ванпу. Огни расцветивают витрины. На набережной играет оркестр — стходит пароход. И высоко над монументальным зданием шанхайской мэрии ветер медленно развеивает знамя, такое же негасимо алое, нетускнеющее, как переплёт книги, которую я держу в руках...

## ГО МО-ЖО

Впервые я встретил Го Мо-жо в 1940 году — в тяжёлую и грозную для Китая пору. Накануне пал город Чанша, и японские войска тремя колоннами охватили Ханькоу. Поток беженцев стремился долиной Янцзы от моря к горам, будто великая китайская река обратилась вспять и хлынула всей мощью своих вод навстречу громадам Тибета.

Эти тревожные для Китая дни столицей государства был далёкий Чунцин, большой и богатый город, центр провинции Сычуань — житницы Китая. Расположенный при слиянии рек Янцзы и Цзялин, город является важным торговым центром китайского Запада. В то время сюда стекались купцы из далёких Синьцзяна и Маньчжурни, из шумного Шанхая и богатого Кантона. В недалёком прошлом здесь нередко бывали и заморские гости, посланцы торговых фирм Петербурга, Лондона, Гааги, Копенгагена.

Лучшие сорта китайского риса, которыми так славилась в стране и за её пределами провинция Сычуань, шли через Чунцин. Но рис составлял не единственную статью дохода в торговых делах чунцинских купцов — отсюда шли в города Китая хлопок, пшеница, тростниковый сахар и целые корабли, гружённые чудесными сычуанскими апельсинами и мандаринами. Город быстро богател и отстраивался. Архитекторы, выписанные из Шанхая и Кантона, возводили фешенебельные особняки. В окрестностях города, отличающихся своей живописностью, возникли виллы. Сразу же за Чунцином могуче поднимались китайские Альпы, увенчанные каменными утёсами. Горные реки, неширокие и стремительные, несли свои холодные, одетые пеной, воды навстречу Янцзы.

Виллы, в облике которых европейская архитектура причудливо сочеталась с китайской, картинно вписывались в долины и горы. В летнее время деловая жизнь большого города переносилась сюда, впрочем, не только в летнее время. Именно здесь, в загородных виллах, рисовые и цитрусовые тузы Чунцина по традиции заканчивали торговые переговоры с шанхайскими и тяньцзиньскими коллегами. Здесь ставили последние иероглифы под многомиллионными контрактами, здесь контракты скреплялись фамильной печатью.

Но всё это было много лет назад, а сейчас Чунцин был иным. Пламя войны обволокло китайскую землю, оно захлестнуло большие и малые города Китая. Чунцин объявили временной столицей Китая. Как ни велик был город, как ни просторны и богаты были его городские и загородные дворцы, они не в состоянии были вместить больших и малых чиновников, обслуживающих сложную бюрократическую машину гоминдановского государства. И не только их. Опережая отступающую армию, на запад двигались вереницы лимузинов новейших американских и английских марок. Окружённые чадами и домочадцами, в Чунцин стремились промышленные и финансовые воротилы Китая, все те, кто составляет в конечном счёте знаменитые четыре семейства. Под их напором сычуанские земельные и финансовые магнаты должны были потесниться в своих загородных палатках.

Издавна за Чунцином прочилась слава «города туманов», «туманного Чунцина».

Это название символично.

Обилие воды (как мы уже говорили, Чунцин стоит на стыке двух рек) делает воздух влажным. Туманы посещают город каждое утро и рассеиваются, когда солнце стоит уже над горами. В осенние дни туманы удерживаются до полудня. Нередко днём автомашины идут по городу с зажжёнными фарами.

Но понятие «туманный Чунцин» имело и иной смысл. Облик гоминдановской столицы меньше всего отождествлялся в сознании народа с борьбой против японцев до победного конца, с решимостью народа изгнать захватчиков. Народ не без основания думал, что в полумгле, которая постоянно окутывает Чунцин, в туманах этого города зреют заговоры. От людей, окопавшихся в загородных виллах, можно было ожидать всего. Компромисс с врагом не исключался — ведь Ван Цзин-вэй был детищем этой среды.

Но был и другой Чунцин. Он разместился в пригородах, там, где издавна жил трудовой люд: докеры, речники, рабочие мельниц и рисоушек. Как ни тесны были их жилища, в них нашлось место для людей, приехавших издалека, — скромных тружеников искусства — писателей, актёров, художников. Их привели в Чунцин горячая любовь к родине, желание служить ей в суровую годину. Здесь было множество рядовых работников искусства, чьи имена так и остались неизвестными народу. Но среди них было много и выдающихся художников, которых знал Китай, и не только Китай. Все, кому дёшево в те годы бывать в чунцинских издательствах или редакциях столичных газет, могли встретить там прославленного драматурга Тянь Ханя, прозаика Мао Дуня, поэта Го Мо-жо.

Поэт Го Мо-жо... После смерти Лу Синя ни один другой китайский писатель не был у нас так популярен, как Го Мо-жо. Вспоминались его стихи, в которых так скупно и так мужественно выражена мечта народа, истосковавшегося по свободе:

Хотя и моя родина схожа с тюрьмой,  
Но есть у нас триста миллионов серпов  
И пять миллионов железных молотов,  
И мы восстанем сднжды утром  
И до основанья тюрьму разрушим...

Случилось так, что впервые я говорил с Го Мо-жо, не зная, что говорю с ним. Го Мо-жо явился в посольство с просьбой помочь ему выписать из Москвы полный текст романа Л. Толстого «Война и мир». В самом этом обращении не было ничего необычного: с подобными просьбами к нам нередко адресовались и другие писатели. Но кем мог быть сегодняшний наш посетитель? Его лицо мне показалось знакомым: мощный лоб, гладкий и выпуклый, мягкая ласковость в прищуре больших тёмных глаз, в улыбке. Я внимательно выслушал нашего посетителя и осторожно осведомился, в какой адрес и на чьё имя следует послать книги.

Го Мо-жо назвал себя. Мне показалось, что я ослышался и просил повторить имя.

Тогда мой собеседник извлёк маленький блокнот и, раскрыв его, начертил на чистом листе своё имя. Я заметил, что он вычертил каждый знак неторопливо, чётко; так

человек, стараясь, чтобы его понял иностранец, замедляет речь и вразумительно произносит каждое слово.

Наблюдая за тем, как медленно движется перо Го Мо-жо, мог ли я думать, что поэт является одним из выдающихся каллиграфов современного Китая и прекрасно владеет сложной скорописью. Но об этом позже.

Я приветствовал писателя и сказал, что его имя хорошо известно у меня на родине. Из скромности Го Мо-жо попробовал возражать. Не оставляя места для сомнений, я сказал, что не однажды слышал стихи Го Мо-жо в чтении своих товарищей по институту.

Поэту, очевидно, было приятно, что его стихи пользуются любовью советского читателя.

Мы прошли вглубь приёмной и, усевшись за маленьким столиком, проговорили добрых два часа. Помнится, в тот день Го Мо-жо говорил о Горьком, о его влиянии на современную китайскую литературу.

Всё время, пока поэт говорил, его взгляд был мягок, доброжелателен. Это радушие сквозило во взгляде мягких, постоянно задумчивых глаз и ещё больше в улыбке, которая приятно освещала лицо.

В ту первую встречу я не почувствовал его возраста. И дело не только в том, что Го Мо-жо выглядит много моложе своих лет. В его манере говорить нет ничего, что часто бывает у человека, прожившего большую жизнь. Тон наставника был чужд ему даже в том случае, когда беседа касалась такой специфической области, как древнекитайская литература, изучению которой Го Мо-жо посвятил едва ли не всю свою сознательную жизнь. Каждый раз, когда его высказывания должны были завершиться каким-то выводом, поэт прерывал рассказ, будто чего-то не договаривал. Го Мо-жо явно опасался, чтобы вывод, к которому он пришёл, не прозвучал слишком категорически для собеседника, не был бы навязчивым, — лучше, если вывод сформулирует сам собеседник.

Я радовался, что в этой беседе удалось установить хороший душевный контакт с поэтом.

Мы вышли из здания посольства вместе. Была ранняя весна, но молодые листья уже опушили деревья. У большого щита, установленного на перекрёстке улиц, толпился народ — в этот час здесь вывешивались военные сводки. Прошёл старик в военной фуражке: в одной руке он держал ведёрко с клеем, в другой — рулон бумаги. Он привычно мазнул по забору кистью и приклеил плакат. Тотчас к плакату устремился народ. Замедлил шаг и мы. Поэт заинтересовался, как горожане примут этот плакат. Го Мо-жо возглавлял в те годы знаменитый Третий отдел Национального военного совета, одной из функций которого являлась наглядная пропаганда. Я подошёл ближе, стараясь рассмотреть самый плакат, но мне был виден лишь цветной халат и воздетые к небу руки изображённого на бумаге «господина Вана». В те годы господин Ван был едва ли не самым популярным персонажем китайских военных художников. В его лице народ бичевал тех феодалов и буржуа, которые даже в суровую годину войны учитрились умножить своё состояние. Видно, и на этот раз господину Вану изрядно досталось — смех и иронические замечания то и дело слышались у забора.

Го Мо-жо улыбнулся, но всего лишь на мгновение, тотчас его лицо стало строгим,

— Война обострила интерес людей к политике, — произнёс он, — миллионы людей потянулись к книге. Они полагают, что книга сможет им правильно понять, что происходит в мире. К сожалению, у нас мало таких книг, ещё очень мало...

Го Мо-жо умолк, задумавшись. Когда он заговорил вновь, я понял, что всё время, пока он молчал, одна мысль владела его сознанием.

— Нам надо собрать всех писателей всенно, в один сильный кулак, и ударить по врагу... Собрать воедино...

И, уже пожимая мою руку, он заметил:

— У нас на днях будет большое собрание.. На нём будут все писатели, даже те, которые до сих пор ухитрились писать о красотах Ханчжоу и глазах императорских фавориток... Если сможете — приходите... Вам это будет интересно.

Через несколько дней это собрание состоялось. Оно происходило в одном из чунцинских кинотеатров и действительно собрало всех писателей: и тех, кто был близок к коммунистам, к стати, их было подавляющее большинство, и тех, кто был коммунистам враждебен.

Я пришёл в кинотеатр, когда собрание уже началось. На трибуне стоял Го Мо-жо.

Го Мо-жо говорил негромким, ровным и проникновенным голосом, но каждое его слово было слышно повсюду в зале — такая тишина стояла вокруг. Внешне спокойная речь Го Мо-жо была полна больших чувств.

Поэт говорил, что китайский народ не прекратит борьбы до тех пор, пока не будут полностью разгромлены японские захватчики и не будет возвращена вся потерянная земля, пока не будут возвращены «наши горы и реки».

— Мы, работники культуры,— говорил он,— должны собрать все свои силы для отпора японским разбойникам. Твёрдо стоять на своём посту! Сражаться до полного разгрома японского империализма!

Го Мо-жо говорил, что писатель, обладающий чувством человеческого достоинства и верящий в свои силы, не бросит своего оружия в самых трудных условиях и будет продолжать борьбу против чужеземных агрессоров, против озверевших самурайских орд. Шедевры, созданные искусством всех времён и всех народов, в том числе и китайского, глубоко отражают борьбу народа за свободу и независимость отечества.

По словам поэта, в первые годы антияпонской войны наиболее распространённым жанром, к которому обращались писатели, был художественный очерк, репортаж, зарисовка. Для второго этапа типично увлечение одноактными пьесами. На нынешнем этапе писатели стали глубже разрабатывать тему войны. Они всё чаще задают себе вопрос, как выдержать длительную войну сопротивления, какие условия необходимы для одержания победы и как создать эти условия. Появился более углублённый взгляд на события войны, стремление дать более широкую её картину, нарисовать не эскиз, а портрет воина. Писатели обратились к старым добрым жанрам, которые с начала войны были почти забыты, — роману, повести, рассказу.

Го Мо-жо вспомнил роман А. Варбюса «В огне» и сказал, что писатели, работающие непосредственно на фронте, должны готовиться к созданию больших полотен. Умение концентрировать своё внимание и способность чувствовать должны стать, по словам Го Мо-жо, главными качествами писателя. Очень важно, по его мнению, точно и верно записывать то, что увидел, что слышал, что явилось плодом раздумий над темой. Поэт подверг критике тех писателей, которые стремятся уйти от тем войны, стгородиться от народа. Он назвал их закоренелыми упрямыми и призвал их скорее вернуться к народу.

Зал отвечал на слова поэта аплодисментами. В том, как сильны и сердечны были эти аплодисменты, я почувствовал силу авторитета Го Мо-жо даже в такой далеко не монолитной среде, какой была эта аудитория. Впрочем, в зале сидели и писатели, но разделявшие точки зрения докладчика. Достаточно было окинуть ряды беглым взглядом, чтобы обнаружить их. Даже в минуту всеобщего энтузиазма, когда шквал аплодисментов поднимал на ноги зал, эти немногие оставались верны себе; развалившись в кресле, они охорашивали свои волосы или обнаруживали неожиданный интерес к более чем яркому лаку своих ногтей.

Поэт осудил тех критиков, которые каждую попытку создания произведений на исторические сюжеты рассматривают, как желание уйти от действительности, как отсутствие мужества взглянуть действительности в глаза. Поэт сказал, что народу, отстаивающему независимость своего отечества в суровом единоборстве с сильным и вероломным врагом, будет полезно и произведение на историческую тему, если оно помогает этой борьбе.

Го Мо-жо закончил своё выступление известным изречением Горького, что художник был и всегда остаётся лучшим сыном своего края, наиболее горячо и разумно любящим его... что в дни несчастий своей страны художник должен будить её героический дух.

Это собрание помогло сплочению прогрессивных сил китайской литературы. Глубоко задумался над смыслом своей работы в годы войны и сам Го Мо-жо. Поэт решил создать большое произведение, посвящённое борьбе народа за независимость отечества. Го Мо-жо считал, что он должен написать пьесу — действенная драматургическая форма, доступная широким массам народа, будет лучше всего способствовать распространению идей антияпонской войны. Но как преодолеть цензурные рогатки и назвагы вещи своими именами, как поставить перед зрителем проблемы, которые его глубоко волнуют, и не вызвать тревоги правительства? Поэт решил написать пьесу на материале древнекитайской истории, большим знатоком которой он был издавна.

Так возникла идея «Цюй Юаня».

В центре пьесы стоит великий китайский поэт Цюй Юань (340—278 лет до нашей эры), убеждённый и последовательный сторонник единого китайского государства. Цюй Юань — замечательный продолжатель народных традиций в китайской литературе, человек отстаивавший высокие принципы чести и справедливости. Верность отечеству, сыновняя любовь к родной земле возвысили творчество поэта, сделали его дорогим для народа.

Цюй Юань вошёл в историю Китая не только как замечательный поэт, но и как воинственный борец за собиране китайской земли в единое государство. Он считал, что только Китай, объединённый в единой федерации княжеств, способен сохранить свою независимость. Поэт принадлежал к аристократии царства Чу. Он занимал высокое положение при дворе и снискал славу выдающегося государственного деятеля. Свой авторитет и влияние при дворе он использовал в борьбе за создание единого федеративного китайского государства. Но у Цюй Юаня были опасные враги. Группа царедворцев, утвердившихся при дворе Чусского царя, по существу, представляла интересы соседнего царства Цинь, стремящегося к деспотии и захвату. Цюй Юань стал жертвой заговора наёмников. Он был отрешён от всех должностей и изгнан из столицы. После этого он ещё ближе познал нужды и страдания простого народа. С ещё большей страстностью прозвучал его протестующий голос. По свидетельству современников, голос Цюй Юаня стал в этот момент поистине голосом целой эпохи.

Жизнь и борьба великого поэта за собиране китайской земли были положены Го Мо-жо в основу сюжета пьесы о Цюй Юане.

Историческая хроника, к которой обратился Го Мо-жо, явилась удобной формой для выражения идей, глубоко волновавших современное китайское общество.

В чём же заключался скрытый смысл пьесы, её истинное содержание? Ответ на этот вопрос, на мой взгляд, даёт стихотворение Го Мо-жо «Пирамида зла», написанное незадолго до «Цюй Юаня» и очень точно раскрывающее настроение Го Мо-жо в ту пору, стихотворение, которое с полным основанием может служить эпиграфом к пьесе

Вы знаете?  
 Замерло сердце Китая.  
 Есть только гнев, но нет скорби,  
 Есть только пламя, но нет воды,  
 Даже могучие китайские реки  
 Стали сплошным потоком пламени,  
 И это пламя  
 Разве не сможет сжечь пирамиду,  
 Сложенную из преступных дел?

Это Чунцин, его туманы имеет в виду поэт, когда говорит:

Пора туманов давно прошла,  
 И солнце пылает над горным городом.  
 И раскалённым камням, наверно,  
 Снится сейчас ослепительный сон:  
 Они вспоминают прохладу моря,  
 Моря, которое здесь было  
 Много миллионов лет назад...

Но туманы, о которых упоминает поэт, имеют в его стихотворении явно аллегорический смысл:

Но откуда плывёт тяжёлый туман,  
Такой густой, что дышать трудно?  
Он подымается из тысяч пещер,  
И тысячи людей чёрными руками  
Закрывают себе глаза.  
И разве  
Темно сейчас и туманно  
В этот ясный и знойный день?

И ответ, который даёт поэт на этот вопрос в последних трёх строках стихотворения, более чем ясен:

Пирамида, сложенная из преступных дел.  
Видна  
Совершенно отчётливо.

Протест против тирании чунцинских правителей, зловещие дела которых поистине напоминают пирамиду зла, пирамиду преступлений, — вот истинное содержание этого стихотворения. В этом же и смысл пьесы Го Мо-жо.

Я бывал у Го Мо-жо, когда он работал над пьесой о Цюй Юане. Скромный деревянный дом, в котором жил тогда поэт со своей семьёй, находился в районе, населённом рабочим людом. Дом стоял у самой дороги. Его тонкие стены служили слабым препятствием и для жары и для холода. В ненастные зимние дни семье поэта стоило немалого труда обогреть это ветхое жилище. В такие дни супруга Го Мо-жо Юй Ли-цунь собирала ребят в детской, которая была теплее остальных комнат дома, а сама уходила в рабочий кабинет мужа. Совет и помощь Юй Ли-цунь были особенно нужны Го Мо-жо в работе над пьесой. Юй Ли-цунь, в недавнем прошлом драматическая актриса, сохранила горячую любовь к театру.

Пьеса писалась быстро. Поэт работал днём и ночью. Одетый в стёганку, он, не разгибаясь, просиживал за своим письменным столом по несколько часов сряду. Иногда он поднимался и уходил в детскую, чтобы поиграть с детьми, — тогда их было у Го Мо-жо трое: дочь и двое сыновей.

В иные часы поэт подходил к длинному столу, который стоял тут же в кабинете, и развернув свиток рисовой бумаги, пододвигал бамбуковый стакан, наполненный толстыми кистями. В течение получаса поэт набрасывал несколько каллиграфических панно, исполненных необыкновенной гармонии. Нельзя было без восхищения наблюдать за тем, как работал в этот момент поэт. Толстая колонковая кисть стремительно облетала бумагу, оставляя затейливую вязь иероглифов. Знаки возникали столь быстро, словно их густочёрные сплетения были уже набросаны невидимой тушью, а сейчас проступали на чистой поверхности свитка. В этом удивительном письме поражало не только написание иероглифов, но и то, как пропорционально они размещались на свитке, точно соответствуя размерам и форме бумаги, неизменно образуя какую-то фигуру, которая в свою очередь была и легка и изящна.

Следует заметить, что искусство каллиграфии ценится в Китае едва ли не выше, чем искусство живописи. Имена знаменитых каллиграфов почитаются в Китае так же как и имена прославленных графиков и живописцев. Китайские искусствоведы считают, что IV—V столетия нашей эры, отмеченные необыкновенным развитием каллиграфии, были золотым веком китайского искусства. По мнению китайцев, каллиграфия так же как и музыка, является выражением эмоций. Они ценят в ней четыре её главных качества: 1. шэнь — стиль, полный энергии и жизненности; 2. ци — строгость, силу ударов кисти; 3. юнь — ритм или равновесие и 4. вэй — эстетическое качество.

Каллиграфические панно, созданные выдающимися мастерами этого дела, являются величайшей ценностью и переходят из поколения в поколение. Они нередко украшают стены лучших музеев страны. В Китае и сегодня существует множество больших и малых любителей каллиграфии, владеющих собраниями работ знаменитых каллиграфов. Такой любитель считает необходимым поставить на поле свитка свою фамильную печать — авторитетное свидетельство того, что и он владел этим сокровищем. На неко-

торых панно великого китайского каллиграфа Ван Си-чжи (IV век нашей эры) можно насчитать до сорока таких печатей. В Китае было традицией, когда выдающийся поэт являлся одновременно и не менее выдающимся каллиграфом. В этой связи не случайно, что большое дарование Го Мо-жо соединило в себе и эти качества.

Я любил наблюдать, как поэт работает и каллиграфические панно, одно изящнее другого, выходят из-под его кисти.

А между тем работа над «Цюй Юанем» быстро продвигалась.

Однажды я сидел в домашней библиотеке поэта, просматривая словари. Среди книг Го Мо-жо было много словарей, раскрывающих богатства языка. Поэт работал в кабинете. Неожиданно послышался звук отодвигаемого стула и более быстрые, чем обычно, шаги поэта.

— Вот досада, — произнёс Го Мо-жо, протягивая мне свою ручку, — сломалось перо... Если бы я был немножко суеверен, то мог бы подумать, что это не к добру...

Я быстро достал свою ручку.

— Вот вам моё перо...

Поэт взял ручку и быстро вернулся в кабинет. Мне показалось, что он торопится перенести на бумагу мысли, которые владели им в этот миг.

Буквально через минуту он вернулся. Лицо поэта светилось радостью. Его улыбка, такая юношески ясная, была особенно хороша в эту минуту. Он протянул мне перо.

— Этим пером, — улыбаясь, произнёс поэт, — только что был дописан «Цюй Юань»...

Я был счастлив поздравить поэта с окончанием работы.

Пьесу принял столичный драматический театр. Началась работа над спектаклем. Однако экземпляр пьесы, посланный в цензурный комитет, долгое время не возвращался оттуда. Очевидно, цензура и распознала истинный смысл произведения и запрещать его к постановке не решалась. Подлинное содержание пьесы было скрыто так искусно, что внешних поводов к запрещению нельзя было найти. Цензура приняла тактику проволочек и весьма успела в этом: работа над спектаклем уже заканчивалась, а разрешения на постановку всё ещё не поступило. Но весть о новой пьесе Го Мо-жо уже стала достоянием общественности, и по её требованию долгожданная виза цензурного комитета, наконец, была получена.

Премьера «Цюй Юаня» собрала весь цвет прогрессивной китайской интеллигенции и прошла с успехом, который редко выпадал на долю современного китайского драматурга. Первое же представление пьесы убедительно свидетельствовало, что её ждёт большой успех. Правда, внешнее оформление спектакля получилось скромным: театр перебирался в Чунцин весьма поспешно, и его декорации, реквизит, гардероб были беднее обычного. Зато на высоте были актёры.

Сейчас мне трудно выделить кого-либо из них — весь ансамбль действовал великолепно. Помнится, спектакль воспринимался одним дыханием — он шёл в хорошем темпе: с неослабевающим интересом зал следил за развитием действия. Философские монологи и особенно стихи Цюй Юаня, рассыпанные в пьесе, органически вплетались в развитие сюжета, не ослабляя живого восприятия произведения. Чудесно звучала «Ода мандариновому дереву»:

Нам ниспослала дерезо природа —  
 Плодами верно служит нам оно.  
 Навек непреклонным рождено,  
 Взрастает лишь под южным небосводом.  
 Прозрачный сок течёт в его стволе,  
 Блестит листва и нежится в тепле...  
 Несокрушима крепость гордой воли —  
 Привязанность его к родной земле...  
 О будь таким, как этот сад в расцвете,  
 Сердечной дружбе не страшны года,  
 Мой юный друг, останься навсегда  
 И верой твёрд и помыслами светел...

Рядом со мной сидел гоминдановский генерал — рыхлый и малоподвижный. Всё время, пока шёл спектакль, буйно разросшиеся брови генерала были угрюмо сдвинуты:

генерал мучительно вдумывался в то, что происходит на сцене. Справедливость требует отметить, что иногда и иное выражение посещало угрюмое чело гоминдановского вояки, например, улыбка. Но даже и он в конце концов проник в существо пьесы и понял её истинный смысл.

Когда оклеветанный Цюй Юань восклицает, обращаясь к царской чете: «Вы погубили царство Чу и всю нашу священную землю», глаза генерала настороженно округлились, и он заметно подался вперёд. У него явно испортилось настроение, когда эти же слова повторил рыболов. Но всё это было лишь прелюдией к тому, что произошло с моим соседом во время знаменитого монолога Цюй Юаня, обращённого к буре. В этой сцене трагический пафос пьесы достигает большой силы. В неистовстве бури, в горячей исповеди, с которой гонимый, затравленный врагами человек обращается к силам природы, есть что-то шекспировское. Не случайно критики сравнивали эту сцену со сценой грозы в «Короле Лире». Надо было видеть, как слушал этот монолог генерал. Его смутила уже первая фраза: «О великие стихии вселенной, о бури и грозы, о громы и молнии!.. Всепоглощающим огнём уничтожьте этот мир жестокостей и мрака!» Генерал запыхтел и забеспокоился — он оглядел соседей недоуменным взглядом, когда Цюй Юань произнёс: «О гроза!.. Унеси меня на острова, где нет коварства и подлости, алчности и себялюбия... А вы, вершители людских судеб, обманывающие народ! Вон из лодки, прочь с облаков, всех вас надо сжечь, сжечь, сжечь!» Аплодисменты, которые то и дело вспыхивали в зале, только усиливали смятение генерала.

Зрителям был понятен мир символов в пьесе Го Мо-жо. И всё же прошло много лет, прежде чем поэт получил возможность объяснить их смысл открыто.

Говоря об эпохе гоминдановской деспотии, Го Мо-жо отмечал, что китайское общество оказалось в те годы на грани великих перемен. На глазах поэта разыгрался целый ряд трагедий, больших и малых. Много патриотов и революционеров бесследно исчезли, многие были брошены в концентрационные лагеря. Это вызвало гнев у прогрессивных людей Китая, и поэт, по его признанию, стремился выразить этот гнев, изображая эпоху Цюй Юаня. «Иными словами, — замечал он, — я использовал эпоху Цюй Юаня для символического изображения современности».

Общественное значение пьесы было хорошо понято зрителями. Спектакль имел большой успех. Зрители горячо приветствовали актёров, вновь и вновь поднимался занавес. Аплодисменты возобновились с новой силой, когда на сцену был вызван автор.

После спектакля поэт остался в театре. У меня сохранился фотоснимок, сделанный в этот счастливый вечер. Го Мо-жо запечатлён на нём, окружённый актёрами. Волнение, счастливое волнение, которое мы видели на лице Го Мо-жо, когда он поднялся на сцену, видно на этом снимке.

Успех пьесы встревожил власти. Была сделана попытка ограничить число спектаклей «Цюй Юаня». Был найден предлог — в помещении, где шёл «Цюй Юань», предполагалось открыть кинотеатр. Но этот манёвр не удался — спектакль продолжал идти. В Чунцине он прошёл тридцать раз, что в тот момент для этого города было рекордным. Вскоре пьеса была принята многими провинциальными театрами и с тех пор прочно вошла в их репертуар. Театральный коллектив, впервые поставивший «Цюй Юаня», играет её и сегодня. Ныне пьеса «Цюй Юань» является украшением столичного репертуара в Пекине.

Весной 1945 года по Чунцину разнеслась весть, вызвавшая более чем оживлённые толки: Го Мо-жо приглашён в Москву.

Это была необыкновенная весна. Могучий грохот артиллерии, крушившей немецкую оборону на Одере и Нейсе, воспринимался, как шум реки в радостную пору ледохода, как раскаты первой весенней грозы, несущей цветение земле и изобилие человеку. С далёкого Запада, с силезских и трансильванских полей, где Советская Армия добивала врага, шли вести одна лучше другой, и от этого китайская весна казалась ещё щедрее на тепло и зелень.

Было всё яснее, что эта весна будет последней военной весной, а этот год — годом окончания войны. Потому поездка крупнейшего современного поэта Китая в Советский Союз приобретала более чем символическое значение. Важность её увеличивалась ещё и от того, что это был едва ли не первый выезд Го Мо-жо из Чунцина за время войны.



приказом властей поэту было запрещено покидать город. В этих условиях поездка в СССР могла быть воспринята и в Китае и за его пределами как своего рода вызов гоминдановскому деспотизму, как демонстрация верности поэта высоким принципам демократии и прогресса.

Всё это отлично понимали и друзья и враги поэта. Друзья воспользовались случаем, чтобы приветствовать поэта, а враги... отношение врагов с исчерпывающей полнотой обнаружилось в день отъезда поэта.

Го Мо-жо отправлялся в Советский Союз обычным рейсовым самолётом, связывающим Китай с Европой: надо было лететь через Гималаи, Индию, Иран.

Проводы были весьма торжественными: на аэродроме собрались друзья поэта и почитатели его таланта. Среди провожающих были многие писатели. Поэт простился с провожающими и направился к самолёту, мощный корпус которого уже сотрясали заведённые моторы, как вдруг таможенные власти установили, что разрешение на выезд Го Мо-жо ими ещё не получено.

Это открытие было столь внезапным и ошеломляющим, что поэт от неожиданности лишь многозначительно улыбнулся. Го Мо-жо попросил навести необходимые справки в министерстве, но чиновники только снисходительно осклабились. До отхода самолёта оставались считанные минуты — поездка явно срывалась. Но в этот момент о неожиданном открытии таможенных властей узнали многочисленные друзья поэта, собравшиеся на аэродроме, и произошёл такой взрыв возмущения, что от нагло-равнодушного тона таможенных чиновников не осталось и следа. Самолёт был задержан, все телефоны аэродрома приведены в действие, и разрешение на вылет получено.

Го Мо-жо улетел в Москву.

Поэт проехал по освобождённой советской земле, побывал в Москве, Ленинграде, Сталинграде. Советская страна, только что изгнавшая орды захватчиков, приступала к мирному, созидательному труду.

Го Мо-жо прошёл по улицам Сталинграда, обращённым в пепел. Он долго бродил по полям великой битвы, в глубоком волнении стоял на берегу Волги, глядя на реку, на город. Может быть, в эти минуты возникли в его сознании стихи:

За рекою — город-герой. Я стою и смотрю на закат,  
И зелёные листья берёз далеко мои думы манят...  
Красно-жёлтые воды вдаль, расстилаясь, река несёт,  
И, меняя краски, заря заняла собой небосвод,  
Всё — как будто вернулся я в отчий дом, к родимым местам.  
Дорогая моя река, — Волга ты или Янцзыцзян?

Возвратившись на родину, поэт написал книгу «В СССР». Он назвал поездку в СССР самым незабываемым событием своей жизни.

«Как отраднo,— писал он,— сознание того, что моя многолетняя заветная мечта могла осуществиться. Ещё отраднее то, что все мои идеалы нашли своё воплощение в живых образах, виденных мною в Советском Союзе».

А между тем в своих мыслях я всё чаще обращался к спектаклю, который видел в Чунцине. У меня возникло желание перевести «Цюй Юаня» на русский язык. Работа увлекла меня, но оказалась сложнее, чем я предполагал вначале. Действие в пьесе происходит две с лишним тысячи лет тому назад — это не могло не сказаться на лексике произведения. Пьеса написана прекрасным современным языком, но в ней есть места, где поэт широко использовал давно утраченные крылатые слова. Это особенно относится к монологам самого Цюй Юаня и к сценам, воссоздающим обряды древнего Китая, в частности обряд «Призыв души».

Я начал переводить «Цюй Юаня» в Чунцине и продолжал эту работу в Нанкине, вновь ставшем столицей.

В работе над переводом сложных мест во многом мне помог бы совет и дружеское слово самого Го Мо-жо, но поэта я видел теперь нечасто — события в стране развивались стремительно. Весной состоялся седьмой съезд компартии. Он призвал народ к мобилизации всех сил на борьбу с захватчиками и разгром японского империализма. Съезд потребовал покончить с однопартийной диктатурой гоминдана и создать коалиционное правительство, представляющее все слои общества, объединившиеся

в борьбе с империализмом и феодализмом. Призыв съезда с вдохновением встретили все слои китайского общества, которым была дорога независимость отечества. Прогрессивные организации, в том числе и Ассоциация писателей, возглавляемая в то время Го Мо-жо, использовали своё влияние, чтобы сплотить народ. У Го Мо-жо было много работы, и он часто отлучался из столицы. Я всё реже видел его, однако продолжал работать над переводом, намереваясь ознакомить с ним поэта, когда работа будет закончена хотя бы вчерне.

Лето 1946 года было особенно знойным. Нанкин оживал в те немногие часы раннего утра, когда остывали асфальт и камень. Уже в двенадцатом часу город будто бы вымирал: тяжёлые замки на дверях магазинов и полужащённые витрины берегли тишину. Редко-редко, прячась в негустой тени деревьев, пройдёт прохожий или прошуршит лимузин и умчится за город, навстречу лесистым горам, синеватая полоска которых видна из города. Гоминдановские чиновники, и при иной погоде не отличавшиеся трудолюбием, в знойные дни лета бежали из города. Многотрудные свои дела они предпочитали вести на берегу рек и в тени дубрав.

В один из этих дней я работал дома над переводом «Шюй Юаня». День уже клонился к вечеру, но это обнаруживалось не столько по температуре воздуха, сколько по положению солнца, — жара продолжала оставаться свирепой. Я сидел и пытался перевести пространную авторскую ремарку ко второму действию пьесы, в которой дано подробное описание девяти танцоров в масках, каждый из которых олицетворяет мифических духов — солнца, любви, облаков, человеческих судеб и т. д. Пока я единоборствовал с мудрёными именами героев китайской мифологии, в дверь кто-то постучал.

На пороге стоял Го Мо-жо. Лёгкий костюм из тонкой рогожки, в который он был одет, не ослабил действия палящего нанкинского солнца — пот катился с лица поэта градом.

— О вы, русские, непостижимы в своём усердии, — произнёс Го Мо-жо, разводя руками. — Над чем можно работать в такую жару?

Я указал на письменный стол, где лежала раскрытая книга.

Поэт протянул руку, чтобы взять книгу, но тотчас же отнял руку — он понял всё.

— Тем более вы не заслуживаете оправдания, — произнёс Го Мо-жо, улыбаясь, но я видел: ему было приятно, что книга, которая лежала в эту минуту на столе, была его созданием, его детищем.

— И далеко вы уже ушли? — спросил он, располагаясь у стола.

— Да вот сражаюсь с вашими духами..

— Попробуем одолеть их вместе.

Поэт попросил разрешения снять пиджак, повыше засучил рукава и сел за стол. Работа шла быстро. Закончив перевод авторской ремарки, я решил расшифровать тексты стихов Шюй Юаня, которые даны в пьесе на древнекитайском языке. Го Мо-жо взял чистый лист бумаги и тут же перевёл все стихи на современный язык. Я обратил внимание на то, что все тексты были написаны им начисто, при этом почти без поправок.

Мы закончили работу вечером и отправились в город. Только что прошёл дождь, наконец-то повеяло прохладой. Наша машина приблизилась к Янцзы. Река была невозмутимо спокойной — ни одна волна не колебала её поверхность. Могушая, она молча катила свои воды на восток.

— Как народ, спокойная и неслышанно сильная... — сказал поэт, глядя на реку, и, помолчав, добавил: — Но она бывает иной, как и народ...

Мы обогнули порт и поднялись в город. В этот вечер на улицах Нанкина царил оживление; болеелюдно, чем обычно, было в ресторанах и кафе, которых много в кварталах, прилегающих к паркам.

Слева показались огни ресторана, носящего имя поэта Ли Бо. Этот ресторан славился в Нанкине своими чудесными рыбными блюдами. Особенно большим успехом здесь пользовались блюда, приготовленные из шийюй. Летом эта рыба проходила Янцзы, и в ресторане «Ли Бо» число посетителей заметно увеличивалось. Но, разумеется, не чудесная рыба собирала здесь каждый вечер литературный Нанкин. Всё чаще в стихах, которые можно было услышать здесь, звучали революционные мотивы.

Окна ресторана были открыты. Молодой голос, чистый и вдохновенный, читал стихи:

Лети,  
     мой стих,  
                     в сырой окоп солдатский  
 И говори ему, что он светлей,  
 Чем государство,  
                     скованное рабством...

Это были стихи из поэмы Тянь Цзяня «Тем, кто сражается». Они были написаны в суровую пору чужеземного нашествия и обращены против японцев. Но японцев изгнали, а государство, «скованное рабством», осталось, и эти стихи попрежнему звучали так же часто, как и в годы оккупации, но теперь они были обращены не только против японцев. Вольнодумство, которым отличался ресторан «Ли Бо», настораживало власти. Со всё большим подозрением они относились к ресторану и к его рыбным блюдам. В городе острили, что в ресторане «Ли Бо» рыба шиной подаётся под красным соусом...

В стране зрели грозные и радостные события. Народный Китай, сокрушая сопротивление предателя Чан Кай-ши, шёл к победе. В эти предгрозовые дни деятельность Го Мо-жо — революционера, народного трибуна, борца за народное счастье — стала особенно активной. Поэт часто выступает перед народом, не боясь репрессий. На площади Цзяочанкоу в Чунцине митинг, на котором выступил Го Мо-жо, подвергся жестокому нападению тайных агентов. Поэт был ранен — друзья на руках унесли его с площади.

Незабываемое впечатление оставило выступление Го Мо-жо в Шанхае. Собрание, на котором выступил поэт, происходило в памятный день 19 октября 1946 года, когда весь прогрессивный Китай отмечал десятилетие со дня смерти Лу Синя. Положение в стране было исключительно напряжённым. Только что стало известно о зверской расправе гоминдана над активными деятелями Демократической лиги Ли Гун-цун и Вэнь И-до. Были закрыты представительства компартии в Нанкине, Чунцине и Шанхае. Власти готовили запрещение коммунистических газет, в том числе «Синьхуажиао».

Стоит ли говорить, какую тревогу вызвала у шанхайских властей весть об этом митинге. Я шёл на митинг по улицам, запружённым войсками. На перекрёстках улиц стояли грузовики с пехотой, то и дело проносились мотоциклы с полицейскими, в тени платанов, уже начавших ронять обильную листву, стояли толпы американских солдат — в случае необходимости они призваны были помочь шанхайскому гарнизону.

Глядя на военных, осадивших скромное здание кинотеатра, я ощутил чувство гордости за Лу Синя — даже через десять лет после своей смерти он был страшен для врагов.

Не без труда мне удалось проникнуть в зал кинотеатра. Осмотревшись, я увидел, что в зале находятся многие выдающиеся представители шанхайской революционной интеллигенции и среди них — писатель Мао Дунь, известный популяризатор советской литературы в Китае профессор Цао Цзин-хуа, вдова Лу Синя Сюй Гуан-пин, выдающийся шанхайский адвокат Шэн Цзюнь-жу, недавно освобождённый из неволи, и многие другие. Позже остальных в зале появился Го Мо-жо, и тотчас был окружён студенческой молодёжью, которая сердечно его приветствовала.

То, что я услышал в этот вечер в шанхайском кинотеатре «Лафайет», мне никогда до этого не доводилось слышать в Китае с открытой трибуны — так откровенно революционны и непримиримо гневны были речи. К огромному портрету Лу Синя, который возвышался на сцене, выходили один за другим китайские писатели, и их речи, почти всегда обращённые к великому писателю и революционеру, напоминали клятву, страстную клятву самоотверженно бороться за свободный Китай. Пренебрегая тем, что в зале наряду с друзьями находились и враги, а кинотеатр был охвачен железным кольцом полиции, писатели звали народ под знамёна свободы, под красные стяги коммунистов.

Незабываемую речь произнёс Го Мо-жо. Он начал свою речь в спокойной манере:

— Вот уже десять лет, как Лу Синь ушёл от нас...

Но дальше произошло нечто необычное. Скажу откровенно: я не узнал поэта в этот раз: ни его манеры говорить с трибуны, ни его голоса. Тогда в Чунцине, на собрании Ассоциации писателей, речь поэта была похожа на речь старшего товарища, учителя; он аргументировал, он объяснял. Сейчас это был трибун, в словах которого kloкотал гнев к врагу, ненависть. Нет, в эти годы антияпонской войны изменения произошли не только в сознании тех китайских интеллигентов, которых слачивал Го Мо-жо, но и в натуре самого поэта. Годы борьбы с врагом преобразили Го Мо-жо, его характер стал острее, воинственнее.

— В мире произошли большие перемены, — говорил поэт. — Очень большие перемены произошли и у нас в Китае. Фашизму, который проклинал Лу Синь, нанесён сильнейший удар, а народные силы, прославленные Лу Синем, ныне одержали блестящую победу...

Поэт говорил, глядя на изображение Лу Синя. То и дело в горячем слове поэта проскальзывали глубоко сокровенные, личные нотки. Это было похоже на разговор ученика с учителем, на исповедь младшего перед старшим. Го Мо-жо так и сказал, обратившись к портрету Лу Синя: «Здесь, перед изображением Лу Синя я могу с чистой совестью говорить с вами...»

И эта речь прозвучала поистине как исповедь. Поэт говорил о том, как в 1927 году, вскоре после того, как революция потерпела поражение, он уехал в Японию и прожил там десять лет. Он вспомнил, как взбунтовалось всё его существо, когда 7 июля 1937 года японцы спровоцировали инцидент у моста Лугоуцяо и напали на Китай. Через две недели после инцидента он на иностранном торговом пароходе бежал из Японии. В предвечерние сумерки, всматриваясь в неясные очертания китайских берегов, обозначившихся впереди, поэт думал о родине, на необозримых просторах которой шла сейчас борьба за свободу, за независимость, поэт думал о Лу Синем — душе Китая. Здесь, на пароходе, на рифмы Лу Синя он написал своё известное стихотворение «Возвращение на родину». В этих стихах он излил всю свою душу. Он писал их со слезами на глазах:

...Десять лет на чужбине  
я прожил в мучительном горе.  
Без жены, без детей —  
одиноким и сиротливо,—  
Но взошёл на корабль  
и к родным берегам возвратился.

Счастлив я, что в Китае  
окончатся дни моей жизни,  
Со слезами волненья  
пишу я сердечные строки,  
Миллионы китайцев  
вступили в сраженье с врагами —  
Все мы сердцем едины,  
и все в солдатской шинели.

С большой проникновенностью и силой поэт говорил о Лу Синем, о его способности слачивать всех, кому дороги судьбы Китая. «Духовным маяком» назвал он Лу Синя. «Вот уже десять лет, как Лу Синя нет с нами, но его дух всегда ведёт нас вперёд. Это дух активного служения народу, непоколебимый дух ударной борьбы со всеми антинародными силами».

Мощно, воинственно, непреодолимо прозвучали в этом зале, окружённом нарядом полицейских, слова Мао Цзэ-дуна, которые привёл в своей речи поэт: «Направление Лу Синя — это направление новой культуры китайского народа». Прямо глядя в зал, поэт пояснил изречение Мао: «Это очень веские слова. В чём же заключается направление Лу Синя? В служении народу и в решительном отказе от компромисса с антинародными враждебными силами».

Для всех, кто был в этот момент в зале, было ясно, что этими словами поэт заявлял всем — и друзьям и врагам — о своей солидарности с коммунистами, которые, отвергая всякий компромисс с врагом, звали народ к борьбе за свободный, независимый Китай.

Я возвращался из кинотеатра под впечатлением слышанного. Уже давно закончилось собрание и разошлись его участники, а на улицах ещё стояли полицейские, будто и без людей улица не потеряла способности клокотать и возмущаться.

Прошло много лет. В Китае победила революция, и поэт стал бывать в Москве. Одному из его последних приездов в столицу предшествовало более чем знаменательное событие: за выдающиеся заслуги в деле борьбы за сохранение и укрепление мира Го Мо-жо была присуждена международная Сталинская премия.

Вечером, накануне вручения поэту премии, я посетил его.

Мы долго стояли у окна и смотрели на вечернюю Москву. Весна уже пришла в город, и синеватые глыбы снега были видны лишь в сумеречной мгле Александровского сада. Небо над Кремлём было по-апрельски просторным, глубокой и чистой синевы. Высоко-высоко над городом в негустой тьме весеннего вечера рождались звёзды. Я вспомнил юношеские стихи поэта:

О мать-земля!  
Я думаю, что звёзды —  
Лишь призрачные тени наших глаз,  
И только ты есть истина живая...

Очевидно, облик Кремля, зубчатая стена которого обозначалась в полутьме, обратил мысли Го Мо-жо к событию, которое должно было произойти в его жизни завтра. Поэт заговорил о том, как мало, непростительно мало он успел сделать и как напряжённо надо трудиться, чтобы наверстать упущенное. И, словно в ответ мне, он вдруг прочёл несколько стихотворных строк. Я узнал в них последнюю строфу стихов, что пришли мне на память только что:

О мать-земля!  
Я буду неустанно  
Всю жизнь свою работать, как и ты,  
И у тебя труду всегда учиться!

Нет, абстрактному блужданию в холодной выси поэт явно предпочитал дела насущные, земные. И незаметно наш разговор возвратился в сферу наших обычных интересов.

Поэт уже знал, что его «Цюй Юань» принят к постановке одним из московских театров. По просьбе театра я ознакомил в этот вечер поэта со сценическим вариантом пьесы. Я сообщил Го Мо-жо, что театр предполагал дать несколько пространнее начало четвёртого действия, где Цюй Юань беседует с рыбаками. Театр хотел бы, чтобы своеобразным вступлением к этой беседе со сцены прозвучала песня рыбаков, короткая, проникновенная, но вместе с тем социально острая, написанная в духе «Цюй Юаня».

Поэту понравилась эта мысль, и он тут же написал «Песню рыбака». Тщательно, без какой-либо спешки поэт набросал первый вариант песни, так же не спеша, будто наслаждаясь процессом писания, выправил текст. Потом прочёл его ещё раз и, наконец, старательно перебелил. Несмотря на то, что песня возникала на бумаге медленно и трижды была переписана, работа над песней заняла у поэта меньше часа.

Вот её текст:

Пахарь голодный  
Гнётся над тощим полем.  
Сеял пшеницу,—  
Собрал только пот да горе.  
Сборщик налогов  
Зато попирует вволю...

Замерло всё,—  
Спит во дворце вельможа,  
Даже комар  
Мягкой не тронет кони —  
Слабая тварь  
Сильных кусать не может..  
Жаден богач,—  
В фазе ни крошки хлеба.

Царь во дворце  
 Добрым ни разу не был.  
 Бог в небесах —  
 Как далеко до неба.  
 Как далеко до неба...

На другой день я был в Кремле, где академик Д. В. Скобельцын вручил Го Мо-жо почётный знак лауреата международной Сталинской премии. Под высоким куполом Свердловского зала Кремля, то нарастая, то медленно спадая, гремели аплодисменты. Много друзей приветствовал в этот день Го Мо-жо, и среди них — русские академики Несмеянов и Греков, старый друг Го Мо-жо китайский прозаик Мао Дунь, корейский писатель Ли Ги Ен. Они приветствовали в лице Го Мо-жо сына Китая, мужественного борца за мир.

В этот день в Москве было чудесное утро — тёплое и солнечное. Сильный свет входил в скрытые от глаз окна Свердловского зала и мягко растекался по стенам. Казалось, что стены утратили твёрдость и весомость и дали простор сиянию весеннего дня.

Когда поэт поднялся на трибуну, аплодисменты вспыхнули вновь. Поэт говорил о решимости великого народа бороться против угрозы новой мировой войны, о его верности великому делу защиты мира:

И вот ответственности полон, великой чести удостоен,  
 Я на весь мир скажу открыто, скажу как гражданин и воин:  
 Решимость моего народа растёт всё твёрже и всё шире,  
 Не пожалеть любых усилий для укрепления мира в мире...

Выйдя из Кремля и едва вступив на Красную площадь, поэт на какой-то миг остановился и обратил взгляд задумчивых своих глаз далеко вперёд. Он смотрел на восток — там был Китай. В эту минуту мысли поэта были обращены к нему. Поэт думал о своём народе, который наперекор всем невзгодам, титанически ломая преграды, шагал к своей светлой цели.

### МАО ДУНЬ

В те дни внимание всего мира было приковано к Шанхаю.

Ещё совсем недавно чтение газет начиналось с телеграмм об обороне Мадрида; теперь читатель раскрывал газеты с мыслью о Шанхае.

«Враг тщетно атакует Шанхай, — сообщали газеты. — Шанхай держится, Шанхай отражает натиск врагов».

В эти дни мы интересовались каждой книгой, которая помогла бы нам понять сложный мир Шанхая, заглянуть и в великолепные палаццо компрадора, мечтающего о падении города, и в трущобы докероз и кули, чьей любовью к городу и чьим мужеством держался Шанхай. Однако таких книг было мало, вернее, их почти совсем не было. Исключение составлял роман «Цзые», который давал необыкновенно яркую картину жизни современного Шанхая. Книга передавалась из рук в руки, она, как принято было говорить у нас в институте, «шла по кругу».

Автор «Цзые» Мао Дунь был известен советскому читателю и по своим прежним произведениям. Его монументальная трилогия «Затмение», несмотря на некоторые спорные положения, которые в ней содержались, была расценена как крупное явление в литературной жизни Китая. Лучшее, что было в этой трилогии, Мао Дунь развил в цикле своих романов и повестей, написанных позже: «Радуга», «Трое», «Цзые». Книги Мао Дуна явились своеобразной энциклопедией жизни Китая двадцатых и отчасти тридцатых годов. Ни один другой китайский писатель не создал столь широкой картины современного китайского общества, не нарисовал такой обширной галереи образов современников, не поставил столько проблем, как Мао Дунь.

Роман «Цзые», несомненно, был сильнейшим из всего, что создал в те годы писатель.

В этом романе Шанхай с его социально разноликим миром, контрастами и противоречиями нашёл в лице Мао Дуна талантливого летописца. Вторжение англо-амери-

канского капитала в Китай, столкновение интересов иностранных и китайских буржуа, новое наступление на права трудящихся — всё это показано на примере Шанхая, где каждое из социальных явлений было предельно обнажено. Роман заставляет почувствовать тревогу за целостность китайской земли, он зовёт китайских патриотов к сплочению и проникнут верой в светлую судьбу народа.

В отличие от некоторых других произведений роман Мао Дуня «Цзые» был полон радостных, жизнеутверждающих настроений. Это сказалось даже в названии романа. «Цзые» значит предрассветный час. «Перед самым рассветом, — говорит один из героев романа, — всегда наступает такая минута, когда тьма кажется особенно глубокой».

Дав роману такое название, писатель как бы сказал: хотя тьма глубокой ночи и разлилась по китайской земле и, кажется, ни единый проблеск наступающего дня не потревожил неба, но эта ночь совсем не безысходна. Потому так тревожно стусились ночные тени, что близок приход солнца. И хотя, выражаясь словами поэта, «на страдающем теле народа глыбой ночная усталость лежит», человек уже видит зарю, видит рождение дня, нового дня:

...Но  
Всё же я встал.  
Распахнул окошко.  
И как узник, вдруг увидевший свет,  
Глазами его, не привывшими к свету,  
Смотрю на рассвет,  
Настоящий рассвет!

Эти стихи известного китайского поэта Ай Цина могли быть поставлены эпитафией к роману «Цзые».

А между тем роман обошёл моих товарищей и «замкнул круг». И, как это всегда бывает после истинно талантливой книги, которая входит в твоё сознание и долго, очень долго влияет на твоё восприятие мира, я ещё много времени чувствовал незримое присутствие этой книги.

Радостное мироощущение автора, великолепное знание им китайской действительности помогли нам, советским людям, увидеть в жизни Китая то, что было нам не известно прежде.

На редкость живописно Мао Дунь нарисовал деловой мир Шанхая, сложные перипетии борьбы за обладание шанхайской биржей. Здесь и компрадор Чжи Бо-тао, для которого нет божества почитаемое и выше, чем золотой телец; и средний буржуа У Сунь-фу, которого жажда наживы толкнула на борьбу с компрадорами, а боязнь революции заставила отступить от этой борьбы; и фабрикант Чжоу Чжун-вэй, краснобой и псевдопатриот, торгующий интересами родины; и светская львица Лю Юй-ин, готовая пойти в наём ко всем большим и малым хозяевам Шанхая.

Это банка с пауками. Здесь все законы сводятся к одному: кто первым вопьётся в другого.

Мои друзья и я, с большим интересом прочитавшие тогда роман Мао Дуня, не раз задавали себе вопрос: каким образом писатель проник в этот мир, обнаружил его скрытые пружины, раскрыл его тайны.

Но на этот вопрос мог ответить только сам писатель...

Я прибыл в Китай зимой 1940 года.

Наш самолёт пролетел над заснеженными русскими полями, Казахстаном и вошёл в Китай с запада — где-то в районе Кульджи. Вот уже добрых два часа мы летели над китайской землёй, а слитный массив снега не обрывался. Он лежал цельной массой, спёкшейся и блестящей. Редко-редко снежный панцырь этой пустыни вспарывала неровная линия реки или извив невысокого взгорья — слабая ветвь Тянь-Шани.

Глядя на эту полупустыню, занесённую снегом, трудно было поверить, что перед нами расстилается сказочно богатый край, быть может, один из самых богатых в Китае. Недра Синьцзяна хранят едва ли не все сокровища, которыми богата земля. Нефть лежит здесь единым массивом, протянувшимся на сотни километров. Во многих местах

края есть золото; здесь представлено целое созвездие цветных металлов: серебро и медь, свинец и цинк, молибден, вольфрам, марганец. Яшма, из которой делают свои чудесные изделия китайские мастера, добывается тут. В горах этого края есть соль и гипс.

Синьцзян сослужил добрую службу своей стране в годы японского нашествия. Расположенный в глубоком тылу, неуязвимый для врага, он был для Китая и Уралом и Сибирью, снабжая страну нефтью и хлебом, цветными металлами и мясом.

Сокровища синьцзянских недр лежали бы мёртвым кладом, если бы не помощь Советской страны, её техники, её кадров. Именно Советскому Союзу Китай был обязан быстрым расцветом этого края: менее чем в пять лет под руководством наших учёных и инженеров в далёком углу китайской земли были возведены нефтепромысла, рудники, заводы.

Труженики этого края были глубоко благодарны советским людям. Несмотря на сопротивление гоминдановских властей, советско-китайские технические связи достигли здесь немалого размаха. Относительно быстрое преуспевание края было лучшим доказательством того, что связи эти были плодотворными. Центром большой работы, которая велась в те годы советскими людьми в Синьцзяне, был город Дихуа, или Урумчи.

Мы прибыли в Дихуа за полночь, и я использовал остаток дневного времени, чтобы ознакомиться с городом. Дихуа ещё напоминал те пустынные поселения, которые возникают в среднеазиатских степях вокруг оазисов — беспорядочное скопление глиняных жилищ, зарывшихся в землю чуть ли не по самые окна. Но центр уже обрёл формы города. Обозначились и пересекли друг друга линии улиц. Новые дома были невысоки — один-два этажа, но красивы: облицованы белым камнем, украшены нарядным фасадом, нередко с балконами.

Уже во время этой первой прогулки по городу я увидел, что его культурная жизнь довольно оживлённа. Только что в местном кинотеатре прошёл новый по тем временам советский фильм «Александр Невский». Бойко торговал книжный магазин, в нём были и наши новинки. Большая рекламная тумба была заклеена афишами, звущими горожан на лекции, литературные вечера, концерты. Кстати, среди лекторов, упомянутых в афишах, я обнаружил имена некоторых учёных, которые, если не изменяла мне память, прежде жили в Шанхае и Нанкине. Я надеялся, что меня ожидают в этом городе и иные сюрпризы. Мои предположения оправдались.

На другой день, просматривая свежий номер местной газеты, я обнаружил, что в Дихуа находится выдающийся китайский прозаик Мао Дунь. Не позже, как вчера, он выступал с докладами перед здешним студенчеством. Вслед за этим мне сообщили, что Мао Дунь находится в Дихуа около двух недель и часто заходит в местный филиал Общества советско-китайской дружбы.

На другой день я увидел Мао Дуэня в Обществе советско-китайской дружбы на приёме, посвящённом приезду новой группы советских нефтяников. Он пришёл одним из первых и коротал время в беседе с китайским хозяйственником, строящим нефтепромысла где-то на южных склонах Тянь-Шаня. Подобно многим своим землякам, уроженцам южных провинций Китая, писатель выглядел много моложе своих лет — ему можно было дать не более сорока. Быть может, его молодили небольшие, аккуратно подстриженные усы и волосы — чёрные, тщательно зачёсанные и блестящие, как полированная поверхность шкатулки, покрытой добротным кантонским лаком. И в одежде писателя и в его манерах, особенно в движениях руки, которую он как-то очень изящно подносил ко лбу, было нечто интеллигентное. Я пытался объяснить это тем, что писатель происходил из семьи старых китайских интеллигентов: его отец был видным провинциальным врачом и имел какую-то очень высокую в Китае учёную степень. Можно было лишь удивляться тому, что писатель сохранил эти манеры в стране, обьятой жестокими бедствиями войны, тем более, что его юность была военной юностью. Он знал и сырые окопы, и непролазную грязь фронтовых дорог, и артиллерийский смерч в степи.

Не без колебаний я решился на беседу с писателем и, положившись на своё тогда ещё школьное знание языка, наконец осмелился побеседовать с писателем по-китайски.



Человек, представивший нас друг другу, сказал, что я только что окончил институт и направляюсь на постоянную работу в Китай. Он заметил при этом, что я хочу использовать своё пребывание в стране для сбора материалов о современной китайской литературе.

Мао Дунь приветствовал меня, но здесь произошло непредвиденное: Мао Дунь говорил, а я его не понимал. Да, ярко выраженный южный диалект, на котором изъяснялся писатель, оказался совершенно непроницаемым для моего восприятия. К несчастью, человек, познакомивший нас, считая свою задачу выполненной, удалился. Но прежде чем я до конца осознал нелепость своего положения, это стало ясно самому писателю. Его такт и его добросжелательность сделали всё. Почувствовав, что мне нелегко воспринимать его речь, Мао Дунь повёл разговор в ином темпе, в иных интонациях, тщательно обходя слова и выражения, свойственные языку южан. Больше того, он извлёк перо и блокнот и теперь каждое не понятое мною слово старался пояснить на бумаге. Я облегчённо вздохнул: беседа стала налаживаться. Стоит ли говорить, как я был благодарен собеседнику.

Встреча с советским человеком, к тому же только что прибывшим из Москвы, представляла немалый интерес и для самого Мао Дуя. Он, никогда не бывавший в СССР, хорошо знал нашу страну, нашу культуру, искусство и особенно литературу. Долго Мао Дунь расспрашивал о том, над чем работают советские прозаики Алексей Толстой, Шолохов, Леонов, Федин, что идёт в московских театрах, какие фильмы выходят на экран. Он сокрушался, что не знает русского языка и не имеет возможности читать русскую прозу в подлинниках. Современный писатель, сказал он, независимо от того, пишет ли он на китайском или французском языке, должен знать русский язык — это даёт ему возможность следить за советской литературой, без хорошего знания которой трудно сегодня работать писателю. Если Толстой и Горький, сказал он, так потрясают нас в переводах, то как они должны звучать в подлинниках! Быть может, химикам надо знать немецкий, а судостроителям английский, но писателю, настоящему писателю, трудно обойтись без знания русского. Писатель должен читать русскую литературу в подлинниках. Ни один перевод, как бы добросовестно он ни был сделан, не может заменить писателю подлинника. Мао Дунь заметил при этом, что однажды он сверил несколько английских переводов известного рассказа Горького «Двадцать шесть и одна» и обнаружил, что переводчики растеряли многие из замечательных достоинств рассказа.

По словам писателя, одной из прекрасных черт советской литературы, унаследованной ею у литературы классической, является её народность.

— Воспринять это качество советской литературы, — сказал он, — задача необыкновенно трудная, но зато и самая благодарная. Решить эту задачу — значит создать произведение, в котором были бы воссозданы самобытные черты твоего народа, строй всей его жизни и быта, образ его мыслей, его культура, искусство, самый облик страны, блеск её рек, запах её полей, сиянье её солнца. Русские писатели дали образцы таких произведений. Овладеть их искусством — завидная честь...

Он произнёс всё это с той убеждённою и страстью, какая бывает у человека, говорившего о том, что определяет смысл его жизни, самое существо труда, которому он отдал всего себя.

Я вспомнил споры моих товарищей по институту о романе «Цзые» и спросил писателя, каким образом он изучал деловой мир Шанхая, который, в сущности, был миром запретным. Писатель сказал, что за долгие годы жизни в Шанхае он являлся свидетелем многих больших и малых банкротств — лопались банки, взлетали на воздух тресты и концерны, рушились многомиллионные состояния. А так уж заведено в этом мире, что тайна остаётся тайной лишь до тех пор, пока делец не стал банкротом. Как только финансовый туз вылетает в трубу, вместе с ним летит и его тайна.

Беседа продолжалась, и я рассказал Мао Дуя о своём намерении написать очерки современной китайской литературы. Писатель не без сожаления заметил, что китайские литературоведы останавливаются в своей работе на годах, которые намного отстают от сегодняшнего дня.

— Впрочем, опыт свидетельствует, — заметил он, — что ни один литературный труд не даёт столько, сколько может дать живое общение с людьми творческими — литературоведами, критиками, писателями...

День был сумрачный, и мы сели поближе к окну. Через город прошёл караван верблюдов в степь. На их спинах покачивались тюки с шерстью. Верблюды ещё двигались по степи, то взбираясь на взгорья, то пропадая в ложбинах, словно их качало на своих белых волнах снежное море, когда в город вошла колонна грузовиков. В их кузовах стояли машины, бережно укутанные пенькой и рогожей.

Мне показалось, что грузовики пройдут город, но неожиданно они остановились. Распахнулись дверцы кабин, и на снег высыпали шофёры. Теперь было понятно, откуда пришли грузовики с машинами! Водители были одеты добротно: дублёные полушубки, валенки, меховые рукавицы. Наверно, последний перегон был большим — они долго разминались на снегу, приплюсывая, подталкивая друг друга. Потом колонна двинулась с места сразу, словно одна машина, большая и величественная, как корабль. Да и движение колонны по степи напоминало движение корабля, пересекающего беспокойное море.

Советские парни в полушубках, доставившие машины в Китай, взволновали писателя.

— Кто знает, — произнёс он, — может быть, то, что делается здесь советскими и китайскими инженерами, будет повторено в неизмеримо больших масштабах в будущем... в недалёком будущем.

В тот момент эти слова в устах китайского интеллигента могли показаться смелыми, но я знал, что передо мной человек, ум которого отличается прозорливостью и остротой.

Мы вышли из дома. Недвижно лежал белый, недавно выпавший снег — в степи стихла метель.

Мао Дунь посмотрел туда, где на засветлевшем небе появился диск солнца, и улыбнулся:

— А Советский Союз здесь и в самом деле рядом... Кажется, протянешь руку и почти дотронешься...

А когда мы шли по городу, он в ритм нашим медленным шагам произнёс:

— У меня был брат. Может быть, слышали: Шэнь Цзэ-минь. Он работал в нашем советском районе Хубэй — Хунань — Аньхой. Он погиб смертью героя. Но незадолго до смерти он был в Советской стране. Он погиб, но мог сказать: «Я был там...» А одни эти слова могут сделать человека счастливым...

Он вдруг остановился и, взглянув на меня, сказал:

— Верю, что когда-нибудь смогу произнести: «Я был там...»

Мы простились, и я долго ещё вспоминал эту встречу. Я радовался, что опасения мои не оправдались, и писатель оказался человеком простым и душевным. Но как ни приятна была мне эта черта в писателе, не она произвела на меня самое сильное впечатление. С какой жадностью и неутолимым интересом он хотел заглянуть в завтрашний день советско-китайских отношений, и как смелы и оптимистичны были его прогнозы. Нет, это был художник, пылкий и зоркий, взгляду которого доступна такая перспектива, какую дано увидеть не каждому. В том, как он анализировал события, как старался раскрыть их существо, виден был талантливый романист, для которого анализ явлений всегда составлял первооснову творчества.

Следующий раз я встретил Мао Дуна меньше чем через полгода уже в Чунцине. Положение Китая было необыкновенно тяжёлым. Японцы неудержимо развивали наступление, взяли Учан. Партия, верная политике единого фронта, предпринимала героические усилия, чтобы укрепить волю народа к победе. Коммунисты призвали крупнейших представителей отечественной интеллигенции — видных учёных, писателей, художников, артистов — использовать свой авторитет и всемерно сплотить людей умственного труда.

Но не так-то легко было сплотить китайскую художественную интеллигенцию, разобщение, а не сплочение которой всячески поощрялось гоминданом.

Большая весенняя выставка китайских художников, открывшаяся в Чунцине, наглядно свидетельствовала о трудностях этой задачи.

Я встретил Мао Дуня на открытии выставки.

На нас, советских людей, привыкших к тому, чтобы искусство служило насущным интересам народа, эта выставка производила двойственное впечатление. И дело не только в том, что на ней было много традиционного: пейзажи, орнамент, каллиграфия, тысячелетняя символика живописи — ветвь бамбука, лотос, пионы, орхидеи. В конце концов эти формы китайского искусства складывались веками и при всех обстоятельствах заслуживали бережного к себе отношения. Печальное заключалось в ином: на выставке стремились выдвинуться приверженцы так называемого «китайского декаданса», получившие образование в Западной Европе. Они «пересмысливали» извечные формы китайского искусства, и это получалось у них и смешно и жалко. Не случайно также они считали тему всенародной войны антиэстетичной и открыто пренебрегали ею.

На этом фоне выделялись работы художников-фронтовиков, воссоздающих суровый быт войны. Правда, их краски были подчас небогаты, но содержание брало своё. Полотна возвращали посетителя салона на поля битвы, где в это время решалась судьба отечества.

Характерно, что сторонники враждующих групп держались на выставке обособленно. Они как бы старались показать, что их разногласия непримиримы и никакая сила не заставит их действовать воедино. Таких групп здесь было три: представители традиционных форм китайского искусства, приверженцы «китайского декаданса» и, наконец, носители нового революционного искусства. Политика прогрессивной китайской интеллигенции заключалась в том, чтобы сплотить всех художников, заставив решительно перестроиться тех, кто был эпигоном антиобщественного искусства Запада.

Принципы этой политики очень хорошо объяснил мне Мао Дунь, о беседе с которым я расскажу несколько позже.

Мао Дунь был на этой выставке с Го Мо-жо.

Скажу откровенно, что я ощутил чувство радости, когда увидел, как из одного конца выставки в другой прошли, оживлённо беседуя, Го Мо-жо и Мао Дунь. Было что-то символическое в том, что два писателя, два самых крупных писателя Китая, вошли в этот зал, разобщённый противоречиями и разногласиями, вместе.

И, странное дело, едва они переступили порог, в толпе, которая их окружила, я увидел художников и одной, и другой, и третьей группы, больше того, все художники старались обратить внимание писателей на свои полотна, с одинаковым желанием хотели выслушать слово похвалы.

Этот факт лучше всего свидетельствовал, как бесконечно права была партия, призвавшая писателей использовать свой авторитет, чтобы сплотить всех представителей национальной интеллигенции в единый патриотический лагерь независимо от того, к какой творческой группе они принадлежат и какие художественные принципы исповедуют.

На выставке были широко представлены каллиграфические панно; помимо своих художественных достоинств, они были замечательны тем, что воссоздавали изречения древних китайских мудрецов. Я попросил Мао Дуня помочь мне разобраться в некоторых текстах. Он охотно обошёл со мной этот раздел выставки.

По мере того, как мы двигались вдоль стены, увешанной полотнами китайских каллиграфов, Мао Дунь продолжал делиться своими впечатлениями о выставке.

— Сама жизнь требует от художников, принявших за образец искусство Запада, переоценки ценностей. Иное дело — носители традиционных форм китайского искусства. Наше желание заключается в том, чтобы вывести это искусство из той абстрактной сферы, в которой оно ещё пребывает, и по возможности приблизить к жизни. Но как это сделать? Ни один вид нашего искусства не находился в такой мере в плену старых традиций, ни в одном из них эти традиции не были так незыблемы и так трудно преодолимы, как в нашей живописи. Наши художники из школы «Го-Цуй», что означает «Драгоценный старый стиль», не ставят перед собой иной цели, как подражание старым мастерам, многократное варьирование одних и тех же мотивов. Самым выдающимся произведением крупнейшего художника этой школы Ци Бай-ши была кар-

тина, сделанная тушью и изображающая крабов. У нас есть художники, которые, следуя национальной традиции в живописи, всю жизнь писали только лошадей. Мы против пустых абстрактных идей, против догматизма. Однако и обращать наше изобразительное искусство к новым задачам надо осторожно, проявляя терпение и мудрость. Нельзя всех китайских художников призывать решительно изменить тематику — в наших условиях это может принести вред. Ведь велико влияние традиции, а традиции, даже в том случае, когда они должны быть изменены, рекомендуется изменять осторожно, осмотрительно.

Мао Дунь говорил об этом убеждённо, серьёзно. Проблема воспитания и объединения художников не казалась ему простой. Очевидно, писатель рекомендовал проявить и осмотрительность и терпеливость не только потому, что эти качества были свойственны ему самому. В решении важной проблемы сказался человек высокого интеллекта и знаний, которому были видны все грани предмета.

Эти качества Мао Дуня впоследствии были достойно оценены правительством Китая, которое назначило Мао Дуня первым министром культуры.

Писатели покинули выставку, а художники не обнаруживали намерения расколоться по углам, в которых они пребывали до этого. Беседа, начатая писателями, ещё долго продолжалась, при этом каждая из враждующих групп вдруг обнаружила и доброжелательность и уступчивость.

Быть может, это явление было временным, но в тот момент нельзя было не обрадоваться. Влияние писателей на художников было благотворным. Их авторитет сближал людей разных взглядов. Не надо было других доказательств настоящего уважения, которое питали художники к людям, только что побывавшим здесь.

Я вспомнил этот эпизод через пять лет, когда китайская общественность отмечала пятидесятилетие Мао Дуня и двадцатипятилетие его творческой деятельности. Это было волнующее событие, подлинный праздник китайской культуры. Все чунцинские газеты откликнулись на юбилей большими статьями. Я сберёг стопку чунцинских газет за 23, 24, 25 июля. В каждом номере — две-три статьи о творчестве писателя.

Двадцать пятого июля коммунистическая «Синьхуажубао» посвятила юбилею Мао Дуня свою передовую.

«Искусство должно служить народу, делу национального освобождения, счастью народных масс, — писала газета. — Именно эти мотивы проходят красной нитью в творческом труде Мао Дуня за истекшие двадцать пять лет, как и во всём направляемом им движении за новое искусство Китая...»

Газета отмечала, что во имя жизни народа, во имя свободы простых людей писатель принимал активное участие в революции 1924—1927 годов. Мао Дунь, по словам газеты, отдавал все свои силы руководству движением за революционную литературу в самый опасный период разгула реакции, наступившей после поражения революции.

«В течение двадцати пяти лет, — пишет газета, — писатель борется мужественно и уверенно, его жизнь достойна славы и высокой награды».

Литературная чунцинская общественность чествовала писателя во Дворце промышленности на улице Белого слона.

Приёмный зал дворца, напоминающий гостиную финансового магната, был полон. За большим столом собрались все, кто представлял в Чунцине мир китайского искусства.

Стоит ли говорить, что в этот вечер не было недостатка в приветственных речах, но они не заставили юбиляра вознестись в поднебесье. Наоборот, его речь выражала чувство тревоги, жесточайшее чувство беспокойства: прожито много, а сделано, увы, далеко не столько, сколько хотелось бы сделать.

Я и сейчас вижу, как Мао Дунь поднялся из-за стола, бледный от волнения, и тихо, очень тихо начал говорить.

— Бывают времена, — произнёс он, — когда писатель больше чем когда-либо испытывает чувство беспокойства. Это чувство хорошо выражает известная китайская пословица: «Глаза высоки, да руки коротки». Писатель вынашивает множество планов, а выполнить их часто ему не дано. В такую минуту особенно ощущаешь недостаток жизненного опыта, чувствуешь, что твоё перо не может совершить прыжка за пределы

ограниченного круга знаний и жизненных наблюдений, которыми ты располагаешь. Если же в этот момент тебе ещё скажут, что ты уже достиг определённого возраста, что ты уже в годах, то чувство горечи только усиливается. Но люди растут в своих надеждах. А это значит: если человеку исполнилось пятьдесят, он может надеяться продолжить своё жизненное путешествие, а значит и продолжить свой труд...

Хорошей иллюстрацией к этой речи было сообщение одной чунцинской газеты. Газета привела полный список наиболее крупных произведений писателя, включающих романы, повести, пьесы. В этом перечне я насчитал сорок названий.

В дни, предшествующие этой дате, я послал Мао Дуню скромный подарок — несколько книг-альбомов, изданных в дни войны. Тотчас писатель ответил мне письмом, написанным с большой сердечностью.

В годы войны мы неоднократно посылали Мао Дуню советские книги. Писатель принимал их с благодарностью и начал работать над переводами произведений советской литературы. Он не прекращал этой работы и в течение трёх лет жизни в Гонконге, куда его вынудил переехать деспотический гоминдановский режим. Писатель перевёл сборник рассказов о войне, а также повести «Народ бессмертен» В. Гроссмана и «Сын полка» В. Катаева. Переводы были сделаны прекрасным языком, свежим, пластичным, точным.

Летом 1946 года Всесоюзное общество культурных связей с заграницей пригласило Мао Дуня посетить Советский Союз. Писатель с радостью принял приглашение. Шанхай, куда возвратился Мао Дунь, оживлённо комментировал эту новость. Власти более чем отрицательно отнеслись к поездке, однако открыто препятствовать ей не решились. Приглашение было сделано, принято писателем и стало достоянием общественности. Отказать писателю в визе — значило спровоцировать скандал и ещё больше взволновать общественность. Поэтому, как ни горька была пилюля, власти решили проглотить её по возможности незаметнее. Но этот расчёт не удался: и время было не то, и город явно не подходил для тихих проводов.

На причалах порта, откуда уходил пароход «Смольный», в час проводов собрался весь литературный Шанхай. Когда я приехал вместе со своими советскими друзьями, Мао Дунь был уже на пристани. Начинаясь прилив. С реки налетал ветер, развевая полы лёгкого пальто, которое набросил на плечи писатель.

Вместе с Мао Дунем мы прошли по пристани. До вечера ещё было время, но лёгкий туман уже стлался по реке, обволакивая железные фермы моста Вайбаду. Я поймал себя на мысли, что этот ранний шанхайский вечер на берегу реки чем-то напоминает предвечерний Шанхай, с описания которого начинается роман «Цзые». Я сказал писателю об этом.

Мао Дунь окинул задумчивым взглядом реку, набережную, каменные глыбы города, поднявшиеся над рекой, и улыбнулся.

— «Цзые»... Да, да, верно, там описан точно такой вечер... — Он задумался, на минуту весь ушёл в себя, потом произнёс: — «Цзые»... Мне хотелось этим романом зажечь огонёк надежды, огонь большой надежды в сумрачной жизни людей... Борьба была жестокой, и разные настроения были у человека...

Мы вспомнили с ним нашу первую встречу в Дихуа, и слово за словом, по звену, стали восстанавливать нашу прошлую беседу.

Помнится, мы говорили о Синьцзяне, о богатой его земле, о великой миссии советских людей, помогающих преобразовать этот край. Потом мы смотрели на вечернее солнце, которое садилось в степь, как в море, и Мао Дунь говорил о Советской стране, которая лежала за этой степью. Потом мы шли по городу, стихала пурга...

Я взглянул на писателя — печаль легла на его лицо.

Может быть, в эту минуту он вспомнил брата — его светлый образ, его героическую гибель, брата, которому был известен путь в далёкую Москву.

— Вот теперь и я смогу сказать: «Я был там...» — сказал Мао Дунь.

На другой день все шанхайские газеты сообщили об отъезде Мао Дуня в Советский Союз. Китай следил за поездкой своего писателя в страну Советов. Уезжая, Мао Дунь сказал, что возьмёт с собой «копилку», в которую бережно соберёт свои впечат-

ления. Писатель разумел под копилкой толстую тетрадь своего дневника. В течение всего путешествия эта «копилка» исправно пополнялась впечатлениями.

А впечатления были велики. Шёл 1946 год, первый послевоенный год Советского государства. Ещё свежи были следы дымного пламени войны, и чёрные персты труб на месте изб и хат были грозно подняты, требуя кары преступникам войны, а по стране уже шёл весёлый строительный шум, и города поднимались из пепла, и молодые сады шумели листвою, и новые дороги рассекали леса и степи, и глаз веселили новые клубы и школы, построенные добротнее и краше прежнего.

И было бесконечно приятно от одного сознания, что всё это видит и всему этому радуется вместе с нами наш большой друг, широким и свободным шагом идущий сейчас по советской земле. Он вошёл в метро и подивился, как ладно лёг камень в подземном дворце, не сковав ощущения простора и высоты; он прошёл по улицам и порадовался, как необыкновенно зелены и свежи дубы и липы; и в полуночный час, когда стихают шумы большого города и особенно ярки рубины, вознесённые над древним Кремлём, он, может быть, не раз приходил на Красную площадь, чтобы постоять в её тишине, послушать бой её курантов. И, весь отдавшись волнению, вызванному этой минутой, он, быть может, ловил себя на мысли, что вот так же смотрел на Кремль Шэнь Цзе-минь, его брат и сподвижник по великой армии людей, преобразующих землю...

Мао Дунь вернулся на родину. Его дневник оказался богат впечатлениями. «Записки об СССР» — так называлась его книга, в которой с календарной точностью был воссоздан путь писателя по Советской стране.

Каждый раз, когда я встречал теперь писателя, он осведомлялся о том, как идёт моя работа над очерками о современной китайской литературе.

В китайской литературе в последние годы появилось много новых имён, и мнение Мао Дуня о них было для меня ценным. Но меня интересовало не только это. Мне хотелось включить в книгу большую главу о творчестве крупнейшего современного мастера китайской прозы. Беседа с самим Мао Дунем, посвящённая главным вопросам его творчества, была бы для моей работы полезна. Мао Дунь знал о моём желании. Беседа, однако, долгое время не могла состояться.

Мы осуществили своё намерение лишь в Пекине.

Вместе с писателем я провёл несколько часов в одном из старых пекинских парков, прилегающих к прудам дворцового городка.

С утра в пустынных степях, простирающихся на север от Пекина, свирепствовал ветер. Пустыня дышала на город песком и зноем. Песок был мелким и незримым. Он входил во все поры города — от него не было спасения ни в автобусах, ни в домах. Знаменитые парки Пекина, эти лёгкие города, были бессильны смягчить жестокое дыхание пустыни. Но к вечеру ветер изменился — он подул с моря. Не было дождя, но деревья, которые с утра стояли в серо-рыжем платье, вдруг посвежели и стали зелёными.

Задуманному настроению этой беседы способствовал сам вечер, тенистая листва дубов и кедров, плеск волн, запах водорослей, смешанный с запахом прелого дерева, и то особое спокойствие и тишина, которые охватывают человека, когда над ним шелестит большое дерево.

Эта беседа явилась творческой исповедью писателя. С глубокой искренностью он говорил о своей мечте создать большой китайский роман, замечательный своей идеей, самобытной формой, ярким и пластичным языком. Пионер новой китайской литературы, он думал о том, чтобы в своём творчестве хотя бы приблизиться к уровню великой духовной красоты и истинно героических свершений народа. В беседе Мао Дунь предстал передо мной как мыслитель и патриот, болеющий за Китай, за его будущее.

Рассказ Мао Дуня о себе внешне был облечён в традиционную форму биографии, но только внешне.

— Тунсян — так называется мой родной город, — начал он. — Город не велик, но и не так чтобы очень мал — в нём живёт сто тысяч. Он стоит в центре треугольника Шанхай—Ханчжоу—Сучжоу. От Тунсяна до каждого из этих городов ровно сто кило-

метров. Мой отец, увлекавшийся геометрией, брал карту и выверял это расстояние циркулем. Отец был врачом, и его интересы лежали в сфере точных наук. Он следил за развитием науки в зарубежных странах и выписывал множество книг. В нашей домашней библиотеке были работы и Дарвина, и Пастера, и Менделеева. Отец был большим патриотом китайской культуры — всячески старался привить детям любовь к родному слову. Он требовал от детей безупречного знания родного языка. Он хорошо знал старую классическую литературу, и в его библиотеке рядом с атласом звёздного неба и книгой о земном магнетизме можно было обнаружить старые китайские романы «Троецарствие», «Речные заводы», «Путешествие на запад». Но в принципе отец был равнодушен к беллетристике, и его страстью была, конечно, математика, а не литература. Он имел в старом Китае высшую учёную степень, что свидетельствовало о широте его познаний. Отец умер, когда мне было десять лет, но многие из моих воспоминаний о нём относятся к его увлечению науками. Я и сейчас вижу отца, как он работает с астролябией или чертит карту Тибета. Но не было для него зрелища более увлекательного, чем вид звёздного неба. Он мог смотреть на него часами. Иногда он вдруг покидал дом в полночь, чтобы взглянуть на звезду, которая светила в это время ярче обычного. Он любил вдруг спросить нас: «Почему эта звезда повернула на запад?» или: «Когда теперь прорежется молодой месяц?» Однажды, глядя на вечернюю зарю, которая была в тот вечер вот такой же красной, он спросил: «А почему заря сегодня ярче, чем обычно?»

Теперь мы вышли на край парка. Солнце садилось, и западная часть неба была застлана красной пеленой — так всегда бывает после песчаной бури. В её густобордовом свете золотисто-жёлтые, зелёные, фиолетовые, синие краски пекинских дворцов необыкновенно посвежели, будто на них лёг тонкий слой лака.

— Иным человеком была мать, — продолжал Мао Дунь. — Иной душевной организацией, иного склада характера, иных увлечений. Книги были для матери самым большим богатством. Ничто не доставляло ей такой радости, как интересная книга. Она была убеждена, что не следует особенно ограничивать число книг, которые могут читать дети. Тайком от отца она давала мне читать книги, едва ли не те же, что читала сама. Она заставляла меня читать ритмическую прозу и заучивать множество стихов. Отец умер, когда я был уже в третьем классе школы. Теперь мать руководила моим чтением самостоятельно. Она не обладала таким запасом знаний, как отец, но была свободна от некоторой консервативности, свойственной отцу, хотя тот и был передовым человеком. О, это очень важно для человека, когда он сохраняет способность признавать всё новое, что рождает мир. Мать воспитывалась на классической литературе, но когда в Китае появилась новая литература, она потянулась к ней, признала всё хорошее, что было этой литературе свойственно: когда возникло кино, она также стала его почитательницей. Мне было приятно, что человек не окостенел под бременем лет, что наперекор годам она сохранила способность понимать новое...

— Как я начал писать? Очевидно, в том, что я стал писателем, немножко повинна мать. Она привила мне любовь к живому слову. Её интерес к человеку как-то передался и мне. При всей своей жадности к книгам мать читала далеко не каждую книгу. Она была разборчивой читательницей, полагая, что далеко не все книги воспитывают вкус. Я понимал, что воспринять это качество не просто — здесь многое зависело от меня. Я начал писать в возрасте, когда иные чувствуют себя уже зрелыми писателями — в двадцать семь лет. Вот как это произошло. После смерти отца материальное положение нашей семьи ухудшилось, и я оставил школу. Случилось так, что моей первой работой оказалась работа редактора. Я вступил в Общество литературы и вскоре стал редактором журнала, который был своеобразным альманахом лучших новелл. Журнал так и назывался «Ежемесячник новелл». Литературные интересы увлекли меня, и я решил «попробовать перо». Я почувствовал непреодолимое желание написать о своих наблюдениях, высказать свои взгляды. И начал писать. Ещё задолго до того, как взялся за перо, я начал политическую работу в армии. Моей работой руководила партия. Своеобразным компасом моих мыслей и действий стал марксизм-ленинизм. Именно по этому компасу я выверял действительность своих произведений, их полноценность. Моё марксистское воспитание шло в борьбе с теми промахами, которые

у меня были. Именно марксизм-ленинизм помог мне познать правду жизни, правильно оценить историческое наследие, определить пути общественного развития Китая. Эта наука помогла мне освободиться от влияния философских догм, которые оставили нам древние мудрецы Лао-цзы и Чжуан-цзы, догм, в плену которых я находился едва ли не до двадцати пяти лет.

В последний раз мы прошли парком, когда сумерки уже упали на город. Заря погасла, но, странное дело, краски, расцветившие пекинские палаты, не потускнели, они продолжали жить до тех пор, пока на небе оставался свет ушедшего дня. Тишина, потревоженная дневными хлопотами, вновь возвратилась в парк. В разрывах ветвей было видно небо и в самом его зените первые звёзды. И могуче устремлялись вверх, будто хотели дотянуться своими маковками до самой высокой звезды, мощные дубы, такие же древние, как эта земля, это небо, этот город...

— Я много думал над миссией писателя, желающего быть писателем-революционером, — произнёс Мао Дунь, когда мы вновь вышли к берегу озера. — Мне казалось, что социальный долг художника — создать произведения, близкие явлениям и фактам жизни. Я считал, что только та литература имеет право на внимание читателя, которая отражает общественную жизнь. Вторгаться в жизнь, проникать в самые сокровенные её тайники — призвание художника. Пристально наблюдать настоящее, анализировать настоящее — вот без чего нельзя стать летописцем своего народа.

— Ещё до начала своей творческой деятельности, — продолжал писатель, — я прочитал многое из того, что можно было прочесть на китайском и английском языках. Гюмер, Гёте, Диккенс и Толстой заложили основы моих эстетических восприятий. Творчество Бальзака и Горького я познал позже, когда уже начал писать. В первые годы творчества, всё больше углубляясь в чтение русской литературы, я с любовью читал Тургенева и Чехова. Читал Золя с немалым восхищением и интересом. С произведениями советских писателей знакомился лишь в переводах, а не в оригинале: «Железный поток» и «Разгром» — на китайском, «Цемент» — на английском. Произведения Фадеева, Катаева, Алексея Толстого стали для меня настольными книгами. Русская литература оказала огромное влияние на китайскую литературу. Это относится и ко мне. «Фома Гордеев», например, пробудил во мне интерес к положению национальной буржуазии в старом Китае, вызвал желание написать «Цзые». Советская литература раскрыла нам глаза. Она помогла формированию всех тех, чьим трудом и усилиями создавалось и создаётся современное искусство Китая.

Мы вышли из парка. Писатель умолк и, будто что-то вспомнив, улыбнулся.

— Вот сейчас пришла на память такая подробность, — произнёс он, всё ещё улыбаясь. — Даже не на всех китайских картах есть Тунсян... Эта деталь, вполне объяснимая, если учесть, что мир стоит не только на Тунсяне, глубоко оскорбляла моего отца. Он брал свой большой циркуль, точно вымерял, где должен стоять наш город, и старательно вписывал «Тунсян», при этом, как вы понимаете, в размерах шрифта отец не стеснялся. По наивной своей простоте он хотел вознаградить себя за нанесённое оскорбление хотя бы в этом. Когда мать замечала отцу, что он немножко перестарался и обозначил наш город более крупным шрифтом, чем на карте значится даже столица, отец отвечал: «Для нас Тунсян не меньше столицы». Я вспоминаю этот случай каждый раз, когда во мне поднимается острое желание поехать в Тунсян, поехать хотя бы на один день и посмотреть, как он там... Я радуюсь этому желанию, этому чувству. В нём есть что-то очень большое... Знаете, у нас в народе говорят: «Не забывая поля, которое первым накормило тебя...»

Мы расстались, а я ещё долго хранил в памяти эпизод, рассказанный писателем. Он казался мне значительным. Будто писатель хотел сказать: наше счастье — в нерасторжимой связи с родной землёй. Она питает нас силой, в ней наша жизнь.

Последний раз я видел Мао Дуня в Москве в конце прошлого года. Вместе с ним был Го Мо-жо. Писатели возвращались в Пекин после Венской сессии сторонников мира. В московском театре имени Ермоловой заканчивалась релетинция пьесы Го Мо-жо «Цюй Юань». Театр решил показать Го Мо-жо и Мао Дуню несколько фрагментов.



Каждый день пребывания в Москве у наших друзей был тщательно расписан. Они использовали своё пребывание в советской столице и для выполнения своих государственных функций. Го Мо-жо — заместитель премьер-министра Государственного Административного Совета, Мао Дунь — министр культуры. Развитие советско-культурных связей является важной сферой их деятельности. Стремлению ещё больше укрепить эти связи были посвящены усилия друзей и в те дни, поэтому интерес к постановке «Цюй Юаня» в советском театре для наших друзей определён был не только личными мотивами.

Театр показывал фрагменты пьесы в костюмах и гриме. Автору пришлось по душе та взыскательность и строгость, с которой творческий коллектив отнёсся к постановке пьесы. Он сказал, что его искренне порадовало много приятных находок в игре актёров. В том усердии, которое обнаружили актёры в работе над своими ролями, он видел проявление любви к культуре Китая. Однако у автора были и некоторые замечания. Он сделал их в беседе с актёрами, которая состоялась после показа фрагментов.

Го Мо-жо очень хорошо говорил в этот день о необходимости даже такую историческую пьесу, как «Цюй Юань», где обрядовая, ритуальная линия очень сильна, играть реалистически.

— Да, да, именно реалистически, — произнёс Го Мо-жо, легко подчёркивая слово «именно». — Актёры должны так играть пьесу, будто её герои являются их современниками. В этой связи не надо делать героев прямолинейными, слишком ортодоксальными. Пусть у актёров сложатся какие-то свои отношения с героями. Чем искреннее будут эти отношения, тем искреннее станет игра. Актёрам, впервые играющим китайскую пьесу, нелегко перенестись в новый для них мир, каким является для русского человека Китай, но в игре не следует идти по линии подражания китайцам, имитации, подделывания под них. Призвание актёра — проникать в самое существо пьесы, раскрыть образ, сыграть роль. Не понять этой истины — значит остудить живую кровь спектакля, заморозить его образы... Пусть те находки, которые уже актёрами сделаны, воодушевят и поощрят их.

Когда беседа закончилась и наши гости остались в небольшом кругу режиссёров и актёров, в беседу вступил Мао Дунь.

— Театр проделал работу пионеров, прокладывающих новые пути, — сказал он. — При всех обстоятельствах эту работу с благодарностью вспомнят те, кто последует примеру театра. Коллектив заслуживает похвал за труд и талант.

Театр искренне порадовали эти слова. В них были видны и радушие, и дружеское участие, и желание рассеять сомнения, которыми отмечены большие и малые дела искусства.

Писатели знали по себе, что для человека творческого одно доброе слово в иную минуту дороже всего.

Мы вышли из театра вместе. Весь день сыпал снег. Он лежал чистый, ещё не успевший потускнеть. Москва была хороша в своём белом наряде...

Мы простились, но я не спешил продолжить свой путь. Ещё долго я провожал друзей взглядом. По Москве шли два человека, два простых человека, но каждый, кто встречал этих людей, провожал их доброй улыбкой или взглядом. Может быть, не все знали, как замечательны эти люди, какие отношения связывают их между собой и как долог и труден был путь, который они прошли рядом. Может быть, не всем было известно это, и всё-таки люди встречали их так, как только можно встретить близких. По Москве шли два человека, два простых сына великого народа, который с большой убеждённостью и любовью у нас зовут братским

*(Окончание следует)*



# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. ДЕМЕНТЬЕВ, С. СУТОЦКИЙ

★

## ПАРТИЯ — РУКОВОДИТЕЛЬ СОВЕТСКОЙ ПЕЧАТИ И ЛИТЕРАТУРЫ

**В**ладимир Ильич Ленин учит, что обеспечить торжество социалистической революции и построить коммунизм невозможно, не имея в авангарде народа «...партии, умеющей следить за настроением массы и влиять на него...»<sup>1</sup>.

Коммунистическая партия Советского Союза на всех этапах своей полувековой истории успешно выполняет задачу воспитания народа в духе социалистической идеологии. Коммунистическая партия — политический руководитель и воспитатель советского народа, вдохновитель и организатор всех наших побед.

Идеологическая работа составляет предмет особого внимания Коммунистической партии. Партия, её Центральный Комитет проявляют огромную заботу о том, чтобы всегда отлично действовали могучие средства идейного воспитания масс — наша печать, наша литература. Об этом со всей силой свидетельствуют документы, включённые в сборник «О партийной и советской печати», подготовленный кафедрой журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС и выпущенный издательством «Правда».

Сборник, охватывающий период с 1898 по 1954 год, наряду с материалами, посвящёнными непосредственно печати, содержит основные общеполитические документы партии, руководствуясь которыми осуществляла и осуществляет свою деятельность партийная и советская пресса. Сборник наглядно характеризует выдающееся значение большевистской печати в борьбе за создание и укрепление боевой революционной марксистской партии в России, в подготовке и проведении Великой Октябрьской револю-

ции, роль партийной и советской печати в политическом, экономическом и культурном строительстве первого в истории человечества социалистического государства трудящихся — Союза Советских Социалистических Республик. В сборник включены все основные партийные документы о постановке пропаганды марксистско-ленинской теории, решения Центрального Комитета партии по вопросам литературы и искусства.

Невозможно переоценить значение этого сборника. Изучение вошедших в него материалов — не экскурс в прошлое, более или менее отдалённое от наших дней. Партийные документы независимо от даты их публикации и сегодня являются боевой программой, определяющей принципиальное направление деятельности советской печати, советской литературы. Они и сегодня помогают работникам печати, деятелям литературы бороться за строительство коммунизма, утверждать всё новое, передовое в нашей жизни, быстро распознавать всё, что мешает и вредит успешному развёртыванию идеологической работы, бороться со всеми недостатками и ошибками, во-время обнаруживать и быстро ликвидировать их.

На основе этих документов Коммунистической партии, требований, предъявляемых партией к журналистам и писателям, должна вестись в настоящее время и вся работа по подготовке Второго всесоюзного съезда советских писателей. Оставшийся до съезда период необходимо использовать для того, чтобы в свете указаний партии ещё раз глубоко проанализировать результаты творческой деятельности всесоюзной писательской организации, всесторонне обсудить уроки, вытекающие из ошибок, допущенных в последнее время в литературе

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 31, стр. 27.

и литературной критике и добиться, чтобы ещё более возросла активность нашей печати и нашей литературы в борьбе советского народа за торжество идей Коммунистической партии, за победу коммунизма в нашей стране, за мир во всём мире.

## 1

Партийная и советская печать нашей страны является печатью нового типа. Она по праву заслужила себе любовь и уважение миллионов трудящихся во всём мире, как самая идейная, народная и подлинно свободная печать. Создателем этой печати нового типа является Коммунистическая партия Советского Союза во главе с великим Лениным. Первенцами этой печати были большевистские листовки, появившиеся на рубеже минувшего и нынешнего веков и вступившие тогда в единоборство со стостой буржуазной антинародной прессой. Первым регулярно выходящим органом этой печати была ленинская «Искра» — газета, сыгравшая решающую роль в борьбе за боевую марксистскую партию, возглавившую наш народ в победоносных битвах за торжество социализма.

Документы сборника «О партийной и советской печати» шаг за шагом характеризуют становление и развитие печати нового типа — от периода ленинской «Искры» до наших дней — и выдающуюся деятельность Коммунистической партии по руководству печатью. Эти документы показывают, как разработанные В. И. Лениным, Коммунистической партией принципы нашей печати претворялись в жизнь, осуществлялись в повседневной работе советских газет, журналов и книгоиздательств. Документы сборника показывают, что значит на деле действительная свобода печати, подлинная народность её.

С тех давних пор, когда появилась буржуазная пресса, её хозяева не устают твердить о «свободе» и «беспартийности» печати в капиталистическом обществе. Боясь народа и обманывая его, они всячески скрывают связи редакций своих газет и журналов, своих книгоиздательств с различными буржуазными политическими партиями, зависимость печати от промышленных и финансовых частнокапиталистических групп и объединений. По их уверениям, буржуазная печать «надклассо-

ва», она стоит вне политики, задача её — объективная информация о новостях международной и внутренней жизни. Но шила в мешке не утаишь. Вряд ли даже в «доброе, старое время», в начальный период истории буржуазной печати кто-либо принимал всерьёз подлинность её «беспартийности» и якобы присущей ей «объективности». Тем менее верят буржуазной печати теперь, когда она до конца обнажила свою воинствующую антинародную сущность, отвечающую политике буржуазных партий, с которыми она связана идейно и организационно.

Ленин, большевики, приступая к созданию печати нового типа, открыто и прямо заявляли о её партийности, о коммунистической идейности её содержания. Решительно отвергая возможность превращения газеты в простой склад разнообразных воззрений, они заявляли, что «Искра» будет вестись «...в духе строго определённого направления. Это направление может быть выражено словом: марксизм...»<sup>1</sup>. Позднее, в 1904 году, в «Письме к товарищам (К выходу органа партийного большинства)», В. И. Ленин подчёркивал: «Мы выступаем открыто во имя воззрений и задач, давно уже в ряде брошюр изложенных перед всей партией. Мы боремся и будем бороться за выдержанное революционное направление...»<sup>2</sup>.

Но, конечно, надо быть большевиками, коммунистами, надо быть партией, программа и политика которой отвечают интересам трудящегося большинства народа, чтобы смело заявить о партийности своей печати, о её идейной направленности.

Партия всегда открыто говорила о партийности вдохновляемой и направляемой ею печати, потому что идейная направленность наших газет, журналов, книг вытекает из насущнейших потребностей общественного развития, соответствует жизненным интересам миллионов трудящихся. Решения Центрального Комитета партии неизменно подчёркивают, что главная задача партийной и советской печати состоит в том, чтобы быть орудием «активного классового воспитания рабочих и широких масс трудящихся в борьбе против буржуазных и мелкобуржуазных влияний и пережитков;

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов. М. Издательство «Правда», 1954, стр. 23.

<sup>2</sup> Там же, стр. 52.

помощи массам в деле овладения достижениями науки и техники, пропаганды ленинизма и борьбы против его извращения»<sup>1</sup>.

Коммунистическая идейность сделала нашу печать верным другом и надёжным помощником широких народных масс. Руководимые партией газеты и журналы несут народу слово правды, вооружают его знанием научных законов общественного развития, учат применять эти законы в строительстве коммунистического общества. Со страниц партийной и советской печати народу светит яркий свет марксистско-ленинских идей, вдохновляющих на борьбу и указывающих путь к победе. Партийная и советская печать — непримиримый враг империалистической реакции и мракобесия, социального и национального гнёта. Она — поборник мира и братства между трудящимися всего мира, знаменосец идей пролетарского интернационализма.

Коммунистическая партия зорко следит за идейной чистотой, марксистско-ленинской выдержанностью наших газет, журналов, книгоиздательства, во-время обнаруживая и решительно исправляя отклонения от линии партии. Об этом с особой убедительностью говорят такие документы последних лет, как постановление Центрального Комитета партии «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» (1938), «О журналах «Звезда» и «Ленинград» (1946), «О журнале «Знамя» (1948), «О серьёзных недостатках и ошибках в работе Государственного издательства юридической литературы» (1952), «О серьёзных недостатках в работе Государственного издательства политической литературы» (1953) и другие. Партия решительно выступает против аполитичности в работе отдельных редакций и издательств, против пренебрежения принципами партийности, коммунистической идейности.

В духе этих указаний партии справедливо сурово оценивает работу журнала «Новый мир» и публикуемая в этом номере резолюция президиума правления Союза советских писателей СССР «Об ошибках журнала «Новый мир».

Борьба партии за чистоту принципиальной, идейно выдержанной марксистско-ле-

нинской линии печати целиком и полностью отвечает интересам советского народа. В. И. Ленин указывал, что рабочие создали свою печать «...для того, чтобы она защищала марксизм, а не для того, чтобы позволять в ней извращать марксизм в духе буржуазных «ученых»...» Он писал, что «сознательным рабочим дорога прежде всего и больше всего в каждом органе печати его принципиальность»<sup>1</sup>.

## 2

Один из излюбленных мотивов буржуазной пропаганды — «свобода» буржуазной печати. Она де «беспартийна», она «надклассова», поэтому она «свободна», утверждает эта пропаганда. А на деле?

Конституции буржуазных государств великодушно даруют всем гражданам право пользоваться печатью. Но что значит это право, если деньги, необходимые для выпуска газет и журналов, лежат в сейфах финансовых магнатов, если типографии и запасы бумаги принадлежат капиталистическим концернам, если, наконец, цензура сквозь пальцы смотрит на всё, что печатают буржуазные издания, и обеими руками душил каждый прогрессивный печатный орган.

Непреодолимая пропасть лежит между «правом» и «возможностью» пользоваться «свободой» печати в капиталистических странах. Миллионы простых людей не имеют возможности реализовать формально принадлежащее им право. Зато десятки воротил-монополий легко присваивают себе право миллионов и выдают это за «свободу» печати. Известный американский прогрессивный журналист Джордж Марион в своей книге «Остановите печать!» говорит:

«Бумага, на которой напечатана конституция, должна быть подкреплена бумажками, на которых напечатаны деньги, — только тогда ваше право на свободу печати сможет превратиться в действительную свободу печати». Такова «неподкупная» печать, продающаяся за доллары!

Ключая проволока, ограждающая газетные и журнальные полосы от участия народа, — вот что такое в действительности «народность», милостиво допускаемая буржуазной «свободой» печать!

Когда в нашей стране утвердилась власть трудящихся, Коммунистическая пар-

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 381.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 20, стр. 77, 73.

тия справедливо решила прежде всего закончить с подобной «свободой» печати, чтобы не оставить в руках буржуазии оружие, которое не менее опасно, «чем бомбы и пулемёты». Декрет Совнаркома о печати, обнародованный буквально через несколько дней после Октябрьской победы, положил конец этой «свободе», за ширмой которой «фактически скрывается свобода для имущих классов захватить в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс»; декрет утвердил необходимые меры для «пресечения потока грязи и клеветы, в которых охотно потопила бы молодую победу народа жёлтая и зелёная пресса»<sup>1</sup>.

Одновременно партия сосредоточила своё внимание на том, чтобы обеспечить законодательно не только право широких масс трудового народа на свободу печати, но и реальные возможности пользования этим правом. Уже первая советская конституция — Конституция РСФСР, принятая в июле 1918 года, содержала специальный пункт: «В целях обеспечения за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика уничтожает зависимость печати от капитала и предоставляет в руки рабочего класса и крестьянской бедноты все технические и материальные средства к изданию газет, брошюр, книг и всяких других произведений печати и обеспечивает их свободное распространение по всей стране»<sup>2</sup>.

Коммунистическая партия Советского Союза видит подлинную свободу и народность печати прежде всего в непосредственном и активном участии широких народных масс в повседневной деятельности газет, журналов и книгоиздательств. В уже цитированном нами ленинском «Письме к товарищам (К выходу органа партийного большинства)» говорилось: «Это недоразумение, будто именно литераторы и только литераторы (в профессиональном смысле этого слова) способны с успехом участвовать в органе; напротив, орган будет живым и жизненным тогда, когда на пяток руководящих и постоянно пишущих литераторов — пятьсот и пять тысяч работников не литераторов... Мы просим корреспондировать всех, а особенно рабочих. Давайте пошире воз-

можность рабочим писать в нашу газету, писать обо всём решительно, писать как можно больше о будничной своей жизни, интересах и работе — без этого материала грош будет цена социал-демократическому органу...»<sup>1</sup>. Продолжая эту линию в советский период, Коммунистическая партия постоянно подчёркивает, что первое и главнейшее условие для правильной постановки массовой газеты — это наличие постоянной, крепкой связи между редакцией и читателями. Партия выступила организатором и руководителем могучего массового движения рабочих и сельских корреспондентов, ряды которых всё более растут и ширятся. В рабселькоровском движении партия видит «орудие связи нашей печати, а через неё и всей партии с широкими рабоче-крестьянскими массами...»<sup>2</sup>.

Партия всеми силами и средствами укрепляет связь печати с народом, учит работников газет, журналов, книгоиздательств «максимально чутко прислушиваться к требованиям и предложениям, идущим со стороны масс»<sup>3</sup>. Утверждая славные традиции дореволюционных большевистских газет, партия высоко подняла значение для нашей печати материалов, авторами которых являются непосредственно трудящиеся, поставила в центр внимания редакций письма рабочих, колхозников, представителей интеллигенции. Каждый факт, свидетельствующий о высокомерно-пренебрежительном отношении к этим материалам, о бюрократически-чиновничьих извращениях в работе с письмами трудящихся, встречает со стороны партии, её Центрального Комитета самое решительное осуждение.

Так, например, вскрыв серьёзные недостатки в работе с письмами трудящихся в редакциях газет «Северо-Кавказский большевик» и «Звезда» (Пермь), ЦК партии в специальном постановлении (1936) указал, что «рассматривая письма как «мелочь», редакции газет обнаружили политическую слепоту и полное неумение использовать сообщения и сигналы рабселькоров для постановки серьёзных хозяйственно-политических вопросов...» Центральный Комитет осудил как чуждую нашей печати и её традициям бюрократизацию редакционного аппарата названных газет, признал непартийной тен-

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 173.

<sup>2</sup> Там же, стр. 179.

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 53—54.

<sup>2</sup> Там же, стр. 341.

<sup>3</sup> Там же, стр. 306.

денцию к затиранию рабселькоров, подавлению их активности и инициативы. «Не читая писем рабселькоров,— говорилось в постановлении ЦК ВКП(б),— используя их в газетах в ничтожных размерах, редакторы этих газет забыли, что за каждым письмом стоит живой человек, к которому партия требует чуткого, внимательного отношения, что печать — «один из приводных ремней между партией и рабочим классом» (Сталин)»<sup>1</sup>.

Связь с массами, особо внимательное, серьёзное отношение к письмам трудящихся — основной закон деятельности редакций всех партийных и советских печатных изданий — от стенной газеты и многотиражки до «Правды» и «Известий»; это — важнейший показатель подлинной свободы и народности печати нашей страны.

## 3

Буржуазия предпочитает отмалчиваться, когда речь заходит о необходимости предоставить трудящимся возможность самим участвовать в печати, активно влиять на её направление. Но она усиленно рекламирует свою «заботу» о народных массах, выражающуюся в выпуске ею большого количества разного рода изданий «для народа». Однако А. М. Горький ещё в 1905 году очень метко сказал об этой стороне деятельности буржуазии: «В самом факте появления какой-то особенной литературы, нарочито сочиняемой «для народа», уже есть нечто подозрительное...» Действительно, буржуазная «свобода» печати допускает «народность» только в том смысле, что позволяет кучке эксплуататоров через печать навязывать миллионам трудящихся свои взгляды, свои антинародные идеи. Этого не скрывают теперь даже заправилы буржуазной прессы. Один из крупнейших американских газетных магнатов, небезызвестный Эдуард У. Скриппс, цинично заявил однажды: «Владелец газеты, наниматель, требует, чтобы нанятые им писали то, во что наниматель либо верит, либо хочет, чтобы поверили его читатели... Он никогда не допустит, чтобы газета использовалась для выступлений против его собственных мнений. Он не будет также платить журналисту жалованье за создание материала, появления которого в своей газете он не хочет».

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 442.

Понятно, разумеется, что речь в данном случае идёт не о каких-то личных вкусах того или иного издателя или редактора. Здесь — классовые интересы, в той или иной мере замаскированные, позолоченные «занимательностью», покрытые слоем научно-образной мути. В капиталистическом мире литература «для народа» — это пресловутые, развращающие сознание читателей «комиксы», это клеветнические книжонки, до краёв наполненные злобными, лживыми вымыслами о Советском Союзе и странах народной демократии, проповедью расизма и милитаризма.

Иные, высокие и благородные задачи преследуют Коммунистическая партия и Советское правительство, направляя деятельность нашей печати. 11 января 1918 года был опубликован декрет о Государственном издательстве РСФСР. В пору трудных испытаний, переживавшихся молодой советской республикой, партия и правительство организуют дешёвое народное издание русских классиков, обращают свой взор к корифеям литературы, творения которых перейдут в собственность народа. Декрет обязывал Наркомпрос озаботиться об издании и полных научных собраниях сочинений и массовых избранных произведений гениев русской художественной классики. В пору, когда страна переживала голод, когда на счету была каждая копейка, партия и правительство не остановились перед тем, чтобы установить порядок, согласно которому «народные издания классиков должны поступать в продажу по себестоимости, если же средства позволят, то и распространяться по льготной цене, или даже бесплатно, через библиотеки, обслуживающие трудовую демократию»<sup>1</sup>.

Партия организует широкую сеть газет и журналов, предназначенных не для «верхних десяти тысяч», а для народа, в условиях царизма лишённого своей печати. Документы сборника дают возможность проследить, как осуществлялся принцип народности печати, как партия заботилась, чтобы печать отвечала запросам различных групп трудящихся. Были созданы печатные органы специально для рабочих и для крестьян, для женщин и молодёжи. Широкое распространение получила печать на языках народов СССР. Почти на всех предприя-

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 174.

ниях, в учреждениях и воинских частях организуется выпуск стенных газет. Небывалый размах получила книгоиздательская деятельность, выросло количество названий выпускаемой литературы по всем отраслям знания, невиданного уровня достигли её тиражи.

Интересы народа превыше всего! — этот священный принцип всей деятельности Коммунистической партии положен в основу партийного руководства печатью. Интересы народа превыше всего! — этот принцип пронизывает все постановления партии по вопросам печати. «Борьба за дальнейший подъём культуры широких трудящихся масс, — указывала партия в постановлении ЦК ВКП(б) об издательской работе (1931), — за воспитание каждого рабочего и колхозника, как борца за социализм, выдвигает перед издательствами ряд больших и новых задач.

Издательства должны своевременно учитывать потребность в книге со стороны разных слоёв рабочих, колхозников, интеллигенции и учащихся различных специальностей и квалификаций и дифференцированно обслуживать их... книга должна быть боевой и актуально-политической, она должна вооружить широчайшие массы строителей социализма марксистско-ленинской теорией и технико-производственными знаниями. Книга должна явиться могущественнейшим средством воспитания, мобилизации и организации масс вокруг задач хозяйственного и культурного строительства: качество книги должно отвечать всё возрастающим культурным запросам масс»<sup>1</sup>.

Вдохновляемая и направляемая Коммунистической партией растёт и совершенствуется наша печать, подлинно свободная, подлинно народная пресса страны строящегося коммунизма. Партийное руководство обеспечивает ей возможность успешно справляться с задачами, гениально сформулированными великим Лениным, — быть коллективным пропагандистом, агитатором и коллективным организатором масс.

Документы сборника «О партийной и советской печати» показывают, сколь почётна в нашей стране роль работников печати. Почётна и ответственна, ибо им доверено самое сильное, самое острое оружие нашей партии.

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 419.

Большое место в сборнике «О партийной и советской печати» занимают решения партии по вопросам художественной литературы. В сборник включены такие программные, определяющие развитие советской литературы документы партии, как письмо ЦК РКП «О пролеткультах» (1920), резолюция ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» (1925), постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (1932), постановление ЦК ВКП(б) «О литературной критике и библиографии» (1940), исторические постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства 1946—1948 годов и многие другие.

Включение в сборник «О партийной и советской печати» решений партии по вопросам художественной литературы имеет исключительно важное, принципиальное значение. Этим подчёркивается то существенное обстоятельство, что художественная литература в нашей стране при всех её особенностях неотделима от партийной и советской печати и пропаганды и является могучим оружием партии и Советского государства в деле коммунистического воспитания масс.

Коммунистическая партия всегда рассматривала вопросы развития художественной литературы в связи с общими задачами идеологической работы и в своих решениях о печати, агитации и пропаганде уделяла серьёзное внимание художественной литературе. Не раз указывал на общность задач писателей, работников советской печати и пропагандистов В. И. Ленин. «Поменьше политической трескотни, побольше внимания самым простым, но живым, из жизни взятым, жизнью проверенным фактам коммунистического строительства — этот лозунг надо неустанно повторять всем нам, нашим писателям, агитаторам, пропагандистам, организаторам и так далее», — писал В. И. Ленин в работе «Великий почин»<sup>1</sup>.

Объединяя и связывая между собой пропаганду, печать и художественную литературу, Коммунистическая партия исходит из марксистско-ленинского принципа партийности литературы, с гениальной глубиной и ясностью развитого в работе В. И. Ленина «Партийная организация и партийная лите-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 29, стр. 336.

ратура» В этой работе Ленин разоблачил лживые измышления буржуазной философии и критики о возможности существования надклассовой, беспартийной, независимой от политики литературы в условиях классового общества. Он показал, что подобные разглагольствования обычно прикрывают связь литературы с интересами и политикой эксплуататорских классов. «Свобода буржуазного писателя, художника, актрисы есть лишь замаскированная (или лицемерно маскируемая) зависимость от денежного мешка, от подкупа, от содержания»<sup>1</sup>.

Литературе, тайно или явно связанной с буржуазией и буржуазными партиями, В. И. Ленин противопоставил литературу, открыто связанную с рабочим классом, с политикой Коммунистической партии. «...социалистический пролетариат, — писал он, — должен выдвинуть принцип партийной литературы, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме»<sup>2</sup>.

Развивая и проводя в жизнь принцип партийной литературы, Коммунистическая партия последовательно утверждала художественную литературу как неотъемлемую часть партийной и советской печати, которая включает в себя самые различные формы пропаганды, начиная от стенной газеты и кончая литературно-художественным журналом, помещающим на своих страницах стихи, пьесы, романы. Когда некоторые советские литераторы забывали о том, что художественные журналы не могут быть аполитичными, а должны, подобно всей советской печати, руководствоваться политикой Советского государства, партия решительно напоминала им об этом. «...наши журналы, — говорится в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», — являются могучим средством Советского государства в деле воспитания советских людей и в особенности молодежи и поэтому должны руководствоваться тем, что составляет жизненную основу советского строя, — его политикой»<sup>3</sup>.

Как известно, ленинский принцип партийности литературы бешено атакуется буржуазной критикой. Она кричит, что ис-

кусство независимо от политики и несоместимо с пропагандой. В истории нашей литературы и декаденты, и пролеткультовцы, и «Серапионовы братья», и перевальцы, и другие враждебные советской литературе группировки нападали именно на принцип партийности литературы, противопоставляя ему лживый принцип «чистого искусства», призывая писать, как это делал «теоретик» «Серапионовых братьев» Лунач, «не для пропаганды». И в наши дни зарубежные буржуазные писатели на все лады вопят, что надо «спасать» литературу от политики.

Свою вражду к передовому идейному искусству буржуазные критики нередко пытаются прикрыть разного рода измышлениями по части эстетики. Так они уверяют, что литературе якобы нужна исповедь, а не проповедь, что на основе проповеди будто бы нельзя создать подлинного произведения искусства. Легко заметить, что подобные теориейки совершенно игнорируют не только великие достижения гражданской поэзии, но и опыт лучших художников русской и мировой литературы, в творчестве которых органически сливается исповедь и проповедь, правдивое отражение действительности и страстный призыв к борьбе за счастье народа, рассказ о виденном и пережитом и пропаганда передовых идеалов.

И только тем, что авторы этой статьи и другие члены редколлегии «Нового мира» проявили близорукость, можно объяснить, что подобные фальшивые измышления, направленные против ленинского принципа партийности литературы, были допущены на страницы «Нового мира». Мы имеем в виду опубликование в журнале статьи «Об искренности в литературе». Автор этой статьи В. Померанцев, позаимствовав у буржуазной критики противопоставление исповеди проповеди, пытается внушить читателям порочную и неверную идейку, что только исповедь искренняя, а проповедь, дескать, риторична, деланна и даже противоречит «естеству человека». Пренебрежение и нигилистическое отношение к советской литературе и русской классической литературе, теоретическая и политическая незрелость лежат в основе подобных рассуждений В. Померанцева.

В проповеди возвышенных и прекрасных идеалов, в стремлении «глаголом жечь сердца людей» всегда была сила передового искусства. «Литература и пропаганда —

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 10, стр. 30.

<sup>2</sup> Там же, стр. 27.

<sup>3</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 566.



одно и то же», — писал Салтыков-Щедрин. Русская классическая литература была проповеднической и публицистической литературой, и это не только не помешало, но помогло ей завоевать первое место в мире по своей идейности и художественности.

Буржуазные идеологи болтают, что политика и пропаганда якобы умерщвляют литературу, лишают её свободы, что, дескать, задача искусства служить «чистой красоте». Но факты разоблачают эту ложь; мнимая независимость буржуазной литературы от политики и пропаганды маскирует её рабскую зависимость от политики эксплуататорского меньшинства и пропаганду реакционных идей человеконенавистничества, эгоизма, пессимизма, мистики, порнографии, а крики о «свободе искусства» и «служении красоте» прикрывают служение буржуазного искусства капиталу. Истинная свобода искусства, литературы, печати заключается в открытой преданности интересам народа, в защите передовых идеалов человечества, в борьбе за прекрасное будущее трудящихся всего мира. Истинно свободными являются советское искусство, литература, печать, открыто связанные с интересами народа, партии и Советского государства. В. И. Ленин ещё в 1905 году, говоря о литературе, открыто связанной с пролетариатом, писал: «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствие трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность»<sup>1</sup>.

Открытая связь с интересами народа, с идеями Коммунистической партии, с политикой Советского государства не только обеспечила литературе свободу, но и обусловила её процветание, её замечательные успехи. На основе неразрывной связи с политикой и пропагандой Коммунистической партии выросло творчество Горького и Маяковского, Серафимовича и Фурманова, А. Толстого и Шолохова, Н. Островского и Макаренко, Фадеева и Гладкова, Фе-

дина и Леонова — выросли все прекрасные достижения советской литературы, являющейся новым этапом в художественном развитии человечества.

Что же касается литературных группировок и «течений», кричавших о чистом искусстве, о беспартийности литературы и кичащихся тем, что их участники пишут «не для пропаганды», то они не создали и не могут создать в искусстве ничего значительного, они оказались и не могут не оказаться бесплодными, как библейская смоковница. Питая пренебрежение к передовым идеям века, к высокой гражданственности, к политике, защищающей интересы народа, нельзя создать сколько-либо крупного произведения искусства.

В одной из своих статей А. М. Горький справедливо писал по поводу некоторых причин творческого бессилия европейской литературы XX века: «Яростно и многословно защищалась свобода искусства, своеволие творческой мысли, всячески утверждалась возможность внеклассового бытия и развития литературы, независимость её от социальной политики. Это утверждение было плохой политикой, именно оно незаметно привело многих литераторов к необходимости сузить круг наблюдений действительности, отказаться от широкого всестороннего изучения её, замкнуться «в одиночестве своей души», остановиться на бесплодном «познании самого себя» путём самоуглубления и своеволия мысли, оторванной от жизни. Оказалось, что человек непознаваем вне действительности, которая вся насквозь пропитана политикой».

Следует ещё раз подчеркнуть, что сила советской литературы — в неразрывной связи с интересами народа, с политикой нашего государства, в настойчивом и честном разрешении тех задач, которые ставит перед литературой, печатью и пропагандой Коммунистическая партия. Вот почему столь важно для писателей издание сборника «О партийной и советской печати» и включение в его состав решений партии по вопросам художественной литературы.

## 5

Сборник «О партийной и советской печати», несомненно, станет настольной книгой каждого советского писателя. Документы, вошедшие в состав сборника, с огромной силой демонстрируют руководящую, органи-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 10, стр. 30—31.

зующую и вдохновляющую роль Коммунистической партии в области печати и литературы. Успехи советской литературы, как и все другие завоевания советского народа, достигнуты под руководством партии — авангарда рабочего класса, опирающегося в своей многосторонней деятельности на гениальное учение Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина и на богатейший опыт социалистического строительства, в частности строительства социалистической культуры.

Теоретическое обоснование руководящей роли партии в области литературы, необходимости и важности направляющей политики партии в области литературы дал В. И. Ленин. В работе «Партийная организация и партийная литература», развивая положение о партийности литературы, он писал: «Литературное дело должно стать частью общепролетарского дела, «колесиком и винтиком» одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы»<sup>1</sup>.

Исходя из ленинского принципа партийности литературы, Коммунистическая партия и в дореволюционные годы и с ещё большим размахом в советскую эпоху мудро направляла развитие нашей литературы по пути социалистического реализма, идейного и художественного совершенствования. На каждом новом этапе нашего исторического развития партия разъясняла и разъясняет характер и особенности новых творческих задач, стоящих перед советскими писателями.

Руководя литературой, партия всегда решительно боролась со всякими попытками некоторых литературных группировок противопоставить себя партии, отгородиться от руководства со стороны партии, присвоить себе право на руководство литературой. Первый же из документов сборника «О партийной и советской печати», относящийся непосредственно к художественной литературе — письмо ЦК РКП «О пролеткультах», — говорит об этом с предельной ясностью.

На самом деле — в чём был главный порок позиций пролеткульта? В его стремлении противопоставить себя партии, в претензиях на «автономию» и независимость от партии и Советского государства. В результате этого в пролеткультах стали заправлять делами декаденты, махисты и вульгаризаторы марксизма, пропагандировавшие буржуазные взгляды в философии и нелепые извращённые эстетические вкусы и принципы. Пролеткультисты стали на путь сектантства, нигилистического отношения к культурному наследию и подражания декадентам. Они уводили искусство от реальной жизни в область пышных «космических» абстракций.

Естественно, что партия не могла мириться с пролеткультистской и решительно осудила теоретически неверные и практически вредные попытки пролеткульта выдумывать свою культуру, замыкаться в обособленные организации, противопоставлять себя партии и Советскому государству. Письмо ЦК РКП «О пролеткультах» указало, что партия не признаёт за пролеткультами права на руководство советской культурой, что такое руководство будет осуществлять сама партия и органы советской власти. Письмо ЦК РКП «О пролеткультах» развивало ленинский принцип партийности литературы и на долгие годы определило политику партии в области литературы.

Позднее — в связи с быстрым развитием советской художественной литературы, с ростом её влияния на массы — партия усилила своё руководство литературой. «Ввиду того, что за последние два года художественная литература в Советской России выросла в крупную общественную силу, распространяющую своё влияние прежде всего на массы рабоче-крестьянской молодёжи, — говорилось в резолюции XII съезда партии по вопросам пропаганды, печати и агитации (1923), — необходимо, чтобы партия поставила в своей практической работе вопрос о руководстве этой формой общественного воздействия на очередь дня»<sup>1</sup>.

Партия настойчиво и последовательно укрепляла своё руководство художественной литературой, определяя задачи советских писателей в связи с каждым новым этапом развития нашего государства, улучшая по-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, том 10, стр. 27.

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 270.

вседневное практическое руководство литературой. И снова партия решительно подчёркивала, что «ни одно литературное направление, школа или группа не могут и не должны выступать от имени партии» (из резолюции XIII съезда партии «О печати») <sup>1</sup>.

Не раз партия справедливо осуждала и отдельных литераторов, в том числе и самых заслуженных, когда они начинали противопоставлять себя партии. Так было, например, в начале тридцатых годов с Д. Бедным. Когда его стихотворные фельетоны «Слезай с печки», «Перерва», «Без пощады», в которых он скатился на путь клеветы на советский народ и государство, были резко осуждены Центральным Комитетом партии, он, по словам И. В. Сталина, «зафыркал», вообразив, что ЦК не имеет права критиковать его ошибки, и стал жаловаться, что его якобы хотят «изолировать», «не будут больше печатать» и т. п. И. В. Сталин сурово и убедительно разъяснил Д. Бедному существо допущенных им ошибок <sup>2</sup>.

Однако случаи подобного рода чрезвычайно редки в истории советской литературы. Партия завоевала огромный авторитет у советских писателей, каждое решение партии по вопросам литературы с единодушным одобрением встречалось и встречается ими. Советские литераторы высоко ценят направляющее, организующее и вдохновляющее руководство партии в области литературы, отлично понимая, какую неоценимую помощь оказывает партия развитию советской литературы. Д. Фурманов в своё время хорошо выразил мысли и чувства советских писателей, заявив в одном из докладов, что «установление теснейшего контакта в повседневной работе с соответствующими органами партии, неослабное усиление заинтересованности этих органов делом развития пролетлитературы мы считаем основной предпосылкой успешного и быстрого роста». А в своём дневнике тех лет и месяцев Фурманов записал: «Я пошёл в ЦК потому, что не считаю зазорным ходить туда по некоторым вопросам советоваться и только исключительной узостью подхода и даже враждебностью можно объяснить убеждение, что в ЦК вообще

незачем ходить...» Говоря об узости подхода и враждебности, Фурманов имел в виду тех рапповцев, которые пытались отгородиться от партии и самозванно присвоить себе право на руководство литературой.

Партия постоянно и повседневно плодотворно руководит нашей литературой и искусством, и нельзя было представлять себе, подобно критике М. Щеглову, что партия только время от времени «вмешивается» в развитие советской культуры, давая лишь самые общие, «непрофессиональные» указания деятелям советского искусства. И уж совсем недопустимо и неправильно со стороны М. Щеглова иронизировать по поводу «перерождения» героя романа «Опера Снегина», который выходит с совещания в ЦК по вопросам музыки другим человеком. Редакция «Нового мира» не должна была представлять место для таких ошибочных и вредных рассуждений.

Разумеется, партия избегает мелочной опеки над искусством и литературой, учитывает всю сложность и особенности этой области идеологической работы и всемерно поощряет самостоятельную деятельность общественных организаций, объединяющих работников искусства и литературы. В литературном деле, писал В. И. Ленин в работе «Партийная организация и партийная литература», «безусловно необходимо обеспечение большего простора личной инициативе, индивидуальным склонностям, простора мысли и фантазии, форме и содержанию» <sup>1</sup>.

Решительно осуждая всякие попытки отдельных литературных групп противопоставить себя партии и отвергая их претензии на руководство литературой, партия делала это во имя развёртывания творческой инициативы советских писателей, создания здоровой обстановки в области художественного творчества, свободного развития литературы. Ещё в письме ЦК РКП «О пролеткультах» указывалось, что «ЦК не только не хочет связать инициативу рабочей интеллигенции в области художественного творчества, но, напротив, ЦК хочет создать для неё более здоровую, нормальную обстановку и дать ей возможность плодотворно отразиться на всём деле художественного творчества» <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 311.

<sup>2</sup> См. И. В. Сталин. Сочинения, т. 13, стр. 23—27.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 10, стр. 28.

<sup>2</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 221.

Правильно, плодотворно руководя развитием советской литературы, партия всегда подвергала резкой критике администрирование в литературе. Так, резолюция ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», указав на необходимость борьбы со всеми проявлениями буржуазной идеологии и капитулянтства в литературе, за пролетарское, высокохудожественное творчество, потребовала поддержки пролетарских организаций писателей, тактичного и бережного отношения к «попугачикам», решительно осудила комчанство в литературе, высказалась за свободное соревнование в области литературной формы и подчеркнула, что «партия должна всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела»<sup>1</sup>.

Стремление партии обеспечить самый широкий размах художественному творчеству в новых исторических условиях, когда изменилась классовая структура советского общества, выросли кадры пролетарской литературы и выдвинулось много новых советских писателей, лежит и в основе постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций». Учитывая опасность для успешного развития советской литературы кружковой замкнутости и рапповского администрирования, заботясь о расширении базы работы литературно-художественных организаций, ЦК ВКП(б) постановил:

«1) ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);

2) объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нём»<sup>2</sup>.

В августе 1934 года состоялся Первый съезд советских писателей, который продемонстрировал успехи нашей многонациональной литературы, наметил пути её дальнейшего развития, утвердил Устав Союза советских писателей. Основные положения Устава — характеристика социалистического реализма — были разработаны на основе

указаний партии. И. В. Сталин назвал писателей инженерами человеческих душ и определил метод советской литературы, как метод социалистического реализма.

С тех пор прошло двадцать лет. За это время советская литература необычайно выросла в количественном и качественном отношении. Выросла писательская организация, повысилась идейная вооружённость советских литераторов, ещё теснее сплотились они вокруг Коммунистической партии Советского Союза.

Партия указывает, что в настоящий период значительно возрастает роль Союза советских писателей СССР как общественной писательской организации, помогающей активному участию советских писателей в коммунистическом строительстве, в морально-политическом воспитании строителей коммунизма, в преодолении пережитков капитализма в сознании людей. Союз советских писателей должен систематически обсуждать основные вопросы развития и совершенствования советской литературы, обсуждать отдельные произведения, помогать политическому и художественному росту писателей путём товарищеской критики, товарищеского разъяснения.

Партия призывает Союз советских писателей главное внимание в своей деятельности уделять вопросам идейной направленности советской литературы, вопросам идеологического воспитания и роста художественного мастерства советских писателей.

Исключительно важная роль в борьбе за новый подъём советской литературы принадлежит партийной организации советских писателей и коммунистам-писателям, которые должны показать себя передовыми борцами за линию партии в литературе, умеющими убеждать и воспитывать.

## 6

Важнейшая цель, которую преследует партия, руководя художественной литературой, — это повышение идейного уровня нашей литературы, утверждение и развитие принципов социалистического реализма. Документы, вошедшие в сборник «О партийной и советской печати», убедительно и ярко показывают борьбу партии за высокую идейность, коммунистическую партийность нашей литературы против безидейности, пережитков капитализма и чуждых

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 343—347.

<sup>2</sup> Там же, стр. 431.

влиятельный в литературе, борьбу партии за социалистический реализм против декадентства, формализма и натурализма. С помощью партии советская литература стала самой идейной, передовой и революционной литературой мира.

Партия всегда давала жестокий отпор всем, кто пытался столкнуть советскую литературу с пути коммунистической партийности и социалистического реализма в болото обывательщины, упадочничества, чуждой идеологии. Партия постоянно напоминала писателям, что развитие советской литературы происходит в условиях непримиримой классовой борьбы, что не может быть литературы «нейтральной», независимой от борьбы классов: «...как не прекращается у нас классовая борьба вообще, так точно она не прекращается и на литературном фронте, — говорилось в резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы». — В классовом обществе нет и не может быть нейтрального искусства, хотя классовая природа искусства вообще и литературы в частности выражается в формах, бесконечно более разнообразных, чем, например, в политике»<sup>1</sup>. Партия помогла советским писателям разоблачить гнусные происки троцкистов и бухаринцев в литературе, осознать вред политических и эстетических «теориек» пролеткульта, «Серрапионовых братьев», леффовцев, конструктивистов, перевальцев, рапповцев и других группировок, враждебных советской литературе.

Каждое решение партии по вопросам литературы, начиная с письма ЦК РКП «О пролеткультах», проникнуто заботой об идеологическом росте советской литературы, о воспитании наших писателей в духе марксизма-ленинизма.

«Процесс проникновения диалектического материализма в совершенно новые области (биологию, психологию, естественные науки вообще) уже начался. Завоевание позиций в области художественной литературы точно так же рано или поздно должно стать фактом», — указывалось в резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы»<sup>2</sup>.

Со времени этой резолюции — с 1925 года — советская литература необычайно вы-

росла в идейно-художественном отношении, и задача, поставленная партией, — завоевание пролетариатом позиций в области художественной литературы, успешно разрешена. Можно по праву гордиться достижениями советской литературы, что является результатом направляющего руководства партии. Но и до сих пор борьба за идейную чистоту, за партийность является важнейшей задачей советской литературы, потому что не изжиты ещё до конца пережитки безидейности в литературе и проникают в неё разного рода чуждые и вредные влияния.

Именно борьба за высокую идейность, за большевистскую партийность литературы и искусства против безидейности, аполитичности, пережитков декадентства и формализма, низкопоклонства перед буржуазной культурой, клеветы на советских людей лежит в основе исторических постановлений ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, принятым в 1946—1948 годах. О необходимости усилить идеологическую работу, разоблачать любые проявления чуждой марксизму идеологии говорил Г. М. Маленков в отчётном докладе XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б):

«В нашем советском обществе нет и не может быть классовой базы для господства буржуазной идеологии. У нас господствует социалистическая идеология, нерушимую основу которой составляет марксизм-ленинизм. Но у нас ещё сохранились остатки буржуазной идеологии, пережитки частнособственнической психологии и морали. Эти пережитки не отмирают сами собою, они очень живучи, могут расти и против них надо вести решительную борьбу. Мы не застрахованы также от проникновения к нам чуждых взглядов, идей и настроений извне, со стороны капиталистических государств, и изнутри, со стороны недобитых партией остатков враждебных советской власти групп. Нельзя забывать, что враги Советского государства пытаются распространять, подогреть и раздувать всяческие нездоровые настроения, идеологически разлагать неустойчивые элементы нашего общества».

В борьбе за партийность, за высокую идейность советской литературы партия всегда придаёт особенно большое значение литературной критике. Важная роль литературной критики подчеркнута во многих

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 343—344.

<sup>2</sup> Там же, стр. 344.

решениях партии, вошедших в сборник «О партийной и советской печати». Ясно определены в них и задачи литературной критики. Ещё в резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» говорилось, что коммунистическая критика, «ни на минуту не сдавая позиций коммунизма, не отступая ни на йоту от пролетарской идеологии», должна вскрывать «объективный классовый смысл различных литературных произведений» и беспощадно бороться со всякими враждебными и чуждыми проявлениями в литературе. В то же время резолюция указывала, что критика должна «изгнать из своего обихода тон литературной команды» и «самодовольное комчанство»<sup>1</sup>.

В 1940 году ЦК ВКП(б) принял специальное постановление «О литературной критике и библиографии», в котором, отметив, что литературная критика и библиография, «являющиеся серьёзным орудием пропаганды и коммунистического воспитания, находятся в крайне запущенном состоянии», наметил ряд мер для их улучшения. В частности, было прекращено издание «...обособленного от писателей и литературы» журнала «Литературный критик» и предложено создать постоянные отделы критики и библиографии при всех литературно-художественных журналах.

Под руководством партии наша литературная критика стала важным средством борьбы за идейное и художественное совершенствование советской литературы, против чуждых пережитков и влияний. Редакция «Нового мира» допустила ошибку, позволив В. Померанцеву возводить поклёп на советскую литературную критику и даже негодовать по поводу того, что она вырабатывает свои положения под влиянием партийной печати и указаний партии. В том, что наша литературная критика проводит политику партии в области литературы и неразрывно связана с партийной печатью, основывается на указаниях партии по вопросам литературы,— в этом заключаются её величайшее достоинство и сила.

К сожалению, наша литературная критика не всегда должным образом разрешала те ответственные задачи, которые ставят перед ней партия и советский народ. Так,

в критике журнала «Новый мир» за последнее время наметилась совершенно неправильная, вредная и ошибочная линия, противоречащая принципам социалистического реализма, коммунистической идейности литературы, политике партии в области литературы. Начало такой линии было положено уже называвшейся статьёй В. Померанцева «Об искренности в литературе» — статьёй, которая своей демагогией ввела в заблуждение известную часть читателей (особенно молодых читателей) и дала пищу зарубежным писакам, на все лады клеветующим на нашу жизнь и литературу.

В своей статье В. Померанцев с наигранным пафосом ратует за искренность в литературе, пытается убедить читателей, что искренность является главным и всеобъемлющим лозунгом нашего литературного движения. Уже в самой постановке вопроса виден фальшивый характер статьи В. Померанцева. Видно, что она возникла на основе оскорбительных и клеветнических представлений о советской литературе и уводит литературу от действительно важных задач — борьбы за идейность, за отражение правды жизни и т. д. Коммунистическая партия воспитывает всех советских людей в духе искренности, честности и правдивости, и редакции «Нового мира» непросительно было предоставлять страницы журнала для таких «рассуждений» об искренности в литературе, которые носят немарксистский характер и направлены на охаивание советской литературы.

На самом деле: марксизму-ленинизму всегда была враждебна болтовня об «искренности», «гуманности», «нравственности» и т. п., взятых в отвлечённом виде, «вообще», вне их общественного, классового существа и содержания. Искренность, как и все другие моральные категории, в классовом обществе имеет классовый характер, и нельзя болтать по поводу «искренности», отвлекаясь от позиций, взглядов, целей тех или иных людей. Бывает, что об «искренности», «нравственности», «гуманности» кричат фальшивые и, в сущности, неискренние, безнравственные и бездушные люди, стремясь нажать на этом морально-политический капитал и обмануть доверчивых читателей и слушателей.

Одним из пороков статьи В. Померанцева и является злоупотребление понятием искренности в отвлечённом, идеалистическом, антимарксистском смысле этого сло-

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 346.

ва. Отдельные оговорки автора не меняют сути дела. В результате статейка получилась внешне напомаженной и прикрашенной, а по сути — и крикливой и вредной.

Провозгласив «степень искренности, то есть непосредственность вещи» «первой мерой оценки» художественного произведения, В. Померанцев неизбежно стал на путь отрицания роли мировоззрения в художественном творчестве. Вопросы идейной направленности литературы, чему партия и советский народ придают такое большое значение, В. Померанцев игнорирует, обходит в своей статье, отмахивается от них. Ясно теперь, что выступление В. Померанцева направлено против принципов партийности литературы и социалистического реализма и представляет собой перепев антипартийных измышлений «теоретиков» «Перевала», тоже выдававших себя за борборников «искренности» и выступавших против коммунистической идейности советской литературы.

Зачем же В. Померанцеву понадобилась демагогия насчёт «искренности»? Для огульного обвинения наших писателей в неискренности. Спекулируя на недовольстве наших читателей недостатками современной литературы, делая вид, что он борется с бесконфликтностью и приспособленчеством, В. Померанцев на деле клеветает на советскую литературу и прилагает все усилия к тому, чтобы поссорить советскую литературу с читателями. Он пытается уверить читателей, что в советской литературе нет ничего, кроме стандарта, лакировки и приспособленчества. Казалось бы естественным, говоря об искренности в литературе, вспомнить о творчестве советских писателей, о замечательных произведениях советской литературы. В. Померанцев не делает этого; его статья проникнута пренебрежительным отношением к советской литературе, неуважением к её опыту и достижениям.

После опубликования статьи В. Померанцева редакция «Нового мира» вместо того, чтобы исправить допущенную серьёзную ошибку и осудить статью «Об искренности в литературе», напечатала ряд статей, развивающих линию нигилистического отношения к советской литературе. М. Лифшиц в статье «Дневник Мариэтты Шагинян» учинил недопустимо издевательский «разнос» писателю, творчество которого

активно откликается на запросы нашей жизни и связано с советской печатью. Обходя молчанием достоинства «Дневника» Мариэтты Шагинян, Лифшиц глумится над их подлинными и мнимыми недостатками. Ф. Абрамов в статье «Люди колхозной деревни в послевоенной прозе» вместо здоровой, объективной критики послевоенной литературы о колхозной деревне односторонне очернил её. Произведения С. Бабаевского, Г. Николаевой, Е. Мальцева и других писателей, о которых пишет Ф. Абрамов, страдают несомненными недостатками, но вместе с тем они правдиво отразили рост колхозной деревни и колхозного крестьянства в послевоенные годы. Ф. Абрамов и напечатавшая его статью редакция «Нового мира» перечеркнули достижения послевоенной литературы о колхозной деревне и тем самым резко исказили историю развития нашей литературы. Только углубила ошибки «Нового мира» статья о романе Л. Леонова «Русский лес». Автор этой статьи М. Щеглов пытается провести совершенно ложную и вредную мысль о том, что отвратительный персонаж «Русского леса» Грацианский является порождением советского строя, и ошибочно критикует Л. Леонова за то, что он связывает формирование Грацианского с пережитками дореволюционного прошлого.

Нигилистическое отношение к советской литературе соединялось в некоторых выступлениях «Нового мира» с критикой социалистического реализма с позиций натурализма, «приземлённого реализма» с его низменным и внешним правдоподобием. Именно поэтому В. Померанцев на протяжении всей своей статьи не упоминает о социалистическом реализме, издевается над героями и темами советской литературы и призывает писателей к одностороннему изсражению тёмных сторон действительности, разного рода мелких и частных фактиков и сомнительных персонажей вроде «бой-бабы». В том же русле находится и предпочтение Ф. Абрамовым «трезвым реалистов-практиков» (а на самом деле — отсталых деляг и оппортунистов) типа персонажей романов С. Бабаевского Хохлакова и Головачёва «беспочвенному мечтателю» (а на деле активному строителю коммунизма) Сергею Тутаринову. В решительном противоречии с принципами социалистического реализма и с фактами самой

действительности находятся и дешёвые скептические рассуждения Ф. Абрамова по поводу колхозных пятилеток и электростанций, рационального кормления скота в колхозах и других явлений, изображённых в романах С. Бабаевского, Ю. Лаптева, Г. Николаевой.

Таким образом, критика в журнале «Новый мир» за последнее время не только не выполнила указаний партии по вопросам литературы, но нанесла большой ущерб советской литературе и коммунистическому воспитанию масс. Вместо того, чтобы бороться за высокую идейность и партийность советской литературы, за принципы социалистического реализма, «Новый мир» напечатал ряд статей, нигилистически сглаживающих советскую литературу, противоречащих принципам социалистического реализма, идейности и партийности нашей литературы.

Редколлегия «Нового мира» допустила серьёзные ошибки, которые необходимо быстро и решительно исправить.

## 7

Как уже упоминалось, в сборник «О партийной и советской печати» включены и все исторические постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства 1946—1948 годов: «О журиалах «Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме «Большая жизнь», «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели». Это, несомненно, принесёт пользу всем изучающим документы сборника. Исторические постановления ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства не только оказали огромное благотворное влияние на развитие советского искусства, но и подняли на новую, высшую ступень всю идеологическую работу партии.

Значение исторических постановлений Центрального Комитета партии для развития советской литературы поистине неограничено. Они помогли нашим писателям осознать задачи, стоящие перед нами в послевоенные годы, указали путь, по которому должна развиваться современная советская литература; мудрые идеи и положения постановлений сохраняют свою непреходящую силу и в настоящее время.

Исторические постановления ЦК по идеологическим вопросам нанесли сильнейший

удар по буржуазным пережиткам и чуждым влияниям в литературе и искусстве: по безидейности и аполитичности, формализму и низкопоклонству перед буржуазной культурой, по клевете на советских людей и упадочничеству, пережиткам групповщины и беспринципных приятельских отношений. Они подняли идейный уровень советской литературы, утвердили и развили в новых исторических условиях ленинское положение о партийности литературы.

Развивая принцип партийности литературы и искусства, постановления подчёркивают, что в советском обществе партийность литературы неразрывно связана с защитой интересов Советского государства и народа. Партийность советской литературы выражается в том, что она руководствуется интересами всего советского народа и политикой Советского государства. В буржуазном обществе передовая литература противостоит государству и его реакционной политике. В нашем обществе литература видит своё назначение в служении государству. Она одновременно и партийна и народна. Всего этого не поняли как вульгаризаторы ленинского положения о партийности литературы, противопоставлявшие писателей-коммунистов писателям беспартийным, так и те литераторы и философы, которые ещё не так давно пытались доказать «устарелость» принципа партийности литературы.

«Сила советской литературы,— говорится в постановлении «О журналах «Звезда» и «Ленинград»,— самой передовой литературы в мире, состоит в том, что она является литературой, у которой нет и не может быть других интересов, кроме интересов народа, интересов государства»<sup>1</sup>.

Исторические постановления ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам разъяснили задачи советской литературы, утвердили и развили метод социалистического реализма на новом историческом этапе развития нашей страны. Они призвали советских писателей добросовестно и внимательно изучать нашу действительность, правдиво показывать жизнь в её непрерывном движении вперёд, воспитывать наш народ в духе коммунизма и советского патриотизма.

Развивая метод социалистического реализма, постановления подчеркнули исключительную важность для советской литера-

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник: документов, стр. 568.



туры изображения положительного героя и обогатили наши представления о положительном герое советской литературы. В постановлении ЦК «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению» сказано: «Наши драматурги и режиссёры призваны активно участвовать в деле воспитания советских людей, отвечать на их высокие культурные запросы, воспитывать советскую молодёжь бодрой, жизнерадостной, преданной Родине и верящей в победу нашего дела, не боящейся препятствий, способной преодолевать любые трудности. Вместе с тем советский театр призван показывать, что эти качества свойственны не отдельным, избранным людям, героям, но многим миллионам советских людей»<sup>1</sup>.

Решительно осудив клевету на советских людей и советское общество в произведениях М. Зощенко и других писателей, постановления ЦК указали на необходимость развития сатиры в советской литературе, призванной бичевать и разоблачать лагерь империализма и агрессии и беспощадно критиковать наши недостатки и пережитки капитализма в сознании людей. Постановления учат строго отличать фальшивую, клеветническую «критику» в литературе, направленную на подрыв и развенчание советского общества, от подлинной советской критики, направленной на укрепление и усиление советского строя. Вместе с тем они являются замечательным оружием в борьбе против всяческих извращений метода социалистического реализма — будь то «теории» приукрашивания действительности и бесконфликтности, или призывы к одностороннему натуралистическому изображению так называемых тёмных сторон действительности, нападки на собственную социалистическому реализму романтику.

Критики-эстеты пытались исказить сущность исторических постановлений ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства, пустив в ход версии о том, что партия якобы борется лишь за идейность искусства и литературы, но не за их художественное совершенство. Нет нужды доказывать вздорность подобных измышлений. Разоблачая клеветнические произведения Зощенко, безидейные пьески, порочный фильм «Большая жизнь» и формалистические упражнения в музыке, постанов-

ления обращают внимание и на их примитивность, безграмотность, низкий художественный уровень. Постановления указывают на необходимость совершенствования формы и стиля произведений искусства и литературы. Заботу о повышении идейного уровня советской литературы и искусства партия всегда соединяла с заботой о росте художественного мастерства советских писателей и работников искусства.

Вдохновляемые историческими постановлениями ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства, советские писатели добились в послевоенные годы больших успехов. В своих произведениях они рассказывают о делах и днях своей Родины, о творческом труде советских людей, пропагандируют идеи коммунизма и советского патриотизма, борются за мир против поджигателей войны. В послевоенные годы появились романы: «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Счастье» П. Павленко, «Повесть о детстве», «Вольница», «Лихая година» Ф. Гладкова, «Первые радости» и «Необыкновенное лето» К. Федина, «Буря» и «Девятый вал» И. Эренбурга, «Далско от Москвы» В. Ажаева, «Донбасс» Б. Горбатова, «Кавалер Золотой Звезды» С. Бабаевского, «Жатва» Г. Николаевой, «Белая берёза» М. Бубеннова, «Спутники» В. Пановой, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Знаменосцы» О. Гончара, «За власть Советов» В. Катаева, «Весна на Оudere» Э. Казакевича, «Земля зелёная» и «Просвет в тучах» А. Упита, «Буря» и «К новому берегу» В. Лациса, «Абай» М. Ауэзова, «Бухара» С. Айни, «Переяславская рада» Н. Рыбака, «Степан Разин» С. Злобина, «Журбины» В. Кочетова, «Русский лес» Л. Леонова; рассказы и очерки В. Овечкина, С. Антонова, Б. Галина; новые пьесы А. Корнейчука, А. Якобсона, К. Симонова, Б. Лавренёва; поэмы А. Недогонова, Н. Грибачёва, А. Кулешова; новые сборники стихов Н. Тихонова, П. Тычины, Я. Коласа, А. Твардовского, М. Бажана, А. Суркова, К. Симонова, А. Малышко, М. Турсун-Заде, С. Щипачёва, новые стихи и песни М. Исаковского, новые стихи и переводы С. Маршака и многие другие замечательные произведения многонациональной советской литературы. Книги советских писателей пользуются мировой славой, они воодушевляют трудящихся всего земного шара на борьбу

<sup>1</sup> «О партийной и советской печати». Сборник документов, стр. 571—572.

против капитализма за свободу и счастье народов.

Руководствуясь постановлениями ЦК ВКП(б) по идеологическим вопросам, советская общественность разгромила критиков-космополитов, которые выступали против политики партии в области литературы и искусства, клеветали на советское искусство и литературу, рабелепствовали перед буржуазной культурой, отравляли атмосферу советского искусства формализмом и эстетством. Опираясь на постановления ЦК, партийная печать разоблачала так называемую теорию «бесконфликтности» в литературе, которая толкала писателей на путь лакировки действительности и уводила их от смелого изображения жизненных противоречий и конфликтов, мешала развитию советской сатиры и нанесла серьёзный ущерб советской драматургии.

Большие успехи в развитии советской литературы были отмечены XIX съездом Коммунистической партии Советского Союза, явившимся событием всемирно-исторического значения, важнейшей вехой на пути к коммунизму.

XIX съезд партии указал и на существенные недостатки нашей литературы. В отчённом докладе XIX съезду партии о работе Центрального Комитета ВКП(б) Г. М. Маленков отметил, что, несмотря на огромные успехи в развитии литературы и искусства, идейно-художественный уровень многих произведений всё ещё остаётся недостаточно высоким. В литературе и искусстве появляется ещё много посредственных, серых, а иногда искажающих нашу советскую действительность произведений. Многогранная и кипучая жизнь советского общества в творчестве некоторых писателей и художников изображается вяло и скучно.

На съезде были определены главные задачи советской литературы. «В своих произведениях,—сказал Г. М. Маленков,—наши писатели и художники должны бичевать пороки, недостатки, болезненные явления, имеющие распространение в обществе, раскрывать в положительных художественных образах людей нового типа во всём великолепии их человеческого достоинства и тем самым способствовать воспитанию в людях нашего общества характеров, навыков, привычек, свободных от язв и пороков, порождённых капитализмом».

Однако показать жизнь в её сущности,

запечатлеть характеры положительных героев, овладеть оружием критики и сатиры писатель может лишь в том случае, если не станет заниматься поверхностным копированием отдельных фактов, а будет обобщать явления действительности, раскрывать процесс её развития, создавать типические образы. Типическое же в марксистско-ленинском понимании, как напомнил Г. М. Маленков, не только то, что наиболее часто встречается и является наиболее распространённым, но то, что с наибольшей полнотой и заострённостью выражает сущность данной социальной силы, данного общественно-исторического явления. В типическом сказывается и степень постижения писателем действительности и его партийность—идейные позиции, с которыми он подходит к явлениям жизни.

Призывая создавать искусство глубокое и правдивое, искусство больших мыслей и чувств, XIX съезд партии обратил самое серьёзное внимание на необходимость усиления идеологической работы во всех звеньях партии и государства, на необходимость неустанно разоблачать всяческие проявления чуждой марксизму идеологии. «Мы должны всегда помнить,—говорил Г. М. Маленков,—что всякое ослабление влияния социалистической идеологии означает усиление влияния идеологии буржуазной».

Благодаря руководству Коммунистической партии, воодушевлённая постановлениями ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства и решениями XIX съезда Коммунистической партии Советского Союза, советская литература уверенно идёт по пути идейного и художественного совершенствования, правдиво и ярко раскрывая героическую борьбу советского народа за построение коммунистического общества. Главной особенностью советской литературы на современном этапе является её возросшая коммунистическая идейность и государственная ответственность перед советским народом.

Однако и до сих пор некоторые советские литераторы допускают серьёзные отступления от принципов партийности советской литературы и социалистического реализма и вместо того, чтобы бороться с пережитками капитализма и чуждыми влияниями в советском искусстве, становятся их носителями и пропагандистами.

Так, порочная линия, занятая «Новым миром» в вопросах литературы,—линия, про-

творечащая политике партии в области литературы, свидетельствует о том, что мы, как и другие члены редколлегии журнала, не только не сделали всех выводов из той критики, которой подверглась в постановлении ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград» деятельность редколлегии этих журналов, но и забыли об указаниях XIX съезда партии в области литературы и идеологической работы. В этом и заключается главная причина наших ошибок. В результате был нанесён серьёзный вред развитию советской литературы.

Партийная печать и Союз советских писателей сурово, но справедливо осудили линию, намстившуюся в «Новом мире», глубоко разъяснили её порочную сущность и убедили нас в её ошибочности и вредности. Задача редколлегии «Нового мира» — принять меры к устранению допущенных ошибок, выправить линию критики журнала, прекратить доступ в журнал порочным произведениям, поднять идейный и художественный уровень журнала.

\* \* \*

Осуществляя планы, намеченные Коммунистической партией Советского Союза, наша страна вступила в новый период своего развития — в период постепенного перехода от социализма к коммунизму.

Партия учит, что коммунизм возникает как результат сознательного творчества миллионов масс трудящихся. В связи с этим ещё более возрастает значение, становится более ответственной роль печати и литературы, призванных воспитывать народ в духе коммунизма, помогать партии в мобилизации творческой энергии народных масс на решение великих задач хозяйственного и культурного строительства. Печать и литература должны выполнять указания XIX съезда партии о борьбе против пережитков капитализма, предрассудков и вредных традиций старого общества. Печать и литература обязаны развивать в массах высокое сознание общественного долга, воспитывать трудящихся в духе советского патриотизма и дружбы народов,

в духе заботы об интересах государства. Печать и литература призваны совершенствовать лучшие качества советских людей — уверенность в победе нашего дела, готовность и умение преодолевать любые трудности и препятствия на пути к цели.

Формулируя задачи, которые Коммунистическая партия ставит перед печатью, Н. С. Хрущёв на прошлогоднем совещании редакторов, созванном ЦК КПСС, сказал: «...работники газет и журналов должны глубже вникать в существо выдвигаемых жизнью вопросов, писать со знанием дела, конкретно. Газеты обязаны со всей остротой вскрывать недостатки нашей работы, обнажать недочёты и делать это так, чтобы мобилизовать людей на преодоление этих недостатков, понимать широкие массы трудящихся на развёртывание здоровой критики... Работникам газет и журналов надо хорошо знать, глубоко изучать вопросы, о которых они пишут»<sup>1</sup>.

Эти указания применимы и к литературе, являющейся важным участком фронта идеологической работы. Задача литературы — активно вторгаться в жизнь, помогать народу бороться за торжество коммунизма в нашей стране, за мир во всём мире.

Через несколько месяцев должен собраться Второй всесоюзный съезд советских писателей. Съезд призван обобщить творческий опыт литераторов Советского Союза за двадцатилетие, прошедшее со времени Первого съезда писателей, подвести итоги достижениям советской литературы, вскрыть её недостатки и определить задачи на новом этапе исторического развития нашей Родины.

Советские писатели идут к своему Второму всесоюзному съезду тесно сплочённые вокруг Коммунистической партии и Советского правительства. Под руководством партии, вооружённые великим учением Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, советские писатели добьются новых больших успехов, дадут народу новые творения высокого идейного и художественного совершенства.

<sup>1</sup> «Правда», 4 декабря 1953 года.

## ВОПРОСЫ ПЕРЕВОДА

★

МАКСИМ РЫЛЬСКИЙ

### *Из размышлений переводчика*

Перекладачі — поштові коні освіти.  
Пушкін.

Не должно мешать свободе  
нашего богатого и прекрасного языка.  
Пушнин.

**П**ервый из поставленных мною эпитафий может вызвать некоторое удивление у современного читателя, особенно, если он обратит внимание на то, что у Пушкина сказано не «кони», а «лошади». В украинском языке, к сожалению, имеется только одно слово, соответствующее этим двум («кінь»), что, кстати сказать, служит примером того, как трудно бывает иногда передать стилистические и эмоциональные оттенки слов другого языка. Русское слово «конь» имеет оттенок торжественности, высокого стиля, оно хотя и бытует в живом разговорном языке, но в какой-то мере архаично. Оно пригодно главным образом для песни, для стиха, для военной команды («По коням!») и меньше подходит для делового, прозаического языка (хотя в нём и употребляются производные: «коневодство», «конское поголовье»). «Лошадь» — слово, не имеющее оттенка торжественности, приподнятости, романтичности. И вот: «Переводчики — почтовые лошади просвещения». Но нужно помнить, что в пушкинской России, где поэт только мечтал о «чугунных дорогах», почта, почтовые лошади были самым скорым способом сообщения. Поэтому пушкинское определение роли переводчиков — это во всех отношениях высокая оценка и похвала. Можно прибавить к этому, что мы говорим: «Работает, как лошадь», подчёркивая тем самым выносливость, силу, постоянный труд. Это не сни-

жает, конечно, похвалы Пушкина переводчикам.

Что же касается второго эпитафа, то он вполне ясен, однако мысль, выраженную в нём, каждый раз приходится напоминать нашим писателям, нашим критикам, нашим языковедам, нашим редакторам.

Пушкин говорил о русском языке, но мы имеем право применить его слова и к нашему украинскому языку, который, выйдя из чисто народных основ и близко соприкасаясь с русским языком, достиг чудесных вершин в творчестве Шевченко, Марко Вовчок, Леонида Глизова, Степана Руданского, Панаса Мирного, Ивана Франко, Леси Украинки, Михаила Коцюбинского, Михаила Старицкого, Степана Васильченко, Архипа Тесленко и неслыханно обогатился в наше советское время.

Я люблю язык и люблю переводческое дело. Второе, между прочим, невозможно без первого. Мой долголетний опыт переводчика даёт мне, думаю, право поделиться с товарищами некоторыми своими мыслями и наблюдениями. Предупреждаю, что на сколько-нибудь полное, исчерпывающее исследование проблем перевода я никак и не претендую. Кроме того, некоторые соображения и конкретные примеры, которые найдёт здесь читатель, уже имели в своё время место в предыдущих моих заметках, статьях, выступлениях. К сожалению, не могу без них обойтись и теперь.

Статья напечатана в журнале «Дніпро» (№ 4 за 1954 г.).

Когда охотник приближается к лугу или болоту, богатому дичью, его всегда охва-

тывает радостное предчувствие удачи. Вместе с тем он напрягает все свои силы, чтобы охота была действительно удачной. Ведь должен же он показать тут своё знание особенностей и «привычек» птиц — а они одни у бекасов, другие — у дупелей и опять-таки совсем иные у уток, — нужно принять во внимание и рельеф местности, направление ветра и т. д., наконец, проявить своё умение меткого стрелка!

Нечто подобное переживает литератор, берясь за перевод художественного произведения. Тут и вера в будущие достижения, и сознание предстоящих немалых трудностей, и мобилизация всех своих знаний, опыта, технических приёмов, которые каждый раз по-новому, в зависимости от индивидуальности переводимого автора, нужно применить.

Я представляю себе волнение Алексея Кундзича, когда он начал свой, прямо скажу, литературный подвиг — перевод «Войны и мира». Ведь необходимо было передать и толстовские «циклопические», нарочито «неуклюжие» периоды, продиктованные единственным стремлением достигнуть полной правдивости и ясности в выражении мысли, и так называемый «простонародный» язык Платона Каратаева, вообще солдат и крестьян, и сделать понятными светские, салонные разговоры, и дипломатические «mots» Билибина, и горячие речи искателя истины Пьера Безухова, и «иностранину», которой пропитаны многие страницы толстовской эпопеи, и т. д. и т. п. Было от чего взволноваться!

Я не во всём соглашаюсь с тем, как А. Кундзич решает отдельные переводческо-стилистические задачи. Но он отстаивает свои позиции, и это хорошо. Переводчик художественного произведения — сам художник, и как художник он должен бороться за свои взгляды.

Неправильно было бы думать, что может быть какой-то один, единственно верный перевод художественного произведения. Нет, никакая унификация, никакая канонизация тут невозможны. Каждый переводчик может — при удачном вообще отображении иноязычного рассказа, пьесы, поэмы, стихотворения и т. д. — оставить в стороне ту или иную черту оригинала и сделать ударение на другой, которая кажется ему более существенной. Каждый переводит по-своему. (Я не говорю, конечно, о случаях несознательного или, ещё

хуже, сознательного искажения идеи произведения и его стилистического характера. Мы знаем — и на это указывала наша партийная печать — случаи, когда переводчики старались «сгладить», «подправить» идейные ошибки автора; ни к чему хорошему это также не вело.) Появление нескольких переводов одной и той же вещи, если она в общем представляет собой непререкаемую ценность, можно только приветствовать.

Существует мнение, что переводчик имеет право и должен переводить только те вещи, которые ему внутренне близки, только тех авторов, с которыми он чувствует родство. В общей форме эта мысль верна. Высокая ценность переводов из Бёрнса, выполненных Маршаком, или переводов Малышко из Исаковского и Твардовского, блоковские переводы из Гейне — убедительные этому доказательства.

И в то же время дело обстоит не так просто, как оно кажется на первый взгляд. Жуковский, скажем, переводил и немецких романтиков и Гомера. С первыми его действительно многое роднило, а со вторым? Однако до сих пор не превзойдён его перевод «Одиссеи»... Вряд ли можно заподозрить и Бориса Пастернака в духовном родстве с Шекспиром или с Шевченко, а вот его переводы драм первого и «Марины» второго — образцы высокого мастерства, хотя можно и там отметить случаи отдельных неудач. Выходит так, что дело не всегда во внутреннем родстве. Но требование, которое мы ставим переводчику: понимать и чувствовать оригинал, уметь «войти в мир» избранного для перевода автора, подчинить ему, насколько возможно, свою индивидуальность — это требование вполне ясное и обязательное. Именно насколько возможно, ибо совсем отречься от себя художник, если он действительно художник, не может.

Блестящими образцами такого умения войти в чужой мир, в далёкую эпоху, перевоплотиться, оставаясь вместе с тем самим собой, являются в нашей украинской литературе переводы Микола Бажана «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, «Давитиани» Давида Гурамишвили. И если мы вспомним, что тот же Бажан прекрасно воспроизводит на украинском языке Маяковского, то, кажется мне, вполне доказана моя мысль: настоящая мастер слова может переводить разных поэтов. Поэтика самого Бажана имеет отчётливые

следы творческого изучения Маяковского; но ведь нашёл же он, как это говорят, на своей палитре краски и для воспроизведения грузинских классиков (тоже, кстати, не похожих один на другого).

Итак, краткий вывод: переводчик поэтического произведения прежде всего должен быть сам поэтом — со свойственной поэтам способностью перевоплощаться, откликаться на несхожие литературные явления, должен быть чутким, как пушкинское «Эхо».

Уже давно указывали на ошибочность мысли, будто переводить с близких языков легче, чем с языков далёких. Перевод на украинский язык, скажем, с русского или белорусского представляет собой специфические трудности, которые не всегда легко одолеть. Он таит в себе много опасностей. Одна из этих опасностей — существование в родственных языках слов, которые одинаково или почти одинаково звучат, а означают совсем разное. Достаточно привести такие общеизвестные примеры, как украинское слово «рожа» (цветок мальвы, иногда роза) и русское «рожа» (морда), как русское «трус» и украинское «трус» (обыск), русское «звон» (звук) и украинское «дзвін» (звук и колокол), украинское «родина» (семья, род) и русское «родина», польское «dzierzawa» — «державе» (арендная плата) и русское и украинское «державе» (государство), польское «glaz» (камень, скала) и русское «глаз», русское «заря» (рассвет) и украинское «зоря» (звезда), реже рассвет, украинское «запам'ятати» (запомнить) и русское запоминать (забыть), польское «zaropnieć» (забыть) и русское «запомнить», украинское «кривий» (хромой) и русское «кривой» (слепой на один глаз), русское «вонь» (смрад) и польское «woń» (аромат), украинское «пильний» (внимательный, старательный) и русское «пыльный» (запылённый, покрытый пылью), русское «обший» и польское «овсу» (чужой), украинское «луна» (отклик, отголосок, эхо) и русское «луна», украинское «красний» (красивый, хороший) и русское «красный» (красивый только в архаическом употреблении — красный уголь, Красная площадь)... Из таких примеров можно составить целый словарь. А сколько недоразумений возникало, да и сейчас по временам возникает, у переводчиков, берущихся за дело без достаточного

знания языка, с которого они переводят, с этими вот подобными звучаниями и разными, даже противоположными содержаниями слов, с этими межъязычными омонимами!

А то ещё бывает так: слово имеет в одном языке один оттенок, а в другом — иной, хотя по содержанию они близки. Здесь часто попадает в затруднительное положение даже переводчик, отлично знающий язык оригинала и свой язык. Украинское выражение «великий композитор» можно перевести по-русски и «великий композитор» и «большой композитор», а это ведь не одно и то же! Я лично считаю целесообразным, чтобы избежать недоразумений, употреблять в подобных случаях для русского «большой», как соответствующее ему украинское выражение «видатний», «визначний» (выдающийся). Русское «тятя» — «простонародное» выражение, его нельзя вложить, например, в уста лермонтовской Тамары, а украинское «тато» не имеет такого привкуса, налёта «простонародности», оно, так сказать, нейтральнее, хотя я и заколебался бы, может ли употребить его пушкинская Татьяна, воспитанная на французском «папá». Украинское «бацько» это «отец» во всех разветвлениях его значения, кроме значения «батюшка» — священник. А русские поэты переносят его, не всегда может к месту, в свои переводы с украинского языка только в значении «атаман» и часто с отрицательной окраской (иногда случается у них и неизвестно откуда возникшее ударение «бацько»).

А сколько хлопот причиняет переводчикам грамматический род — и в близких и в далёких языках! Дождь по-французски — женского рода, и французский поэт изображает его девушкой в жемчужном ожерелье. А что же делать украинским и русским переводчикам? Приходится давать не девушку, а юношу, то есть полностью менять образ! Данте называет иней «сестрой снега», потому что по-итальянски иней — женского рода. Русского и украинского переводчиков могут спасти лишь приблизительно соответственные ему слова «изморозь», «паморозь». «Топóля» стройная, как девушка, и девушка, стройная, как «топóля», — совершенно обычные сравнения в украинской народной поэзии у Шевченко, а вот «тополь» в русском языке — мужского рода... И вряд ли удачным выходом из трудного положения было, когда в одном

русском переводе шевченковская «топбля» («По діброві вітер віє») превратилась в малоупотребительную и поэтому малопопулярную «раину».

Что пришлось мне делать с пушкинским сравнением в «Евгении Онегине» —

У ночи много звёзд прелестных,  
Красавиц много на Москве.  
Но ярче всех подруг небесных  
Луна в воздушной синеве.  
Но та, которую не смею  
Тревожить лирою моею,  
Как величавая луна  
Средь жён и дев блестит одна.

Дать сравнение красавицы с месяцем? Невозможно! И я «дерзнул»:

Зірок багато єсть у ночі,  
Багата на красунь Москва,  
Але найбільше вабить очі  
Сріблиста зірка ранкова  
Але вона, перед котрою  
Я мовкну з лірою дівинкою,  
Зорею ранньою вона  
Блищить серед красунь одна.

Можно было бы, вероятно, найти и иной какой-нибудь выход, но я его не нашёл.

Бывают затруднения и с грамматическим числом. Например, вполне естественно звучит в том же «Онегине»:

Любви все возрасты покорны...

А по-украински «всі віки» было бы не только искусственно, но и мало понятно (вспомним, что слово «вік» имеет и другое значение — столетие, эпоха). Пришлось написать:

Коханню кожен вік підвладний.

Возьмём известное пушкинское описание начала зимы:

Пришла, рассыпалась; клоками  
Повисла на суках дубов;  
Легла волнистыми коврами  
Среди полей, вокруг холмов;  
Врега с недвижною рекою  
Сравняла пухлой пеленою;  
Блеснул мороз. И рады мы  
Проказам матушки зимы.

(«Евгений Онегин»,  
глава седьмая, XXX).

И представим теперь, что эти строчки читает житель африканских тропиков, который никогда не покидал своей страны. Что это за «клоки»? Почему зима «рассыпалась»? Ведь он никогда не видел снега (который, кстати, и не назван у Пушкина)

и, вероятно, не видел и «дубов». «Блеснул мороз» — что это такое? И что это за «проказы матушки зимы»? Всё непонятно!

Овидий был крайне удивлён, когда увидел, как по замёрзшей во время «сарматской зимы» речке ходили и ездили люди.

Негр сравнивает любимую девушку со стройной пальмой. Русский — с белоствольной берёзой, украинец — с гибким тополем. А как же быть переводчику негритянских, русских, украинских песен? Разумеется, всегда надо искать возможности сохранить национальный и исторический колорит подлинника. Но как это сделать?

На этих острых примерах я хочу показать, какое нелёгкое дело дать иноязычным читателям, читателям других стран представление о художественном произведении, написанном на определённом национальном или даже местном материале. Задача эта нелёгкая, но не безнадежная! Вообще же переводчикам, особенно начинающим, нужно раз навсегда запомнить, что переводческая работа почётная, но трудная, что это творческий процесс.

Понятия «светский», «свет», «дуэль», «картель» (вызов на поединок), «ярмарка невест» (Москва), «дворовые» («люди»), такие обычные для Пушкина и его эпохи, не являются ли они, скажем, для большей части нашей молодёжи почти тем же самым, чем является снег для жителя тропиков, лёд на речке — для римского поэта?

Разумеется, это не так. Наша молодёжь, наш читатель знает и представляет — из литературы — названные явления. Но подумаем о другом: украинский язык, в силу определённых исторических обстоятельств, не выработал точно соответствующих слов для вот этих — «свет», «светский» и т. д. «Велике панство»? «Великопанський»? Но разве мог бы сказать о себе Онегин, да и сам Пушкин, что он возвращается в «великом панстве»? И тем паче, что он «великопанська людина»?

Долго думал я и решил, что вернее всего будет тут просто позаимствовать из русского языка эти слова, придав им украинскую форму: «світ», «світський». Итак, у Пушкина в посвящении к «Онегину»:

Не мысля гордый свет забавить...

Но в переводе слово «гордый» в первую строку «не влезло», и поэтому получилось:

Не світ хотівши звеселити  
У гордості його пустій...

Слово «гордость» поясняет, в каком понимании тут берётся слово «світ».

А вот в шестой главе «Онегина», в характеристике Зарецкого:

Бывало, льстивый голос света  
В нём злую храбрость восхвалял...—

я в своё время перевёл:

Облесний лю д колись в окóлї  
Його за смїлїсть вихваляв...

Убеждён теперь, что это неудачно. Возможно, что я побоялся скопления «с» и потому не написал: «облесний світ колись»... Не помню. Но ведь и «в окóлї» тут ни к чему! Это подходило бы уже к более позднему времени, когда Зарецкий поселился, остепенился, стал «отцом семейства холостым», «надёжным другом», «помешком мирным» и «даже честным человеком». Очевидно, что «окóло» — «околица», «округа», «соседние сёла» — в разговоре о молодых годах Зарецкого не годится.

Кстати, в той же характеристике читаем:

И то сказать, что и в сраженїи  
Раз в настоящем упоеньїи  
Он отличился, смело в грязь  
С коня калмыцкого сваясь,  
Как зюзя п'яный, и французам  
Достался в плен...

«Как зюзя пьяный» — «Мов хлюща п'яний». Это казалось и кажется мне неплохим соответствием. О переводе фразеологических оборотов я тут, однако, распространяться не буду. Скажу только, что буквальная передача текстов оригиналов привела бы к курьёзам типа «справа в капелюші» («дело в шляпе») или «будувати кури» («строить куры» — галлицизм, обычный для русского светского языка XVIII — начала XIX столетий — означает «ухаживать»).

Не раз бывало, что искушение перевести стихи с русского языка слово в слово разбивалось о невозможность заменить полную форму прилагательных. «Весёлая, весёлое, весёлые» — это нормальная русская форма, а в украинском литературном языке узаконена форма «весела, веселе, веселі». Только переводя песни или стихи народнопесенного стиля или для определённой торжественности мы можем позволить себе вводить «веселее, веселая, веселі»...

То же самое и с неопределённым наклоном глаголов: по-русски у них нормаль-

ное окончание — ть, — ться (желать, смеяться), по-украински же принято грамматикой — ти, — ться (бажати, сміятися). Поэтому дословный перевод с сохранением размера никак не может получиться.

Специальную проблему перевода составляет передача архаизмов и неологизмов. Тут, как нигде, имеет значение чувство меры и знание языка.

Такие старославянские формы, как «брег», «младой», «власы», «чреда», «хладный», «мрежи» и другие, обычны у Пушкина (хотя имеются свидетельства, что поэт в расцвете своего гения каялся в злоупотреблении ими). А в украинском языке нет слов, вполне соответствующих им. Поэтому, когда они употреблены с определённой стилистической целью — для торжественности, для передачи духа старины, переводчик должен чем-то другим — общим строем предложения — передать характер оригинала. В каждом конкретном случае это решается по-разному.

Начало «Памятника» —

Я памятник себе воздвиг нерукотворный.

Старицкий перевёл так:

Я спорудив собі надгробок вікопомний.

Перевод этот, в общем, возражений не вызывает. Торжественный тон оригинала хорошо передан словами «спорудив» и особенно «вікопомний». Однако он лишён весьма существенного определения памятника «нерукотворный». Поэтому я счёл целесообразным передать это место слово в слово: «Я пам'ятник собі воздвиг нерукотворний», не посчитавшись с тем, что слово «воздвигнуть» не имеет или почти не имеет традиции в украинской лексике.

Слова «молвь» и «топ», употреблённые в пушкинском описании сна Татьяны («людская молвь и конский топ»), критики—современники Пушкина — считали выдуманными поэтом. Он возражал им, сославшись на народную сказку «Вышел Бова из шатра прохладиться и услышал в чистом поле людскую молвь и конский топ». Но что же было делать украинскому переводчику? В каждом случае — для выразительности, для энергичности стиха — следовало сохранить односложные слова. И я перевёл:

І людська річ і кінський грюк.



Признаю, что это не передаёт сказочно-сти данного места, но ничего лучшего я придумать не мог. Считаю, что украинское «грюк» (вместо более употребительного «грюкіт», «гуркіт») вполне соответствует русскому «топ» (вместо чаще употребляемого «топот»).

Большого такта требует от переводчика и передача народнопесенного стиля. Тут его подстерегают две опасности: либо чрезмерная «украинизация» текста, либо чрезмерная его «руссификация» (я сознательно ограничиваю себя украинско-русскими переводческими взаимоотношениями, основываясь главным образом на переводах из Пушкина, преимущественно своих собственных).

Девицы, красавицы,  
Душеньки, подруженьки,  
Разыграйтесь, девицы,  
Разгуляйтесь, милые!  
Затяните песенку,  
Песенку заветную,  
Заманите молодца  
К хороводу нашему...

(Песня девушек  
в конце III главы «Онегина»).

Дивоньки, красунечки,  
Душеньки, подруженьки,  
Розгуляйтесь, дівоньки,  
Розгуляйтесь, красні!  
Заведіть ви пісеньки,  
Піснї заповітної,  
Заманіть ви парубка  
Та й до кола нашого.

Согласен, что повтор «розгуляйтесь» вместо пушкинской вариации «разыграйтесь, разгуляйтесь» — недочёт перевода; что «душеньки» реже употребляемое в украинском языке слово, чем в русском; что пропал повтор («песенку, песенку заветную»); что «парубок» — это не совсем «молодец» (но что поделаешь с ударением?)... Однако думаю, что колорит в основном передан, излишней «украинизации» или «руссификации» переводчику (мне) удалось избежать.

На берегу пустынных волн  
Стоял Он, дум великих полн,  
И вдаль глядел.

Так начинается «Медный всадник». Я считал, берясь за перевод этого пушкинского шедевра, что тут много значат звуки — «олн», «олн»... Следует заметить, что Пушкин придавал огромное значение звуковой, фонетической стороне стиха. Достаточно просмотреть его черновики или перечитать знаменитое письмо к Вяземскому

по поводу стихотворения «Водопад». Там Пушкин, возражая против содержания слов, которыми Вяземский характеризовал водопад, говорит, однако: «в ла, в ла звуки музыкальные». Следовательно, «олн» в торжественном вступлении к поэме было, очевидно, не случайно.

В украинском языке звукосочетания «олн» нет. Есть «овн», но и с ним тут ничего не сделаешь. Мне хотелось как можно больше сохранить хотя бы звуки О и Н, и я перевёл:

Де вод пустинних оболонь,  
Стояв В і н; гордих дум огонь  
Чоло світив.

Готов признать, что «сболонь» тут слегка «притянута за волосы», а «гордих дум огонь» не вполне соответствует словам «дум великих полн» — ведь имелись в виду именно великие замыслы Петра, — но лучшего я ничего найти не мог, не умел. И не умею. Прославленные строки:

ШИПЕНЬЕ ПЕНИСТЫХ БОКАЛОВ  
И ПУНША ПЛАМЕНЬ ГОЛУБОЙ

удалось мне передать почти дословно:

ШИПІНЯ СПІНЕНИХ НАПІВ  
І ПунШа Пломінь голуБий.

Если говорить о звукописи, блестящий образец которой видим в приведённых пушкинских строках, то следует отметить, что у великих поэтов, но не у формалистов типа Бальмонта, она возникает иногда сознательно, а иногда стихийно, уже по написанию получая санкцию творческого гения. В данном случае Пушкин, возможно, и не думал о чередовании согласных, — просто так получилось. Но получилось хорошо, великий поэт это понял и закрепил.

Долго, как это видно из рукописей, искал Пушкин эпитет к «скаканию» памятника Петра Первого «по потрясённой мостовой»: «тяжеломерное», «далёко-звонкое» — и, наконец, остановился на таком: «тяжёло-звонкое скаканье по потрясённой мостовой». Мне не удалось найти в украинском языке такое двойное прилагательное, которое укладывалось бы к тому же в размер стиха, и я написал:

Тяжкє видзвонює скакання...

Мне кажется, что дух и характер образа и основные элементы звучания я сохранил.

Знаменитое «Россию поднял на дыбы» заставило меня много поработать. Соответствующие выражения к «поднять на дыбы», которые находил я в словарях, типа «поставить гопки», меня, понятно, не удовлетворяли. Очень обрадовался я, найдя — не помню где — выражение «ставама»:

Росію ставма підхопив...

Одним из любимейших Белинским пушкинских стихотворений были стихи «Три ключа» («В степи мирской»). Вот они:

В степи мирской, печальной и безбрежной,  
Таинственно пробилась три ключа:  
Ключ Юности, ключ быстрый и мятежный,  
Кипит, бежит, сверкает и журчит;  
Кастальский ключ волною вдохновенья  
В степи мирской изгнанников поит;  
Последний ключ, холодный ключ Забвенья,  
Он слаще всех жар сердца утолит.

Я когда-то перевёл его так:

В степу життя, безкрайному й сумному,  
Из трьох джерел судилося нам пити:  
Літа безумні п'яняться в одному  
І молодість хвилює і кипить;  
У другому, під темний час вигнання,  
Кастальський плін скрашає нам життя;  
Та найсолодше джерело останнє —  
Холодне і німотне забуття.

Позже, перечитывая этот перевод, я увидел, что он очень «приблизительный», не-

точный, неверный; последняя строка, которая особенно нравилась Белинскому, — «он слаще всех жар сердца утолит», — передана была крайне неудовлетворительно. И я попытался перевести заново:

В степу життя, сумнім та безбережнім,  
Три джерела пробилась потайні:  
Струм юності із розмахом бентежним  
Кипить, б'жить у шумі та вогні;  
Кастальський струм, натхнення благородне,  
З степу життя вигнанців веселить;  
Останній струм — струм забуття холодний,  
Він найсолодше душу нам свіжить.

Не знаю, полностью ли справился я и тут со своей задачей, но что справился с ней лучше, чем раньше, — не сомневаюсь.

Переводчики, как и поэты вообще, должны всегда помнить латинское выражение „*Arx longa, vita brevis est*“ («Жизнь коротка, но безгранично искусство»).

Перевод — очень ответственное и большого идейного значения дело. Оно служит обогащению национальных литератур, способствуя одновременно укреплению интернациональных связей, великой идее дружбы народов, которая пышным цветом расцвела в послеоктябрьскую эпоху в Советском Союзе и представляет собой высокий пример всем честным трудящимся мира.

*Перевод с украинского.*

★

## П. КАРП, Б. ТОМАШЕВСКИЙ

### *Высокое мастерство*

В нашей стране достигла большой высоты культура художественного перевода. Это результат роста общей культуры советских народов, а также укрепления дружбы между народами нашей Родины и укрепления интернациональных культурных связей. За годы советской власти на русский язык и на языки народов СССР были переведены крупнейшие произведения национального эпоса и классиков литературы народов СССР, произведения прогрессивных зарубежных писателей, заново были переведены многие произведения классиков мировой литературы. Благодаря работе переводчиков постоянно сотен миллионов читателей стали произведения советской литературы.

Настоящая статья представляет собой попытку обзора переводческой деятельности

одного из выдающихся советских поэтов С. Я. Маршак. Впервые Маршак выступил в печати как переводчик ещё до революции, опубликовав переводы из В. Блейка и В. Вордсворта и из английских народных баллад. С тех пор он не оставлял работы над переводом стихов — работы необычайно многогранной и многообразной. Хотя интересы Маршак лежат главным образом в английской поэзии — им переведены английские народные баллады, сонеты Шекспира, стихи Бёрнса, Блейка, Байрона, Шелли, Китса, Вордсворта, Стивенсона и других английских поэтов, — он внёс большой вклад и в дело перевода других литератур: он переводил Гейне, Петефи, Лесю Украинку, Туманяна, Саломею Нерис, Джамбула и других. Благородная работа поэта-пере-



У Маршака сказано:

Прекрасное прекрасней во сто крат,  
Увенчанное правдой драгоценной.  
Мы в нежных розах ценим аромат,  
В их пурпуре живущий сокровенно.

Сравним эти строфы. Прежде всего мы видим, что абсолютно точно, во всех оттенках, передан смысл. Поэтической английской строфе соответствует при этом поэтическая русская строфа — недаром эти стихи пользуются широкой известностью. Первые две строки звучат у Маршака как афоризм. Отсутствующие в английском оригинале слова «во сто крат», «пурпур» и «сокровенно» органически входят в ткань переводного стихотворения, придавая образам Шекспира ещё большую конкретность и зримость. В английском тексте говорится о чудесном орнаменте, Маршак великолепно передаёт это словами «увенчанное правдой драгоценной». Слова как будто бы не те, но как тонко передаёт слово «увенчанное» представление об орнаменте, как хорошо нашёл Маршак замену слову «чудесный» (sweet), поставив эпитетом к правде «драгоценной». В третьей строке как будто исчезла интонация Шекспира, который повторяет здесь структуру первой строки, но Маршак сохранил основное — он подчеркнул, что самым ценным в прекрасных розах является их аромат, именно поэтому он сначала говорит о нежных розах и только потом об аромате, ставя к тому же слово «аромат» в рифму. Как видим, все слова на месте, каждое служит созданию цельной поэтической строфы.

Очень легко заметить отклонения от буквальной точности. Можно было сказать, например, что в 19-м сонете тигр, упомянутый Шекспиром, превратился у Маршака в леопарда, что в 55-м сонете Маршак и не вспоминает о Марсе, который присутствует в оригинале, что в 95-м сонете у Шекспира — нож, а Маршак превратил его в меч. Да, частности утрачены, но зато нет утраты поэтических ценностей оригинала. Именно эти ценности сохранены Маршаком.

Это видно не только в переводах сонетов Шекспира, но и в других работах Маршака. Возьмём стихотворение Р. Бёрнса «Честная бедность» — один из лучших переводов Маршака. Здесь отступлений от буквальной точности ещё больше, но все отступления и все дополнения, сделанные здесь поэтом, служат более глубокому и острому раскры-

тию темы и образов стихотворения Бёрнса на русском языке. Совершенно точным поэтически является перевод строфы:

При всём при том,  
При всём при том,  
Хоть весь он в позументах,  
Бревно останется бревном  
И в орденах и в лентах!—

хотя в оригинале говорится только о лентах и орденах (звёздах). Таких примеров можно привести много. В одних случаях мы встречаем у Маршака почти буквальную точность, в других — сталкиваемся с довольно большими отступлениями, но почти всегда переводы Маршака отличаются безошибочной поэтической верностью оригиналу.

Как же добивается переводчик этой поэтической верности? Ведь переводчик-поэт ограничен рамками стиха, характером и особенностями ритма, обязательной необходимостью рифмы. К тому же у переводчика с английского языка все эти трудности увеличиваются из-за того, что английские слова в большинстве случаев короче русских и смысловое содержание английской строки часто не укладывается в русской строке аналогичного размера. Поэтому, если вообще переводчик, создавая новое поэтическое произведение, должен чем-то жертвовать, что-то добавлять, что-то изменять, то переводчику с английского языка чаще всего приходится именно жертвовать. Поэтому «проблема жертвы» для него приобретает особую остроту. Маршак обычно удивительно тонко решает эту проблему. Он всегда выбирает слова, передающие основную мысль автора, причём он находит такие русские слова, которые объединяют в себе смысл двух, а то и трёх слов оригинала.

Вот, например, стихотворение Бёрнса «Поцелуй». Бёрнс пишет:

Влажная печать нежной привязанности,  
Нежнейший залог будущего блаженства,  
Самое ценное звено возникающей  
взаимности,  
Первый подснежник любви —  
девственный поцелуй.  
Красноречивое молчание,  
немое признание,  
Зарождение страсти и  
младенческая игра,  
Голубиная нежность и невинная уступка,  
Загорающийся рассвет ещё более  
яркого дня,  
Объятая печалью радость в последнем  
акте прощания,  
Когда нехотя разлучающиеся губы  
Уже не должны больше встречаться —

Какие слова могут выразить любовь  
Так волнующе и искренне, как твои?

Маршак переводит:

Влажная печать признаний,  
Обещанье тайных нег —  
Поцелуй, подснежник ранний,  
Свежий, чистый, точно снег.  
Молчаливая уступка,  
Страсти детская игра,  
Дружба голубя с голубкой,  
Счастья первая пора.  
Радость в грустном расставанье  
И вопрос: когда ж опять?..  
Где слова, чтобы названье  
Этим чувствам отыскать?

Мы видим, что у Маршака возникают особые поэтические сплавы, которые очень точно передают образы Бёрнса. У Бёрнса — «Влажная печать нежной привязанности», Маршак сохраняет своеобразное выражение «Влажная печать», а «нежную привязанность» заменяет «признанием», которое у Бёрнса стоит во второй строфе, но слово «признание» уже говорит о нежной привязанности. У Бёрнса нет слова «снег», но он говорит о девственном поцелуе, Маршак снял слово «девственный» и вместо него создал сравнение, которое с гораздо большей силой выразило мысль поэта, чем это мог бы сделать маловыразительный эпитет; у Бёрнса — «зарождение страсти и младенческая игра», у Маршака — «страсти детская игра» — гонкое соединение обоих определений. «Объятая печалью радость в последнем акте прощания» переводится как «Радость в грустном расставанье», то есть в трёх русских словах передан смысл шести английских. И, наконец, великолепно переведён конец стихотворения.

Переводы Маршака даже при известных отступлениях оказываются близки оригиналу благодаря верно найденной интонации. Стихотворение «Ты меня оставил, Джеми» в этом отношении особенно показательно. В стихотворении всего несколько слов, многие строки в нём повторяются, в нём нет ни изысканных метафор, ни редкостных рифм, оно состоит из самых простых слов — это жалоба девушки, покинутой возлюбленным, но слова и фразы, передавая смысл оригинала, стоят в русском стихотворении в таком порядке и последовательности, что они ещё точнее передают интонацию подлинника.

Ты меня оставил, Джеми,  
Ты меня оставил,

Навсегда оставил, Джеми,  
Навсегда оставил,  
Ты шутил со мною, милый,  
Ты со мной лукавил, —  
Клялся помнить до могилы,  
А потом оставил, Джеми,  
А потом оставил.

Маршаку удаётся добиться подлинно поэтических высот в переводе потому, что всё разнообразие поэтических средств подчинено у него глубокому раскрытию идейно-художественного содержания оригинала. Здесь для поэта нет несущественных частностей, мелочей; каждый элемент поэтической структуры глубоко осмыслен им и тщательно обработан.

Как решает Маршак, например, проблему рифмы? Как известно, он написал несколько статей о поэтическом мастерстве и, в частности, одна из них посвящена именно этой проблеме. Позиция Маршака сводится к следующему: «Не случайные, а важные для всей картины слова рифмуются поэтом». Вспомним, что Маяковский писал: «Я всегда ставлю самое характерное слово в конец строки и достаю к нему рифму во что бы то ни стало». Маршак не только георетически провозглашает это правило, но в своей поэтической работе даёт множество примеров практического его осуществления. Он использует все богатства языка, находя, где нужно, оригинальную рифму, а где нужно — не гнушаясь и такой, которую могли бы считать банальной. Анализ сонетов Шекспира, да и стихов любого большого поэта, показывает, что они всегда следовали тому же принципу, которому следует и Маршак, ставя главное слово в конец строки, в рифму.

Возьмём сонет 76.

Обратившись к английскому тексту, мы увидим, что у Шекспира «главные слова» (пользуясь выражением Маяковского) почти всегда стоят в рифме. То же самое мы видим у Маршака:

Увы, мой стих не блещет . . . . новизной.  
Разнообразьем перемен . . . . . неожиданных,  
Не поискать ли мне тропы . . . иной.  
Приёмов новых, сочетаний . . . . . странных.

Легко видеть, что слова «новизной», «нежданных», «странных» здесь являются самыми существенными, ибо речь идёт о том, следует ли Шекспир за модой, повторяет ли он новые, «нежданные», «странные» приёмы других поэтов. Конечно, по одним этим словам невозможно определить,

как именно воплотилась мысль поэта в стихах, но и одни рифмующиеся слова дают почувствовать, о чём идёт речь.

Аналогичное место в переводах Маршака занимает и его тонкое искусство звукописи. Проблема звукописи у нас мало разработана. Отчасти виноваты в этом А. Белый и другие формалисты, предлагавшие откровенно идеалистическое толкование значений, якобы присущих отдельным звукам. Но, пожалуй, именно это обстоятельство требует от советских исследователей дать правильное объяснение явления звукописи, безусловно, немаловажного в поэзии. Игнорировать явление из-за того, что попытки его объяснения оказывались идеалистическими, едва ли правильно — ведь явление не перестанет существовать от того, что оно не получило правильного объяснения. У Маршака, как и вообще в поэзии, моменты звуковой инструментовки остаются неотъемлемой частью всей художественной структуры произведения как в оригинальных стихах, так и в переводах.

В переводах из Шекспира это особенно важно. К. И. Чуковский в своей книге «Высокое искусство» справедливо писал, имея в виду сонеты и пьесы Шекспира: «Как и всякий гениальный поэт, Шекспир обладал чудотворною властью над звукописью, над инструментовкой стиха, над всеми средствами стиховой выразительности». И Маршак передаёт это искусство Шекспира в полной мере.

В сонете 90 — кстати, одном из лучших переводов Маршака — звукопись оказывается особенно тонкой:

Уж если ты Разлюбишь, так тепеРь,  
ТепеРь, когда весь миР со мной в РаздоРе,  
Будь самой гоРькой из моих потеРь,  
Но толькО не последней каплей гоРя.

В первых трёх строках основным организующим элементом является звук «Р», встречающийся в словах «разлюбишь», «теперь», «мир», «раздоре», «горькой», «потерь». Но в последней строке, где переводчик стремится передать просьбу не быть последней каплей горя, звук «Р» остаётся только в последнем слове «горе», в предшествующих словах — «только», «последней», «каплей» — организующим становится звук «Л». Конечно, звук «Р» ни в коем случае не является обозначением горя, а звук «Л» — обозначением чего-то радостного, но в данном конкретном случае их

сочетание в стихе является звуковой ассоциацией к тому, о чём в стихе говорится, и упомянутое Маршаком горе после первых трёх строк и после предшествующих слов и звуков в четвёртой строке действительно возникает, как последняя капля.

В сонете 116 в строках:

Любовь — над бурей поднятый Маяк,  
Не Меркнувший во Мраке и в туМане.  
Любовь — звезда, которую Моряк  
Определяет Место в океане—

мы видим картину, в известной мере аналогичную тому, что выше говорилось о рифме. Смысл звукописи, видимо, заключается в том, что главные слова подчёркиваются и внутренним созвучием. Главные слова здесь не только «маяк», «туман», «моряк», «океан», стоящие в рифме (и, кстати, дающие понять, о чём идёт речь), но и слова «меркнувший», «мрак», «место», важные для общей картины и слитые с первыми в какое-то звуковое единство звуком «М». Это не значит опять же, что «М» — символ моря, но в данном случае инструментовка стиха с помощью звука «М» помогает создать картину моря, ориентиром в котором метафорически служит любовь.

Великолепные примеры звукописи мы находим во множестве других сонетов и в переводах из Бёрнса, например:

Не поЩаДив его КоСтей,  
Швырнули их в КоСтёр,  
А СерДце мельник меж Камней  
БезжалОСтно раСтёр.

или:

У Фридриха в войске  
Я дрался геройски,  
Штыка не боялся и с пулей друЖИЛ.  
Нет в мире кинЖАЛА  
Острее, чем ЖАЛО  
БезЖАЛОстной Женщины — Шелы О'Нил!

Можно привести множество примеров искусства Маршака. Все элементы поэтической ткани, подобно интонации, рифме и звукописи, неизменно служат у него воссозданию на русском языке поэтических ценностей оригинала.

Переходя к обзору, сделанному Маршаком в области художественного перевода, мы считаем необходимым прежде всего остановиться на переводах английских народных баллад.

Маршак начал переводить баллады ещё в юности. Среди наиболее удачных перево-

дов должны быть названы широко известные «Король и пастух», «Королева Элинор», «Зелёные рукава», «Графиня-цыганка» и другие. Широкой известностью пользуются также переводы баллад о Робин Гуде, выполненные Маршаком также с большой поэтичностью и глубоко раскрывающие идеи подлинника.

Отличительной особенностью переводов баллад по отношению к остальным переводам Маршака является относительно более свободная трактовка оригинала, которая нам представляется вполне правомерной, если вспомнить о том, что речь идёт о приближении к современному читателю произведений, созданных ещё в средневековье и в эпоху Возрождения. Не случайно многие религиозные понятия в переводах Маршака снимаются и заменяются конкретными историческими реалиями. Например, в балладе «Король и пастух», там, где в оригинале пастух, отвечая на первый вопрос короля, говорит, что цена ему 29 пенсов, так как за тридцать сребреников был продан Иудой сам Христос, у Маршака говорится:

А сколько ты стоишь,  
Спроси свою знать,  
Которой случилось  
Тебя продавать.

Смысл, как видим, вполне сохранён, а перевод из религиозно-мистического в социально-исторический план делает балладу более понятной читателю.

Переводы баллад у Маршака особенно интересны в том отношении, что к работе над ними он возвращался неоднократно, и сравнение переводов, опубликованных поэтом сорок лет назад, и сегодня даёт возможность увидеть эволюцию творчества, рост мастерства. Если в балладе «Клятва верности», опубликованной в октябре 1916 года в журнале «Северные записки» под названием «Тень милого Вильяма», переводчик писал:

О, что за тени, милый друг,  
Над головой твоей?  
Три бедных крошки, Марджери,  
Трёх разных матерей.  
О, что за тени, милый друг,  
У ног твоих лежат?  
Три адских пса, о Марджери,  
Меня здесь сторожат...—

то в окончательном варианте мы читаем:

Что там за тени, милый друг,  
Над головой твоей?  
Мои малютки, Марджери,

От разных матерей.  
Что там за тени, милый друг,  
У ног твоих лежат?  
Собаки ада, Марджери,  
Могилу сторожат.

Картина стала гораздо более ясной, конкретной и художественно убедительной. И эта большая конкретность заметна в любой детали: там, где было сказано «призрак», теперь стоит «мертвец», где было «хладный рот», теперь — «бледный рот», где стояло «он вышел в дверь, она за ним», теперь — «он вышел в сад, она за ним», где было «у двери тяжко застонал», теперь — «у двери тихо застонал», где было «О, дева, сжался надо мной», теперь — «о, сжался, сжался надо мной». Как видим, Маршак везде заменяет архаизмы и условные поэтизмы конкретными, убедительными, точными словами и образами.

Одной из наиболее крупных работ Маршака явился полный перевод сонетов Шекспира, сделавший эти замечательные произведения широко известными советскому читателю. Это был первый в русской поэзии полноценный перевод великолепного создания английского гения. Существовавшие прежде переводы Н. Гербея, М. Чайковского и других, не говоря уже о многих существенных формальных отступлениях от подлинника, не передавали глубокого содержания сонетов Шекспира, близких к его гениальным трагедиям. Заслуга Маршака в том, что он дал подлинно лирическое, глубоко взволнованное, поэтическое, а не чисто рассудочное истолкование сонетов. Гуманистическое обличение хищного и лживого мира корысти и стяжательства, мира, где на смену феодальному варварству приходит жестокая власть денег, нашло в переводах Маршака глубокое выражение. Особенно тонко и проникновенно переведены Маршаком сонеты: 5 — в котором поражает точно переданное живое восприятие природы, столь важное для шекспировских сонетов; 24 — глубоко раскрывающий волновавшую Шекспира проблему активной роли художника, — великолепны здесь афористические строки: «А лучшее в искусстве — перспектива» и «Сквозь мастера смотри на мастерство»; 27 — тонко передающий размышления Шекспира о любви, озаряющей и самые тёмные минуты жизни; 65 — точно передающий всю систему образов Шекспира, отражающих его раздумья о времени и поэзии; 73 — значительно лучше и глубже переве-

дённий Маршаком, нежели Б. Пастернаком, перевод которого до сих пор считался лучшим из существующих; 77 — рисующий взаимоотношения писателя с его произведениями; 104 — где очень тонко переданы образы времён года, раскрывающие бессилье времени уничтожить истинно прекрасное, — одна из основных тем Шекспира — вера его в величие человеческой жизни и красоты; 116 — содержащий гуманистическое прославление любви; 145 — единственный из написанных Шекспиром четырёхстопным ямбом, переведённый Маршаком очень изящно; 147 и 149 — образцы любовной лирики Шекспира — и многие другие.

Достоинства переводов сонетов Шекспира, выполненных Маршаком, очевидны. Поэтому так велика требовательность к ним, и мы считаем необходимым отметить отдельные спорные места, которые особенно заметны на общем великолепном фоне. Шекспир обычно стремится раскрыть свои глубокие общие идеи, обобщения, отыскав для них конкретное, образное выражение, и Маршак обычно очень тонко передаёт это свойство Шекспира. Но иногда он отступает от этого принципа и, вполне точно передавая мысли, идеи поэта, не всегда так же точно передаёт выражающую их образную систему. Благодаря этому создаётся иногда впечатление известной сглаженности перевода, тогда как у Шекспира немало различных хаотичных и шероховатых образов и выражений, придающих шекспировскому стиху особую экспрессию. В некоторых сонетах в общем точном и поэтичном переводе можно отыскать такие сглаженные строки. Вот, например, в сонете 2, где у Шекспира сказано:

Когда сорок зим возьмут твой лоб  
в осаду  
И выроют глубокие траншеи  
на поле твоей красоты.

Маршак переводит:

Когда твоё чело избороздят  
Глубокими следами сорок зим.

Как видим, образы, взятые из области военного дела, устранены в переводе, тем самым конкретная, диктованная эпохой ассоциация, возникшая у Шекспира как выражение жестокой борьбы человека со временем, борьбы за жизнь, утеряна. Но там, где образы оригинала не раскрыты во всей полноте, менее глубоко раскрывается и содержание.

Иногда Маршак образную систему оригинала переносит в иные сферы. В сонете 130 — у Шекспира говорится:

Я люблю слушать, как она говорит,  
однако я хорошо знаю,  
Что звуки музыки бывают гораздо  
приятнее.

У Маршака:

Ты не найдёшь в ней совершенных линий,  
Особенного света на челе.

Музыка превратилась в изобразительное искусство. Непринуждённая интонация благодаря появившимся архаизмам стала торжественной. Безусловно, в переводе прозаического произведения такой отход от подлинника был бы невозможен, но, пожалуй, и в стихах такая вольность может вызвать возражение, хотя сами по себе строки Маршака полны поэзии.

Отмеченные недостатки, конечно, не умаляют тех больших достоинств работы Маршака, о которых говорилось выше. Главное из этих достоинств — поэтическое воссоздание гуманистических идей гениального драматурга, которые с такой силой выражены в его сонетах. Сам Маршак на книге своих переводов написал:

Я перевёл шекспировы сонеты,  
Пускаяй поэт, покинув старый дом,  
Заговорит на языке другом,  
В другие дни, в другом краю планеты,  
Соратником его мы признаём,  
Защитником свободы, правды, мира,  
Недаром имя славное Шекспира  
По-русски значит: «потрясай копьём».

Мы можем только повторить — перед нами первый, подлинно поэтический полный перевод сонетов Шекспира на русский язык.

Бесспорно, большим творческим достижением Маршака-переводчика является его работа над Бёрнсом. Бёрнса, который, кстати сказать, был одним из любимых поэтов Маркса, переводят в России давно. Переводчиком его был М. Михайлов, а в советское время — Т. Щепкина-Куперчик и Э. Багрицкий. При всех достоинствах этих переводов нужно сказать, что подлинного Бёрнса русский читатель получил только в переводах Маршака. В его переводах, как справедливо отметил профессор М. Морозов, «звучит живой голос Роберта Бёрнса, свою свежесть сохранили прямые и искренние чувства шотландского



поэта — его радости, его скорбь, его негодование на окружающую его общественную несправедливость и его несокрушимая вера в будущее».

Нужно особо отметить, что удача, и даже больше чем удача переводчика — второе рождение Бёрнса, повидимому, определяется прежде всего близостью поэтических индивидуальностей обоих поэтов. Любопытно, что в переводах Бёрнса даже некоторые прямые отступления Маршака от подлинника не воспринимаются как искажение подлинника. Маршак настолько глубоко проник в стихию поэзии Бёрнса, что даже и та собственная доля поэта-переводчика, которая присутствует во всяком переводном стихотворении, в данном случае оказывается неотделимой от доли автора. Так, видимо, хотя может быть и в меньшей степени, обстояло дело с переводами Жуковского из Шиллера, многие из которых именно поэтому и сохранили своё обаяние до сих пор.

Особенно хороши в переводах из Бёрнса стихи: «Честная бедность», «Полевой мыши», «Маленькая баллада», «Пробираясь до калитки», «Поцелуй», «Финдлей», «Ты свистни, тебя не заставлю я ждать», «Ночлег в пути», «Босая девушка», «Ты меня оставил, Джеми», «Счастливый вдовец», «Заздравный тост», «Растёт камыш среди реки», «Сватовство Дункана Грея» и многие эпиграммы.

И пусть в стихотворении «Финдлей» у Бёрнса чередуются мужские и женские рифмы, что в английских стихах, кстати, бывает не часто, а Маршак переводит всё только с мужскими окончаниями, важно, что смысл и, главное, интонация Бёрнса до нас донесены. Не теряет своего поэтического характера и стихотворение «Джон Ячменное Зерно», в котором, кроме бёрнсовской рифмовки второй и четвёртой строк, Маршак рифмует и первую с третьей, хотя как раз в этом стихотворении можно отметить несколько весьма спорных вольностей. Маршак, например, снял концовку стихотворения, в котором Бёрнс говорит о Джоне:

И пусть его великое потомство  
Вечно живёт в старой Шотландии.

Маршак отказался от повторения в первых двух строфах, хотя у Бёрнса последние две строки этих строф повторяются почти дословно:

1) И они дали торжественную клятву,  
Что Джон Ячменное Зерно должен умереть.

2) И они дали торжественную клятву,  
Что Джон Ячменное Зерно умрёт.

Особый интерес представляют переводы бёрнсовских эпиграмм, выполненные Маршаком великолепно. Нужно сказать, что Маршак всё время продолжает работать над Бёрнсом, и новые его переводы не только не уступают старым, но открывают нам в Бёрнсе новые стороны его таланта. Если в первых переводах Маршака мы встречались по преимуществу с Бёрнсом — лирическим поэтом, то в новых, публикуемых сейчас в журналах переводах мы гораздо полнее, чем до сих пор, знакомимся с сатирическим даром Бёрнса, нам яснее открывается смысл его поэзии. Очень интересен выполненный Маршаком перевод стихотворения «Сон», где обличение правящих классов Англии достигает особой силы. Обращаясь к королю Георгу, которого Бёрнс назвал «слабоумный Джорджи», поэт пишет:

Законодателя страны  
Я не хочу бесславить,  
Сказав, что вы не так умны,  
Чтоб наш народ возглавить,  
Но вы изволили чины  
И званья предоставить  
Шутам, что хлев мести должны,  
А не страну править  
В столь трудный день.

Сатирическая линия поэзии Бёрнса получает сильное звучание в переводах Маршака. Как великолепно передано Маршаком поучение соседки юной Бесси в стихотворении «Когда кончался сенокос»:

Но жизнь, малютка, нелегка,  
К богатству, счастью путь крутой,  
И верь мне — полная рука  
Куда сильней руки пустой,  
Кто поумней — тот бережёт,  
У тех, кто тратит, — нет ума,  
И уж какой ты сварешь мёд,  
Такой и будешь пить сама.

И как просто и хорошо звучит после этого ответ Бесси:

О да, за деньги не хитро  
Купить луга, поля, стада,  
Но золото и серебро  
Не купят сердца никогда!

И всё это переведено удивительно точно.

Иногда приходится сталкиваться с мнением, что перевод стихов ни в какое сравнение не может идти с оригинальным творчеством, и находятся ещё, к сожалению, поэты, которые на своих собратьев-пере-

водчиков смотрят свысока. Работа Маршака над Бёрнсом является лучшим доказательством несправедливости подобного рода взглядов. Она показывает нам, что, когда переводчик выбирает близкого себе поэта и работает над ним систематически, переводы становятся нестемлемой частью его творчества и как бы сливаются с оригинальной поэзией.

Говоря о других английских поэтах, творчество которых привлекло внимание Маршака, прежде всего необходимо вспомнить Вильяма Блейка. Маршак опубликовал не так уж много переводов из Блейка, но он изменил ставшее уже привычным представление об этом поэте. Мы увидели земного Блейка, близкого людям, их страданиям, их стремлениям. Причём нужно отметить, что социальное звучание отнюдь не привнесено Маршаком в поэзию Блейка, Маршак совершенно точно в смысловом отношении и поэтически верно передаёт то, что сказано самим поэтом. Сравним, например, начало стихотворения «Лондон», где у Блейка говорится:

Я блуждаю по улицам, охраняемым  
Хартией вольностей,  
Неподалёку от Темзы, охраняемой  
Хартией вольностей,  
И на всех лицах я вижу следы,  
Следы бессилия, следы горя,  
В каждом возгласе каждого человека,  
В каждом крике каждого испуганного  
ребёнка,  
В каждом голосе, в каждом проклятье  
Я слышу звон кандалов, созданных  
страхом...

И Маршак переводит:

По вольным улицам брожу,  
У вольной лондонской реки,  
На всех я лицах нахожу  
Печать бессилья и тоски.  
Мне слышатся со всех сторон  
Стенанья взрослых и детей,  
Мне чудится тяжёлый звон  
Законом созданных цепей...

Мы видим, что всё передано с удивительным искусством. Вообще думается, что Маршак уловил самое существенное в Блейке.

Очень точно и поэтично переданы Маршаком четыре стихотворения о Люси, лучшие из стихов Вордсворта, им переведённых. И здесь заслуга Маршака ещё и в том, что своим переводом он заставляет как-то по-новому осмысливать поэзию Вордсворта, переоценивать то обычное представление о поэте, которое сложилось в

литературоведении. Вордсворт, известный главным образом как большой мастер пейзажа (что было отмечено ещё Пушкиным)<sup>1</sup>, предстаёт перед нами как поэт-патриот, поэт-гуманист. Особенно хороши стихотворения: «К чужим в далёкие края» и «Забывшись, думал я во сне». Глубоко трогательна в переводе Маршака прекрасная строфа Вордсворта:

Не опечалит никого,  
Что Люси больше нет,  
Но Люси нет — и оттого  
Так изменился свет.

В последние годы Маршак обратился к переводам из Байрона. Все выполненные им переводы можно найти в одномомнике Байрона 1953 года. Из стихотворений-переводов всего больше удалась Маршаку «Расставание» и «Ты плачешь» — великолепные образцы лирики Байрона, «Песня греческих повстанцев» и эпиграммы.

В «Песне греческих повстанцев» Маршак сумел передать живое звучание образов древней Эллады, всю жизнь волновавших Байрона. Прекрасны строки:

Спарта, Спарта, к жизни новой  
Подымайся из руин  
И зови к борьбе суровой  
Вольных жителей Афин.  
  
Пускай в сердцах воскреснет  
И нас объединит  
Герой бессмертной песни,  
Спартаец Леонид.

Эпиграммы Байрона, как и эпиграммы Бёрнса и других поэтов, переданы с большой сатирической силой. Вот одна из них — эпиграмма на самоубийство реакционного британского министра Кестлери:

Зарезался он бритвой, но заранее  
Он перерезал глотку всей Британии.

Но хотя большинство стихотворений Байрона переведено Маршаком очень хорошо и, бесспорно, принадлежит к лучшим переводам одномомника 1953 года, нам всё же думается, что Байрон менее близок поэтической индивидуальности Маршака, тяготеющей к классической пушкинской ясности. Поэтому, если переводы Маршака из Бёрнса попросту отменяют все старые

<sup>1</sup> . . . . .  
И в наши дни пленяет он поэта:  
Вордсворт его орудием избрал,  
Когда вдали от суетного света  
Природы он рисует идеал.

А. Пушкин. Сонет.

переводы, то, например, стихотворение «Солнце бессонных», переведённое Маршаком, всё же продолжает существовать и в старых переводах А. Толстого и А. Фета.

На наш взгляд, ближе Байрона поэтической индивидуальности Маршака оказался Китс. Переводы Маршака из Китса выполнены очень поэтично, тонко и точно в смысловом отношении. Таковы переводы сонетов «Слава», «Кузнечик и сверчок», «Стихи, написанные в Шотландии в домике Роберта Бёрнса», сонет «Тому, кто в городе был заточён», «Сонет о сонете», а также стихи «Осень» и «Девонширской девушке». Классически ясные сонеты Китса переведены Маршаком безупречно. Достаточно сравнить перевод Маршака с одним из немногих переведившихся ранее сонетов Китса — «Кузнечик и сверчок», выполненным до Маршака Б. Пастернаком, чтобы увидеть, как много приобрёл читатель нового и как он приблизился к Китсу в переводе Маршака.

Следует всё же отметить, что переводы Маршака из Китса неравноценны. В творчестве Китса перед нами предстаёт своеобразное смешение классических и романтических тенденций. И в этом отношении примечательно, что Маршаку меньше удаются шероховатые, хаотические романтические стихотворения и великолепно удаются стихи ясные и безмятежные, стихи о любви («Девонширской девушке») и природе («Кузнечик и сверчок», «Осень» и другие), венцом которых являются прекрасные строки перевода сонета «В домике Бёрнса»:

Ячменный сок волнует кровь мою,  
Кружится голова моя от хмеля.  
Я счастлив, что с великой тенью пью,  
Ошеломлён, своей достигнув цели.

Обращение Маршака к поэзии Гейне, привлёкшего внимание многих русских поэтов, не могло не оказаться интересным и плодотворным. Любопытно, что внимание поэта привлекли главным образом лирические стихотворения Гейне и именно они удались переводчику всего больше.

Переводя Гейне с той же поэтической свободой, что и английских поэтов, Маршак создаёт подчас подлинные шедевры. Одни из них хочется привести целиком:

Рокочут трубы оркестра,  
И барабаны бьют,  
Это мою невесту  
Замуж выдают.

Гремят литавры лихо,  
И гулко гудит контрабас,  
А в паузах ангелы тихо  
Вздыхают и плачут о нас.

Здесь Маршаку удалось очень глубоко проникнуть в существо поэзии Гейне. Именно этим объясняется то, что формальные особенности поэзии Гейне, соблюдение которых во многих старых переводах приводило только к калечению стихов, у Маршака передаются как необходимые для раскрытия содержания. Перебой ритма здесь возникает не только потому, что они существуют в поэтике Гейне, но потому, что с их помощью переводчик мастерски передаёт взволнованность героя.

В числе переводов Маршака из Гейне мы находим и знаменитую «Лорелей», и этот перевод открывает прекрасную песню с новой, не знакомой ещё русскому читателю стороны — пожалуй, ни в одном из прежних переводов не была с такой силой передана неизбежность движения и гибели гребца.

В переводах из Гейне Маршаку удалось и сатирические стихотворения. С присущим Маршаку блеском переведено стихотворение «Большие обещания». Подлинно гейневский сарказм открывается читателю в стихах:

Мы немецкую свободу  
Не оставим босоножкой,  
Мы дадим ей в непогоду  
И чулочки и сапожки.  
На головку ей наденем  
Шапку мягкую из плюша,  
Чтобы вечером осенним  
Не могло продуть ей уши.

Уже в этих строках чувствуется, что так называемая свобода будет состоять прежде всего в уважении к бургомистру.

Обращение Маршака к Гейне нельзя не приветствовать. Уже первые опубликованные переводы заставляют думать, что вклад его здесь может оказаться весьма значительным.

Столь же большой интерес представляют переводы Маршака из Джанни Родари. Они привлекают ещё и потому, что Родари — детский поэт, любимец итальянской рабочей детворы — переведён в данном случае не просто переводчиком, но любимым поэтом советских детей С. Маршаком. В переводах из Родари, как и в переводах из английских поэтов и из Гейне, проявились все отличительные особенности переводческого метода Маршака. Вполне понят-

на поэтому популярность, которой уже пользуются у нас стихи Родари.

Маршак выбрал для перевода из стихов Родари те, в которых всего полнее отразилась жизнь трудящихся современной Италии, вероятно, поэтому в переводе книга оказалась рассчитанной на детей более старшего возраста, чем те, для которых писал автор. Ведь советские дети едва ли не впервые узнают о тяжёлом положении итальянских рабочих из этой книжки, а Родари говорит с итальянскими детьми о том, что им слишком хорошо знакомо. Думается, что Маршак прав, когда в соответствии с познавательным материалом усложнил и поэтическую структуру стихов. В стихах из Родари мы сталкиваемся не просто с более вольной, чем обычно, трактовкой оригинала — содержание и образы стихов Родари переданы Маршаком с обычной для него точностью; в этих стихах индивидуальность Маршака-поэта сказалась больше, чем в каких бы то ни было переводах. Переводы Маршака из Родари могут быть весьма поучительны для переводчиков, наглядно показывая, что перевод детского стихотворения требует особого приближения к родной ребёнку языковой и поэтической стихии.

Очень похожую картину можно видеть и в других переводах Маршака. Крупный детский писатель, Маршак-переводчик, естественно, не мог миновать детскую литературу других народов. Переводами детских стихов Маршак занялся давно, по преимуществу — это переводы английских детских народных песенок — «Nursery-rhymes». Маршак отбирает лучшее из английского детского фольклора, он переводит то, что миллионы англичан знают с самого детства. Маршаку равно удаются и стихи, имеющие воспитательное значение, и простые, весёлые, построенные часто на нарочитых нелепостях стихи для самых маленьких. Работа Маршака над переводами детских стихов очень разнообразна. В одних случаях это обычного типа перевод, например, стихи классического детского английского писателя Л. Керома, народные стихи: «Королевский поход», «Кораблик», «Сказка о старушке» и другие. В других случаях Маршак изменяет отдельные части стихотворения, снимает или заменяет другими отдельные образы. Так, например, в известнейшем детском стихотворении «Дом, который построил Джек», где в оригинале последовательными персонажами оказываются солод,

крыса, кот, пёс, корова, девушка, оборванец, пастор, петух и фермер, у Маршака порядок образов несколько изменяется — пшеница, синица, кот, пёс, корова, старушка, пастух и два петуха. Переводы из детской поэзии стали важнейшей и неотъемлемой частью переводческой деятельности Маршака и, что ещё важнее, явлением советской детской поэзии. Наряду с оригинальными стихами Маршака для детей переводы детских стихов Маршака принадлежат к любимым стихам советской детворы и уже стали достоянием классической советской детской литературы. Любопытно, что эти переводы Маршака привлекают внимание детских поэтов разных народов. Так, например, выдающийся польский поэт Юлиан Тувим, как известно, много писавший для детей, перевёл английское детское стихотворение («Кабы реки и озёра») на польский язык, взяв за образец перевод Маршака.

В настоящей статье мы кратко рассмотрели большую творческую работу Маршака в области художественного перевода стихов. Эта работа могла бы явиться темой отдельной монографии. Но мы считали своевременным и важным рассмотреть сделанное Маршаком хотя бы и в такой форме потому, что роль Маршака, продолжающего традицию перевода, начатую Пушкиным и Жуковским, не ограничивается его собственной переводческой деятельностью. Влияние Маршака на характер современного стихотворного перевода, без всяких преувеличений, значительно. Оно двигает вперёд общую культуру художественного перевода стихов.

Работа Маршака и сам Маршак очень помогают молодым литераторам овладеть сложным искусством поэта-переводчика. На Втором совещании молодых писателей, рассказывая молодым поэтам и переводчикам о принципах своей работы над переводами Шекспира и Бёрнса, Маршак сказал: «Я стремился, чтобы переведённые мною стихи были произведениями русской поэзии, так же как переводы Исаковского из белорусских поэтов подчинены русскому, а не белорусскому строю языка». Учёба у Маршака не сводится к подражанию его приёмам, она состоит в следовании его принципам поэтической работы. На переводах Маршака учатся не только молодые переводчики, но и молодые поэты, ищущие пути к вершинам поэзии.

Заслуга Маршака в том и состоит, что выдающиеся достижения мировой поэзии он внёс в золотой фонд советской литературы. Значение сделанного Маршаком не исчерпывается тем, что им созданы замечательные художественные произведения. Эти художественные произведения служат делу взаимопонимания между различными наро-

дами и тем самым активно содействуют благородному делу укрепления мира во всём мире. Не случайно, подводя поэтический итог одному из основных своих трудов, поэт С. Маршак писал:

А сильный стих и в скромном переводе  
Служил и служит правде и свободе.

★

## ЗОЯ КРАХМАЛЬНИКОВА

### *Перевод и подлинник*

Сейчас взоры советских людей особенно часто обращаются к Казахстану. Тысячи посланцев Москвы, Украины, Кубани уже прибыли в районы освоения новых земель. О них ещё будут написаны книги. Но сегодняшние события в Казахстане делают особенно важными и книги о предшественниках нынешних комсомольцев — о строителях первых пятилеток. Таков роман казахского писателя Габидена Мустафина «Караганда».

Впервые напечатанный в 1951 году в журнале «Адебиет және искусство», этот роман был справедливо встречен литературной общественностью, критикой и читателями Казахстана как значительное явление казахской литературы. Перевод такого произведения на русский язык — нужное дело. Можно было бы лишь благодарить издательство и переводчика, осуществивших этот труд. Но, скажем прямо, к радости, вызванной появлением этого романа на русском языке, примешивается досада на то, что выполнен перевод далеко не удовлетворительно. Именно потому, что «Караганда» — произведение, идейная и художественная ценность которого несомненна, серьёзные недостатки перевода имеют в этом случае особенно большое значение. По нашему мнению, в них следует разобраться для того, чтобы получить новое, улучшенное издание этого интересного романа, и для того, чтобы ещё раз задуматься над некоторыми общими вопросами художественного перевода.

Перевод художественной прозы — трудное искусство. Распространённое же мнение о том, что переводить художественную прозу легко, что в руках опытного литератора работа над художественным переводом прозы с подстрочника чуть ли не сводится

к редактированию его — ошибочное и вредное мнение.

Особенности языкового стиля, ритма, эвфонии произведения различаются сквозь подстрочник туманно, как сквозь матовое стекло; всё же он отчётливо передаёт конкретное содержание произведения и, в известной мере, образную систему подлинника.

В идеале мы видим полный отказ от переводов с подстрочника. Но пока кадры переводчиков, знающих национальные языки, не соответствуют размаху переводного дела и господствует подстрочник, нужно стремиться побеждать его несовершенство. Настойчивое, увлечённое проникновение в жизнь, изображённую в книге, знание быта народа, особенностей его языка, привлечение к работе над переводом автора и владеющих языком консультантов не раз способствовали созданию хороших переводов с подстрочника. Мы вправе подходить к этому виду работы без «скидок» и предъявлять одинаково высокие требования к переводу с оригинала и переводу с подстрочника.

На вопрос о том, каково первое основное требование, предъявляемое к художественному переводу, обычно отвечают одним словом: *точность*. Но что такое точность перевода? Разумеется, не педантичная буквальность. Ведь хороший подстрочный (дословный) перевод является с педантической точки зрения идеально точным. Однако он не может быть предложен читателю, потому что в самом лучшем подстрочнике художественная ткань нарушена, если не разрушена. Задача художественного перевода — восстановить её, вернуть произведению его жизнь. Эта задача не техническая, а творческая.

Творчески точный перевод — это, думается нам, перевод, в котором переданы идейный замысел произведения, его содержание и форма. При этом предусматривается точное воспроизведение средствами языка всех художественных особенностей подлинника, системы художественных образов, эмоциональной окраски и национального колорита произведения.

Есть ещё один серьёзный вопрос — как быть переводчику с недостатками подлинника? Белинский считал: «В художественном переводе не допускается ни выпусков, ни прибавок, ни изменений. Если в произведении есть недостатки, их должно передавать верно. Цель таких переводов есть — заменить по возможности подлинник для тех, которым он недоступен по незнанию языка и дать им средство и возможность наслаждаться им и судить о нём»<sup>1</sup>.

Однако в практике советского переводного дела, основанного на крепнувшей дружбе братских литератур, нередки случаи плодотворного творческого сотрудничества автора и переводчика, когда, ещё до выхода произведения в свет на языке подлинника или перед его переизданием автор по советам переводчика, выступающего, таким образом, также в качестве редактора, вносит в свой оригинальный текст исправления, устраняет замеченные недостатки. Эта особенность нашей переводческой практики полезна для литературы.

Но исправлять вместе с автором — не значит исправлять за автора. В этом смысле приведённые слова В. Белинского о недопустимости произвола переводчика насколько не утратили своей актуальности.

Анализируя работу К. Горбунова над переводом романа Г. Мустафина «Караганда», мы сопоставим русский текст романа с одновременно существующим казахским текстом. Посмотрим, чем же они отличаются друг от друга.

В начале романа есть очень важный эпизод, который воспринимается как своеобразный обобщающий пролог ко всему произведению. В Караганде наступает время великого перелома. В голой степи должны воскреснуть, вырасти и превратиться в нашу третью кочегарку затопленные англичанами угольные шахты. В Караганду едет один из главных героев романа, коммунист Мейрам. Он едет на новую землю, чтобы созда-

вать новое, едет к новой, только что вступившей в строй железной дороге.

Приведём этот эпизод:

**У автора:**

«Длинный состав, наполненный багажом, людьми, скотом, лениво двинулся. Громкая гармонь, блеяние овец, голоса людей напоминали откочёвку на заре.

— Да, народ мой начал откочёвку!.. — сказал про себя юноша (Мейрам. — З. К.). Прислонившись к косяку вагонной двери, как бы подпирая её плечом, он всматривался вдаль. Поезд мчался вперёд, земля оставалась позади. Только белоголовый Ала-Тау не исчезал. Он длинной вереницей тянулся далеко на восток..

Увидя мальчика с распушенным носом и с голым животом, бросившегося наперегонки с поездом, юноша рассмеялся. Когда мальчик запыхался и остановился, к нему присоединился старик-жалаир, ехавший верхом на сером воле. Кто-то, дремавший в двухколёсной арбе, в которую был впряжён без дуги осёл, проснулся, испуганно вздрогнул и задвигался. Осёл, не растерявшись, презрительно повёл длинными ушами и бросил взгляд на седока. На верблюдах проехали женщины в развевающихся белых платках. Соревнуясь с поездом, скачут верховые, и стук копыт сливается со стуком вагонных колёс..

«Поезд — жизни! Все интересуются, все соревнуются. Но сколько последует за ней?» — подумал джигит. Недавно окончивший институт Красной профессуры, юноша присматривался к новой жизни с позиций новой философии. Он казался спокойным, но в этом спокойствии было большое нетерпение и беспокойство. Взглянув на часы и подсчитав скорость поезда, он немного огорчился»<sup>1</sup> (стр. 12).

**У переводчика:**

«Длинный состав, переполненный людьми, грузом, скотом, скрипя тронулся с места. Блеяние овец, стоны гармоники, голоса людей — всё это напоминало весеннюю откочёвку большого аула.

Опершись плечом о створку вагонной двери, юноша, не отрываясь, смотрел вдаль. А поезд быстро шёл вперёд, земля с той же скоростью бежала назад. Только белоголовый Ала-Тау не отставал от поезда. Верши-

<sup>1</sup> В. Белинский. Сочинения, ч. 2, Москва, 1883, стр. 287.

<sup>1</sup> Мустафин. Караганда. Алма-Ата, 1952. Все примеры из подлинника приводятся по этому изданию в моём подстрочном переводе. — З. К.

ны гор длинными цепями тянулись на восток.

Вдоль железнодорожного полотна, по просёлку, двигались люди: пешие, конные, на повозках. Блестящий от загара мальчик с расплюснутым носом, голым животом бежал рядом с полотном, стараясь не отстать от поезда. Увидав его, юноша невольно рассмеялся. Вот мальчик задохнулся, отстал. Теперь за вагонами верхом на воле припустился старик; вероятно, он принадлежал к роду жалаир: только у жалаирцев принято ездить верхом на волах. Подводчик, дремавший на двухколёсной арбе, запряжённой ишаком, вдруг проснулся и с перепугу стал дрыгать ногами — должно быть, вообразил себя всадником. А ишак, подняв свои длинные уши, повернул голову в сторону поезда, но шагу не прибавил. На верблюдах, бежавших рысью, сидели две женщины казашки, на головах у них колыхались белые платки. Были тут и верховые на конях, гнавшие во весь опор своих скакунов, — топот копыт сливался со стуком вагонных колёс...

«Поезд, словно наша новая жизнь, — подумал юноша. — Всех увлекает вперёд».

Он взглянул на ручные часы и недовольно поморщился<sup>1</sup> (стр. 15).

Что можно заключить из этого сопоставления?

Перевод К. Горбунова в некоторых деталях образнее, художественнее подстрочника.

Переводчик поступает правильно, когда фразу: «состав... лениво двинулся» переводит: «состав скрипя тронулся с места». Определение «скрипя» в данном случае соответствует определению «лениво» и, заключая в себе слуховой образ, ярче передаёт отправление товарного поезда.

«Только белоголовый Ала-Тау не отставал от поезда» точнее передаёт художественную природу образа, чем «Только белоголовый Ала-Тау не исчезал».

Фраза «Вершины гор длинными цепями тянулись на восток» доступней для зрительного восприятия, чем фраза в подстрочнике: «Он (Ала-Тау) длинной вереницей тянулся далеко на восток».

<sup>1</sup> Г. М у с т а ф и н. Караганда. Авторизованный перевод с казахского К. Горбунова. Москва, «Советский писатель», 1953. Все примеры из перевода приводятся по этому изданию и почти полностью совпадают с изданием альманаха «Дружба народов», №№ 4 и 5 за 1952 год.

Итак, с первого взгляда может показаться, что эпизод в основном переведён точно. Но при более тщательном рассмотрении выясняется, что переводчик упустил многое, очень существенное из того, что есть в эпизоде.

Сперва переводчик сократил очень важную и специально подчёркнутую автором мысль: «Да, народ мой начал откочёвку!» Затем после слов «Вершины гор длинными цепями тянулись на восток» дописал целый абзац: «Вдоль железнодорожного полотна, по просёлку, двигались люди: пешие, конные, на повозках». Далее появился подводчик, который «стал дрыгать ногами — должно быть, вообразил себя всадником». Наконец вопрос: все ли смогут двигаться вперёд, с новой жизнью? — заменён утверждением: новая жизнь всех увлекает вперёд.

Все эти, на первый взгляд, не такие уж серьёзные изменения ослабили и затемнили смысл того, что сказано было в оригинале. Приписанные автором обозы и дрыгающий ногами подводчик, не имеющие связи с содержанием эпизода, приводят к тому, что мысль Мейрама теряется среди случайных картин, увиденных из окна. В результате читателю труднее воспринять этот отрывок, как обобщающий пролог к роману.

Отметим ещё одну характерную ошибку переводчика в этом эпизоде. Автор говорит, что Мейрам, только что окончивший институт Красной профессуры, стремится всё усваивать философски. При этом он проявляет нетерпение молодого человека, отправляющегося в большую жизнь. Переводчик выбрасывает обе эти мысли. Почему? Не потому ли, что автор передал здесь также юношескую наивность Мейрама? Не показалось ли переводчику, что при этом само повествование приобретает несколько наивный, слишком прямолинейный характер?

Даже эти соображения не могли бы оправдать пропуск в переводе упоминания об институте Красной профессуры, тем более, что этот пропуск не случаен. События романа имеют свои конкретные даты (1930—1940). А переводчик, руководимый непонятной тенденцией к осовремениванию, вытравляет из романа многое, связанное с представлением о тех временах и событиях. Точно так же, как здесь выброшено упоминание об институте Красной профессуры, переводчиком устранены, например, разговор о пятилетке в четыре года (стр. 341 подлинника), упоминание о событиях в Ис-

паний, Абиссинии и на озере Хасан (стр. 307).

Передача национального колорита — наиболее тонкая и сложная работа, требующая от переводчика большого художественного такта и чувства меры. В перевод особенно опасно вводить русские слова, имеющие яркую русскую национальную окраску.

У казахов принято в обращении к старшей женщине прибавлять к её имени «ана», что означает «мать», или «апа», что означает «мама», «старшая сестра». В романе «Караганда» начальник строительства Щербаков в разговоре со старухой, которая поручает ему своего единственного племянника Акыма, называет её «ана» («Вашу просьбу, мать, я выполню с радостью», стр. 5). В переводе же это звучит так: «Спасибо за доверие, матушка. Вашу просьбу я выполню с радостью» (стр. 7).

Исконно русское слово «матушка» некогда имело тот же смысл, что и современное казахское слово «ана»; но в связи с тем, что в русском быту пережитки патриархальности давно исчезли, слово «матушка» в обращении к незнакомой женщине приобрело скорее фамильярный, зачастую и иронический оттенок. Вводить его так, как это сделал К. Горбунов, очень рискованно.

Слово «молодуха», которым К. Горбунов злоупотребляет (на одной только странице 133 оно повторено пять раз — «бойкая молодуха», «шумливая молодуха», «молодуха, как говорится, припёрла Мейрама к стене», и т. д.), также имеет слишком русский деревенский колорит. чтобы им можно было передать казахское слово «келиншек» (молодая женщина).

В переводе следует оставлять те слова, характеризующие национальный быт, географию или историю, которые обогащают наши представления о жизни народа; иной раз приходится давать к ним сноски или примечания.

К. Горбунов часто избегает сносок, а свои пояснения даёт прямо в тексте. Например, на странице 16: «На дастархане — белой скатерти, раскинутой поверх кошмы, — лежали лепёшки и холодная жирная баранина, а с краю — чёрный торсук, сшитый из сыромятной прокопчённой кожи, — сосуд для кумыса».

Читаешь такую фразу и недоумеваешь, как же она может выглядеть в подлиннике? Если в казахском тексте сказано «дастархан» и «торсук», то как же там обозна-

чены слова «белая скатерть», «сосуд для кумыса»? Ещё раз «дастархан» и «торсук»?

Во-первых, слово «дастархан» означает просто скатерть (белая скатерть — как дастархан). Во-вторых, слово «дастархан» не является реалией казахского быта и поэтому не вносит в перевод ничего, кроме ненужной экзотичности. А в-третьих, переводчик здесь, на странице 16, пояснив слово «торсук» в тексте, не надеется на память читателя и на странице 71 поясняет это слово в сноске, что и следовало сделать с самого начала.

Очень важна и национальная форма жизни народа, входящая в произведение уже как содержание. Таковы национальные особенности пейзажа. Пейзажей в романе много, но и те в переводе, как правило, испорчены штампами. Например, в шестой главе первой части, где даётся описание окрестностей хребта Итжона, появились «хвалебная песнь весне», «призрачные миражи», «лёгкий ветерок, подобный колыханию шёлковой материи», которых нет в казахском тексте (ср. стр. 40 подлинника со стр. 54 перевода).

Не раз говорилось, что переводчик безусловно должен знать культуру и быт народа, с языка которого он переводит. Иначе он неизбежно попадёт впросак.

Общеизвестно, что казахи очень гостеприимный народ. Встретившись впервые с Мейрамом, начальник стройки Щербаков спрашивает:

**В подлиннике:**

«— Где расположились?

— Вот у этого Сейткали, но у него, оказывается, семья большая. Решили, что я устроюсь в доме у Ермака» (стр. 25).

**В переводе:**

«— Где устроились? Тесновато у нас, неприглядно...

— Остановился я у Сейткали, но у него семья большая. Сейткали предлагает мне перейти к Ермаку» (стр. 36).

Тут уже дело не в формальной неточности. Как бы тесно ни было в доме у казаха, он не нарушит закона гостеприимства. А тем более Сейткали, знающий Мейрама с детства, не предложил бы ему уйти на другую квартиру. Написать в переводе «Сейткали предлагает мне перейти к Ермаку» можно, только не зная обычаев казахского народа.



Совсем уже плохо, когда, не справляясь с передачей подлинной национальной окраски произведения, переводчик пытается придать ему национальный колорит по собственному почину.

Вот что получается из этого. Мейрам, прощаясь с Чайковым, на странице 29 русского текста, говорит:

«— Обещаете новую встречу?»

Чайков отвечает:

— Не меньше вас её хочу.

Что это, восточная цветистость, переданная дословно? Нет, в подлиннике мы читаем другое:

«— Давайте же будем почаще советоваться», — говорит Мейрам. «— Я больше вас в этом заинтересован», — отвечает Чайков».

Ведь это совсем другое!

Соответствуя подлиннику, переводное произведение должно читаться легко, так, чтобы читателю не приходилось то и дело вспоминать о том, что он имеет дело с переводом.

Язык романа Г. Мустафина прост и лаконичен, диалоги метки и точны. Мухтар Ауэзов справедливо пишет, что диалог в произведениях Г. Мустафина «насыщен яркой афористической речью героев, запечатлевающейся в памяти как пословицы и поговорки». Переводчик же сплошь и рядом старается «пояснить» автора, впадает в многословие, не затрудняет себя поисками выразительных языковых средств и этим нередко губит простоту и образность языка подлинника, обедняет его. Кроме того, язык перевода подчас сух, официален, засорён канцеляризмами, штампами, вычурностями.

Секретарь парткома Мейрам говорит:

**В подлиннике:**

«— На небе и на земле звёзды. Как красиво!» (стр. 309).

**В переводе:**

«— Канеке, смотрите! И небо и земля усыпаны звёздами! Это звёзды нашего будущего!» (стр. 382).

**В подлиннике:**

«— Сейчас институт окончить недостаточно, учёным надо быть...» (стр. 309).

**В переводе:**

«— Чтобы руководить крупным предприятием в наши дни, мало окончить институт, нужно стать доктором наук» (стр. 382).

Таких переводческих дописок в прямой речи героев очень много (ср., напр., стр. 6, 7, 14, 18, 20, 25, 331 подлинника со стр. 8, 19, 23, 26, 36, 410 перевода).

Когда секретарь парткома и начальник строительства встречаются друг с другом, переводчик заставляет их разговаривать вымученными фразами и штампами, как будто им не свойственна нормальная человеческая речь. Даже выступая на собраниях, они куда менее официальны, чем в разговоре наедине. Вот примеры из разговора о будущем Караганды. Первая фраза принадлежит Мейраму, вторая — Щербакову.

**В подлиннике:**

«— Да, сейчас рабочие только героическим трудом добывают уголь.

— Этот героизм нужно направить на другое. А бадьи поднимать лошадьми» (стр. 46).

**В переводе:**

«— Да, я видел — уголь даётся лишь истине героическим трудом рабочих.

— Вот и нужно этот героизм использовать рационально. А бадьи поднимать лошадьми» (стр. 61).

«Рационально использовать героизм!»

Далее Щербаков говорит: «Строители прежде всего построят общественные здания» (стр. 47 подлинника). Переводчик эти слова передаёт так: «Силы строителей главным образом будут брошены на постройку общественных зданий» (стр. 61 перевода).

Слова Мейрама (стр. 47 подлинника): «В нашем теперешнем положении требуется особая внимательность и находчивость» К. Горбунов переводит: «На первых порах наша задача, повидимому, в том и заключается, чтобы использовать все местные возможности, проявить самую большую бережливость» (стр. 62).

Последний разговор Щербакова и Мейрама в тресте (III часть, стр. 431—435 перевода) написан ещё более неестественным для живой речи языком. А ведь прошёл немалый срок... Нужно думать, что Мейрам и Щербаков, проработав вместе добрый десяток лет, подружились, научились понимать друг друга. Но не тут-то было. При сличении этого разговора на страницах 431—435 в переводе со страницами 347—351 в подлиннике выясняется, что целые куски, написанные автором, выброшены и заменены новыми, переводческими, лишь отдалённо напоминающими то, что было в оригинале. Переводчик так мало обращает внимания на характеры людей, что ему даже всё равно, что говорит Мейрам, а что — Щербаков.

У Г. Мустафина (стр. 347) Мейрам говорит: «Қаргрэс готова, проблема воды и энергии решена».

У К. Горбунова (стр. 431): «Қаргрэс закончена, — продолжал Щербakov. — Вы это знаете. Теперь и вода и электричество для нас не проблема».

У Г. Мустафина (стр. 351) Мейрам говорит: «Поговорим об этом в горкоме».

У К. Горбунова (стр. 435) Щербakov: «Может быть, обсудим этот вопрос и на ближайшем бюро горкома?»

Но и там, где Мейрам и Щербakov в переводе произносят свои слова, их речь искажена переводчиком до неузнаваемости.

Щербakov говорит в подлиннике, на стр. 349:

«— Мейрам Омарович, я не игрок в очко. И не истрочу на сомнительное дело не только миллионов, но и рубля».

В переводе (стр. 433): «Только я не картёжник, чтобы слепо рисковать. И шахты для меня — не игрушки. Ради неоправданного риска не только миллиона — рубля не истрочу, потому что рубль этот государственный, добытый нелёгким трудом рабочего класса. Ох, я очень хорошо знаю, как нелёгко достается этот рубль!..»

Стремясь всё «пояснить» во что бы то ни стало, переводчик приписывает, присочиняет ненужные серые фразы, зачастую снижающие то важное, о чём идёт в них речь. Вот примеры фраз, целиком принадлежащих переводчику: «Творческие искания наших людей не измерить сантиметрами, не взвесить граммами» (стр. 432). «Большевики не такие люди, чтоб в затылках чесать» (стр. 434).

Недоверие к написанному автором нуждается переводчика не только к «исправлениям», но и к самостоятельному творчеству: он дописывает целые куски в текст. Так, на страницах 121—123 (подлинника) в эпизод товарищеского суда над Бондаренко, который в пьяном виде ударил Жумбая, К. Горбунов вписал целый кусок (ср. стр. 147 издания «Советский писатель» и стр. 90 «Дружбы народов», 1952, № 4, со стр. 121—123 подлинника).

Почти в каждой главе романа есть бесчисленные навязчивые пояснения и дополнения. В конце первой части переводчик увеличил речь Мейрама вдвое. Но особенно расписался К. Горбунов в конце романа, вписав две страницы в авторский текст

«от себя» (ср. стр. 481 «Советский писатель», стр. 185 «Дружбы народов», 1952, № 5, со стр. 392 подлинника).

Образы, язык, национальный колорит подлинника искажаются в рецензируемом переводе из-за невнимания к авторскому тексту, недоверия к нему. Не доверяет переводчик и автору и героям. На странице 42 в казахском тексте Ермек рассказывает Мейраму о том, что Байтен называет донбассовцев за чистоту и порядок в их домах «аристократами». К. Горбунов русское слово греческого происхождения «аристократ» переводит как белоручка, что, конечно, далеко не одно и то же (стр. 56 перевода).

Да и кому же придёт в голову назвать шахтёров — самых «черноруких» людей — белоручками. У казахов есть выражение «ак саусак», что означает «белоручка», так что автор намеренно написал «аристократ» и поправлять его не имело смысла.

Вместо дальнейших примеров заметим, что вследствие таких произвольных добавлений и пояснений в переводе вышло текста почти на три авторских листа больше, чем в подлиннике.

Разобранные выше недостатки перевода (неумение передать авторские приёмы, национальный колорит, авторскую и прямую речь подлинника, произвольные приписки и сокращения и т. д.) приводят к искажению образов героев романа. Если в переводе люди не так мыслят, не так выглядят, действуют и разговаривают, как в подлиннике, то это уже не те, а другие люди.

Не лучше обстоит дело с передачей в русском тексте внешнего облика персонажей.

Мы уже показали, как начальник строительства Щербakov разговаривает в переводе. Здесь отметим, что он и выглядит также парадно. На странице 4 перевода он человек «богатырского сложения», на странице 5 — «широкоплечий богатырь», на странице 28 — «мужчина могучего телосложения», на странице 59 — у него «массивное тело», на странице 111 опять — «массивное тело». Это только в одной первой части романа.

Г. Мустафин ко всему этому «богатырству» Щербakова не причастен. В оригинале на странице 4 читаем о Щербakове: «Немного сутулый, широкоплечий человек», а переводится это как «широкоплечий богатырь». «Массивное» тело тоже выдумка пе-

реводчика, у автора сказано — «уже немолрое (отяжелевшее) тело» (стр. 89).

Есть в романе интересный женский образ — Ардак.

В третьей части романа мы встречаемся с Ардак, ставшей женой Мейрама. Вот как описывает её автор (стр. 310). «Ардак стала полней, чем раньше. Лицо её было свежим и белым, как зёрнышко пшеницы, очищенной от шелухи. Не красилась, не носила ни серёг, ни браслета, ни кольца. Маленькие ручные часики лежали перед ней на столе».

Это показалось переводчику неубедительным, и он написал вот что:

«Ардак немного пополнила; она вступила в тот возраст, когда полным цветом распускается женская красота. Белое лицо приняло лёгкий розовый оттенок, чёрные глаза всегда полуприкрыты длинными ресницами; вскинет ресницы — словно лучами согреть. Не пудрилась, не румянилась, не любила украшений, ни браслета, ни колечка. Только никогда не расставалась с заветными ручными часиками, полученными в награду за успешное обучение неграмотных. Часики были для неё дороже любых украшений» (стр. 382—383). (Выделено то, чего нет в подлиннике.)

С другим героем романа, кадровым рабочим Ермеком, читатель встречается в самом начале книги. Он работал шахтёром в Караганде, принадлежавшей английским концессионерам. Когда те бежали в 1920 году, оставив после себя затопленные шахты, Ермек не захотел покинуть родные шахтёрские места и десять лет сторожил промысел, принадлежащий теперь народу. Ермек первый встречает Щербакова и Канабека, приехавших восстанавливать промысел, и вручает им ключи от него.

Уже эта краткая биография, кстати, обрисованная автором тонко, без нажима, открывает черты крепкого пролетарского характера.

Несколько позднее Ермек встречается в шахте с Мейрамом. Ермек несловоохотлив, но, постепенно оживляясь, рассказывает будущему секретарю парткома о технологии шахтёрского дела. Мейрам удивлён познаниями рабочего.

**У К. Горбунова:**

«— Какое у вас образование?

— Расписаться сумею.

— А знаете, пожалуй, не меньше инженера.

Ермек, слегка поморщившись, отвернулся в сторону, затем пренебрежительно махнул рукой.

— Э, далеко нашему брату до инженера! В школе я никогда не учился.

Он снова опустился на колени и принялся за работу» (стр. 53).

**У Г. Мустафина:**

«— Какое у вас образование?

— Я только расписываться могу.

— А знаете не меньше инженера.

Ермек посмотрел в сторону, пренебрежительно махнул рукой.

— Они ничего не знают. Я тут выгнал одного из штрека.

Мейраму не понравилось это поведение. А Ермек не только инженеров, но многих учёных людей терпеть не мог. По его мнению, образованные — дети баев. А инженеры — орудие баев. Сам он не учился. Из Караганды не уезжал, и виденное им в старой Караганде крепко засело в памяти. Если бы на Мейраме был белый воротничок и галстук, Ермек и разговаривать с ним бы не стал. Сейчас, остановившись, он подозрительно спросил:

— А кто был ваш отец?

Мейрам улыбнулся.

— Разве судят о детях по отцу?

— От волка — волк, от вёрона — вёрон рождается.

— Если бы волчонок не видел, как задирают овцу, а воронёнок — как клюют падаль, то волчонок не вырос бы волком, а воронёнок не стал бы вёроном. Но наше государство и новое время изменили прежние привычки» (стр. 39).

Но Ермек не соглашается с Мейрамом.

«А «Промпартия» — разве это было в другом государстве? И разве не кулаки и подкулачники устраивают подобные организации? Нужна классовая зоркость — именно в наше время нельзя забывать, что от волка — волк, от вёрона — вёрон рождается».

Весь этот важнейший для идейного звучания романа вообще — и для характеристики образа рабочего Ермека в частности — разговор выброшен К. Горбуновым.

Типические черты кадрового рабочего Ермека, человека смелого, с острым классовым чутьём, написанного автором многопланово и интересно. утрачены в переводе. У К. Горбунова Ермек написан о д-

ной краской. Гордый Ермек превратился в этакое коленопреклонённого, бессловесного и самоуничижающегося человека: «Э, далеко нашему брату до инженера! В школе я никогда не учился. — Он снова опустился на колени и принялся за работу»<sup>1</sup>.

После этого весь дальнейший путь Ермека предстаёт совершенно не в том плане, в котором написан автором.

Ермек сначала учит молодёжь работать, потом учится сам, постепенно, с трудом постигая науку. Зная из подлинника, каким был раньше Ермек, мы понимаем, почему он первый берётся обучать молодых рабочих шахтёрскому делу, когда другие не хотят делать это, боясь понижения заработка. Нам понятно и то, почему так трудно даётся Ермеку учёба, и то, почему он так настойчиво учится. Но читателю перевода это непонятно. Он не задумывается над образом Ермека, потому что образа в переводе нет.

У Г. Мустафина этот образ дан в росте, в развитии. У К. Горбунова Ермек, по существу, одинаков в начале и в конце книги. (Ср. эпизод встречи Мейрама и Ермеса в конце романа: стр. 385 перевода со стр. 331 подлинника.)

Так один из основных и наиболее удачных образов романа оказался в переводе с самого начала обескровленным, лишённым и типических и индивидуальных черт, статичным и залакированным.

<sup>1</sup> Заметим, что автор внутренне не согласился с переводчиком, так как в альманахе «Дружба народов», изданном в 1952 году (№ 4 и № 5), эти искажения уже имели место (см. стр. 30 № 4 за 1952 год), а в казахском издании, подписанном к печати полугодом позднее (24.IX-1952 года), автор, несмотря на предшествующую «авторизацию» русского текста, оставил цитированный нами отрывок.

На титульном листе «Қарағанды» в издании «Советского писателя» сказано: «Авторизованный перевод с казахского К. Горбунова». То же самое мы читаем и в альманахе «Дружба народов».

Что такое «авторизованный» перевод? Авторизация — это согласие автора на всё то, что сделано с его произведением при переводе. Но почему же Г. Мустафин, издавая позднее свой роман на казахском языке, не внёс «поправки» К. Горбунова в свой текст?

В итоге казахский и русский читатель получили два различных текста.

К. Горбунов работал по подстрочному переводу. Но дело тут не в том, что переводчик не сумел передать те тонкости, для которых требуется знание языка. Что касается «литературной обработки» в смысле внешней гладкости, К. Горбунов в некоторых случаях (мы это показали в самом начале рецензии) выполнил свою задачу удовлетворительно. Здесь можно было бы его упрекнуть лишь в безличной «литературности», в использовании большого количества штампов. Дело в данном случае в гораздо более важных вещах. На примере рецензируемой книги видно, что, несмотря на общий высокий уровень культуры художественного перевода, который у нас достигнут, в редакциях нет ещё достаточно ясного и твёрдого представления о том, что допустимо и что недопустимо при «авторизации» текста на русском языке. Нам кажется вообще недопустимым параллельное издание во многом различных по содержанию текстов одной и той же книги на разных языках. Тем более это недопустимо, когда перевод обедняет произведение в идейном и художественном отношении.



# КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Михайлова. Сочинения А. И. Куприна.— В. Аникин. Новое исследование о Бажове.— В. Пивторадни. Книга о Ярославле Галане.— Г. Ленюль. Удачный рассказ.— Я. Эльсберг. Язык писателя.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Стадниченно. География великого Китая.— Кандидат экономических наук Б. Кузнецов. Крестьянский вопрос во Франции.— Кандидат исторических наук В. Лейкина-Свирская. Публицистика петрашевцев.— О. Писаржевский. Новые элементы в периодической системе.

## Литература и искусство

### Сочинения А. И. Куприна

**Т**ри тома сочинений А. И. Куприна, выпущенные в минувшем году Гослитиздатом, представляют собой наиболее полное издание произведений этого писателя за последние тридцать—сорок лет. Здесь собрано и то, что ещё не известно или мало знакомо советскому читателю. Впервые, например, публикуются некоторые главы из романа «Юнкера», написанные в эмиграции, и рассказ «Ольга Сур»; воспроизводятся затерявшиеся в старых комплектах журналов «Резец», «Костёр», «Огонёк», «Звезда» рассказы «Золотой петух», «Ю-ю», «Царский писарь», «Гусеница» и некоторые другие.

Ценным исследовательским и интересным биографическим материалом насыщена вступительная статья. Свою главную мысль о демократической направленности творчества А. И. Куприна И. В. Корещкая доказывает вдумчивым разбором очень большого круга произведений. Вместе с примечаниями (авторы П. Л. Вячеславов и И. В. Мыльцина) статья даёт читателю ключ к пониманию Куприна и восполняет пробелы, неизбежные у читателя, когда он знакомится с творчеством художника не в полном, а в ограниченном объёме.

Александр Иванович Куприн был видным представителем русского критического реализма начала XX века, одним из самых

**А. И. Куприн. Сочинения в 3 томах. Гослитиздат, М. 1953.**

популярных авторов своего времени. Многие его произведения вызывают живейший читательский интерес и в наши дни. Художественное мастерство Куприна высоко ценили Толстой, Чехов и Горький. Однако, насколько сложным и противоречивым был идейный путь Куприна, настолько же противоречиво и разногласно его литературное наследие. Вот почему рядом с образцами реалистической прозы можно встретить у Куприна вещи и не представляющие большой художественной ценности.

Имя Куприна впервые прозвучало в литературе в начале девяностых годов. Многие модные беллетристы тех лет с усмешкой говорили об «идеализме прошлого героического поколения» и выступали проповедниками «малых дел» и «реабилитации действительности». Люди с «куриным размахом крыльев» полагали, что символизировать действительность призван не герой, обуреваемый высокими чувствами и страстями, а «тусклым, как тени, человечки».

Куприн также избрал своим героем рядового, обычного человека и изображал обыденную жизнь, но уже в его раннем творчестве заметно стремление пойти дальше простого бытописательства, явственно обнаруживается тяга к реалистическому изображению и истолкованию существенно важных явлений действительности. Именно благодаря этому — хотя его герои действу-

ют не на широкой арене политической борьбы, а показаны в сфере личных, часто глубоко интимных переживаний — в произведениях Куприна отразился протест широких слоёв русской демократической интеллигенции, рядовых людей против существовавшего тогда социального строя.

Куприн находился под сильным влиянием Чехова, в их взглядах на жизнь и на задачи писателя много общего. Подобно Чехову, он презирал рабство и ненавидел пошлость, с такой же страстью мечтал о прекрасном будущем человеке, отыскивал прообразы своих героев в самой гуще жизни.

Тоскующий по дому солдат Лука Меркулов («Ночная смена»); двенадцатилетний шахтёр Васья Кирпатый, рискнувший жизнью для товарища («В недрах земли»); писец Илья Самойлович Бурмин — бедняк, схоронивший единственного ребёнка, но не расставшийся с мечтой о времени, когда «и у наших деточек свой садик будет» («Детский сад»); журналист Пашкевич, который погиб, приложив руки «к позору газетного дела» («Кляча»); молодая актриса Лидочка Гнетнева («К славе») и провинциальная знаменитость Костромской («Полубог»), одинаково втянутые «в глубокий и грязный омут» театральной рутин, — подобные типы часто встречались на пути писателя в те времена, когда Куприн был военным, фельетонистом, землеметром, мастером, актёром, грузчиком, конторщиком на заводе, без конца бродяжил по родной земле.

«Почаще ездите в третьем классе», — говорил Чехов литераторам. Девизом Куприна также было «видеть всё, знать всё, уметь всё и писать обо всём».

Из наблюдений, почерпнутых писателем во время странствий по промышленному югу России в середине девяностых годов, родилась первая крупная вещь Куприна — повесть «Молох». «Молох», как и рассказ «В недрах земли», принадлежит к числу немногих произведений дореволюционной литературы, в которых сделана попытка показать взаимоотношения буржуазии и пролетариата и где отражена изнанка капиталистического прогресса.

Куприн ясно видел неотвратимость развития капитализма, видел и его разрушительные последствия. Но он — и это очень важно для объяснения слабых сторон повести — не мог понять, что силы, сконцент-

рованные на другом социальном полюсе, способны смести заводчиков Квашнинных. В «Молохе» мы видим рабочих в остром столкновении с предпринимателями, и эпизод поджога заводского имущества нарисован с большим драматизмом. Однако это только слепой бунт «смиранных воинов», ежедневно совершающих свой «привычный подвиг терпения и отваги».

Конфликт повести перенесён из сферы реальной классовой борьбы в морально-этическую область. Здесь на одной стороне преуспевающий Квашнин, этот «грязный, жирный мешок, битком набитый золотом», олицетворяющий всё грубое, жестокое, порочное, а на другой — болезненный молодой человек, инженер Бобров, чистая душа, идеалист и правдоискатель. Он терзается сознанием своего безволия, своей неприспособленностью к жизни, осуждает настоящее, но не видит просвета и в будущем. Следует заметить, что образ Боброва во многом повторяет то, что уже писалось о ноющих и тоскующих людях и с чем Чехов, по его свидетельству, хотел покоячить в своём «Иванове». Правда, повод для обличений у Боброва другой, чем у его литературных предшественников. Он протестует против явлений, только недавно утвердившихся в жизни; ему ненавистен современный «Молох»: шахта, фабрика, завод, «где двое суток работы пожирают жизнь целого человека». Но смысл и формы протеста не новы. Мы уже знаем эти вспышки интеллигентского красноречия, за которыми следует длительный упадок духа. Бобров видит, что Квашнин и ему подобные совершают величайшее зло, но роль деятельного защитника рабочих явно не по плечу Боброву. При всём своём альтруизме, при всех своих благих порывах он то, что Ленин определил словами: «истасканный, истерический хлюпик, называемый русским интеллигентом».

«Молох» привлёк внимание страстной критикой пороков утвердившегося капитализма, в повести много тонкости в психологической обрисовке героев. Но идеалы, сформулированные в обличительных речах Боброва, туманны и неопределённые. Бобров склонен искать выход вне современного общества, вне капиталистического города, в среде «естественных людей», на лоне врачующей природы. Только люди, обитающие в далёких лесных углах, вольно косящие на широких морских просторах,

близкие своим образом жизни не к человеческому обществу, а к природе, кажутся ему естественно чистыми в своих помыслах и действиях.

В рассказах «Лесная глушь», «На глухарей», в повести «Олеся», так же как и в более позднем творчестве («Листригоны», «Чёрная молния», «Скворцы», «Золотой петух»), то в развёрнутом сюжете, то в мимолётном эпизоде выражено проникновенно-любовное отношение Куприна к природе. Лишь вечная и мудрая красота первозданного мира родит, по мысли Куприна, прекрасных людей и стирает с человеческой души властной рукой «всю горечь прошедших неудач, мелкую и озлобленную суету городских интересов, мучительный позор обиженного самолюбия, никогда не засыпающую заботу о насущном хлебе» («Лесная глушь»). Это страстное, восторженное, «языческое» чувство художника позволило Воровскому говорить, что природа в произведениях Куприна «нечто гораздо большее, чем фон, усиливающий настроение картины, что она не «бутафорский аксессуар действия», а «самостоятельный деятель рассказа», подчиняющий себе всего человека с его мыслями, настроениями, страстями».

Жадно любя всё прекрасное, чем богат мир и человеческая природа, Куприн был большим оптимистом и жизнелюбом. Неверие в силу человека, идея гибели всего сущего, угнездившаяся, например, в таком писателе, как Леонид Андреев, были органически чужды мироощущению Куприна.

Не погребальные мелодии звучат в рассказах Куприна, когда он рисует бессмысленный конец борца Арбузова (рассказ «В цирке»), варварское умерщвление «прекрасного жеребчика» Изумруда или бесславное угасание незаурядного художника («Погибшая сила»), а требовательная защита всего здорового, свободного, что неминуемо гибнет в обстановке расчёта и принуждения.

Наперекор мелкой скверне человеческой, скучной выхолощенности мещанского, буржуазного общества, закосневшего в своём равнодушии ко всему, что выходит за рамки «принятого», Куприн выдвигал своеобразную красочность и романтику свободных «естественных людей», самобытных натур, отвергнутых обществом, пленительных детских характеров.

Чехов как-то упомянул о наивности Куприна, как о выражении достоверности того, о чём он рассказывает. Безыскусственная интонация, ясность и простота выразительных средств особенно органичны в рассказах, где списаны дети или животные. «Белый пудель», «Беглецы», «Слон», «Детский сад», «Изумруд», «Тапёр», «Ю-ю», а также некоторые другие рассказы, не включённые в рецензируемое издание («Барбос и Жулька», «В зверинце» и другие), покоряют тонким психологическим мастерством и каким-то удивительно добрым и уважительным отношением художника к своим персонажам.

Действуя рядом со взрослыми, дети у Куприна всегда смелее их, героичнее, благороднее. Таков образ Серёжи, маленького бродячего акробата в рассказе «Белый пудель». Теми же свойствами наделён подросток Василий в рассказе «Конокрады». «Не хочу милостыню собирать... Я буду, как Бузыга», — мечтает мальчик, пленённый рассказами о бывалом конокраде. В его хрупком теле живёт упрямая готовность принять любые пытки ради той героики и свободы, которые мерещатся ему в этом отчаянном «ремесле».

Примечательно, что среди героев детских рассказов Куприна нет своего «скверного мальчика». Дети, если их не успели изуродовать жестоким казённым воспитанием или глупым баловством в состоятельных семьях, представляют собой у Куприна разновидность «естественных людей». В них ещё остаётся нетронутым всё то, что теряют зрелые люди буржуазного общества в погоне за «положением» и успехом, в постоянных, изнурительных сшибках с жизнью.

Рассказы о животных, эти, на первый взгляд, бесхитростные, занимательные зарисовки наивной прелести зверей в действительности нередко насыщены глубоким содержанием, пронизаны, как и всё творчество Куприна, идеями гуманизма. Порой они аллегоричны. В рассказе «Собаچه счастье» зло пародируются законы и устои дореволюционного общества. С блеском развенчивает здесь Куприн тип просвещённого либерала (в рассказе это «старый профессор» пудель Арто), его болтливость, пассивность и рабскую зависимость от крепкого кулака.

Любовью и преклонением перед смелостью и волей сильных, ловких, красивых

людей наполнены рассказы о цирке, эти маленькие истории человеческих судеб, каждая из которых описана с той глубокой правдой, которая так восхищала Л. Н. Толстого.

В пору своего творческого расцвета, совпавшего с подъёмом революционного движения в стране, Куприн стремится к более глубокому осмыслению действительности. Он чувствует неполноценность своих прежних героев в том смысле, что они показаны главным образом в сфере личных конфликтов, за пределами реальных общественных столкновений.

Рядом с типами обездоленных, притеснённых людей появляются у него гордые, сильные, вольнолюбивые натуры, несколько напоминающие персонажей раннего Горького (Бузыга в рассказе «Конокрады»), люди передовых общественных взглядов (студент Воскресенский в рассказе «Корь»), герои со светлой мечтой о будущем, отринувшие ложную романтику некогда идеализированной автором лесной глуши («Болото»).

Расширяется поле общественной критики Куприна, становятся более смелыми и точными его обличительные удары. «Если бы не цензурные условия, я бы и не так ещё хватил», — писал он по поводу своего «Поединка».

В рассказе «Механическое правосудие» с великолепным мастерством (по-купрински скупым и ёмким) изображена зловещая фигура палача по призванию «в форме министерства народного просвещения», педагога, придумавшего механический самосекатель для массовой порки учащихся, солдат и рабочих.

Близко к щедринской традиции стоит рассказ «Мирное житьё», где в образе святоши Наседкина, отставного педагога, добровольного доносчика, шпиона и сутяги, типизировано оголтелое воинствующее мешанство.

Можно назвать и другие значительные рассказы, к сожалению, не вошедшие в рецензируемый трёхтомник, в которых Куприн изображает разнузданную агрессивность черносотенной буржуазии («Корь»), убогое приспособленчество обывателей («Река жизни»), рисует гибельный для человека отрыв от интересов широкого мира («Мелюзга»).

Накануне революции 1905 года и во время неё Куприн тесно сближается с Горьким, становится одним из самых деятельных участников сборников «Знание», вокруг ко-

торых объединились прогрессивные литературные силы России.

В ту пору Куприн завершает «Поединок», большую повесть, в которой, как он говорил, всё буйное и смелое навеяно Горьким. Политическая острота и злободневность принесли этой книге огромный успех в самых широких кругах общества.

Поставив в центр произведения своего излюбленного героя, простого, скромного человека, политически наивного, но ищущего правду и справедливость, писатель показал пробуждение в нём гражданского самосознания.

Этой повестью, как и прежними своими произведениями, Куприн говорит, что яркие чувства, гордые и прекрасные порывы — в природе самых обыкновенных людей, а не каких-то исключительных «сверхчеловеков». Такими чертами обладает герой «Поединка», застенчивый и неловкий подпоручик Ромашов.

Читателю трёхтомника легко заметить, что этот образ складывался в сознании писателя давно. Многие характерные особенности Ромашова заложены в прежних героях военных рассказов Куприна. Художественно законченные характеры, имеющие, конечно, самостоятельную ценность, они в то же время являются как бы этюдами к большому полотну «Поединка».

В рассказе «Ночлег» поручик Авиллов поромашовски фантазирует, спасаясь от «тупой скуки» гнеущих армейских будней. Герой рассказа «Прапорщик армейский» так же, как и Ромашов, робок с любимой и так же готов на всякую жертву для неё. Подпоручика Козловского («Дознание») тоже больно ранит издевательство над солдатом. Но если он при виде истязаний плачет, то Ромашов не только мучится несправедливостью: он берёт под защиту солдат и тесно сближается с некоторыми из них.

«Двадцатилетний мальчик», ещё так недавно погружённый в полудетские мечтания о необыкновенных подвигах, начинает размышлять о судьбе всех бесправных людей, похожих на солдата Хлебникова, в котором подпоручик увидел не механический придаток к винтовке «номер такой-то», а живого, страдающего человека.

Ромашова часто трактуют как человека безвольного, слабого, который «трепещет перед сильными мира сего». Именно так пишет о нём и автор вступительной статьи И. В. Корецкая. Но разве офицер «робкого



десятка» вступится перед самым командиром полка (!) за рядового, зло обиженного этим командиром, посмеет перечить своему ротному, когда тот скажет о солдате: «драть его надо, расподлеца?»

В царской армии, где бессмысленный страх перед начальством составлял самую суть отношений между людьми, Куприн показывает своего героя как личность, в высокой степени наделённую чувством собственного достоинства. Его гневный взгляд — «с ненавистью, с твёрдым и — это он сам чувствовал у себя на лице — с дерзким выражением, которое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, разделяющую маленького подчинённого от грозного начальника», — вынуждает командира полка почувствовать нравственное превосходство молодого офицера и извиниться за свою грубую солдафонскую нотацию.

Ступенька за ступенькой ведёт писатель своего героя всё выше по тернистому пути прозрения. От инстинктивного неприятия зла Ромашов приходит к мысли: пусть «миллион Я, составляющих армию», скажет решительное слово протеста. Всё дикое, постыдное, мишурное, что окружает людей, «зиждется только на том, что человечество не хочет, или не умеет, или не смеет сказать «не хочу!». Правдоискательство Ромашова идёт иными путями, чем у Боброва. Осуждая действительность, он не пасует перед ней. Если бы Ромашов носил не погоны пехотного подпоручика, а зелёную тужурку студента, мы, скорее всего, увидели бы его на студенческой сходке, в кругу революционной молодёжи.

Конечно, герой «Поединка» чувствует себя неуверенно в чуждой ему грубой и жестокой среде, но в нём заложен немалый запас скрытой энергии. Не раз попадают в тексте упоминания о смелости и ловкости Ромашова, которых «он сам от себя не ожидал». Несомненно, что Ромашов олицетворяет собой силу человечности, доброго ума, но именно потому он непопулярен среди таких людей, как капитан Осадчий, человек с примитивной психологией сильного хищника, тоскующий о том, что «миновало время настящей, свирепой, беспощадной войны», капитан Слива, закоренелый держиморда, вечерами пьянствующий в одиночку, «до подушки», опустившийся подполковник Лех, ничтожные позёры, подобные поручику Бобетинскому, или гнусные развратники типа штабс-капитана Дип.

При всём разнообразии офицерских типов у Куприна, среди которых попадают и добрые чудачки (подполковник Рафальский) и заботливые отцы семейства (поручик Згрежт), они обладают одним общим качеством — все они агероичны. Вместо отваги и доблести, этих классических черт военного героя, Куприн демонстрирует тупость и кровожадность Осадчего или припадки бешеной вспыльчивости Бек-Агамалова. Позднее под его пером Осадчие закономерно вырождаются в карателей и вешателей Марковых или в погромщиков и черносотенцев Слёзкиных (рассказы «Бред» и «Свадьба», не вошедшие в трёхтомник).

Есть, однако, в «Поединке» персонаж, который, подобно Ромашову, стоит особняком среди офицеров полка. Это подполковник Назанский — друг и наставник Ромашова. Он высказывает излюбленные мысли Куприна о не ограниченной ничем свободе человеческой души, о могуществе творческой мысли, о великой красоте любви и «весёлой жажде жизни».

В буйных анархистских речах Назанского немало расплывчатости и дилетантского философствования, но вместе с тем в них звучит ненависть к рабству, презрение к предателям знати, этим важным и тупым обезьянам, пацифистское проклятие войнам. К сожалению, мыслить этот «талантливый, чуткий, широкий человек» может только тогда, когда бывает возбуждён вином. В обыкновенное время, с горечью объясняет он Ромашову, «мой ум и воля подавлены... Смешно, и дико, и непозволительно думать офицеру армейской пехоты о возвышенных материях».

За несколько лет до «Поединка» Куприн написал рассказ «Куст спирени». Герой рассказа, поручик Алмазов, упорно добивается приёма в академию, и эти старания увенчиваются успехом благодаря самоотверженной находчивости его жены Верочки. На сходной ситуации основана сюжетная линия Шурочки и её мужа — поручика Николаева в «Поединке». Но в новом преломлении знакомого сюжета уже нет ничего, что бы вызвало симпатию, нет ни лиризма, ни признака идеальности. Шурочка не любит ограниченного Николаева, но тащит его вверх, к чинам, изо всех сил понукая его своей волей. Поступление в академию является не его, а её целью, потому что ей претит положение «полковой дамы».

Шурочка по-своему изысканна, ей дано понимать прекрасное. И не удивительно, что её привлекла и яркая мужественность Назанского и потом нежная чистота Ромашова. Но закономерно и то, что она отвергла обоих: ни с одним из них не достигла бы она своего, в сущности такого прозаического, житейского идеала. Больше того, когда Ромашов, сам того не подозревая, стал для неё помехой, она сама своими «мягкими и сильными руками» толкнула его к могиле и, как тонкую, ненужную ей нить на своём рукоделии (она ведь постоянно чем-нибудь занималась!), оборвала его чистую, молодую жизнь.

В «Поединке» простой и ясный реализм Куприна раскрылся с предельной силой. Сюжет повести сконденсирован и развёртывается подобно упругой пружине, композиция точна, фраза легка и выразительна. Владение материалом у Куприна здесь, как и вообще, изумительное. Рассказывает ли писатель о том, что происходит за кулисами театра, на утренней тяге, на ипподроме или на военном плацу, — всюду видно такое исчерпывающее знание обстоятельство, такое тонкое чувство детали, что скромное по стилю повествование становится неотразимым в своей поэтической достоверности.

Персонажи Куприна неизменно сохраняют свой естественный облик, свою характерность. В «Поединке» у всех одна общая черта биографии — они военные, но каждый создан художником как неповторимая человеческая индивидуальность.

В связи с этим вызывает возражения примитивное, одностороннее толкование системы образов «Поединка» А. Волковым в его «Очерках русской литературы конца XIX и начала XX веков», «Перед читателем, — пишет А. Волков, — проходит целая галерея тупиц и вырождков, лишённых всяких проблесков человечности: командира полка Шульговича и его подчинённых, офицеров Осадчего, Бек-Агамалова, Сливы, Веткина и др. Кроме муштры и зуботычин, они ни к чему не способны».

Но ведь даже самодурствующий Шульгович у Куприна не лишён проблесков человечности, а про тихого Веткина никак не скажешь, что он из породы «выродков и тупиц». И он и даже необузданный Бек-Агамалов, с его «варварской душой», оказывается, могут быть отзывчивыми и преданными друзьями хорошего человека. Куприн был прозорливее своего истолкователя

и ближе к жизненной правде: он показывал, что хорошее в людях есть, но только это хорошее и живое гибнет под ударами кнута, в атмосфере страха, в замкнутой офицерской касте, противопоставленной народу и начисто оторванной от него.

Вообще, анализируя творчество Куприна, А. Волков иногда довольно произвольно трактует произведения писателя. Так, в перечне произведений, где, по мнению А. Волкова, выведены образы правдоискателей, упоминается рассказ «В цирке». Любопытно было бы узнать, какой из персонажей имеется здесь в виду? Уж не врач ли, осматривающий больного борца и желающий установить истинную причину заболевания Арбузова?

А. Волков пишет, что Меркулов («Ночная смена») «с отвращением наблюдает потрясающую до дикости сцену обучения солдата-татарина военному делу...», хотя сам автор характеризует состояние своего героя в тот момент как «вялое» и «равнодушное».

Многие страницы очерка А. Волкова написаны серым, бесцветным языком, каким о Куприне писать просто грешно.

Накануне выхода «Поединка» Куприн писал в одном из своих писем о том, что эта повесть («вернее роман», как он сам позднее оценивал это произведение) составляет его «главный, девятый вал», его «последний экзамен». И в самом деле, больше ни одной крупной вещи писателю создать не удалось, хотя период 1904—1907 годов был самым кипучим временем в творчестве писателя, когда он работал со страстью, отзывчивостью и пылом боевого публициста, с неутомимой энергией большого художника. В корреспонденции «События в Севастополе» писатель показал России истинное лицо жандармов морской службы во главе с адмиралом Чухнинным, описав мрачную эпопею расправы с восставшим «Очаковым». Недаром после появления корреспонденции в петербургской печати Куприн был в двадцать четыре часа выслан из Севастополя.

Аллегория «Искусство» была ответом писателя на вопрос, занимавший тогда умы многих представителей интеллигенции: как согласовать искусство с революцией? Гениальный скульптор показал своим посетителям мраморную фигуру раба, разрывающего оковы. «И один из глядевших сказал: «Как это прекрасно!» Другой сказал: «Как это

правдиво!» Но третий воскликнул: «О, я теперь понимаю радость борьбы!»

Две дорогие Куприну идеи: мысль о свободе человеческой личности и мысль о вечном могуществе и непреодолимой красоте искусства слиты и в известном рассказе «Гамбринус». Окрылённый, возвеличенный маленький человек, сильный своим сопротивлением произволу, предстаёт в образе героя рассказа — любимца простого люда, скрипача из портового кабака Сашки.

Но, когда началась «идейная распря в стане вчерашних друзей», когда в годы реакции многие деятели культуры подчинились «процессу общего разброда и общей растерянности» и когда оказалось, что иной писатель, по словам Горького, не выше жизни и не впереди её, а ниже и сзади, сделал шаг назад и Куприн. В ряде произведений отразилось неверие писателя в возможность освобождения народа. Подвиг революционной интеллигенции воспринимается им теперь как бессмысленный самообман, интеллигенция и народ изображаются как две чуждые, непонятные друг другу силы («Попрыгунья стрекоза»). Отход от раскрытия общего смысла событий к показу глубоко интимных переживаний отдельного человека («Гранатовый браслет», «Святая ложь»), возврат к «естественным людям» («Листригоны») характеризуют творчество Куприна этих лет.

В период войны 1914—1918 годов Куприн в шовинистическом угаре из убеждённого пацифиста превратился в яркого сторонника «войны до победного конца». Цели и принципы ведения войны в 1914 году были у царского правительства не лучше, чем в 1904—1905 годах. Но теперь Куприн этого не замечал. В рассказах «Сашка и Яшка» и «Потерянное сердце» офицеры рисуются как «честные парни», «лихие рубаки». Они не размышляют о смысле жизни, как прежние герои Куприна, не ищут правды, не думают о будущем народа. Высший смысл для них определяется одной формулой: «слепо повиноваться приказанию». И недаром же Куприну пришлось слухавить: рассказ о Сашке и Яшке даётся со слов и местами от лица девочки-подростка — приём, словно бы избавляющий писателя от выражения своих идейных взглядов, от психологической сложности повествования. Что, мол, возьмёшь с наивного ребёнка!

В 1919 году, оказавшись на территории, занятой белыми, Куприн покинул родину и

прожил за её пределами восемнадцать лет. Оторванность от родного народа наложила глубокий отпечаток на всё его позднее творчество. В эмиграции Куприн писал очень мало. «Ненасоящая жизнь», как он именовал окружавшую его действительность, не давала ему ни материала, ни вдохновения. Сказки (в этом издании их нет), миниатюры о животных («Ю-ю», «Золотой петух»), рассказы о русской старине («Царский писарь» и «Однорукий комендант») — вот тот тесный и узкий мирок, в котором вынужденно замкнулся огромный талант Куприна.

Остался незаконченным и роман «Юнкера». Когда-то Куприн написал автобиографическую повесть «На переломе» («Кадеты»). Позднее он сам говорил: «Булаин — это я...» Маленький герой, заключённый в стенах казённой военной гимназии, страшит грубых и жестоких выходок «старичков», трепещет перед классными наставниками, которые, по свидетельству автора, «были чем-то вроде школьного жандарма». Ужасно это непрерывное насилие над волей ребёнка, беспощадная и бессмысленная травля робкой и одинокой детской души.

В «Юнкерах» же учащиеся и их наставники представлены как единая дружная семья. Репетиторы юнкеров «незаметно терпеливы» и «сурово участливы», «...злора, придирчивость, оскорбление, издевательство или благоволение к любимчикам совершенно отсутствовали в их обращении с младшими».

Читатель, знакомый с «Кадетами», конечно, поймёт, что в «Юнкерах» пером стареющего писателя водило уже не стремление создать всесторонне правдивый рассказ о виденном и пережитом, а, скорее, чувство человека, горько сожалющего на склоне лет о том, что утрачено, тоска о невозвратимой поре юности, о родине, которая далеко.

В 1937 году Куприн вернулся в новую для него Москву, «охваченную прекрасным жаром строительства».

Волнением, благодарностью и радостью исполнены маленькие статьи Куприна, напечатанные в газетах после его приезда в Москву и опубликованные в «Сочинениях». И нельзя без ответного волнения читать признание старого писателя в его воспоминаниях о Горьком: «Вся жизнь А. М. Горького, его творчество, память о нём заставляют меня ещё и ещё раз с болью вспоминать о пребывании моём в эмиграции, когда я сам себя лишил возможности деятельно

участвовать в работе по возрождению моей родины...»

Куприн очень стремился внести свой вклад в советскую литературу и задумал новый роман. При его участии готовилось издание произведений, вышедшее вскоре после его приезда. Новый рассказ — «Тень Наполеона» — был напечатан в «Огоньке». Но тяжёлая болезнь и смерть помешали творческим замыслам писателя. Он умер в 1938 году.

Трёхтомное издание сочинений позволяет советскому читателю познакомиться и с художественными произведениями Куприна, и с поэтически-проникновенными воспоминаниями о Чехове и о Толстом, и с его точными и глубокими оценками особенностей писательского мастерства в критических статьях о Р. Киплинге и Дж. Лондоне. Тем не менее отбор произведений для трёхтомника не представляется бесспорным. Понятно, почему составители отвергли, скажем, неудачную повесть «Яма», поверхностные заметки о Финляндии, рассказ «О пуделе», где автор толкует о непознаваемости мира, или безделушки, наподобие «Сентиментального романа» или «Осенних цветов». Но обойдены и значительные вещи, такие, например, как «Штабс-капитан Рыбников». В этом широко известном рассказе с уничтожающим сарказмом нарисована убийственная картина разложения царской военной машины, начиная от высоких штабов, где люди «заняты важной» и страшно ответственной бумажной работой». Русско-японская война показана писателем как бессмысленное, преступное кровавое дело, как поприще для преуспеваания тёмных дельцов, лжепатриотов типа Лёньки, провокатора, погромщика и полицейского агента.

В своих воспоминаниях о Чехове Куприн писал: «...у него в рассказах профессор говорит и думает именно как старый профессор, а бродяга как истый бродяга...» Вот с такой же доподлинностью говорят и герои рассказа Куприна: вкрадливо и пытливо — литератор Шавинский, холодный «собирающий человеческих документов»; с хвастливым глупым фанфаронством — кумир публичного дома, «богатый гость», Лёнька; с наигранной грубоватостью бывалого фронтовика и какой-то напряжённой развязностью — мнимый штабс-капитан Рыбников. Захватывающая сила этого рассказа — в тонкой художественной лепке внешнего и внутреннего портрета главного героя, с его углублённой, двойной жизнью, в острой динамике и лаконизме сюжета, в замечательной характерности обстановки. Вместо того чтобы соответствующим образом прокомментировать это произведение в предисловии и примечаниях, составители трёхтомника просто-напросто прошли мимо него.

Упомянутый рассказ — не единственное, как уже говорилось, значительное произведение, оставшееся за пределами издания. И вышло, что некоторые рассказы, включённые в трёхтомник, даже несущественные, а характеристика этапов творчества вынуждена иногда опираться на рассказы, с которыми читатель в этом издании познакомиться не может. Это тем досаднее, что трёхтомник и так, разумеется, далеко не исчерпывает богатства, оставленного нам писателем, сущностью творчества которого было, по определению В. Воровского, «описание печальной действительности и предчувствия прекрасного будущего».

Л. МИХАЙЛОВА.



## Новое исследование о Бажове

Однажды П. П. Бажов сказал, что в его манере письма многие не видят современного, «и думаю, — добавил он, — долго не увидят». Опасения писателя были напрасны. Каждый его новый сказ воспринимался как современное произведение. Сказы Бажова о прошлом не были «чистой историей»: не поступаясь исторической правдой и не проводя прямых аналогий, он

откликался на события, которыми жила наша Родина.

Автор недавно появившейся книги о Бажове, М. А. Батин, последовательно и обстоятельно вскрыл непосредственную связь творческой работы писателя с жизнью Советской страны. Эта связь, не раз отмечаемая исследователями, впервые внимательно изучена и представлена в полном и законченном виде. Тем самым книга М. Батина существенно дополняет критическую литературу о Бажове.

М. А. Б а т и н. «Творчество П. П. Бажова». Свердловское областное издательство, 1953.

Первые сказы Бажова (1936—1941) ярко запечатлели особенности того времени, когда они были созданы. Свою творческую задачу Бажов определил как намерение «осветить то, из чего росла любовь к Родине и мощь нашего государства». В тридцатые годы социалистический труд стал ведущей темой советской литературы. Наш читатель поставил на свою полку «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентральный» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Энергию» Ф. Гладкова, «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Танкер «Дербент» Ю. Крымова. «В этом ряду, — пишет М. Батин, — должны быть осмыслены и сказы «Малахитовой шкатулки» (1939).

В образах замечательных мастеров-умельцев Бажов прославил создателей материальной и духовной культуры. Эти образы простых русских людей будят высокие мысли, воспитывают, и прав М. Батин, отнеся камнереза мастера Данилу к тем характерам, которые являют пример творческого отношения к своему труду, к своему делу. Этот образ, пишет М. Батин, зовёт «к одухотворённому высокими целями творчеству».

В поэтическом сказе «Дорогое нямячко» — о Великой Октябрьской социалистической революции — Бажов славил дела народа, сбросившего угнетателей. Писатель учил любить социалистическое отечество, как осуществлённую мечту многих поколений о справедливом общественном укладе, о торжестве социальной правды на земле.

М. Батин делает совершенно правильный вывод: довоенное сказовое творчество Бажова «выросло на почве советской действительности, как отзыв большого художника на самые насущные нужды народа».

В годы Великой Отечественной войны вместе со всеми советскими писателями Бажов принял участие в борьбе нашего народа против немецко-фашистских захватчиков. Разъясняя патриотический смысл произведений, созданных Бажовым в эти годы, исследователь ставит его военные сказы рядом с лучшими публицистическими и художественными произведениями других авторов. Сказы эти проникнуты пламенным чувством советской национальной гордости.

Прекрасен по мысли сказ Бажова «Старых гор подаренье», написанный под непосредственным впечатлением победы советского народа в Великой Отечественной войне. «Думка» писателя пришла от «дедов-

прадедов». Легендарный Салават владел чудесной саблей, «старых гор подареньем», и был непобедим, пока держал связь с народом, пока был верен великой дружбе русских и башкир. Стоило ему послушаться корыстных родичей — сделал Салават со своей роднёй набег на русскую деревню, — и он был побеждён. Чудесная сабля перестала помогать ему: «Эх, Салават, Салават! Кабы ты всегда на народ оглядывался! Это старых гор подаренье тебе в руке не держать. На того оно ковано, кто никогда ничем своим не заслонил народного». Сила вожаков — в кровной связи с народом. Сила народного дела — в великом братстве народов нашей страны. Это один из тех сказов, о которых сам Бажов говорил, что они «вместо фонарика впереди»; сказ освещает светом народной мудрости общий широкий путь многонационального советского народа.

Деятельность Бажова в годы Великой Отечественной войны — это особый период в творчестве писателя. Нам кажется, М. Батин напрасно не выделил этот период, а слил его с послевоенным творчеством, в котором слышен голос народа-победителя, вдохновенно, с величайшим энтузиазмом приступившего к мирному строительству. Об одном из своих послевоенных сказов сам Бажов сказал: «Васина гора» — отражение тех настроений, с какими советские люди приняли пятилетний план».

Исследование М. Батина — большая и серьёзная работа. Автор привлёк архивные материалы, прежде не известные или мало известные широкому кругу советских литературоведов и читателей. Но есть в этой книге и недостатки. Прежде всего в ней слабо разработан вопрос о художественном своеобразии сказов Бажова. Автор не определил существа и характерных примет сказа как художественной формы. Он называет сказ то «сказкой», то «побывальщиной», то «легендой», то, наконец, «рассказом в его сказовой разновидности». Конечно, сказовая форма у Бажова разнообразна, но это не мешает ей иметь свои общие жанровые особенности. Так, например, следовало установить особый характер связи сказа Бажова как литературной формы со сказом как жанром фольклорным.

Мы считаем неточным положение М. Батина о том, что в творчестве Бажова в сороковые годы будто бы резко сократилось количество сказов с элементами фантасти-

ки и что в тех сказах, в которых используются фантастические образы, фантастика либо обусловлена особым заданием (сказ «Голубая змейка», написанный для детей), либо сопровождается рядом оговорок и разъяснений, снимающих фантастичность образов «начисто» (как пишет М. Батин относительно сказа «Веселухин ложок»). «Изменения в использовании фантастики в сказовом творчестве Бажова, связанные со сменой рассказчика, — делает вывод автор книги, — отражают рост идейно-творческой зрелости писателя»<sup>1</sup>. Однако простой подсчет показал бы, что М. Батин напрасно полагает, будто лишь в четырех из двадцати семи сказов, написанных в сороковые годы, Бажов использовал фантастику; таких сказов значительно больше. И совсем уж непонятны основания, по которым наличие сказов, лишенных фантастических образов, можно было бы считать показателем возросшей идейно-художественной зрелости писателя. Фантастические образы

<sup>1</sup> Не можем не отметить в этой цитате тяжёлый «литературоведческий» язык, к сожалению, иногда вредящий в рецензируемой книге ясному и живому изложению мысли.

никогда не мешали Бажову правильно и глубоко отражать действительность.

Мало разработан в книге вопрос о языке сказов. М. Батин не раскрыл свой общий правильный тезис об его разговорной основе. Почти всё внимание исследователь сосредоточил на некоторых частных особенностях лексики и синтаксиса в сказах. Каков общий строй языка? Как именно разговорная речь служит писателю средством художественной выразительности? Что лежит в основе организации фраз, порядка слов и их выбора? На все эти вопросы в книге М. Батина ответа нет. Есть лишь отдельные верные наблюдения, не сведённые воедино.

Мы видим, что круг нерешённых проблем, которые стоят перед исследователями творчества Бажова, ещё достаточно широк.

Популяризация и изучение творчества Бажова — большое, нужное советским людям дело. Оно потребует от нас немало коллективных усилий. И мы рады отметить, что свердловский литературовед М. А. Батин вложил в этот общий труд свою долю, создав интересное и полезное исследование.

В. АНИКИН.



### Книга о Ярославе Галане

Боевые памфлеты и пьесы писателя-коммуниста Ярослава Галана, направленные против Ватикана, против украинских буржуазных националистов, против империалистической реакции, широко известны читателям Советского Союза и зарубежных стран. Его героической жизни и творчеству посвящены труды украинских, московских, ленинградских историков литературы и критиков. Среди них нужно прежде всего отметить работы киевского литературоведа Б. Буряка («Литературні портрети», Львівське книжково-журнальне видавництво, 1952) и его же предисловие к двухтомному собранию сочинений писателя (Держлітвидав України, К., 1953), интересные статьи ленинградского исследователя А. Елкина.

В связи с исполняющимся в октябре 1954 года пятилетием со дня гибели Я. Галана

Ю. Мельничук. «Ярослав Галан. Життя, революційна і літературна діяльність». Книжково-журнальне видавництво, Львів, 1953.

Львовское книжно-журнальное издательство выпустило в свет обширную работу Ю. Мельничука о жизни, революционной и литературной деятельности выдающегося советского писателя.

Ю. Мельничук не впервые пишет о Я. Галане. Его перу принадлежат литературно-критический очерк о Галане, выпущенный на русском и украинском языках в издательстве «Радянський письменник» в 1951 году, несколько журнальных статей и предисловий к избранным произведениям писателя. Вышедшая ныне книга, хотя она и включает в себя некоторые ранее использованные автором материалы, представляет собой новое исследование. Среди критических работ о Я. Галане рецензируемый очерк Ю. Мельничука выделяется своей обширностью: он представляет собой попытку охватить наиболее полно все важнейшие стороны жизни и творчества писателя.

В любой критической работе о Я. Галане мы всегда будем искать отражения той силы, страсти и ненависти, которыми насыщено всё творчество писателя-коммуниста. Всякая вялая, серая строчка кажется неуместной, когда речь идёт о том, кто ещё в начале своего пути заявил, что и «в будущем, как сейчас, буду исполнять свою классовую обязанность и беспощадно бороться с явным и тайным фашизмом». Лишённая чувства форма изложения материала, несомненно, пришла бы в резкое противоречие с духом пламенного творчества Я. Галана.

В очерке «Ярослав Галан» Ю. Мельничук не просто описывает и оценивает литературные факты; он разоблачает вместе с Я. Галаном украинских буржуазных националистов, агентов Ватикана, воюет вместе с писателем против всего враждебного и отсталого. Критик словно продолжает деятельность Я. Галана. В то же время он пропагандирует творчество Я. Галана и вступает в полемику с неверными, по его мнению, взглядами других критиков.

По нашему мнению, совершенно прав Ю. Мельничук, когда он берёт под защиту от явных или скрытых сторонников бесконфликтности пьесы Я. Галана «Под золотым орлом» и «Любовь на рассвете». Но, вступая на путь этой полемики, Ю. Мельничук по временам теряет ту сдержанность и объективность, которые были в высшей степени свойственны самому Я. Галану, при всей его боевой, страстной устремлённости в борьбе за правду. Poleмические излишества заставляют порой Ю. Мельничука вступить в противоречие даже с общеизвестными фактами. Пример — его спор по вопросу о поездке Я. Галана к М. Горькому.

С творчеством великого русского пролетарского писателя Я. Галан познакомился в начале двадцатых годов. С тех пор М. Горький всегда был для Я. Галана образцом мужественного служения своей родине и народу. Будучи учителем Луцкой польской гимназии, Я. Галан вместе со своим школьным товарищем Б. В. Кобилянским во время двухнедельных рождественских праздников в декабре 1928 года отправился в Италию, на Капри, повидать М. Горького. Но Горького в это время там не оказалось, и молодые люди поспешили обратно в Луцк. Об этом факте сообщается в послесловии В. Беляева к сборнику памфлетов Я. Галана «Ватикан без маски».

Факт этой поездки, хотя и неудавшейся, важен как показатель того, что революционная интеллигенция Западной Украины и в условиях социального и национального гнёта, жестокой цензуры и полицейских преследований проявляла огромный интерес к полпреду советской социалистической культуры — М. Горькому.

Так об этом писали другие исследователи, и писали правильно. Но Ю. Мельничук вступает с ними в странный и ненужный спор — на том единственном основании, что об этой поездке он ничего не смог узнать ни из автобиографических произведений Я. Галана, ни из его записных книжек и писем. «Никто никогда не слышал об этом от Галана ни в его выступлениях, ни в дружеских беседах», — пишет критик и делает отсюда категорическое заключение, что Я. Галан никогда не ездил к М. Горькому. В доказательство Ю. Мельничук приводит такие мотивы: Я. Галан, по его словам, не имел «никакой нужды ехать в конце 1928 года на Капри, чтобы увидеться с Горьким, ибо он читал газеты, слушал радиопередачи и хорошо знал, что уже летом 1928 года М. Горький был на Украине, выступал в Харьковском клубе писателей, призывая украинских писателей принять самое активное участие в социалистическом строительстве и укреплять братские творческие связи между украинской и русской литературой». (Разрядка автора очерка. — В. П.)

Но доказательство ли это? Верно, что летом 1928 года М. Горький находился в Харькове; но ведь летом, а не осенью, — а к тому времени он мог возвратиться в Италию! Так оно и было в действительности. Стоит только заглянуть в примечания к 24-му тому тридцатитомного собрания сочинений М. Горького (Государственное издательство художественной литературы, М., 1952, стр. 567), и мы сможем там прочесть слова самого М. Горького: «Приехал в СССР 28 мая 1928 года, уехал 10 октября 1928 года». Следовательно, М. Горький осенью 1928 года был уже на Капри, его отлучка оттуда в декабре была кратковременной. Зачем же в таком случае нужно было критику полемизировать с В. Беляевым по этому вопросу? Несостоятельна и ссылка Ю. Мельничука на то, что о своей поездке к М. Горькому сам Я. Галан не упоминает в известных нам высту-

плениях, письмах и т. д. Здесь критик не учитывает, видимо, характера Я. Галана, который всегда был скуп на автобиографические сообщения; поездка была неудачной, как сказано в статье В. Беляева; тем менее Я. Галан был склонен о ней упомянуть.

Такие несостоятельные полемические приёмы Ю. Мельничука снижают тот присущий его очерку хороший и во всём основном правильный полемический характер, который порой исчезает из работ литературоведов.

Одним из важных вопросов, возникающих при чтении книги и частично затронутых критиком, является вопрос о литературных традициях, близких Я. Галану, о его литературном окружении до 1939 года и в связи с этим о влиянии на его творчество классической и современной русской и украинской литературы.

Я. Галан работал до 1939 года в исключительно сложной общественно-политической и литературной обстановке. Об этом он подробно говорит в своих фельетонах «Рыцари чёрной руки», «Ещё о курах», «Хи-хи», напечатанных во львовском прогрессивном журнале «Вікна» за 1930—1931 годы. Об этом же напоминает современник и единомышленник Я. Галана по литературной деятельности Степан Тудор в своём критическом обзоре литературы Западной Украины за последние 20 лет. Я. Галан, С. Тудор, А. Гаврилюк и другие выступали против фашистских, буржуазно-националистических, троцкистских и клерикальных писателей единым фронтом. Это важно помнить. При всей своей оригинальности Я. Галан не был одиноком в своих идейно-художественных исканиях, и жаль, что очерк Ю. Мельничука не даёт по этому поводу никакого материала для размышления. Положение не изменяется от того, что критик в биографической части очерка называет имена революционных писателей Западной Украины, группировавшихся вокруг журнала «Вікна» и связанных лично с Я. Галаном, ибо он ограничивается перечислением, не делая обобщений и даже сравнений.

Нельзя сказать, чтобы исследователь творчества Я. Галана совсем обошёл важный вопрос о значении для писателя литературных традиций. Ю. Мельничук пишет, например, что Ярослав Галан очень часто встречался с Алексеем Макси-

мовичем Горьким «на страницах бессмертных произведений великого буревестника революции, которые имели огромное влияние на формирование мировоззрения и творческого почерка Ярослава Александровича» (Галана. — В. П.). Это совершенно справедливо. Но ведь задача исследователя установлением этого факта не заканчивается, а только начинается. Читатель ждёт, что общее правильное положение будет раскрыто на конкретных примерах. К сожалению, этого в очерке нет, так же как нет конкретного раскрытия того, что разумеет Ю. Мельничук, объявляя, что Я. Галан как выдающийся мастер политического памфлета сформировался под влиянием Пушкина, Гоголя, Щедрина, Шевченко, Франко, Горького, Маяковского. Это декларативное утверждение автора также ничем не доказывается. Далее Ю. Мельничук опять возвращается к вопросу о влиянии на творчество Я. Галана классиков украинской и русской литературы. «Продолжая традиции революционно-демократической и советской украинской и русской литературы,— пишет автор очерка,— антиклерикальной направленности лучших произведений И. Вишенского, Т. Шевченко, Н. Гоголя, М. Салтыкова-Щедрина, И. Франко, М. Горького, В. Маяковского, Ярослав Галан в своих произведениях глубоко раскрывал и чувствительно бил по Ватикану и римским папам...» О развитии Я. Галаном традиций Т. Шевченко, И. Франко и других передовых писателей и мыслителей, выступавших своё время против унии, говорится ещё в одном месте. Однако, повторяем, все такие утверждения имеют в очерке чисто декларативный характер, а вопрос об истоках творчества Я. Галана, о классических традициях в его творчестве так и остаётся нерешённым.

Рассматривая одну из ранних пьес Я. Галана «Вантаж» («Багаж»), Ю. Мельничук обращает внимание на эпиграф: «Плывут судна... — Ли д и н». Автор очерка заключает: «Это свидетельствует о том, что Я. Галан читал повесть русского писателя В. Линдина «Идут корабли», которая соответствующим образом повлияла на выбор молодым драматургом сюжета его новой пьесы. Кроме этого, Я. Галан находился под влиянием великих политических событий того времени. Героическая борьба китайского народа за своё освобождение и за строительство нового Китая очень интересовала и захватывала его» (стр. 62).



В таком изложении проблема литературных влияний предстаёт в странном виде. Ю. Мельничук полагает, что выбор драматургом сюжета этой пьесы был в первую очередь определён литературным образцом, а кроме того(!), на него воздействовала в том же направлении и революционная действительность. На самом деле, несомненно, главную роль в выборе темы и сюжета пьесы Я. Галана играли прежде всего (а не «кроме того») события политической жизни в Европе и Азии, — повести же Лидина принадлежала более скромная роль.

С вопросом о значении традиций в творчестве Я. Галана тесно связан и другой вопрос — о творческом методе писателя до и после 1939 года.

Революционные писатели — Я. Галан, С. Тудор, А. Гаврилюк, П. Козланюк — всегда ориентировались на советскую литературу; но только после воссоединения западноукраинских земель и Советской Украины в едином Советском государстве писатели твёрдо встали на путь социалистического реализма.

Мы высоко ценим революционную мужественную борьбу Я. Галана и его единомышленников в условиях Западной Украины до 1939 года против социального и национального гнёта; их заслуга велика, и мы всегда помним о ней. Однако нельзя изображать весь творческий путь Я. Галана, как одинаковый процесс, не видя в нём исторического рубежа — сентября 1939 года. Я. Галан, С. Тудор, А. Гаврилюк и П. Козланюк в своих статьях сами признают, что новая советская действительность, забота Коммунистической партии о развитии литературы — всё это, вместе взятое, помогло им, революционным писателям Западной Украины, стать советскими писателями, овладеть методом социалистического реализма, преодолеть пролеткультовские взгляды на классическое наследие, освободиться от пагубного влияния формализма и натурализма, которое сказывалось у них в некоторых произведениях.

Вопрос о творческом методе Я. Галана обойдён в очерке, и это не позволило Ю. Мельничу раскрыть творчество писа-

теля в развитии; темы и мотивы произведений Я. Галана (в главах «Драматургия Ярослава Галана», «Очерки и рассказы», «Публицистическое творчество») рассматриваются критиком без учёта изменений, которые, как известно, были в творчестве изучаемого писателя.

Наиболее уязвимая сторона очерка о Я. Галане — о крупном и оригинальном художнике — это анализ его художественных средств. Художественное мастерство писателя при рассмотрении драматических, прозаических и публицистических произведений не затрагивается Ю. Мельничуком совсем. А если автор в отдельных случаях и поясняет, что в памфлетах Я. Галана «предложение краткое, лаконичное, слово простое, доходчивое, эпитеты удачные и звучат с какой-то особой торжественностью, боевым настроением», то, само собой, такая чрезмерно общая характеристика никого не может удовлетворить.

Отметим, что в очерке встречаются непродуманные, неточные формулировки. Автор, например, утверждает, что «в 1927—1928 гг. Советский Союз закончил восстановление народного хозяйства, разрушенного империалистической и гражданской войнами», тогда, как известно, что восстановительный период схватывает время с 1921 по 1925 год. Вслед за этой непродуманной фразой следует ошибочная формулировка: «Советский народ под руководством Коммунистической партии приступил к построению социализма». Читатели знают, что советский народ приступил к социалистическому строительству не с 1929 года — года развёрнутого социалистического наступления, — но одновременно со свержением буржуазного государства и установлением советской власти.

Очерк Ю. Мельничука показывает, что наша критика накопила и в значительной мере систематизировала материал, необходимый для серьёзного изучения творчества Я. Галана. Можно не сомневаться, что уже созданы условия для появления более глубоких исследовательских работ, решающих проблемы, выдвигаемые творчеством этого замечательного писателя.

**В. ПИВТОРАДНИ.**

## Удачный рассказ

По первым страницам рассказа А. Мусатова «Надежда Егоровна» может показаться, что автор, пытаясь лишь несколько подновить материал, пишет на давно уже известную, примелькавшуюся в литературе тему: женщина после замужества целиком посвящает себя семейной жизни, опускается, становится ненужной и в семье. По мере того, как вчитываешься в этот рассказ, убеждаешься, однако, что замысел его и глубже и жизненнее.

Герои рассказа — Фёдор Петрович Звягинцев и его жена Надежда Егоровна, прожившие вместе долгую жизнь. Фёдор Петрович — писатель, завоевавший литературное имя; он кажется и окружающим и самому себе куда более значительной и интересной фигурой, чем его скромная, неприязнительная жена. Звягинцеву даже обидно, что его жена живёт так однообразно, обыденно, серо. Однако никаких драм из-за этого в семье Звягинцевых не возникает: просто в отношениях Фёдора Петровича к жене проступает порой снисходительно-жалостливая нотка, которая первоначально представляется читателю естественной и даже располагает в пользу умного и терпимого мужа.

Фёдор Петрович — человек отзывчивый. Он легко загорается при встрече со способными молодыми людьми и искренне старается им помочь. Надежда Егоровна сдержаннее, осмотрительнее, осторожнее, можно сказать, суше, чем её муж. Но постепенно выясняется, что реальное содержание их характеров не так уж точно и верно понято нами по первому впечатлению.

Да, Звягинцев, конечно, человек неплохой. Но чем дальше, тем явственнее ощущаешь в его поведении, во всех его поступках и повадках оттенок какой-то, я бы сказал, незрелости. Вот во время поездки на Урал он встретил Варю — девушку, мило исполнявшую народные песни, и сразу же решил, что ей надо ехать в Москву развивать свой голос.

«В азарте спора с дедом и матерью Вари Фёдор Петрович заявил, что он всё берёт на себя, всё устроит — пусть только они отпустят с ним девушку».

Надежда Егоровна пыталась остановить мужа — зачем такая поспешность? Не луч-

ше ли сначала выяснить всё в Москве, потом вызвать Варю телеграммой?

Но Фёдор Петрович был неукротим. Он твёрдо верил, что это преступление — прятать в тайге такой самородок, как Варя.

Надежда Егоровна знала, что увлёкшегося чем-нибудь мужа остановить невозможно, и махнула рукой.

Однако Варю ни в хор Пятницкого, ни в музыкальное училище в Москве устроить не удаётся — и у Фёдора Петровича тотчас опускаются руки; он охвачен раскаянием и не может придумать ничего лучшего, как отпустить растроженную его посулами девушку домой: «Дадим денег на дорогу... Матери письмо напишем... объясним...»

А вот отношение Фёдора Петровича к начинающему поэту Стёпе Петухову. Он внимателен к юноше, толкует ему о высокой поэзии (не забывая при этом и о собственном красноречии). Но что за человек Стёпа, юнец, которому нужно ещё расти и расти, — этот вопрос Фёдора Петровича, в сущности, мало занимает. Вернее, ему кажется, что со Стёпой «всё более или менее в порядке». Осторожное отношение Надежды Егоровны к этому мальчику — это, видимо, по мнению Фёдора Петровича, всего лишь обывательская рассудительность.

Звягинцев, привыкший к удобной, уютной жизни, слишком просто, как-то по-детски просто подходит к трудностям, вырастающим на жизненном пути у повстречавшихся ему людей. По всей вероятности, Надежда Егоровна и сама не подозревает, насколько она права, когда объединяет мужа и сына-школьника Никитку общим матерински ласковым обращением: «дети мои». Вряд ли следует разъяснять, что у взрослого человека такая «детскость» в характере означает недостаток чувства ответственности.

Надежда Егоровна, как мы сказали, кажется суше Фёдора Петровича. Но когда она сходится вплотную с людьми, которые, по её мнению, живут не так, как надо, она не может остаться безразличной. И тут она проявляет энергию, последовательность и упорство, не знакомые Фёдору Петровичу.

Ничего особенного Надежда Егоровна, правда, не делает. Но она не может — просто не может — отступить от Вари и закончить с этой конфузной историей так, как готов это сделать Фёдор Петрович. Не произнося громких слов, Надежда Егоров-

на берёт к себе девушку в помощницы по хозяйству и потихоньку помогает ей подготовиться к экзаменам в музыкальное училище.

Надежда Егоровна не очень разбирается в том, как срифмованы стихи Петухова. Но ей не нравится, что Стёпа не ладит с родителями, что «мальчишка мечется, к делу пристать не может». В конце концов она не выдерживает и, хоть муж её и хмурится, активно принимается за стёпины дела, даже домой к нему приходит. «Ты, Стёпа, — говорит она, — извини, что я так настойчиво в твои дела вмешиваюсь. — И объясняет: — У меня свой такой растёт... Никитка».

«По положению» Фёдор Петрович считается «инженером человеческих душ»; на деле, однако, это звание подошло бы скорее его неприметной жене.

«Надежда Егоровна» — произведение небольшое по объёму, но плотное, вмещающее в себя ряд перекрещивающихся человеческих судеб. Образно раскрывается в нём мысль о том, что нельзя ограничиваться тем, что находится на поверхности, что лишь кажется очевидным и ясным.

Бракуя стихи Петухова за то, что они лишены определённого «адреса», работник местной газеты говорит молодому поэту: «Надо поконкретнее выражаться. Почему бы вам... о своём производстве не написать, вы, кажется, на фабрике работаете». Сказано как будто бы совершенно правильно. Однако Стёпа не без основания отвергает этот стандартный совет, даваемый во всех литконсультациях. «Новые темы, новые люди... — передразнивает Стёпа журналиста. — Одно название, что фабрика. Там и всего-то работает десятка два стариков, бывших богомазов. Клеят из папье-маше неуклюжих кукол да режут из липы коней. У кукол глупые лица, у коней дикие, несуразные головы. Старики осатанели от жадности. В день расписывают по две согни кукол. Одна другой страшнее. И зачем я только пошёл к этим балбешникам!»

За вывеской полукустарного предприятия, как оказывается на поверку, скрываются люди с частнособственническими понятиями и навыками, люди, равнодушные к тому делу, которое они делают. Но это не сразу разглядишь. А вот отца Петухова, старого игрушечных дел мастера, нетрудно при формальном, поверхностном подходе к нему объявить отсталым человеком: он кустарь-одиночка, сбывающий свою продукцию на

базаре; сын в раздражении называет его «частником». Но старик этот в свою работу вкладывает всю свою душу, и если он остаётся частником, то виноваты в этом плохие, нерадивые руководители кустарной фабрики, которые предпочли ему корыстных «богомазов».

В рассказе А. Мусатова без дидактического подчёркивания, в «чеховской» манере, когда мораль как бы сама собой вытекает из живых образов, проводится мысль о советском внимании к человеку. Художественными средствами автор подчёркивает, что подлинный гуманизм всегда практичен, что слова, не подкрепляемые делами, мертвы. «Надежда Егоровна» принадлежит к тем произведениям, в которых художественная тенденция всё время ощущается, но почти нигде не нарушает образной ткани.

Почти нигде — такая оговорка требуется потому, что в хорошем рассказе А. Мусатова одна частность вызывает возражения. Касается она писательства Фёдора Петровича.

Жизненный стиль Звягинцева, понятно, отражается и в его литературной работе. Правда, благодушие Фёдора Петровича не может быть охарактеризовано просто как равнодушие; подобное обвинение предъявлять ему было бы несправедливо. Но благодушие это мешает Звягинцеву остро воспринимать действительность. Всё становится под его пером более простым и лёгким, чем это бывает в жизни.

А. Мусатов, на наш взгляд, прав, изображая так человеческий и писательский облик Фёдора Петровича. Правильно в рассказе и то наблюдение, что Фёдор Петрович не совсем доволен собственной работой, — писатель-то он, без сомнения, не бездарный. Естественно поэтому, что он обращается к жене (как к рядовому читателю) с просьбой посмотреть его рукопись, и естественно также, что Надежда Егоровна высказывает несколько довольно горьких замечаний.

Но как она это делает? Цитирую: «Читается книга, ничего не скажешь... А прочла — хочется в окно выглянуть, на улицу выйти, людей послушать. Они, может, и о маленьком говорят, а каждый по-своему — с радостью, и с болью, и с беспокойством. А у тебя в книге что-то всё очень гладко да ровню уложено, словно ты и среди людей не жил».

Есть у великого русского художника К. П. Брюллова изречение, которое стало

знаменитым после того, как его повторил Л. Н. Толстой: «Искусство начинается там, где начинается чуть-чуть». Это вот «чуть-чуть» не соблюдено в данном случае Мусатовым. Сила Надежды Егоровны состоит в том, что она в своих поступках и суждениях исходит из реального понимания фактов, не мудрствуя при этом лукаво. А в приведённой оценке рукописи Фёдора Петровича слышится вдруг нота такого «мудрствования»; получается какой-то домашний пересказ сентенций, нередких у критиков-профессионалов.

Заканчивается рассказ словами Фёдора Петровича: «А знаешь... я вот думаю... не поехать ли мне куда-нибудь? Похожу, людей посмотрю, поживу с ними...» Автор заставляет Звягинцева признать, таким образом, правоту жены.

Но разве в том беда Фёдора Петровича, что он раньше не встречался с людьми, не жил с ними? Разве он не ездил на Урал,

откуда и вывез голосистую Варю? Разве дело сводится только к поездкам «за материалом»?

Большие творческие проблемы, стоящие перед писателями, столь упрощённым способом разрешить нельзя. Знание людей, которое необходимо писателю, не заключается только в ознакомлении с подробностями бытового или профессионального порядка, хотя и они, понятно, должны отличаться достоверностью.

Когда у А. Мусатова речь идёт о взаимоотношениях Фёдора Петровича с Надеждой Егоровной, Варей, Стёпой Петуховым и другими, перед нами вырисовывается яркий и отчётливый образ. Но когда автор переходит к Звягинцеву-писателю, образ этот начинает расплываться, несмотря на то, что в основе своей он намечен верно. Здесь сказалось, очевидно, несколько упрощённое понимание вопросов художественного творчества.

Г. ЛЕНОБЛЬ.

★

## Язык писателя

Имея в виду жанр сатирического обзора, Щедрин, работавший тогда над книгой «За рубежом», писал в 1880 году одному из своих корреспондентов: «Тут надо каждое слово рассчитать, чтоб оно не представляло диссонанса, чтоб оно было именно то самое, какое следует».

Замечание это указывает исследователю щедринского языка одну из важнейших целей: он обязан показать, как именно «каждое слово» служит идейно-эстетическим задачам художника. Такой анализ предполагает точное представление о стиле писателя в сопоставлении со стилем его современников.

Но перед изучающим язык Щедрина стоит и другая, крайне существенная цель: язык писателя должен быть рассмотрен на фоне общенародного языка и в тесной связи с историей последнего, — так выяснится роль писателя в обогащении языка его эпохи. Предварительным же условием такого изучения является устранение ряда «белых мест» в истории языка; не будет, например, преувеличением сказать, что у нас ещё нет сколько-нибудь полного и осно-

вительного исторического очерка общелитературного языка второй половины XIX века и начала XX века и, в частности, языка публицистики, вступавшего в сложное взаимодействие с языком художественной литературы своего времени.

В предисловии к своей монографии А. И. Ефимов пишет: «Роль писателя в развитии национальной речевой культуры определяется, во-первых, «открытием» и привлечением новых, ещё не освоенных литературой речевых средств, расширяющих самые границы и возможности литературного языка; во-вторых, ценностью, оригинальностью и своеобразием его творческого мастерства, его новаторства в области искусства образного слова». Читатель вправе предположить, что в книге, носящей название «Язык сатиры Салтыкова-Щедрина», тема это получит всестороннее освещение.

А. И. Ефимов давно работает над изучением языка Щедрина. Только многолетний труд позволил исследователю систематизировать огромный (прежде всего лексический) материал, иллюстрировать свои положения тысячами примеров. Совершенно бесспорно, что рецензируемая книга содержит немало наблюдений, ценных для понимания эстетических функций щедринской

фразеологии и того сочетания, скрещения, взаимопроникновения разнородных лексических элементов, которые характерны для языка произведений великого сатирика.

Остроумно, например, замечание А. И. Ефимова о том, что девизом щедринского «фразеологического творчества» могли бы служить следующие слова самого Щедрина: «Больше той величественной краткости, которая прямо и неуклонно вливается в самую морду заподозренного в гнусности субъекта». Содержателен анализ сатирического заострения народных пословиц, которое так характерно для щедринской сатиры. Для понимания щедринского стиля значительный интерес представляет также ряд наблюдений над словотворчеством писателя.

Однако фразеологические и лексические вопросы рассматриваются по большей части в книге А. И. Ефимова вне связи с идейно-эстетическим содержанием произведений Щедрина. Этим в особенности грешат вторая и третья главы исследования, представляющие собой попытку такой механической систематизации лексического материала, которая придаёт одинаковую важность существенному и второстепенному, элементам, действительно характерным для индивидуального своеобразия языка писателя, играющим в нём активно-организирующую роль, и элементам более или менее «нейтральным».

Так, например, с полным основанием уделяя много внимания вопросу об «административно-чиновничьей терминологии и канцеляризмах» в языке Щедрина, о пародировании затхлого бюрократического жаргона царских чинущ, А. И. Ефимов тут же, так сказать «на равных правах», рассматривает «помещичий лексикон» и «усадебно-хозяйственную лексику», отнеся к ней такие, например, слова, как «гувернантка», «дворовые люди», «староста», «кучера», «садовники» и т. п.

Трудно прежде всего понять, почему следует в такого рода словах видеть лишь элементы «помещичьего лексикона»? Разве не все классы пользовались ими и употребляли их в одном и том же смысле? Указание же на то, что с помощью «усадебно-хозяйственной лексики» «сатирик мог рисовать яркие полотна жизни и быта провинциальных дворян, пошехонское «раздолье», вызывает уже полное недоумение. Неужели же употребление именно этих слов характеризует щедринское бытописание Поше-

хонья? И разве нельзя эти же слова найти у любого писателя эпохи, независимо даже от тематики его произведений?

Для большей части наблюдений А. И. Ефимова, к сожалению, характерен отрыв от контекста, на фоне которого роль тех или иных лексических элементов и фразеологических единиц становится до конца понятной. Это имеет место даже тогда, когда автор рецензируемой книги касается стилистики писателя. Так, например, говоря о «приёме повторения и распространения эпитета» у Щедрина и рассматривая с этой точки зрения портрет одного из персонажей «Благонамеренных речей», А. И. Ефимов пишет:

«Зачатневский... всесторонне описывается с помощью эпитета «круглый»:

«Он был среднего роста и весь круглый. Круглый живот, круглая спина, округлые ляжки, круглые, как сосиски, пальцы... Круглое, одуловатое лицо... И на лице у него всё было кругло, глаза кругленькие... Даже лысына на его голове имела вид пяточка...»

Наблюдение это бесплодно, ибо характеризует щедринский эпитет вне присущей ему идейно-художественной целеустремлённости. Ведь сам Щедрин вкладывал в данном случае в многократно повторяемый эпитет «круглый» острое сатирическое содержание: «Сама природа, казалось, создала Зачатневского для услуги. Он был среднего роста и весь круглый. Круглый живот, круглая спина, округлые ляжки, круглые, как сосиски, пальцы — всё это с первого раза делало впечатление, что вот вот этот человек сейчас засеменит ногами и побежит, куда приказано». В интерпретации же А. И. Ефимова эпитет «круглый» отрывается от обобщающей характеристики персонажа, перестаёт служить целям сатирического заострения образа и оказывается, самое большее, шутивным.

Идя таким путём, А. И. Ефимов неизбежно приходит к недооценке неисчерпаемого многообразия и многокрасочности используемых великим писателем художественных средств. Дав выщепленную характеристику Зачатневского, автор рецензируемой книги, продолжая свою мысль, утверждает: «Таким же (рядка моя. — Я. Э.) способом подчёркивания ведущего признака Щедрина характеризует в «Убежище Монрепо» лицемеров и клеветников, которые с «адской злобой

соединяют и адское бескорыстие, и ежели при этом свою адскую ограниченность возводят в степень адского убеждения—тогда это уже совершенные исчадия сатаны».

Между тем очевидно, что эстетическая функция эпитетов «круглый» и «адский» в данных примерах совершенно различна.

В первом случае мы имеем перечень проявлений одной и той же внешней черты, причём каждое из этих проявлений равнозначно, равноправно и тяготеет к тому «ключу» к характеристике Зачатиевского, который, в изложении А. И. Ефимова, как раз и оказался опущенным. Во втором случае перед нами «лестница» повторяемых эпитетов и определяемых ими понятий, вызывающая впечатление нарастания обличительного пафоса.

Не раскрывая здесь идейной направленности и художественного разнообразия стилистических приёмов Щедрина, А. И. Ефимов, оказывается, даже вынужден выразить опасение по поводу того, как бы у читателя его книги «не создалось впечатления однообразия щедринского употребления эпитета». Но, право же, если такое опасение и возможно, то сам великий писатель в этом не повинен вовсе...

Слабые стороны исследования А. И. Ефимова чреватые и более печальными результатами. Вырванные из контекста примеры не дают представления о живом процессе развития, обогащения языка великого писателя. Мы ничего не узнаём о том, в чём язык таких позднейших произведений, как «За рубежом» и «Писем к тётеньке», богаче и многоцветнее языка «Губернских очерков» и «Сатир в прозе» (вообще в книге произведениям семидесятых — восьмидесятых годов, периода расцвета творчества сатирика, уделено слишком мало внимания). К тому же примеры из публицистических и критических статей Щедрина произвольно чередуются в книге с примерами из художественных произведений.

Хотя в монографии и говорится о том, что Щедрин создал «обличительно-патетический слог», но, тем не менее, в ней вовсе не разработан вопрос о языковых особенностях непосредственных обращений великого сатирика к читателю, о «голосе автора», судящего эксплуататорские классы от лица народа, в отличие от «голоса рассказчика» — не только обозревателя, но и вымышленного автором сатирического персо-

нажа. А ведь даже в средней школе преподаватель считает сейчас необходимым обратить внимание учащихся на особенности «речи самого автора» в произведениях Щедрина<sup>1</sup>.

В исследовании А. И. Ефимова содержатся некоторые ценные, существенные сопоставления языка Щедрина с языком других писателей. Заслуживает, в частности, внимания сопоставление принципов словосложения, несущего сатирическую и полемическую функции, у Щедрина и Белинского. Однако в ряде случаев такие сопоставления носят в книге упрощённый характер, не позволяющий уяснить себе своеобразие стиля сатирика. Остановлюсь на следующем примере.

Говоря о «проникновении в язык художественной прозы Щедрина биологической терминологии», А. И. Ефимов привлекает для сопоставления по преимуществу «Письма об изучении природы» А. И. Герцена и таким путём приходит к выводу, что в отличие от Герцена «в большинстве... случаев биологическая терминология употребляется Щедриным в переносных значениях, применяемых для обозначения: а) сферы общественно-политических понятий, б) интеллектуальной и нравственной жизни человека».

Но разве такое переносное употребление научной терминологии характеризует именно и только стиль Щедрина? Нет, конечно. Оно в ещё гораздо большей степени типично для герценовского художественного стиля шестидесятых годов. Задача исследователя и заключалась в том, чтобы выяснить индивидуальное своеобразие проявления этой очень существенной черты общелитературного языка шестидесятых годов в творчестве обоих писателей. Привлечение же классического философского труда Герцена сороковых годов в данном случае бесцельно, ибо в нём употребление научной терминологии в её точном значении вытекало из самого предмета исследования. Другое дело — использование Герценом научной, в частности медицинской терминологии в его лирической прозе шестидесятых годов. Например, в «Концах и началах» Герцен так говорит о своих на-

<sup>1</sup> См. статью А. М. Лашиной «Изучение языка И. С. Тургенева и М. Е. Салтыкова-Щедрина в IX классе». Журнал «Литература в школе», № 2, 1954.

блюдениях над западноевропейским буржуазным обществом:

«Мне.. место в анатомическом театре досталось славное и возле самой клички; не стоило смотреть в атлас, ни ходить на лекции парламентской терапии и метафизической патологии: болезнь, смерть и разложение совершались перед глазами.

Агония июльской монархии, тиф папства, преждевременное рождение республики и её смерть, за февральскими сумерками и июньские дни, вся Европа, в припадке лунатизма сорвавшаяся с крыши Пантеона в полицейскую лужу».

Герцен так же, как и Щедрин, использует научную терминологию в переносном значении, но стилистический характер применения этой терминологии у обоих писателей различен. У Щедрина научная, в том числе медицинская, терминология прежде всего помогает создавать точные сатирические определения, клеймящие те или иные отрицательные явления общественной жизни (например, «эпидемия болтовни», «духовное малокровие», «орнитологическое искусство» и т. п.). Та же терминология — притом гораздо чаще в более разнообразных и смелых формах — приобретает у Герцена эмоционально-лирическую окраску, выражая прежде всего то отвращение, которое у писателя вызывает разложение буржуазной Европы, а также тот пессимизм и скептицизм, который порой так резко откладывал свой отпечаток на воззрения автора «Кюштов и начал». Притом у Герцена научная терминология прихотливыми переходами переплетается с лексикой, характерной для поэтического словаря.

Итак, идейно-эстетическая функция слова освещена в работе А. И. Ефимова совершенно недостаточно. Не спасают положения и заключительные главы, останавливающиеся главным образом на приёмах эзоповского повествования и на сравнениях у Щедрина как средстве художественной выразительности: и здесь анализ строится по преимуществу на примерах, рассматриваемых вне художественного контекста, вне стилистического своеобразия каждого произведения.

Если же оценивать книгу А. И. Ефимова с точки зрения того, в какой мере в ней удалось показать место лексики и фразеологии Щедрина в развитии русского литературного языка, то придётся признать, что

и в этом отношении слишком многое осталось неосвещённым и неясным.

Ставя, например, вопрос о том, «какие же из научных терминов стали общепотребительными, то есть входили в систему всех основных стилей литературного языка», А. И. Ефимов, несмотря на оговорки в других местах книги, пытается определить «общепотребительное», основываясь прежде всего на лексическом материале произведений самого сатирика и прибегая лишь к немногим сопоставлениям с иными источниками. Совершенно очевидно, что это ведёт не к точной характеристике общелитературного языка эпохи, а, наоборот, к смешению последнего с индивидуальным языком писателя. Притом здесь (и в ряде других случаев, см., например, страницу 210) исследователь пытается своеобразно образовать язык Щедрина определить, пользуясь данными Академического словаря 1847 года. Если то или иное используемое сатириком слово сопровождалось в этом словаре пометкой «простонародное» или «просторечное», то А. И. Ефимов считает доказанным, что именно Щедрин впервые ввёл его в литературный язык. Но ведь, например, одно из перечисленных здесь слов, «байбак», было употреблено ещё великим учителем Щедрина Гоголем в «Мёртвых душах»<sup>1</sup>. Совсем уж конфузное впечатление производит — это после «Горя от ума»-то! — попытка иллюстрировать словом «гиль» «значительное расширение круга привлекаемых просторечно-простонародных слов». Упоминает А. И. Ефимов в этой же связи и слово «бабе», но ведь «бабиться» встречается в лексиконе Ноздрёва... Да и вообще позволительно усомниться в том, может ли Академический словарь 1847 года служить надёжной отправной точкой для характеристики литературного языка пореформенного времени, именно на рубеже шестидесятых годов, претерпевавшего особенно серьёзные изменения.

Нельзя не отметить, что в нашем языковедении уже утвердились гораздо более точные и тонкие методы исследования, нежели те, которые применяются в рецензируемой книге. Так, например, изучая хро-

<sup>1</sup> Ср. В. В. Виноградов. «Язык Гоголя и его значение в истории русского языка» в сборнике «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», т. III, Издательство АН СССР, 1953, стр. 24.

нологически и тематически близкий языковой материал — лексика публицистики Писарева, — Ю. С. Сорокин пользуется не только словарями сороковых годов, но и разнообразными материалами шестидесятых, причём в ряде случаев делает обширные исторические экскурсы по поводу одного какого-либо слова<sup>1</sup>.

Недостаточное внимание уделено в данной работе и архаизмам, придающим словесной ткани произведений Щедрина столь своеобразную окраску. А. И. Ефимов ограничивает себя в этом отношении лишь рассмотрением церковно-славянизмов. Между тем у великого сатирика можно указать архаизмы и иного происхождения. Так, например, в «Дневнике провинциала» в уста одного из посетителей салона князя Обалдуй-Тараканова, этого зубра реакции, вложено слово «пренумерант», которое было обиходным до двадцатых годов XIX века в значении «подписчик»<sup>2</sup>. Заслуживает также внимания галлицизм, иронически использованный сатириком (в том же эпизоде «Дневника провинциала») в речевой характеристике некоего «седовласого младенца», — «фонксионировать».

Но наиболее существенным недостатком этого раздела книги является то обстоятельство, что в нём недооценивается роль архаизмов в патетическом слоге Щедрина. Освещению этой, во выражению самого автора, «весьма ответственной функции церковно-славянской фразеологии» в книге уделено... всего полстраницы. В этом проявляется присущая всей работе тенденция — односторонне рассматривать язык сатиры почти исключительно со стороны её обличительных задач; отодвигается на задний план вопрос о тех языковых средствах, которые служат для выражения положительных устремлений сатирика, для воплощения им красоты жизни, природы и мысли, и определяют собой высокий поэтический склад его речи, зовущей к героизму и борьбе.

Эта сторона изучения языка сатирика имеет отнюдь не только историческое значение. До настоящего времени живучи

<sup>1</sup> Ю. С. Сорокин. «Естественнонаучная лексика в публицистике Д. И. Писарева». Учёные записки ЛГУ, серия филологических наук, вып. 16, 1949, стр. 160—161.

<sup>2</sup> См. В. В. Виноградов. «Из истории русской литературной лексики». Доклады и сообщения филологического факультета МГУ, книга восьмая, 1949, стр. 5—6.

предрассудки, сводящие сатиру к обличительству. С этими предрассудками и сейчас иногда бывает связано появление произведений, которые их авторы всею именуют сатирическими; на деле они лишены какого-либо художественного значения, не способны отразить морально-политическую требовательность советских людей, пафос борьбы за торжество коммунизма, а порой впадают и в клевету. Такие «обличители», лишённые большой и ясной положительной идеи, и во времена Щедрина и теперь пишут бедным, тусклым, искусственным языком, не знающим страсти и поэзии. Язык же сатиры Щедрина — могучее свидетельство неисчерпаемого духовного богатства и творческой многогранности. Его идейная сила и сатирическая последовательность неотрывны от патриотической веры в русского человека, от полной истинного пафоса устремлённости к будущему.

Итак, в книге А. И. Ефимова не найти полного и цельного представления о языке Щедрина. Большой труд и огромный собранный здесь материал не дали подлинно значительных результатов. Книга получилась в целом бесхарактерная, промежуточная, не столько исследующая, сколько ограничивающаяся систематикой. Она не удовлетворяет ни литературоведов, ни лингвистов<sup>1</sup>. Лишь в малой степени обогащает эта книга наше представление и об эстетической ценности творений Щедрина и об истории русского литературного языка.

Но ошибкой было бы вовсе отрицать положительное значение проделанной А. И. Ефимовым работы. У нас ещё так мало книг и статей о языке великих русских писателей и, в частности, ещё так плохо исследован язык гениального сатирика, что богатейший фактический материал, классифицированный автором рецензируемой книги, способен лечь в основу дальнейших углублённых исследований, в которых, надо надеяться, новые работы А. И. Ефимова займут своё место.

Больше того, неверно было бы ответственность за серьёзные недостатки данной книги целиком возлагать на А. И. Ефимова. Заслуга его уже в том, что он взялся за нужное дело, браться за которое приходится очень мало охотников как среди

<sup>1</sup> Ср. рецензию А. Ф. Ефремова в № 2 «Вопросы языкознания» за 1954 год.



лингвистов, так и среди историков литературы.

Ведь встречаются и такие историки литературы, которые склонны заявлять, что изучение языка писателя вообще не является их обязанностью. В литературоведческих работах, посвящённых монографическому исследованию творчества того или иного писателя в целом, характеристика языка художественных произведений носит обычно лишь крайне беглый характер (что полностью относится и к книгам пишущего эти строки).

Литературоведы уповают на лингвистов. Но советские языковеды с полным основанием в гораздо большей степени занимаются сейчас изучением общелитературного языка эпохи, нежели исследованием индивидуального своеобразия языка отдельных писателей. По большей части язык писателя рассматривается ими с точки зрения проявления в нём таких черт общелитературного языка, которые сравнительно мало связаны с идейно-эстетическим содержанием творчества. При этом за последнее время в некоторых лингвистических работах (особенно в кандидатских диссертациях) проявляется склонность к такой каталогизации случайно и механически подобранного лексического материала, которая едва ли способна чем-либо существенным обогатить историю русского литературного языка (например, не вполне ясно, что может дать для истории языка даже самая кропотливая систематизация такого материала, как производственная лексика в нескольких советских романах...).

Необходимо творческое сотрудничество

советских лингвистов и литературоведов для того, чтобы действительно глубоко и всесторонне осветить язык наших великих мастеров художественного слова на широком фоне литературного языка эпохи. У нас сейчас — за исключением исследований В. В. Виноградова — почти нет работ, в которых литературоведческое исследование и лингвистический анализ шли бы рука об руку. Конечно, специализация лингвистов, с одной стороны, и литературоведов, с другой, совершенно необходима. Но едва ли нормальна та почти полная разобщённость этих двух специальностей, а также их подготовки, которая теперь стала правилом. Если ещё лет пять назад на филологическом факультете Московского университета языковедческий семинар был обязателен для студентов-литературоведов, то теперь последние вовсе лишены такой лингвистической подготовки, которая была бы способна стимулировать творческую работу над изучением языка писателя.

Вполне возможно и желательно появление параллельных трудов лингвиста и литературоведа, посвящённых рассмотрению соответственных сторон языка одного и того же писателя, причём в высшей степени плодотворным мог бы оказаться творческий контакт на ранних стадиях работы.

Во всяком случае нужно заложить основу для создания исследований, всесторонне освещающих тот круг вопросов, которые на примере языка шедринской сатиры стремился охарактеризовать А. И. Ефимов. Потребность в появлении таких книг назрела давно.

Я. ЭЛЬСБЕРГ.

★

### Политика и наука

## География великого Китая

Успехи экономического развития Китайской Народной Республики радуют советских людей, интересующихся всем, что происходит в этой великой стране. Но для того, чтобы воспринять полностью те огромные изменения, какие в ней произошли, необходима определённая осведомлённость в её географии. К сожалению, доверенные издания страноведческого характера

уже устарели, а нового цельного курса географии Китая у нас ещё не появилось.

Потребность в хороших справочных пособиях стала актуальной и в самом Китае, чем объясняется появление работы Чу Шао-тана, вышедшей в Шанхае в двух выпусках. При переводе на русский язык оба выпуска были объединены в одну книгу, изданную под общим названием «География нового Китая».

Труд Чу Шао-тана привлекает внимание обширностью фактических сведений, своеобразием взглядов автора на различные

Чу Шао-тан. «География нового Китая». Перевод с китайского. Издательство иностранной литературы, М. 1953.

проблемы географии и экономико-географического районирования. Знакомясь с его выводами и обобщениями, нельзя не признать их оригинальными, дающими стимул для дальнейшего, более углублённого изучения Китая.

После образования Китайской Народной Республики в стране сохранилось деление на провинции («шэн»), хотя наряду с этим введены более крупные административные единицы — края, объединяющие несколько провинций. В отличие от этого административного деления Чу Шао-тан различает двенадцать экономико-географических районов, среди которых мы встречаем такие, как бассейн нижнего и среднего течения Янцзы, Юго-Восточную горную страну, Юньнань-Гуйчжоуское плато, Лёссовое плато, Северо-Восточный Китай (Маньчжурия), Синьцзян, Цинхай-Сикан-Тибетское плоскогорье и другие.

Каждому из районов в книге отведена отдельная глава, включающая описание географического положения и рельефа, водной системы, климата, сельского хозяйства, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, торговли, путей сообщения, населения, главных городов. В отдельных случаях, связанных с особенностями того или иного района, главы дополняются разделами, посвящёнными скотоводству, рыболовству или лесному промыслу. Всюду за естественно-географическим описанием следует рассмотрение различных отраслей народного хозяйства.

Принятый порядок изложения материала облегчает пользование книгой и в целом является рациональным. Однако, по нашему мнению, нельзя признать оправданным, что население поставлено в ряду остальных факторов на одно из последних мест. Как известно, люди с их трудовыми навыками являются важнейшей частью производительных сил. Поэтому численный, национальный, социальный и профессиональный состав населения заслуживает описания сразу же после географической среды.

Поскольку статистика обычно касается административных единиц, то данные о размерах территории и объёме производства приводятся автором в ориентировочных цифрах, которые, однако, являются весьма показательными. Так, например, бассейн нижнего течения Хуанхэ (по районированию автора) определяется им более чем в пятьсот тысяч квадратных километ-

ров. Этот относительно небольшой район (по сравнению с общей площадью территории Китая) даёт половину всего сбора пшеницы и ячменя, более половины — проса, две пятых — гаоляна, три четверти — земляного ореха (арахиса) и примерно две трети — производимого в стране хлопка. Говоря о горнодобывающей промышленности, автор сообщает, что в районе нижнего течения Хуанхэ сосредоточено свыше трети всей угледобычи Китая, подробно перечисляет важнейшие месторождения железных руд, золота, фосфоритов и других ископаемых, которыми располагает здесь Китайская Народная Республика.

В книге показано географическое размещение важнейших промышленных предприятий, даются краткие сведения о них. Так, рассказывая о металлургической промышленности в Шицзиншанс, расположенном в девятнадцати километрах от Пекина, автор сообщает, что железная руда поступает сюда с Луньяньских рудников из провинции Чахар, уголь — из Цзинсина, известняк — из расположенного неподалёку Цзюньчжуаня. Подобные сведения позволяют читателю представить определённую картину работы промышленности.

Характеризуя природные ресурсы страны, автор раскрывает большие возможности быстрого экономического развития Китайской Народной Республики. Так, например, до освобождения Китая его нефтяные богатства были почти не разведаны и разрабатывались слабо. Из этого некоторые делали вывод, что в стране вообще нет перспектив для развёртывания нефтяной промышленности. Чу Шао-тан опровергает это мнение. «Провинция Шэньси, — пишет он, — славится в Китае крупными запасами нефти. На востоке нефтеносная зона начинается от Хуанхэ, на севере её рубеж проходит по Великой китайской стене, а на западе — по границе провинций Шэньси и Ганьсу, на юге она заканчивается у городов Тунгуань (Тунчуань) и Ицзюнь». Автор сообщает и о крупных разведочных работах, проводимых в настоящее время в районе Лёссового плато.

Господство иностранного капитала в старом Китае привело к тому, что в стране разрабатывались только те природные ресурсы, которые обеспечивали капиталистам максимальную прибыль. Так, например, империалистические хищники создавали концентрацию промышленности в севе-

ро-восточных и восточных районах, тогда как экономическое развитие отдельных западных провинций искусственно задерживалось. Только после победы революции китайский народ стал хозяином своей страны и получил возможность планомерно разрабатывать богатства родной земли.

Из книги Чу Шао-тана читатель узнаёт также и о других отраслях экономики Китая. Автор отмечает, что страна обладает большими запасами олова, ртути, сурьмы, свинца и многих других цветных и редких металлов. Достаточно сказать, что на долю Китая приходится 40 процентов мировой добычи вольфрама. Во многих районах имеется и добывается золото. Исключительно богат Китай горючими ископаемыми — каменным углем и сланцами, добыча которых значительно расширяется. Горючие сланцы используются для получения жидкого топлива, на котором работают двигатели внутреннего сгорания. С помощью Советского Союза ведётся строительство крупных электростанций, которые будут работать на дешёвом угле. Такие электростанции уже построены в Фушуне, Фусине, строятся в Чунцине, Сиане и других центрах.

Огромные гидроэнергетические ресурсы страны никак не использовались ранее в народном хозяйстве. Теперь на многих реках Китая возникают мощные гидроэлектростанции. Впервые в Китае разрешаются водохозяйственные проблемы, создаются каналы, крупные водохранилища, улучшаются условия судоходства.

Чу Шао-тан показывает, что Китай обладает богатейшими естественными предпосылками для развития многоотраслевого сельского хозяйства. Такие ценные культуры, как рис, хлопок, сахарный тростник, чай, цитрусы, произрастают на плодородных почвах Китая. В некоторых районах зерновые культуры приносят в течение года два-три урожая. Природные пастбища позволяют в больших масштабах развивать животноводство.

В книге приведено много интересных материалов о климатических особенностях различных частей Китая, его реках, горах, долинах, о богатствах, талящихся в недрах земли. Книга Чу Шао-тана окажет большую пользу специалистам, учащейся молодёжи — всем, интересующимся географией Китая.

Хочется остановиться на методологиче-

ских вопросах, затронутых в книге. «Деление страны на административные районы, — пишет Чу Шао-тан, — производится с целью улучшить систему управления, и поэтому оно часто изменяется в ходе исторического развития». В связи с этим, поскольку внутри районов наблюдаются различия в экономических и культурных условиях, изучение страны по административным единицам связано, по мнению автора, с серьёзными недостатками. Между тем административное деление тем лучше, чем более оно приближается к экономико-географическому районированию. Особенно это может быть отнесено к странам социалистического лагеря, в которых функции административного управления теснейшим образом связаны с функциями хозяйственного планирования. Нельзя безоговорочно согласиться и с тем, что административное деление часто меняется.

Сущность своего метода районирования автор определяет следующим образом: «Когда при районировании учитываются факторы геоморфологические, климатические, почвенные, гидрографические, национальные и экономические, получают экономико-географические районы». Конечно, первые четыре из упомянутых факторов представляют собой взаимосвязанный комплекс. Что касается национального фактора, то в некоторых случаях он имеет отношение скорее к административному делению, чем к экономическому районированию.

В образовании экономических районов наибольшее значение, на наш взгляд, имеет транспорт. Экономико-географический район не мыслится без определённых транспортных связей. Однако Чу Шао-тан явно недооценивает их. Не случайно в его делении «Коридор Ганьсу», искони являющийся связующим звеном между Лёссовым плато и Синьцзяном, оказался включённым по геоморфологическому признаку в состав района, названного автором Северо-Китайское плоскогорье. Повидимому, автором не в полной мере учитывается процесс хозяйственного развития. Между тем уже в ближайшие годы железнодорожная магистраль, прокладываемая здесь, ещё теснее свяжет в единый экономический район административный край, известный в данное время под именем Северо-Западного Китая (Сибэй), где имеется много общего в типе земледелия и скотоводства. В перспективе

именно здесь получит широкое развитие нефтяная промышленность и разработка других ископаемых. Стержнем будущего хозяйственного развития и явится железно-дорожный путь.

Чу Шао-тан писал свою работу, когда страна переживала восстановительный период. После выхода книги в свет в Китайской Народной Республике был принят первый пятилетний план широкого экономического строительства, закладывающий прочную базу социалистической индустриализации и дальнейшого укрепления обороноспособности государства. Автор, естественно, не мог раскрыть в полном объёме процесс развития и размещения производительных сил Китая. Тем не менее его книга помогает представить огромные изменения, происходящие в географии великой

страны. Обстоятельная вступительная статья Г. А. Ганшина и примечания существенно облегчают понимание ряда вопросов, затрагиваемых в работе.

Вполне естественно, что в книге встречается множество географических названий, которые без карты с трудом воспринимаются читателем. Правда, в тексте имеется несколько схематических карт небольшого масштаба, но они не могут полностью заменить подробную карту Китая в целом, к сожалению, не приложенную издательством к книге. Большое положительное значение имеет обширный указатель, занимающий более двадцати страниц. Он важен как справочное пособие не только для данной книги, но и при изучении другой литературы о Китае.

**А. СТАДНИЧЕНКО.**

★

### Крестьянский вопрос во Франции

Свою книгу «Путь к освобождению крестьянства», изданную в 1952 году в Париже, Вальдек Роше начинает словами: «Трудящиеся крестьяне, которые терпят невзгоды, часто задумываются над тем, какая судьба их ожидает в будущем.

Они обеспокоены потому, что будущее кажется им неясным, а на горизонте сгущаются тёмные, грозные тучи».

Так образно выразил автор настроение основной массы французского крестьянства в послевоенные годы. Книга повествует о том плачевном положении, в котором находится земледелец в сегодняшней Франции, о его поисках путей освобождения от жестокой эксплуатации монополиями и о его борьбе за демократические свободы и мир.

Член Политбюро Коммунистической партии Франции, главный редактор газеты «Ла Терр» («Земля»), В. Роше является крупным знатоком национального аграрного вопроса. Его новая работа поможет читателям глубже понять социально-экономические процессы, происходящие в современной французской деревне, и причины всё более нарастающего недовольства крестьян антинародной политикой реакционных кругов.

На конкретных фактах автор показывает, как в результате экспроприации подавляющая часть французских крестьян стала без-

земельной или малоземельной. Анализируя положение в департаментах Эн, Соммы, Сены и Марны, В. Роше отмечает, что здесь за пятьдесят—шестьдесят лет превратились в пролетариев четыре пятых мелких крестьян. «Кому достались их земли? Они захвачены крупными капиталистами, ибо в этих департаментах хозяйства с площадью от 200 до 600 га занимают более 9/10 всей площади обрабатываемой земли». С 1892 по 1946 год число крестьянских хозяйств во Франции уменьшилось более чем на 3,6 миллиона, то есть на 63 процента.

В стране существует многочисленный слой мелких крестьян. Они терпят сильнейшие лишения, ограничивая себя в удобствах, питании, одежде, отдыхе. В книге приведены яркие примеры бедственной жизни трудящихся крестьян. Винодел Боннаванк, владеющий четырьмя гектарами земли под виноградниками, рассказывает: «Мне остаётся 351 240 франков в год в качестве платы за мой труд для того, чтобы прожить с семьёй, состоящей из жены, двух детей и моей матери. Можете быть уверены, что с такими деньгами чудес не сделаешь, а так как не я один нахожусь в таком положении, то хочу сказать, что нам оно надоело».

Значительная часть крестьян ведёт хозяйство не на своей, а на арендованной земле. Используя земельный голод трудового крестьянства, капиталистические монополии и крупные земельные собственники берут с

Вальдек Роше. «Путь к освобождению крестьянства». Издательство иностранной литературы, М. 1953.

арендаторов (в особенности за аренду мелких земельных участков) крайне высокую арендную плату.

В декабре 1948 года реакционное большинство французского парламента приняло закон, который, как указывает В. Роше, практически отменил «всякие ограничения для повышения арендной платы». Конечно, это тотчас же вызвало бешеный рост арендной платы. В 1951 году по сравнению с 1946 годом она возросла в 4,5 раза, тогда как цены на сельскохозяйственную продукцию поднялись значительно меньше. Даже буржуазные деятели вынуждены были признать, что закон этот привёл к подлинному закабалению арендаторов. Так, один из них, депутат партии МРП Кудрэ, заявил на заседании Национального собрания: «Действительно верно, что в некоторых районах договоры об аренде земли предусматривают такой размер арендной платы, что фермеры ставятся в положение подлинного рабства». Однако, отмечает автор книги, это не помешало господину Кудрэ всё же голосовать за закон от 31 декабря 1948 года. Далее читатель узнаёт, почему всё так происходит. Монополисты заинтересованы в вытеснении мелкособственнического крестьянского хозяйства. Буржуазный экономист Кольсон в статье «Один миллион крестьян — лишние» писал с циничной откровенностью: «Пусть продолжается этот уход с земли. Необходимые изменения произойдут без помощи каких-либо декретов и законов. Достаточно, чтобы цены на сельскохозяйственные товары сохранялись на низком уровне, и уход с земли будет продолжаться».

Подвергая строгому научному анализу собранные им статистические данные, автор показывает растущую техническую отсталость мелкого хозяйства и сосредоточение средств производства в руках меньшинства крупных фермеров. По плану Монне, для механизации сельского хозяйства Франции предусматривались общие поставки 90 тысяч тракторов в год в течение 1948—1952 годов. Фактически же за это время продавалось в среднем только 24 тысячи в год. Для создания отечественного сельскохозяйственного машиностроения, пишет В. Роше, ничего не было сделано, наоборот, «развитие этой отрасли промышленности тормозилось, если не сказать саботировалось, в интересах иностранных производителей тракторов или иностранных компаний, которые обосновались во Франции».

Данные, сообщённые в книге, свидетельствуют о язном упадке производства важнейших зерновых культур. Так, только за один 1951 год производство пшеницы сократилось почти на семь миллионов центнеров. Значительная часть крестьянских хозяйств, примерно 400 тысяч, вовсе не имеет товарной зерновой продукции.

Как известно, виноделие является одной из крупных отраслей сельского хозяйства Франции. В послевоенные годы здесь наблюдается глубокий кризис перепроизводства. Правящие круги даже рекомендовали виноградарям... уничтожать виноградники.

Политика милитаризации экономики и гонки вооружений привела к резкому уменьшению использования химикалий в сельском хозяйстве. В 1951 году, сообщается в книге, министр промышленности и энергетики Лувель заявил, что необходимо удовлетворить в первую очередь военные потребности в сырье. Американцы, говорил он, не допускают того, чтобы медь шла на производство купороса для виноградников.

Несколько лет назад во Франции разразилась эпизоотия ящура. Погибло сто тысяч голов скота. К концу 1952 года ущерб оценивался по меньшей мере в полтораста миллиардов франков. Между тем эпизоотия могла бы быть приостановлена при условии своевременно принятых мер со стороны государственных органов. Но правящие круги, подчёркивает В. Роше, были озабочены совсем другими делами, преимущественно тем, чтобы увеличить расходы на военные цели путём урезывания кредитов для гражданских нужд. Более того, правительство Пинэ даже сократило на 20 миллионов франков ассигнования, предназначенные для борьбы с ящуром.

Значительное место в книге отведено анализу форм ограбления трудового крестьянства капиталистическими монополиями. Производители вынуждены продавать свою сельскохозяйственную продукцию по монополюно низким ценам, хотя розничные цены на неё чрезвычайно высоки и продолжают расти. Рассматривая этот вопрос с позиций марксизма-ленинизма, автор приводит аналитические данные, которые лучше всяких слов и рассуждений раскрывают истинное положение вещей. Вот несколько выразительных цифр: на долю крестьянина в продажной цене мяса приходилось в 1914 году 84 процента, а в начале 1952 года — лишь

49 процентов, вина — соответственно 65 и 41,8 процента, хлеба — 79 и 62 процента. «Крестьянина грабят, когда он продаёт свои продукты, и ещё больше обирают, когда он покупает необходимые ему промышленные товары», — с горечью констатирует В. Роше, вызывая этими словами много правильных мыслей у своих читателей — французских крестьян.

В связи с ростом дороговизны на промышленные товары, непрерывным повышением прямых и косвенных налогов увеличивается задолженность мелких и средних крестьян банкам и ростовщикам. Так, по сообщению газеты «Ла Терр», за период с января 1949 года по апрель 1953 года задолженность крестьянства по среднесрочным и долгосрочным ссудам возросла с 22 до 97 миллиардов франков, то есть почти в пять раз.

С большой убедительностью В. Роше разоблачает в своей книге политику реакционных политических партий, рассчитанную на срыв связей рабочего класса с трудящимся крестьянством, на уменьшение влияния коммунистической партии во французской деревне. Автор сообщает яркие факты расхождения между словами и делами буржуазных политиканов. В этой связи представляет интерес приведённое в книге высказывание радикала Мендес-Франса, нынешнего главы французского правительства: «Ложь и демагогия постепенно вызвали в народе охлаждение к политическим группам и их деятелям...»

Основное условие освобождения и победы рабочего класса и трудящегося крестьянства, указывает В. Роше, это прежде всего союз рабочих и крестьян в их совместной борьбе против общих эксплуататоров — капиталистов и крупных земельных собственников, союз рабочих и крестьян в их борьбе в защиту мира и национальной независимости.

Коммунистическая партия Франции борется за демократическое разрешение аграрного вопроса, против крепостнических пережитков в сельском хозяйстве, против антикрестьянской и антинациональной политики правящих кругов. В главе, озаглавленной «Что сделают коммунисты, находясь у власти», автор подробно излагает и обосновывает аграрную программу компартии, основным лозунгом которой является: «Земля тем, кто её обрабатывает!» Эта программа

полностью отвечает кровным интересам трудового крестьянства Франции и находит с его стороны горячую поддержку.

В книге даны выдержки из многочисленных писем крестьян по поводу предлагаемой коммунистами аграрной реформы. Так, сельскохозяйственный рабочий из департамента Эн рассказывает в своём письме в газету «Ла Терр»: «Однажды вечером в своей комнате я показал вашу программу 5 рабочим, которые работают вместе со мной, и мы обсудили её. Дать землю тем, кто её обрабатывает, — это наша мечта». Два мелких крестьянина из Фонтвёй пишут: «Мы совершенно согласны с аграрной программой в целом и желаем, чтобы она скорее начала осуществляться».

Как указывает автор, Коммунистическая партия Фракции имеет теперь прочные позиции в деревне, и всё больше трудящихся крестьян оказывают ей своё доверие.

Трудовое крестьянство Франции усиливает борьбу за землю, за национальную независимость своей страны, за свои права, за мир во всём мире. «Крестьяне, с их здравым смыслом, с их бережливостью и с жаждой справедливости, с их творческими стремлениями, целиком направленными к жизни, — пишет В. Роше, — до глубины души ненавидят войну».

В активизации крестьянского движения во Франции важную роль сыграла общенациональная крестьянская конференция по борьбе за мир, состоявшаяся в конце 1952 года.

Крупными крестьянскими волнениями ознаменовался 1953 год. Характерной их особенностью явилось то, что они не были ограничены каким-либо департаментом или экономическим районом страны, а возникли повсеместно. Почин был сделан виноградари юга. В демонстрациях приняли участие сотни тысяч крестьян. Они требовали изменения антинациональной, проамериканской политики правящих кругов Франции, мирного урегулирования всех спорных международных вопросов.

В борьбе за мир, за свои жизненные интересы растёт сплочённость и организованность французских крестьян, всё более крепнет их боевой союз с рабочим классом — ведущей силой французской нации.

*Кандидат экономических наук*  
**Б. КУЗНЕЦОВ.**

## Публицистика петрашевцев

В революционном движении первой половины XIX века важное место занимали кружки петрашевцев. В последние годы, особенно в связи с опубликованием следственных материалов, интерес к этому течению вырос и углубился. Поэтому можно только приветствовать выход в свет сборника произведений петрашевцев. Обильные источники, помещённые в нём, помогут советскому читателю расширить историческое понимание эпохи, полнее уяснить одно из крупных явлений русской общественной мысли.

В. И. Ленин указывал, что революционная социалистическая интеллигенция России ведёт своё начало примерно от кружка петрашевцев. Петрашевцы считали себя представителями передовой общественной мысли своего поколения и чувствовали за собой массу единомышленников. На наши теперешние масштабы мерить эту «массу», конечно, нельзя — количественно передовая интеллигенция составляла тогда незначительную группу населения, но её взгляды во многом отражали нужды народа.

Восприняв революционные традиции декабристов, петрашевцы были непосредственными последователями идей и заветов Белинского, они сыграли видную роль в формировании мировоззрения нового поколения русских революционеров-разночинцев, возглавляемого Чернышевским и Добролюбовым.

Разночинскому периоду освободительного движения, начало которого В. И. Ленин датировал 1861 годом, предшествовал длительный процесс накопления новых сил, качественно отличавшихся от предыдущих и ближе подходивших к народу. Петрашевцы — в большинстве своём выходцы из привилегированных сословий — очень мало были связаны с помещичьим классом. Будучи мелкими министерскими чиновниками, учителями, литераторами, они по своему общественному положению являлись типичными образованными разночинцами.

Новая революционно-демократическая идеология, выросшая и оформившаяся отчасти в тридцатых, а главным образом в сороковых годах, знаменовала собой важный этап в развитии русского освободительного

движения. Она была отражением в сознании передовой русской интеллигенции того времени исторических задач прогрессивного развития страны в обстановке острого кризиса феодально-крепостнического строя. Высший подъём революционных настроений петрашевцев приходился на 1848—1849 годы, когда их собрания и пропаганда были прямым вызовом господствовавшей реакции.

Составители сборника подобрали яркие документы, достаточно полно характеризующие взгляды и убеждения петрашевцев. Кружки петрашевцев не были оформленной революционной организацией, а состав участников — весьма разнороден по степени демократизма. Естественно, что в жизни этих кружков отражалась борьба революционно-демократического и либерально-монархического лагерей. Но в их кругу постепенно складывалось идейное объединение. Петрашевцы сознательно и целеустремлённо распространяли материалистические и атеистические идеи, а также принципы социалистического общественного устройства. Они пытались организовать политические обличения самодержавия, стремились обратить свою пропаганду не только к интеллигенции, но и непосредственно к народным массам и с этой целью даже хотели создать подпольную типографию.

Значительное место в книге занимают произведения М. Буташевича-Петрашевского, возглавлявшего движение. Читатель найдёт здесь второй выпуск «Карманного словаря иностранных слов», являющийся библиографической редкостью и впервые перепечатанный полностью. «Словарь» представляет собой не только литературное произведение — это плод смело задуманного и оригинально выполненного замысла: использовать определённую форму для революционной пропаганды. Нет, пожалуй, ни одного важного общественного вопроса, который так или иначе не был бы освещён в умело подобранных материалах «Словаря». Среди них мы встречаем статьи антикрепостнического и антирелигиозного содержания, связанные с толкованием определённых слов, как, например, «негрофил», «национальное собрание», «обскурантизм»; статьи, знакомящие с историей народных движений, обличающие политические порядки царизма и излагающие учения социалистов-утопистов.

Интересны и последующие документы сборника, особенно если рассматривать их в общей связи как материал для характеристики общественных интересов петрашевцев.

К числу документов, раскрывающих внутренний мир членов кружка, относятся, например, отрывки из железнодорожного дневника и «Автобиографическая записка» Д. Ахшарумова. В них хорошо видна работа мысли человека, сознавшего недостатки государственного строя и проверяющего свою готовность вступить на путь революционной борьбы. Привлекает внимание письмо Петрашевского к Тимковскому по поводу сумбурного и эклектического выступления последнего в кружке. Петрашевский высказывает здесь свои представления о том, каким должен быть передовой общественный деятель.

Своеобразно автобиографическое показание А. Баласогло. Жизненный опыт заставил этого человека, который был старше своих товарищей, прийти к отрицанию основ «порядочного» общества и признать себя социалистом. Ему же принадлежит проект учреждения просветительного общества, составленный с целью внести общественное начало в книгоиздательское дело и «сблизить таким образом служителей просвещения с теми, кому они служат». Проект проникнут патриотической верой в будущее России, глубоким уважением к народным массам, пониманием их роли в истории. Баласогло возлагает надежды на молодую интеллигенцию — «побегу новой России», органически вырастающие из противоречий жизни того периода.

Острые политические мотивы звучат в статьях Н. Момбелли, клеймившего деспотизм царского правительства, приближающий Россию «к дикому состоянию первобытных людей, с оставлением государственных учреждений». В России, пишет он, «десятки миллионов страдают, тяготеют жизнью, лишены прав человеческих», тогда как «небольшая каста привилегированных счастливых» нахально смеётся и над бедностью, и над несчастьем, и над справедливостью.

Наброски речей Ф. Толя и Н. Кашкина, читанных в кружках петрашевцев в 1848—1849 годах, раскрывают поиски ими правильной материалистической теории, направленной против философского идеализма, религии и отрыва науки от нужд трудя-

щихся масс. Следует отметить влияние статей Герцена на молодого Кашкина, выражавшего твёрдую уверенность в познаваемости объективных законов развития общества.

Общие нити связывают эти выступления с философскими письмами Н. Спешнева к К. Хоецкому. Спешнев с материалистических позиций критикует воззрения польского философа Каменского, Фейербаха, Прудона. Его письма, переведённые с немецкого и французского языков, публикуются впервые. Их издание — при скудности источников о Спешневе — большое приобретение для исследователей.

Любопытны речи А. Ханькова, Д. Ахшарумова и М. Петрашевского, произнесённые ими 7 апреля 1849 года на устроенном петрашевцами «обеде социалистов». В самый разгар реакции, чуть ли не накануне карательного похода русского царизма в Венгрию, петрашевцы говорят о необходимости разрушения и коренного преобразования мира эксплуатации и вражды. Рисуя черты будущего общественного строя в духе утописта Фурье, они исходят из существующих условий самодержавия, не забывают о закабалённом народе, о религии и невежестве — спутниках деспотизма, о тяжёлом труде крестьянских масс. В своём выступлении Петрашевский особенно подчеркнул значение политической борьбы против «дикой почвы нашего отечества», где всё в общественной жизни «являет следы восточной патриархальности и варварства».

Таким образом, Петрашевский на первый план выдвигал насущный вопрос русской жизни — уничтожение крепостничества. Принадлежащий ему «Проект об освобождении крестьян», над которым он много работал, содержит критику «полумер» правительства в крестьянском вопросе и изложение принципов демократической крестьянской реформы. Впервые в революционно-демократической литературе сороковых годов Петрашевским было обосновано право крестьян на получение обрабатываемой ими земли без выкупа.

В агитационных произведениях Н. Григорьева и П. Филиппова, рассчитанных на массовую аудиторию (рассказ «Солдатская беседа» и воззвание «Десять заповедей»), ярко выражены мысли петрашевцев о народе как главной силе освободительного движения и их стремление поднять трудя-



щихся на революционную борьбу против помещиков и царя.

Некоторые документы характеризуют поведение петрашевцев на следствии, перед лицом врага. Таковы, например, объяснение Петрашевского «Что такое социализм», где он отстаивает свои социалистические убеждения; его показание «Не во имя закона, но во имя чувства, совести и справедливости», где опять-таки он с огромной энергией доказывает своё право гражданина быть полезным России в разрешении её общественных вопросов. Под этим углом зрения рассматривает Петрашевский и деятельность своего кружка, видя в нём «цвет петербургской, а может быть, вместе с тем и всей русской молодёжи». К ним примыкают и показания молодого юриста В. Головинского, который отстаивал необходимость освобождения крестьян, искусно приписывая освободительные намерения самому правительству.

Хотя подбор документов сборника интересен, но в подобном издании хотелось бы видеть больше нового. Недостаточно представлены письма Ф. Львова и М. Петрашевского из Сибири, в том числе замечательное письмо последнего к Оствальду. Следовало бы ввести и некоторые письма И. Дебу, присланные из осаждённого Севастополя. Можно было использовать, в извлечениях, большую неоконченную работу А. Баласогло «Об изложении наук», привести отрывки из дневника Н. Г. Чернышевского, относящиеся к его знакомству с петрашевцами.

Составители не включили в сборник работы тех участников кружков, которые не разделяли революционно-демократических убеждений. Тем более странным является наличие в книге произведений типичного либерала П. Кузьмина. Сам он показывал на следственной комиссии, что не разделял мнения общества о перемене судопроизводства, освобождении крестьян и свободе книгопечатания, приезжал на собрания только с желанием «умерить порывы» участвовавших, а после чтения письма Белинского к Гоголю уже не посещал следующие «пятницы».

Несомненной ошибкой редакции явилось помещение в качестве «Списка иностранных книг М. В. Петрашевского» библиографического перечня книг, опубликованного в первом томе «Дела петрашевцев». Составители оговаривают, что в список вошли не все книги, имевшиеся у Петрашевского, но пра-

вильнее было бы предупредить читателей, что огромного их большинства в его библиотеке не было. Отсутствовала в ней и работа Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», наличие которой, тем не менее, удостоверяется и во вступительной статье и в примечаниях.

Автор вступительной статьи к сборнику В. Е. Евграфов, правильно оценивая характер движения петрашевцев, допускает, однако, ряд противоречий в своей концепции. Он крайне преувеличивает реальную силу антикрепостнического движения в сороковых годах, изображая его угрожавшим «самому существованию самодержавно-крепостнического строя в России», хотя тут же признаёт, что соотношение борющихся сил было тогда не в пользу крестьян.

В другую крайность впадает В. Евграфов, когда осуждает позицию тех петрашевцев, которые, подобно Головинскому, утверждали, что крестьянская масса уже способна подняться на борьбу за своё освобождение. В. Евграфов приписывает сторонникам этого мнения авантюризм, идею выступления без народа, мгновенной революции, не подготовленной длительным революционным воспитанием масс. Но ведь борьба масс в сороковые годы действительно усилилась.

В. Евграфов отмечает, что петрашевцы и не могли и не хотели повторять путь декабристов и начинать прямо с восстания против царизма, без участия масс, что они искали других путей. Он считает, что петрашевцы нашли «правильный для своего времени ответ» на вопрос: с чего начать? — с широкой антицаристской пропаганды в народе, для чего было необходимо создание революционной политической организации.

Автор введения противопоставляет взгляду Головинского позицию Петрашевского, который отстаивал первоочерёдность «судебной реформы» перед крестьянской. Весьма натянуто звучит объяснение, что Петрашевский видел в борьбе за судебную реформу подготовку народа «к революционному низвержению самодержавия для установления Российской демократической республики». Между тем ясно, что и Петрашевский и Головинский искали лозунг борьбы, способный сплотить широкие массы и поднять народ против помещиков-крепостников, ускорить отмену крепостного права, одной из сторон которого было и юридическое бесправие народа. Общую мысль петрашев-

цев выразил Ахшарумов, сказавший, что, по его мнению, вопросы судопроизводства и освобождения крестьян должны разрешиться в один и тот же день.

Напрасно В. Евграфов не считает петрашевцем С. Дурова. Это писатель натуральной школы, переводчик революционных стихов Барбье, оказавший впоследствии сильное влияние на Чокана Валиханова, Г. Потанина.

Неверно, что Петрашевский лишь перед следственной комиссией даёт подробное изложение учения Фурье о социализме. А в «Словаре»? А на «пятяницах»? Отчего же, наконец, он сам называл себя «старейшим пропагатором социализма» в России? В. Евграфов неправильно утверждает, будто Спешнев привёз в Россию для общества Петрашевского «все важнейшие программные и уставные документы организации польских эмигрантов». Не было никакого кружка в Тамбове, как уверяет В. Евграфов. Петрашевцы не посещали «понеделники» Момбелли.

Примечания во многом повторяют вступительную статью. Разбирая, например, толкование «Словарём» слова «ода», комментатор не замечает, что оно по всем данным принадлежит В. Майкову. Без указания источника оставлены цитаты из произведений Кольцова и из стихотворения, приписываемого Растопчиной, зато выдержка из стихотворения Лермонтова («Не верь себе, мечтатель молодой») приводится как

«неточная цитата» из комедии Грибоедова «Горе от ума».

Нельзя не отметить небрежность в датировке текстов. Отрывки писем Спешнева поданы как два письма, тогда как их три: в третьем имеется замечание, относящееся ко второму письму. Без достаточных оснований оспаривается указанная Спешневым дата написанной им «Обязательной подписки члена тайного общества». Она датируется 1848 годом, тогда как все документы, относящиеся к совещаниям этого периода, были им тщательно уничтожены. Указывая на опечатку в датировке одной из статей Момбелли, комментатор тут же ошибочно датирует статью «Политические заметки» (которую он совершенно правильно выделил как отдельное произведение из текста статьи «Об основании Рима») — не ранес конца 1847 и начала 1848 года, то есть когда собрания у Момбелли уже прекратились. Однако «Политические заметки» являются по содержанию не чем иным, как статьёй «Современная борьба мнений», читанной 30 декабря 1846 года.

Редакционные ошибки и погрешности в примечаниях снижают научную ценность сборника. Но и в настоящем его виде он всё же явится полезным пособием при изучении истории русской передовой общественной мысли.

*Кандидат исторических наук*  
**В. ЛЕЙКИНА-СВИРСКАЯ.**

★

## Новые элементы в периодической системе

Последние годы ознаменовались бурным развитием новой отрасли знания и техники — «новой алхимии», по словам одного из её основоположников. Речь идёт о преобразовании ядер атомов.

Практические следствия этого преобразования имеют огромное значение. С одной стороны, отсюда исходят все современные методы освобождения и использования атомной или, точнее говоря, внутриядерной энергии, а с другой — изменения в строении ядер атомов влекут за собой автоматически те или иные изменения их места в таблице элементов. Иначе говоря, преобра-

зования ядер атомов представляют собой акт взаимного превращения элементов или рождения новых. Именно путём таких преобразований были созданы искусственные радиоактивные разновидности (изотопы) всех элементов периодической системы Менделеева, в обычных условиях не существующие в природе. Достаточно сказать, что из общего числа около семисот радиоактивных изотопов, известных в настоящее время, лишь около сорока встречаются в природе, остальные получены искусственно.

Открытие новых методов ядерной физики и радиохимии подготовило почву для последующего грандиозного рывка в науке — для искусственного создания новых хими-

**В. И. Гольданский.** «Новые элементы в периодической системе Д. И. Менделеева». Издательство Академии наук СССР, М. 1953.

ческих элементов. Получение этих элементов сопряжено с развитием техники ускорения «бомбардирующих» атомные ядра частиц и с созданием ядерных реакторов или, что то же, «атомных котлов». Новые искусственные элементы были приготовлены с помощью ядерных реакций, сопровождающихся изменением заряда ядра «старых» элементов.

Книга В. И. Гольданского «Новые элементы в периодической системе Д. И. Менделеева», впервые в общедоступной форме воспроизводящая историю создания ряда элементов, не только восполняет пробел, существовавший в нашей научно-популярной литературе, посвящённой проблемам новейшей ядерной физики и радиохимии. Она весьма любопытна и по своей концепции. Автор взял на себя интересную задачу — показать, как связаны работы по искусственному получению и выделению новых элементов с периодическим законом Д. И. Менделеева.

Закон этот доказал периодическое изменение свойств элементов и явился, по выражению академика Н. Д. Зелинского, «открытием взаимной связи всех атомов в мироздании». Он не только привёл к открытию строения атома, к подтверждению сложности атомов, казавшихся ранее простейшими из частиц, но в дальнейшем — и к подтверждению сложности атомного ядра. Сам Менделеев прекрасно понимал, что из его открытия неизбежно следовал вывод о том, что разные атомы построены из различных количеств одинаковых составных частей. Впоследствии обнаружилось, что заряд атомного ядра и место, занимаемое элементом в периодической системе, исчерпывающе определяют строение электронной оболочки его атомов и характеризуют всю совокупность химических свойств данного элемента.

Периодическая система Менделеева с течением времени, как правильно отмечает В. Гольданский, приобрела значение «предела краткой и чёткой физико-химической энциклопедии». Вооружённые этим универсальным ключом ко всем тайнам атома и его ядра, исследователи пользовались им и при создании новых элементов. Больше того, периодическая система элементов явилась единственным путеводителем в сложном лабиринте методов, которые приходилось применять для выделения и исследования новых элементов, и давала даже воз-

можность заранее определять их химические свойства.

Краткая сводка новых химических элементов, полученных искусственным путём, и сама по себе представляет значительный интерес. Технеций, прометий, астатин и франций относятся к тем четырём элементам, для которых в периодической системе, в старых её границах — от водорода до урана, были предусмотрены свободные места (с атомными номерами 43, 61, 85 и 87). Существование трёх из них, кроме № 61, было предсказано самим Менделеевым. Учёный дал им наименование «экамарганца», «экаиода» и «экацезия». Эти названия характеризуют химические свойства, которыми, как ожидал Менделеев, должны обладать эти элементы.

Первое сообщение об открытии элемента № 43 появилось ещё в 1925 году. Однако последующими данными это не подтвердилось. За новый элемент, как выяснилось, принимались различные примеси, которые не имели никакого к нему отношения. Впервые элемент № 43 был искусственно приготовлен итальянцем Э. Серге и его сотрудником К. Перье в 1937 году путём бомбардировки ядер молибдена ядрами тяжёлого изотопа водорода — дейтронами. Название нового элемента — технеций — подчёркивает то обстоятельство, что это был первый элемент, полученный искусственным, техническим способом. В настоящее время технеций является одним из побочных продуктов работы ядерного реактора, где он образуется в числе осколков деления урана.

Весьма богата событиями история открытия элемента № 61. Он располагается в периодической системе как один из четырнадцати редкоземельных металлов — лантанидов. Так как предполагалось, что этот элемент по своим химическим свойствам должен напоминать остальных членов того же семейства, он разыскивался в рудах, содержащих соответствующие вещества. Ошибочное «открытие» этого элемента происходило неоднократно, но по мере дальнейшего познания закономерностей, определяющих существование тех или иных изотопов, стало ясным, что попытки обнаружения элемента № 61 в природных материалах были заведомо бесполезным занятием, так как в природе отсутствуют стабильные изотопы этого элемента.

Лишь в 1947 году этот элемент был химически выделен из осколков деления урана

в виде сравнительно долго живущего изотопа. Выделение первой порции нового элемента в пять микрограммов было произведено при помощи тончайших методов современной радиохимии. Элемент был назван «прометием», по имени мифологического титана Прометея, похитившего с неба и передавшего людям огонь, за что бог Зевс приковал Прометея к скале и ежедневно посылал стервятника терзать его. «Это название, — указывали выделявшие новый элемент И. Маринский и Н. Гленденин, — не только символизирует драматический путь получения нового элемента в заметных количествах в результате овладения людьми энергией ядерного деления, но и предупреждает людей от грозящей опасности наказания стервятником Войны». Названием «прометий», отмечает автор книги, учёные подчёркивали важность мирного применения атомной энергии, в частности в деле синтеза новых элементов.

Элемент № 85 впервые получен Э. Сегре в 1940 году в результате бомбардировки висмута альфа-частицами. Период полураспада (промежуток времени, в течение которого число радиоактивных атомов уменьшается вдвое) изотопа этого элемента очень невелик и равен всего 7,5 часа. Поэтому новый элемент и назвали „астином“ что по-гречески означает «неустойчивый».

На примере астатина особенно рельефно выявляется значение закона Менделеева как важнейшего орудия исследования в области строения вещества. Дело в том, что этот элемент — один из членов группы наиболее резко выраженных неметаллов. Однако, как указывает менделеевская система, в пределах данной группы наблюдается постепенное нарастание металлических свойств по мере перехода к более тяжёлым элементам. Естественно, что появление элемента № 85 ожидали с нетерпением, так как именно через него осуществлялся переход от металлов к типичным неметаллам. Положение его в таблице Менделеева давало представление о химических свойствах элемента. Это позволило безошибочно найти методы его выделения, в которых были использованы сочетания его металлических и неметаллических свойств.

Последний элемент из числа недостающих в старых границах периодической системы — № 87 — обнаружен в 1939 году французской М. Пере. В честь своей родины исследовательница дала ему название

«франций». Химические свойства франция, определяемые по его месту в системе Менделеева, говорили о том, что он должен быть самым активным металлом среди всех элементов, причём изучение этих свойств оказалось очень сложной задачей. Но ещё большие трудности, говорится в книге, встретились при «воскрешении» давно погибших в природе «родителей» урана, протактиния и тория — зауроновых элементов от № 93 до № 100.

Впервые элемент № 93 удалось выделить Э. Макмиллану и П. Абельсону в 1940 году. Он получил наименование «нептуний», по имени планеты Нептун, расположенной в солнечной системе за Ураном. А на следующий год американским учёным Г. Сиборгом был выделен элемент № 94, названный „плутонием“ (планета Плутон следует в солнечной системе за Нептуном). Автор книги приводит интересный факт, свидетельствующий о точности и тонкости современных методов радиохимии. Оказывается, что изотопы плутония удалось обнаружить в некоторых урановых рудах в виде смеси, в которой один атом плутония приходится примерно на 140 миллиардов атомов урана! Впоследствии учёные разработали технологию промышленного получения плутония в гораздо больших количествах, чем те, с которыми были выполнены первоначальные изыскания, то есть в килограммах.

Далее автор рассказывает о том, как были выделены в 1944 году элемент № 95 — америций — и почти одновременно с ним в качестве продукта одного из видов его распада — элемент № 96, названный „кюрием“ в честь основателей науки о радиоактивности Марии и Пьера Кюри. В 1950 году в печати появилось сообщение об искусственном получении элементов № 97 — берклия — и № 98 — калифорния. Химическое выделение новых элементов, указывает В. Гольданский, явилось триумфом хроматографического метода, созданного русским учёным М. С. Цветом. Благодаря применению этого метода удалось изучить химические свойства калифорния при наличии в исследуемой смеси всего десяти тысяч атомов этого элемента — количества, которое меньше одного грамма в 250 миллионов миллиардов раз.

Где же предел числа элементов, какова должна быть граница периодической системы, сколько ещё элементов может быть получено искусственным путём? Отвечая на

этот вопрос, автор книги пишет, что предел синтеза элементов будет достигнут, повидимому, тогда, когда периоды полураспада искусственных элементов станут столь малыми, что эти элементы будут распадаться в неизмеримо короткие сроки — сразу после их приготовления. «Ближайшие годы принесут, безусловно, много новых и интересных научных результатов не только в создании ещё не известных пока элементов, но вообще в раскрытии строения атомных ядер и в выяснении природы ядерных сил».

Оценивая работу В. Гольданского в целом, надо отметить, что она удачно дополняет не богатый ещё список книг, посвящённых вопросам ядерной физики и радиохимии. Между тем подобного рода вопросами, как и другими научными проблемами, советский читатель интересуется чрезвычайно живо. В этой связи хочется высказать некоторые соображения, вызванные чтением книги В. Гольданского.

За последнее время в нашей печати довольно оживлённо обсуждался вопрос о том, каков должен быть уровень популяризации науки, при котором она может быть доступна широкому читателю. Некоторых лекторов и авторов упрекали, в частности, в чрезмерной «наукообразности» изложения. Вопрос этот, имеющий большое практическое значение, не может, конечно, решаться отвлечённо: каждая аудитория имеет свои особенности, и популярное изложение, адресованное неспециалисту в данной области, будет во всех случаях резко отличаться от специализированной, узконаправленной популяризации.

Книга «Новые элементы в периодической системе Д. И. Менделеева», построенная интересно и своеобразно, представляет материал для некоторых обобщений и выводов именно в этом отношении. Работа эта выгодно отличается от трафаретно скопированных фактографий, которые, к сожалению, часто подменяют подлинно популярную книгу о науке. Следуя распространённым образцам, В. Гольданский мог бы для «занимательности» вспомнить о древних магах и философском камне, а затем уж перейти к перечислению фактов. Конечно, читатель приобрёл бы ряд небесполезных сведений. Однако за приобретение подобной информации он обычно расплачивается дорогой ценой — ценой утраты представления о теоретической и философской сущности вопроса.

Автор пошёл по линии наибольшего сопротивления. Он исходил из правильной установки, что наиболее важно показать реальную связь и взаимообусловленность явлений в природе, привести читателя к мысли о том, что возможность практического получения новых элементов и исследования их свойств тесно связана с общим фронтом современной науки. Возможность эта базируется на результатах трудов учёных всех стран и многих поколений. Хотя русские исследователи конкретно не открывали новых элементов, однако периодический закон Менделеева сыграл в этом отношении решающую роль, а в деле выделения новых элементов весьма значительная роль принадлежит методу хроматографического анализа, открытому Цветом. Основные принципы ускорителей ядерных частиц, с помощью которых были получены многие из новых радиоактивных изотопов, впервые разработаны советским учёным В. И. Векслером. Применяющиеся ныне в физике способы наблюдения ядерных частиц также созданы отечественными учёными (Мысовский и другие).

В настоящее время всякая крупная экспериментальная работа в области физики требует привлечения всех новейших достижений не только самой физики, но и смежных наук — электроники, радиотехники, фотографической техники, радиохимии и так далее. Очертив широкую линию современного фронта научной работы в ядерной физике и радиохимии, В. Гольданский отчётливо показал, как всякий частный успех вырастает из общего подъёма науки. Его книга широко раскрывает перед читателем тот фон научной жизни, на котором возникали описываемые автором конкретные достижения. Успех популяризатора достигнут благодаря тому, что в книге, посвящённой отдельным вопросам науки, они рассматриваются не в отрыве, а в связи с развитием всего научного фронта.

Обычно научно-популярная литература предполагает, что если подготовка читателя достаточна для того, чтобы понять содержание первых страниц книги, то ему сразу можно прочесть и последние её страницы. Другими словами, авторы не всегда ставят перед собой задачу роста знаний читателя в самом процессе чтения их работы. Именно на этом, молчаливо признаваемом допущении, основываются в большинстве случаев укоризненные замечания по поводу

недостаточной доходчивости, чрезмерной перегруженности трудным научным материалом тех или иных популярных книг.

Между тем правильно построенная популярная книга — а книга «Новые элементы в периодической системе Д. И. Менделеева», как нам кажется, находится в этом отношении на верном пути — в некотором смысле должна являться и учебным руководством, предполагающим, что знания читателя возрастают по мере приближения от первой страницы к последней, что и помогает ему осваивать новый материал, который даёт автор книги. С этой точки зрения книга В. Гольданского продумана удачно: первые главы постепенно готовят читателя к восприятию заключительных. Вместе с тем книга не будет скучна даже для специалиста — физика или химика. Он, возможно, бегло пробежит первые главы, содержащие популярное изложение основ предмета, но зато в последующих разделах получит сводку новых данных из первоисточника. Такой принцип построения

книги, несомненно, способствует расширению её читательской аудитории.

Авторов научно-популярной литературы часто обвиняют также в злоупотреблении научной терминологией. При этом критики забывают, что каждая наука вырабатывает свой, особый, экономный и точный язык — язык, наиболее чётко определяющий содержание рассматриваемых явлений. Массовый читатель должен преодолеть их. Эти усилия в свою очередь не пропадут даром. Ведь, естественно, он вряд ли ограничится одной данной книгой, а она откроет ему путь к ознакомлению с другими, может быть, даже и более сложными популярными и научными трудами в заинтересовавшей его области.

Книга В. И. Гольданского может служить примером, а может быть, в известной степени даже и образцом тех популяризирующих науку книг, которых хотелось бы иметь всё больше и больше.

**О. ПИСАРЖЕВСКИЙ.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905—1907 годов. 392 стр. Цена 5 р.

**В. И. Ленин.** Апрельские тезисы. 120 стр. Цена 3 р.

**В. И. Ленин.** Критические заметки по национальному вопросу.— О праве нации на самоопределение. 184 стр. Цена 3 р. 30 к.

**В. И. Ленин.** Очередные задачи советской власти. 180 стр. Цена 3 р. 50 к.

**В. И. Ленин.** О фракции сторонников отзовизма и богостроительства. 40 стр. Цена 50 к.

**В. И. Ленин.** О статистике стачек в России. 32 стр. Цена 35 к.

**И. Сталин.** О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. 40 стр. Цена 50 к.

**КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК.** Часть I. 832 стр. Цена 13 р. 50 к. Часть II. 676 стр. Цена 11 р. 50 к. Часть III. 692 стр. Цена 11 р. 50 к.

**Об итогах весеннего сева, уходе за посевами, о подготовке к уборке урожая и обеспечении выполнения плана заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1954 году.** Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 24 июня 1954 года. 48 стр. Цена 50 к.

**Н. Шверник.** Отчётный доклад XI съезду профсоюзов СССР о работе Всесоюзного Центрального Совета профессиональных союзов. 56 стр. Цена 65 к.

**М. Авснев.** Англо-американская борьба за нефть после второй мировой войны. 136 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Л. Альтер.** Крушение теории «планового капитализма». 240 стр. Цена 4 р. 50 к.

**А. В. Арциховский.** Основы археологии. 280 стр. Цена 5 р. 50 к.

**А. Бадаев.** Большевики в Государственной думе. Воспоминания. 424 стр. Цена 6 р. 60 к.

**Б. П. Бешев.** Итоги работы железных дорог за 1953 год и меры дальнейшего подъёма работы железнодорожного транспорта. 48 стр. Цена 50 к.

**Исторический материализм.** 504 стр. Цена 9 р. 20 к.

**И. К. Кобляков.** От Бреста до Рапалло. 252 стр. Цена 4 р. 60 к.

**А. Мацусевич.** 10 лет Народной Польши. 184 стр. Цена 4 р.

**Массово-политическая работа на селе** (из опыта работы партийных организаций). 132 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Г. Минц.** Основные экономические задачи двух последних лет шестилетнего плана Польской Народной Республики. 52 стр. Цена 60 к.

**З. Новак.** О задачах развития сельского хозяйства Польской Народной Республики в 1954—1955 гг. 56 стр. Цена 70 к.

**Г. В. Перов.** Советская экономика на пути к коммунизму. 112 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Л. А. Слепов.** Коммунистическая партия—руководящая сила советского общества. 72 стр. Цена 65 к.

**С. Титаренко.** Борьба КПСС за укрепление морально-политического единства советского общества. 64 стр. Цена 80 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

**О партийной и советской печати.** Сборник документов. 692 стр. Цена 12 р.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Александр Володин.** Рассказы. 172 стр. Цена 2 р. 85 к.

**Аскер Евтых.** У нас в ауле. Повесть. 404 стр. Цена 6 р. 80 к.

**Любовь Забашта.** Дружба. Стихи. Авторизованный перевод с украинского. 236 стр. Цена 4 р. 30 к.

**П. Замоцкий.** Повести. 652 стр. Цена 10 р. 50 к.

**Кирилл Косинский.** Мои друзья. Очерки. 200 стр. Цена 3 р. 10 к.

**Юрий Лаптев.** Путь открыт. Роман. 360 стр. Цена 6 р. 5 к.

**И. Мележ.** Минское направление. Роман. Авторизованный перевод с белорусского. 720 стр. Цена 12 р. 35 к.

**И. Меттер.** Учитель. 308 стр. Цена 5 р. 50 к.

**Василий Ряховский.** Повести и рассказы. 308 стр. Цена 4 р. 80 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Мартин Андерсен Нексе.** Собрание сочинений в десяти томах. Перевод с датского. Том 9. Рассказы (1908—1938).— Стихи. 276 стр. Цена 11 р.

**Ванда Василевская.** Собрание сочинений в шести томах. Перевод с польского. Том 3. Песнь над водами. Трилогия. Часть I. Пламя на болотах. Часть 2. Звёзды в озере. 608 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Иоганн Вольфганг Гёте.** Страдания юного Вертера. Перевод с немецкого. Цена 1 р. 60 к.

**Ф. М. Достоевский.** Бедные люди. Роман. 120 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Д. Н. Мамин-Сибиряк.** Собрание сочинений в восьми томах. Том 3. Горное гнездо. — Дикое счастье. 632 стр. Цена 12 р.

**Адам Мицкевич.** Собрание сочинений в пяти томах. Перевод с польского. Том 4. 516 стр. Цена 16 р.

**Ги де Мопассан.** Избранные произведения в двух томах. Перевод с французского. Том 1. 792 стр. Цена 12 р. 35 к. Том 2. 828 стр. Цена 12 р. 10 к.

**Алишер Навои.** Семь планет. Поэма. Перевод с узбекского. 396 стр. Цена 6 р. 65 к.  
**К. Г. Паустовский.** Повесть о лесах и рассказы. 320 стр. Цена 5 р. 65 к.

**Христо Смирненский.** Избранное. Перевод с болгарского. 288 стр. Цена 4 р. 50 к.  
**Софокл.** Трагедии. Перевод с древнегреческого. 472 стр. Цена 6 р. 65 к.

**А. Т. Твардовский.** Стихотворения и поэмы в двух томах. Издание второе, дополненное. Том 1. Стихотворения. 432 стр. Цена 9 р. 50 к. Том 2. Поэмы. 384 стр. Цена 10 р. 40 к.

**К. А. Федин.** Сочинения в шести томах. Том 6. Повести и рассказы. Очерки, статьи, литературные воспоминания, речи. 672 стр. Цена 10 р.

**Анатоль Франс.** Рассказы. Перевод с французского. 160 стр. Цена 1 р. 70 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**И. Лычев.** Потёмкинцы. Воспоминания участника восстания на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический». 136 стр. Цена 4 р. 5 к.

**Юрий Мушкетик.** Семён Палий. 336 стр. Цена 6 р. 70 к.

**И. Пешкин.** Павел Петрович Аносов. 1799—1851. («Жизнь замечательных людей»). 360 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Америка глазами американцев.** Сборник. 464 стр. Цена 9 р. 75 к.

**Д. Сидоров.** О вреде религиозных суеверий и предрассудков. 64 стр. Цена 35 к.

**Константин Симонов.** Товарищи по оружию. Роман. 638 стр. Цена 12 р. 70 к.

**Г. Шейн.** Будни. Роман. 352 стр. Цена 7 р. 85 к.

### ДЕТГИЗ

**В. Алексеев.** Наш город. Стихи. 24 стр. Цена 40 к.

**Ал. Алтаев.** Чайковский. Повесть. 528 стр. Цена 10 р. 60 к.

**Н. Атаров.** Наш спутник. Рассказы. 144 стр. Цена 3 р. 30 к.

**И. Василенко.** В ногу. Рассказы. 120 стр. Цена 2 р. 40 к.

**С. Жемайтис.** Тёплое течение. Рассказы. 120 стр. Цена 3 р. 5 к.

**Ф. Купер.** Последний из могиан. Перевод с английского. 352 стр. Цена 7 р. 95 к.

**Майн-Рид.** Всадник без головы. Сокращённый перевод с английского. 416 стр. Цена 8 р. 90 к.

**А. Сахнин.** Тучи на рассвете. Роман. 338 стр. Цена 8 р. 60 к.

**М. Слущикс.** Адомелис-часовой. Рассказы. Перевод с литовского. 104 стр. Цена 2 р. 70 к.

**А. Шахов.** Страшное ущелье. 192 стр. Цена 4 р. 45 к.

**Д. Щербаков.** Мои путешествия. 198 стр. Цена 3 р. 85 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Академик Сергей Васильевич Лебедев.** К восьмидесятилетию со дня рождения. 263 стр. Цена 17 р.

**А. В. Арциховский.** Новгородские грамоты на бересте. 91 стр. Цена 9 р. 80 к.

**А. Везалий.** О строении человеческого тела в семи книгах. Том II. 960 стр. Цена 36 р. 40 к.

**К. В. Веригина.** Агрохимический анализ почв в лабораториях МТС. 85 стр. Цена 1 р. 40 к.

**Грамматика русского языка.** Том II. 703 стр. Цена 31 р. 75 к.

**История русского искусства.** Том II. 423 стр. Цена 60 р.

**История Польши.** Том 1. 583 стр. Цена 33 р. 50 к.

**Ж. Мелье.** Завещание. Том 1. 437 стр. Цена 10 р. 60 к. Том II. 452 стр. Цена 10 р. 90 к. Том III. 466 стр. Цена 11 р. 50 к.

**К. В. Пигарев.** Творчество Фонвизина. 314 стр. Цена 10 р. 50 к.

**Т. Л. Сергеева.** Уголовно-правовая охрана социалистической собственности в СССР. 155 стр. Цена 6 р. 50 к.

**Публий Теренций.** Адельфы. Комедия. 460 стр. Цена 18 р. 60 к.

**Я. И. Турченко.** Николай Николаевич Бекетов. 207 стр. Цена 7 р.

### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Атомная энергия.** Сборник статей. 56 стр. Цена 60 к.

**Д. В. Вержховский.** Первая мировая война 1914—1918 гг. 116 стр. Цена 3 р. 75 к.

**С. Глуховский.** Золотая Звезда. Очерки о Героях Советского Союза. 205 стр. Цена 4 р. 20 к.

**Ю. П. Петров.** Строительство партийно-политического аппарата Советской Армии (1921—1940 гг.). 126 стр. Цена 2 р. 75 к.

**Ф. Селиванов.** Слава без имени. 195 стр. Цена 4 р. 10 к.

**Б. П. Скорбин.** Артиллерийские разведчики. 94 стр. Цена 1 р. 60 к.

**А. И. Сорокин.** Оборона Порт-Артура. (Русско-японская война 1904—1905 гг.). 205 стр. Цена 10 р. 30 к.

**Н. А. Степанов, М. И. Голышев.** В боях за Днепр. 109 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Е. В. Тарле.** Экспедиция адмирала Д. Н. Сенявина в Средиземное море. (1805—1807 гг.) 166 стр. Цена 6 р. 35 к.

**Физика действия ядерных сил.** Сборник статей. 62 стр. Цена 70 к.

**А. В. Чернов.** Вооружённые силы Русского государства в XV—XVII вв. (Собра-



зования централизованного государства до реформ при Петре I). 223 стр. Цена 4 р. 75 к.

**Н. И. Шатагин.** Организация и строительство Советской Армии в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918—1920 гг.). 247 стр. Цена 9 р. 40 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

**Д. Ангелов.** Богомилство в Болгарии. Перевод с болгарского. 214 стр. Цена 7 р. **Тамаш Ацел.** Бура и солнце. Перевод с венгерского. 487 стр. Цена 15 р.

**Рашид Аль-Барави, Мухаммед Хамза Улейш.** Экономическое развитие Египта в новое время. Сокращённый перевод с арабского. 298 стр. Цена 13 р. 15 к.

**Жан-Поль Гарруа.** Африка — умирающая земля. Сокращённый перевод с французского. 399 стр. Цена 18 р. 20 к.

**Итоги выполнения хозяйственных планов 1953 г. в странах народной демократии.** Сборник материалов. 101 стр. Цена 3 р. 20 к.

**В. Кнапп.** Собственность в странах народной демократии. Перевод с чешского. 445 стр. Цена 20 р. 85 к.

**Вивьен Огилви.** Невидимки за работой. Перевод с английского. 152 стр. Цена 4 р. 20 к.

**Положение трудящихся в Западной Германии.** Сборник материалов. Перевод с немецкого. 191 стр. Цена 5 р. 90 к.

**Андрэ Стиль.** Первый удар. Книга третья. Париж с нами. Перевод с французского. 254 стр. Цена 8 р. 10 к.

**С. Чаттерджи, Д. Датта.** Древняя индийская философия. Перевод с английского. 408 стр. Цена 14 р. 60 к.

#### «ИСКУССТВО»

**М. Сокольников.** А. М. Герасимов. 239 стр. Цена 18 р. 90 к.

**В. В. Стасов.** Статьи и заметки. 458 стр. Цена 20 р. 10 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО МГУ

**Ф. И. Кожевников.** Отечественная война и вопросы международного права. 219 стр. Цена 9 р. 50 к.

**К. А. Левковская.** Словообразование. 33 стр. Цена 50 к.

**Новейшая история стран зарубежного Востока.** Выпуск 1 (1918—1929 гг.). 370 стр. Цена 11 р. 60 к.

#### МЕДГИЗ

**К. М. Быков.** Кора головного мозга и внутренние органы. 416 стр. Цена 15 р. 55 к.

**И. П. Дмитриев.** Операции на клапанах сердца. 40 стр. Цена 1 р.

**М. И. Касьянов.** Очерки судебно-медицинской гистологии. 212 стр. Цена 7 р. 25 к.

**Лечение сном.** 216 стр. Цена 8 р. 5 к.

**И. Г. Руфанов.** Общая хирургия. 624 стр. Цена 21 р. 40 к.

**Е. Н. Филимонов.** Бытовые повреждения и борьба с ними. 56 стр. Цена 90 к.

#### МУЗГИЗ

**М. Друскин.** Русская революционная песня. 162 стр. Цена 7 р. 65 к.

**В. Стасов.** Письма Берлиоза. 30 стр. Цена 60 к.

#### ТРАНСЖЕЛДОРИЗДАТ

**А. А. Косарев.** Электрооборудование цельнометаллических пассажирских вагонов. 308 стр. Цена 8 р. 40 к.

#### КУЙБЫШЕВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Б. В. Карузин.** Лесные полосы и урожай в Заволжье. 108 стр. Цена 1 р. 70 к.

**И. И. Осечкин.** Силосование кормов. 28 стр. Цена 35 к.

#### НОВОСИБИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**А. Коваленко.** Механизация очистки и сушки зерна. 48 стр. Цена 70 к.

**К. Урманов.** Путь славных. 296 стр. Цена 6 р. 35 к.



Зам. главного редактора **А. Г. Дементьев**

Редакционная коллегия:

**С. П. Антонов, В. П. Катаев, С. С. Смирнов** (зам. главного редактора),  
**С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин.**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 26/VII-54 г. Подписано к печати 12/VIII-54 г.  
А 06327. Формат бумаги 70×108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 1895.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени **И. И. Скворцова-Степанова.** Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.